ISSN 0130–6545

6. 1987

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цветные иллюстрации номера — работы индийских народных мастеров

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

6 июнь 1987

Содержание

АЙРИС МЕРДОК — Сон Бруно *(Роман. Перевод с английского Ольги Татариновой и Игоря Шварца)* 3

ЯН БОЛЕСЛАВ ОЖУГ — Стихи *(Перевод с польского Владимира Британишского и Натальи Астафьевой. Вступление Владимира Британишского)* 43

ЖОЗЕ САРНЕЙ — Рассказы *(Перевод с португальского Людмилы Новиковой. Вступление Юрия Дашкевича)* 51

ОЛИВ СИНИОР — Рассказы *(Перевод с английского Андрея Сергеева)* 92

ДУШАН МИТАНА — Конец игры *(Роман. Окончание. Перевод со словацкого Н. Шульгиной. Послесловие А. Косорукова)* 118

Советская литература за рубежом 192, 240

Публицистика

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ — Император *(Вступление и сокращенный перевод с польского С. Ларина)* 193

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету. *Пабло Унэус, Бхишам Сахни, Герман Кант, Йозеф Рединг, Луиш Франсишку Ребелу, Эммануэль Роблес (Продолжение)* 217

По страницам книг французских писателей

Ю. УВАРОВ — Как остановить адский поезд 223

О. ТИМАШЕВА — Хроники несостоявшихся судеб *(О романах Патрика Модиано)* 228

М. В.— Рассказывают французские поэты Мишель Деги и Ив Бержере *(Из бесед в редакции)* 233

Наши гости

Любомир Левчев (НРБ) — Беседу записала И. Доронина 237

Кэндзабуро Оэ (Япония) — Беседу записал Г. Чхартишвили 239

Среди книг

Издано в СССР

О. Алякринский — Другой Фрост *(Роберт Фрост. Стихи)* ✦ О. Волков — В чреде веков, тысячелетий, эр... *(Рольф Эдберг. Письма Колумбу. Дух долины)* 241

Издано за рубежом

М. Лорис — О Париже стихами и с любовью... *(Париж и пригороды. Поэтические прогулки)* ✦ Арсений Гулыга — В поисках братства *(Петер Хандке. Повторение)* 245

Редакцию посетили...

Илпо Тийхонен и Пекка Песонен (Финляндия) — О. Басинская 248

Из месяца в месяц

249

© «Иностранная литература», 1987.

АЙРИС МЕРДОК

Сон Бруно

РОМАН

Перевод с английского
ОЛЬГИ ТАТАРИНОВОЙ и ИГОРЯ ШВАРЦА

Глава I

Бруно проснулся. Казалось, в комнате совершенно темно. Затаив дыхание, он осмотрелся в потемках, пытаясь определить, что же сейчас — день или ночь, утро или вечер. Скверно, когда просыпаешься ночью, порой даже невыносимо. Невыносимо и после обеда просыпаться раньше времени. Возвращаться от сна к реальности было все труднее, и это особенно пугало Бруно теперь, когда сознание само по себе стало в тягость. Приходилось пускаться на хитрости. Он никогда не позволял себе дремать по утрам, боясь, что не уснет после обеда. Телевизора с его фальшивыми страстями и военными фильмами Бруно не признавал. Кажется, на этот раз он задремал над книгой. Снилось все то же — Джейни, Морин, шляпная заколка. Бруно пошарил возле себя и начал понемногу приподниматься на подушках, задевая ногами в чулках металлический каркас, который удерживал над ним одеяла. От тяжелых одеял в основном и заболевают ноги. Впрочем, для Бруно это вряд ли теперь имело значение.

Слава богу, не ночь. Скованные рассудок и тело смятенно пытались найти себя во времени. Бруно вспомнил, а может быть, просто ощутил, что скоро вечер. Окна были плотно зашторены, но холодный красноватый свет пробивался по бокам. Вероятно, снаружи сияет солнце, студеное весеннее солнце, заливающее своим беспощадным светом грешный Лондон, грозящую наводнением Темзу, закопченные кольчатые башни электростанции Лотс-роуд, которые станут видны из окна в пять часов, когда придет Аделаида и раздвинет шторы. Бруно протянул руку, достал очки и, поднеся часы к тусклому просвету у края шторы, разглядел время — пятнадцать минут пятого. Не позвать ли Аделаиду, подумал он, но отказался от этой мысли. Можно кое-как продержаться до пяти, гоня от себя кошмары. Аделаида, раздражительная горничная, не любит, когда ее вызывают в неурочный час. А может, она сделалась такой раздражительной

АЙРИС МЕРДОК — IRIS MURDOCH

Английская писательница. Родилась в 1919 году в ирландской семье. Окончила Оксфордский университет, где около двадцати лет преподавала философию. Автор множества романов, работ по вопросам философии, эстетики, морали. Творчество А. Мердок знакомо советским читателям по переведенным на русский язык романам «Под сетью» (М., 1966), «Алое и зеленое» (М., 1968), «Дикая роза» (М., 1971), «Черный принц» («Иностранная литература», 1974, № 8—11), «Дитя слова» (М., 1981), «Море, море...» (М., 1982).

В числе других наиболее известных романов писательницы — «Вполне достойное поражение» («A Fairly Honourable Defeat», 1970), «Генри и Катон» («Henry and Caton», 1976), «Ученик философа» («The Philosopher's Pupil», 1983). Роман «Сон Бруно» был впервые опубликован в Лондоне в 1969 году («Bruno's Dream». London, Chatto & Windus, /Penguin Books).

только в последний год? Неужели она нарочно бьет самую дорогую посуду? На подносе вечно осколки, а он слишком стар и изнуряюще долго болен.

Писем сегодня нет. И едва ли будут с вечерней почтой. Зато в пять часов наступит самое приятное, самое лучшее время — принесут чай, булочки, бутерброд с анчоусами, какой-нибудь новый джем и газету «Ивнинг стандард», а потом вернется из типографии Денби. Зимой здесь, конечно, уютнее, когда в комнате топится камин, а на улице темно. Яркое весеннее солнце — враг Бруно, а нескончаемые летние вечера для него мучительны. Вот если бы и сейчас разожгли камин, но это стоит таких трудов, что не придет в голову даже Найджелу, который обо всем умеет позаботиться. Бруно по возможности растянет чаепитие, затем просмотрит, начиная с карикатур, «Ивнинг стандард», после чего в шесть часов послушает новости по радио и потолкует полчасика с Денби — не о деле, разумеется, а о забавных происшествиях в типографии. Там каждый день приключается что-нибудь забавное. Еще Бруно развлечения ради позвонит по телефону или станет разглядывать марки, в семь можно выпить шампанского, почитать книги о пауках или детектив, потом Найджел принесет ужин, они побеседуют, и Найджел уложит Бруно спать. Нежный, словоохотливый Найджел с его ангельскими пальцами. Денби сказал однажды, что Найджел ненадежен, и пригрозил его уволить. Как бы не обнаружилось, что Найджел разбил индийскую чашку. Надо будет обязательно сказать, что чашку разбил он, Бруно.

Конечно, если Бруно не захочет, Денби не выгонит Найджела. Впрочем, Найджел — неопытная сиделка, раньше он был всего лишь санитаром или кем-то в этом роде, зато как он хорошо взбивает подушки и как заботливо помогает выбраться из постели. Денби — хороший зять. Он не из тех, кто отправляет стариков в богадельню. Бруно знает это. Несколько лет назад Денби решительно настоял на том, чтобы Бруно, который нуждался в присмотре, переехал к нему. Денби добр, но в сущности только в силу характера и отменного здоровья — он всегда голоден и не прочь выпить. Такой уж он человек — пусть гибнет у него на глазах цивилизация, но стоит предложить ему отбивную со стаканчиком джина, и он приободрится. Одному богу известно, что нашла его дочь в Денби; Гвен — серьезная девушка с сильным характером, а Денби — завсегдатай пивных. Женщины непостижимы. Тем не менее Денби и Гвен, видимо, любили друг друга. Бруно помнит это, хотя бедняжка Гвен давно умерла.

Он различал уже в сумраке комнаты возвышение каркаса в изножье кровати, большую деревянную шкатулку на столе, в которой хранилась коллекция марок, бутылку шампанского на книжном шкафу с мраморной столешницей и рядом, на стене, в квадратной рамке, фотографию своей жены Джейни. Джейни умерла на двадцать лет раньше Гвен, но Бруно казалось, что обе они одинаково далеки от него. Фотография Гвен по-прежнему стоит в нижнем этаже на пианино. У него не хватало мужества попросить, чтобы ее принесли. Недели три назад Бруно случайно услышал, как Аделаида сказала Найджелу: «Он никогда уже не спустится по лестнице». Потрясенного несправедливостью Бруно охватил страх. Что значит «никогда»? Он не сходил по лестнице больше месяца. Но это вовсе не означает «никогда». До туалета он добирается пока довольно легко. Почему же Найджел твердит о каких-то суднах, о том, что обращаться с ними несложно, а порой и внушает: дескать, сегодня Бруно, конечно, слишком устал, чтобы выходить самостоятельно? Не подготавливает ли его Найджел к худшему? Ну, нет. Он был уверен в этом и не желал больше знать, о чем шепчутся на лестнице Денби с олухом-доктором. Олух-доктор сказал, что Бруно проживет еще много лет. «Да вы нас всех переживете»,— убеждал он, заливаясь здоровым

смехом и поглядывая на часы. Много лет — это что-то неопределенное. А он должен прожить три года, несмотря ни на что, ему просто необходимо перехитрить закон о подоходном налоге и прожить еще три года.

Сейчас, когда пришло время размышлять о смерти, думал Бруно, меня заботят обязательства, с нею связанные. Это не альтруизм. Это скорее жалкая неспособность даже теперь отрешиться от чувства собственности. Слишком все запутано. Сегодня у него особенно неладно с головой. А все из-за таблеток, хотя они и снимают боль. Или дело в бромистом снотворном, которым он постепенно отравляется. Временами сознание Бруно помрачалось — какое-то странное ощущение, нечто совсем иное, чем эйфория, вызываемая шампанским,— он слышал, что разговаривает вслух, однако не понимал о чем. Начиная с двадцати пяти лет, у человека ежедневно разрушается миллион мозговых клеток, сообщил ему однажды Денби, прочитав об этом в воскресной газете. Может ли при такой скорости разрушения остаться хоть сколько-нибудь мозговых клеток у человека, которому далеко за восемьдесят, недоумевал Бруно. Бывали дни, когда у него совершенно ясно работала голова. А в последнее время и боли утихли. У науки поразительные возможности. Нужно разузнать, как оформить дарственную, и завещать кому-нибудь коллекцию марок, дабы она не досталась налоговому ведомству. За коллекцию можно выручить двадцать тысяч фунтов. Двадцать тысяч фунтов, не облагаемых налогом, никому не помешают. Отец перед смертью очень неохотно отдал ему эту коллекцию. В ореховой скорлупке памяти сохранилась отчетливая картинка — тонкая бледная рука двигает к нему по столу красного дерева шкатулку. Умирающий отец с горечью произносит: «Ты продашь ее, Бруно, ты растяпа, и тебя чудовищно надуют». Но Бруно не продал коллекцию, он даже немножко ее пополнил, он даже немножко ее любил, хотя никогда в отличие от отца не увлекался филателией всерьез. Бруно сберегал коллекцию про черный день, но жизнь подходила к концу, а черный день так и не наступил. Он мог совершить кругосветное путешествие. Покупать великие произведения искусства и наслаждаться ими. Есть каждый день икру и устрицы или передать коллекцию в комитет помощи голодающим. Нужно разузнать насчет дарственной, как это все делается, только не хочется спрашивать Денби. Денби очень добр, однако он слишком земной. Наверное, Денби волнует вопрос, кто получит марки. Бруно это тоже волнует. Зять Денби или сын Майлз? Но уже много лет прошло с тех пор, как Бруно в последний раз видел Майлза. Майлз давно отрекся от него.

Конечно, все они постоянно причиняют ему боль, и с этим ничего не поделаешь. Бруно чувствует их неискренность, ему ясно, что их мысли устремлены мимо него в то невообразимое будущее, когда его не станет. Они видят в нем чудище. Давным-давно кто-то назвал Бруно «очаровательным стариком». Каков же он теперь? В собственном представлении он вообще не был стариком. Вот руки у него состарились. Однажды он с недоумением обнаружил это, проводя пятнистыми, высохшими, искривленными руками по одеялу. В зеркало Бруно уже не смотрел, но порой ощущал, будто у него прежнее молодое лицо, точно маска. Бруно догадывался, каков он на самом деле, по тому, как Аделаида и Денби отводят взгляд, по тем едва уловимым признакам отвращения, которых им не удается скрыть. Отталкивал их и запах, конечно, и весь его внешний вид. Бруно знал, что он стал чудищем со звериной головой, точнее, с головой быка — пленным Минотавром. Он похож на одного из своих раздутых, точно жабы, пауков вида xysticus или oxyptila. Огромная голова словно приросла к узкому, продолговатому телу, ныне он лишь хлипкое подобие человека, нечто бессильное, тщедушное, вытянутое, дурно пахнущее. Теперь он обитает в этаком коконе, как atypus, он сам

сделался коконом. Soma sema [1]. Его тело, словно склеп, нелепый, ничем не украшенный склеп. Другой представлялась Бруно смерть три года назад, когда у него еще были седые волосы. У настоящей смерти нет ничего общего с ангелами и обелисками. Неудивительно, что все отводят от него глаза.

Типография могла бы стать своего рода памятником Бруно, однако он считал ее творением отца. «Гейтер и Гринслив». Впрочем, сейчас, когда ее возглавляет Денби, типография должна называться «Гринслив и Оделл». Но Денби отказался изменить название, несмотря на то что старик Гейтер умер сорок лет назад. После войны наступили тяжелые времена, трудно было доставать запасные части для американских прессов, но потом дело пошло. Была ли в этом заслуга Денби? Секрет успеха заключался в разнообразии продукции и в том, чтобы не размениваться на мелочи: программы, каталоги, брошюры, афиши, карточки для бинго, студенческие журналы, почтовую бумагу. Со своей стороны Бруно сделал все что мог. Его просто произвели на свет для типографии, для нее одной, практически даже в ней — грохот монотипных машин звучал в его младенческих ушах. Только он никогда не чувствовал себя своим среди печатников и не мог привыкнуть к их профессиональному жаргону, который так и остался для него чужим, непонятным языком. Он всегда немного побаивался типографии, как в детстве лошадей, когда отец заставлял его ездить на них. А вот Денби, казалось бы начисто лишенный каких бы то ни было склонностей и творческих способностей, даже не очень интеллигентный, женившись на Гвен, окунулся в типографское дело с головой, словно по-другому и быть не могло. Бруно, считавшего Денби дураком, возмущала его самоуверенность. Тем не менее именно Денби стал настоящим предпринимателем.

Бруно хотел посвятить себя зоологии. Отец же заставил его изучать древние языки и заняться типографией. И как это отцу удалось? Уже и не припомнить. С отцом он говорил лишь о деньгах и о работе. Поскольку тот был строг и часто наказывал Бруно, в памяти он остался лишь как источник неприятных переживаний, раздражения и обиды, остальное все улетучилось. И теперь Бруно краснел от возмущения, когда думал об отце, и теперь давняя слепая ненависть захлестывала его с прежней силой. Но мать была добра к Бруно, и спустя восемьдесят лет он отчетливо видел ту особенную, натянутую улыбку, с которой она пыталась переубедить в чем-то мужа, и отчетливо слышал, как она говорила: «Джордж, будь поласковее с мальчиком».

Мне с моими науками и книгами по теологии, думал Бруно, нужно было жить одному, вдали от города, наподобие священника восемнадцатого столетия. Собственное счастье, утраченное им, являлось ему в образе матери, с воспоминаниями о тех летних вечерах, когда он шестнадцатилетним мальчиком при свете электрического фонаря наблюдал торжественный ритуал кладки яиц, совершаемый крупным красавцем — пауком dolomedes. О пауки, пауки! Бруно никогда не переставал любить этих аристократов ползучего мира, но как-то вышло, что он предал их с самого начала. Он так и не нашел eresus niger, хотя в отрочестве уверенность в том, что он отыщет его, казалось, была внушена самим богом. Он намеревался написать книгу «Механика сферической паутины», а вышла только небольшая статья. Еще более честолюбивый замысел — книга «Пауки Баттерси-парка» — сузился до двух статей. Не была создана и монография о жизни и творчестве С. А. Кларка. А книга «Большие пауки-охотники» замерла на стадии плана. Несколько лет Бруно переписывался с выдающимся советским энтомологом Владимиром Поуком, и большой двухтомник Поука «Пауки России» с

---

[1] Собственной могилой *(греч.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

дарственной надписью «Б. Гринсливу, английскому другу и настоящему любителю паукав» хранится среди самых драгоценных реликвий. Но Бруно не принял приглашения Владимира Поука посетить Советский Союз и даже не ответил на его последнее письмо.

Что со мной произошло, ради чего все это было, и имеет ли это значение теперь, когда на самом деле все кончено? — спрашивал себя Бруно. Все это сон, думал он, жизнь каждого человека — сон, как это ни жестоко. Смерть доказывает несостоятельность индуктивного метода, поскольку нет ничего, что придавало бы смысл нашему существованию. Все только сон, атрибуты сна, его наполнение, и мы, уходя, продолжаем существовать во сне другого человека, тень внутри тени, постепенно бледнеющая, бледнеющая, бледнеющая. Странно, что Гвен, Джейни, его мать и Морин, какой он знал ее, теперь, когда их не было рядом, жили гораздо ярче, реальнее в его сознании, чем прежде. Они — часть моей жизни-сна, думал Бруно, они погружены в мое сознание, точно препараты в раствор формалина. Женщины вечно молоды, а я стар, как Тифон. Вскоре они начнут растворяться во времени. Этот сон, этот такой напряженный сон в какой-то миг прервется, кончится, и никто никогда о нем не узнает. Усилия, затраченные на собственное становление, казались теперь, когда целей уже не было, суетными. Он усердно работал, изучал итальянский, немецкий, но это представлялось сейчас суетой сует, желанием в какой-то момент, который так и не наступил, кого-то потрясти, добиться успеха, вызвать восхищение. Ведь Джейни так чудесно говорила по-итальянски.

С возрастом, думал Бруно, человек становится как бы менее щепетильным в вопросах морали, у него остается не так много времени, его уже мало что заботит, он делается равнодушным. Да и разве что-нибудь имеет значение теперь, в конце, если и в самом деле по ту сторону сна ничего нет? Самого Бруно никогда не волновала религия, он оставлял ее женщинам, и понятие добра в его представлении было связано не с богом, а с матерью. Бабушка ежевечерне молилась в присутствии слуг. Мать ходила в церковь каждое воскресенье. Джейни посещала церковь на рождество и пасху. Гвен была рационалисткой. Бруно жил рядом с ними, и бог в его жизни и был и умер по воле случая. Стоит ли теперь снова копаться в себе, устанавливать, был ли он достаточно хорошим человеком, раскаиваться и тому подобное? Иногда ему хотелось помолиться, но что такое молитва, если там никого нет? Если бы только он мог поверить в то, что после раскаяния на смертном одре его ждет мгновенное спасение. Ведь сама мысль о чистилище бесконечно утешительна: жить и страдать под сенью абсолютно справедливой любви; даже мысль о суде, о суде над его безжалостностью к жене, над его безжалостным отношением к сыну; даже мысль о том, что предсмертные проклятия Джейни обрекают его на ад.

Должно быть, лет десять прошло с тех пор, как он виделся с Майлзом по делу о доме в Кенгсингтоне, который был сдан внаем и который Майлз хотел продать. Дом был записан на имя Джейни, куплен на ее деньги, и, конечно же, она все завещала детям. До этого Бруно встречался с Майлзом на похоронах Джейни, на похоронах Гвен и еще раз или два по поводу денег. Майлз холоден, неумолим, ко дню рождения и на рождество регулярно присылает снисходительные письма: «Я всегда думаю о тебе с любовью и уважением». Это неправда. Бруно считал сына незаурядным человеком. Он был восхищен, когда Майлз отказался от работы в типографии, возможно даже завидовал ему. Но Майлз немногого достиг в жизни. Трудно поверить, что ему уже за пятьдесят. Он оказался способным чиновником, как говорили Бруно, но не высокого полета. И вся эта поэтическая чушь, которой он увлекался, ни к чему не привела.

Если б они не наговорили столько друг другу. Человек опромет-

чив в высказываниях, порой совсем не то имеет в виду, не то думает, даже не понимает, что говорит. Нужно прощать ему эту слабость. Ведь очень несправедливо, когда приходится страдать из-за неосторожно оброненного слова, страдать годами, пока страдание не станет страшной, неотъемлемой частью тебя. Бруно не хотел, чтобы Майлз женился на индианке. Но куда бы делась его предвзятость, доведись ему узнать саму девушку. Нужно было не обращать внимания на его высказывания, заставить его встретиться с Парвати [1], устроить эту встречу, а они убежали и возвели его проступок в непреодолимый барьер. Обращались бы с ним помягче, увещевали его, а они возгордились и озлобились. Все произошло слишком быстро, ему навязали роль и осудили за нее же. По словам Майлза выходило, что Бруно говорил такое, чего на самом деле — Бруно совершенно в этом уверен — он никогда сказать не мог. Они с сыном плохо понимали друг друга. Гвен — та еще немножко стремилась понять Бруно. Но она тоже спорила с ним зря, а тут еще и Парвати погибла вскоре после свадьбы. Только много времени спустя он увидел ее на фотографии: Парвати и Гвен в Гайд-парке стоят обнявшись, держа друг друга за талию. Гвен перекинула через свое плечо длинную черную косу Парвати. Обе смеются. Даже этот снимок мог бы переубедить его.

Майлз ничего не простил. Пожалуй, именно смерть Парвати навеки укрепила в нем обиду. Он часто поминал «внуков цвета кофе». Это было выражение Бруно. Вот и пришло возмездие. У Бруно не было внуков. Гвен и Денби оказались бездетны, Майлз и Парвати тоже, Майлз и... Бруно не мог вспомнить имя второй жены сына, он никогда не видел ее. Ах да, Диана. Майлз и Диана бездетны. Стоит ли теперь мириться с Майлзом, независимо от того, что означало бы такое примирение. В конце концов, обязанность родителей и детей поддерживать хорошие отношения — просто условность. У каждого из них своя неповторимая индивидуальность, и нужно, отдавая ей должное, обращаться друг с другом соответственно. Почему они лишены преимущества, которое есть у других, не связанных родственными узами людей,— безболезненно расстаться? Что-то вроде этого он говорил уже много лет назад Денби, когда тот поинтересовался его отношениями с Майлзом. Денби, вероятно, беспокоился о марках.

Впрочем, Майлз давно затаил обиду еще и из-за Морин. Джейни ли рассказала детям о Морин, или они сами обо всем догадались? Хотелось бы все-таки узнать. Очаровательная темноглазая парочка, дети перешептывались, неулыбчиво смотрели на него. Некоторое время спустя, много позже, с Гвен все наладилось, но с Майлзом — никогда, старая горечь присоединилась к тому, что случилось потом, обе провинности как бы переплелись. Никто так и не понял, что же было у него с Морин, а теперь слишком поздно объяснять, да и кому объяснишь? Во всяком случае не Денби, который просто рассмеялся бы, как смеется надо всем — над жизнью, даже над смертью. Денби как-то сказал, что смерть Гвен представляется ему смешной, смерть жены — смешной! Конечно, сказано это было годы спустя после ее ужасного, бессмысленного прыжка с моста. Сможет ли Бруно объяснить Майлзу историю с Морин и станет ли тот слушать? Майлз — теперь единственный человек в мире, для которого это имеет какое-то значение. Сможет ли Бруно растолковать наконец Майлзу, что было на самом деле? Сможет ли Майлз простить Бруно от лица всех остальных или впереди только холод, беспощадность и мрак?

Джейни обозвала Морин жалкой уличной девкой. Как далеко уводят слова, особенно сказанные в гневе, от того, ради чего они говорятся! Бесспорно, Бруно изрядно тратился на Морин. Потом

---

[1] В индуистской мифологии одно из имен жены бога Шивы.

Джейни заставила его все подсчитать. Но по-настоящему деньги не играли роли в его отношениях с Морин, и даже постель была в них не главным. Морин дарила ему радость. Она была сама прелесть, невинность, нежность, покой и отрада. Он покупал ей белье, новые занавески, посуду. Игра в семейную жизнь с Морин доставляла ему то удовольствие, которого с женой он был лишен с самого начала. Его участие в устройстве дома свелось к ссорам с тещей. Джейни обставила дом сама: ей и в голову не приходило, что это может интересовать Бруно. А Морин, тихо напевающая с ливерпульско-ирландским выговором *держите тигра, держите тигра...* Морин, важно расхаживающая в новых коротеньких юбках... Обнаженная Морин с голубым ожерельем на шее, танцующая чарльстон... Ее маленькая квартирка, заполненная принадлежностями шляпницы, напоминала гнездо экзотической птички. Однажды, вернувшись домой весь в перьях, что не укрылось от глаз Джейни, Бруно сказал, будто заходил в зоопарк. Джейни поверила. Морин хохотала до слез.

Ну, положим, не такая уж невинность. На что она жила? Непохоже, чтобы ее шляпки продавались. Морин говорила, что иногда подрабатывает билетершей в кинотеатре, и она представлялась ему нимфой века кино, сивиллой в гроте призрачной любви. Но уж слишком много у нее было нарядов, слишком хорошая квартирка. Как-то раз Бруно попался на глаза мужской носовой платок. Морин объяснила, что это платок ее брата. Впрочем, ревность к ней и та была несерьезной, чем-то наподобие игры, интимной милой игры вроде шахмат, которые она расставляла в кафе — большие красивые белые и красные фигуры на огромной доске — в тот раз, когда он впервые ее увидел. Потом выяснилось, что играть она не умеет. Шахматные фигуры были просто средством обольщения. Это открытие совершенно очаровало Бруно. Морин сказала, что ей восемнадцать лет и что Бруно ее первый мужчина. Однако и эта ложь казалась сладкой, когда он пробовал ее на вкус вперемешку с губной помадой во время долгих, неторопливых, упоительных поцелуев. О боже, подумал Бруно, все это снова вернулось ко мне, способно вернуться даже теперь, прильнув теплой волной к сердцевине иссохших жалких останков. Физическое влечение все еще подкрадывалось, охватывало смутными и нереальными образами, иногда это были воспоминания о Морин или о цветных девушках, за которыми он следовал по улицам и которых с беспомощным вожделением обнимал в тускло освещенных комнатах в Килберне и Ноттинг-Хилле спустя много лет после смерти Джейни.

Насколько избирательно чувство вины, думал Бруно. Мы помним и сожалеем только о тех проступках, которые бедственно отразились на нашей жизни. Люди, походя сбитые нами с ног, быстро забываются. Хотя их раны не менее глубоки. Нас интересует только собственная судьба. До того, как в Харродзе[1] мир вдруг словно перевернулся, Бруно не чувствовал за собой никакой вины. Лишь после отвратительной сцены, которую Джейни устроила Морин, услышав рыдания Морин за дверью, он осознал всю тяжесть, омерзительность и скандальность происшедшего. И вообще, зачем Джейни вышла за него замуж? Элегантная Джейни Девлин. Вероятно, влюбленность и честолюбие ненадолго превратили Бруно в остроумного, блестящего молодого человека, какой был ей нужен. Ее разочарование проявилось в насмешливости и холодности.

Джейни запечатлелась в памяти Бруно главным образом в период его ухаживания и женитьбы, перед первой мировой войной. Самое же войну Бруно едва помнил. Бруно не воевал, ему было уже за тридцать, он страдал язвой желудка, и война его почти не коснулась. Отец уже умер, и Бруно управлял типографией, преуспевавшей

[1] Фешенебельный универсальный магазин в Лондоне.

на правительственных заказах. Мать, которая перебралась в Норфолк, испугавшись немецких цеппелинов, умерла в тысяча девятьсот шестнадцатом году. Это потрясло Бруно больше, чем война. Отдаленнее и в то же время более ярко помнилась Джейни. Джейни на теннисном корте в белом платье из плотной льняной ткани, кромка которого за долгий летний вечер становилась зеленой от травы. Джейни, болтающая по-итальянски на дипломатическом приеме, посматривающая с усмешкой на мужчин дерзко блестящими глазами. Джейни, поигрывающая зонтиком, окруженная толпой поклонников на Брод-Уок. Джейни в Сент-Джеймсском театре в тот вечер, когда Бруно сделал ей предложение. Каким радостным, милым и бесконечно далеким все это казалось теперь. Потом уже с Морин был связан период лихорадочного веселья в помрачневшем мире. *Радость счастливых дней унес ты из жизни моей, оставив мне грусть одиноких ночей.*

В обществе как бы условлено, что брачащиеся всегда добродетельны. Брак — это символ добропорядочности, но тем не менее всего лишь символ. Бруно и Джейни наслаждались своей добропорядочностью довольно долго. «Она хорошая женщина?» — спросила у Бруно еще до женитьбы мать, которая впоследствии не особенно ладила с Джейни. Это был не совсем обычный вопрос. В смущении Бруно не знал, что ответить. Его отношения с Джейни делились на два периода. До Харродза для окружающих они выступали в роли элегантной пары, вызывающей восхищение и зависть, они жили не по средствам и старались казаться людьми с более высоким общественным положением, чем были, произвели на свет двух красивых, талантливых детей. После Харродза, одинокие и наконец-то поистине сроднившиеся, они в чудовищно замкнутом уединении сделались демонами друг друга. Джейни плохо поступала со мной, думал Бруно, пытаясь в тысячный раз безуспешно сформулировать обвинение. Агамемнона убили в первую же ночь по возвращении домой из Трои. Но Агамемнон был виновен, виновен. У Джейни вскоре обнаружили рак, и в болезни она обвинила Бруно.

Память его не сохранила чувства любви к Джейни, но факты говорили о том, что любовь была. Очевидно, Джейни разрушила постепенно его чувство своей деспотичной властью. Теперь Бруно казалось, что он узнал о любви Джейни только тогда, когда она распинала ее у него на глазах. Он узнал, что Джейни хранила все его письма, только когда она разорвала их и расшвыряла по гостиной, а о том, что она сберегла записку с его предложением, он узнал, когда Джейни с плачем бросила ее в огонь. Несколько месяцев подряд Бруно раскаивался, плакал, умолял, дарил цветы, которые она выбрасывала в окно, заклинал простить его. «Не сердись, Джейни, я не вынесу этого, прости, Джейни, о прости, ради Христа». Видимо, он любил ее тогда. Морин исчезла, будто ее и вовсе не было. Бруно больше не заходил к ней. Только послал пятьдесят фунтов. Написать же записку так и не смог. Наверное, он любил тогда Джейни, хотя это была любовь в аду: Джейни неумолимо отказывалась простить его. Ни за какие грехи мать не наказала бы его так. Потом Бруно сделался необузданным и беспощадным. Джейни говорила: «Ты разбил мне жизнь». Бруно кричал в ответ: «Ты отвергаешь меня! Ты отвергаешь все, что во мне есть! Ты всегда так поступала! Ты никогда не любила меня!» Начались ссоры, и продолжались они даже тогда, когда Джейни заболела, даже когда оба знали, что она умирает. Он не должен был допустить, чтобы Джейни довела его до ненависти к себе. Это было самое худшее.

Сердце его яростно колотилось. Бруно повыше приподнялся на подушках. Все это, передуманное миллион раз, еще ранило его, он задыхался и не в состоянии был думать ни о чем другом. Неужели нельзя размышлять об этом по-иному, чтобы смириться и обрести

наконец покой? Джейни нет в живых уже сорок лет. Он хорошо знает эту свою способность думать об одном и том же. Ему нельзя, нельзя расстраиваться, он не сможет уснуть ночью, а бессонные ночи — это пытка. Бруно не любил звать Найджела по ночам, он пугался собственного голоса, звучащего в темноте. А если и звал, Найджел, случалось, не слышал и не приходил. Однажды в отчаянии Бруно кричал так громко, что не услышать было невозможно, но Найджел не явился. Наверное, его не было на месте, видно, он проводил ночь в объятиях женщины. В сущности, Бруно очень мало знает о Найджеле. После этого Бруно умолк, поскольку боялся, что разбудит Денби и тот обнаружит отсутствие Найджела.

Бруно смотрел, не отрываясь, на поношенный красный халат, висевший на двери и в тусклом свете напоминавший большой саван. Теперь это было единственное его одеяние для единственно доступного путешествия, весь его гардероб. Почему халат сделался символом смерти? Денби предложил было купить новый, но Бруно отказался: «Теперь уже не стоит». Денби ничего не возразил. Старый халат Бруно так и будет висеть на двери, когда, вернувшись с похорон, они с облегчением откупорят бутылки, а потом кто-нибудь скажет: «Вот и нет Бруно, а его старый бедный халат все еще висит».

А если бы с ним рядом кто-нибудь был? Скажем, девушка, женщина? Но откуда ей взяться? Если бы только кто-нибудь мог его полюбить. Но это невероятно. Кто полюбит его теперь, когда он стал этаким чудищем? Наверное, он будет умирать в одиночестве и будет звать, звать. Он оставил Джейни, когда она умирала, одну. Он не мог этого вынести. Он слышал, как она кричала, звала его. Но он не вошел. Он боялся ее предсмертного проклятия. А вдруг она хотела простить его, помириться с ним и он лишил ее этой минуты последнего драгоценного милосердия? Стоны и крики продолжались некоторое время и в конце концов утихли. По лицу Бруно катились слезы. Он бормотал: «Бедный, бедный, бедный Бруно...»

Глава II

О милая, милая Аделаида,
а годы проходят, а годы уходят...

— Тсс!

Денби Оделл лежал в постели со своей служанкой. Аделаида была его любовницей уже почти три года. До нее у Денби была Линда. Замечательно аккуратная Линда с ее блестящими черными сумочками, в которых царил образцовый порядок, как в наборе инструментов. Нестрогих правил и divorcée[1], в ранг добродетели Линда возвела аккуратность и любовную связь, которой сама же явилась инициатором, организовала весьма педантично. Потом она возвратилась в Австралию. Они написали друг другу несколько писем. Через шесть месяцев появилась Аделаида. Аделаида была прелестна, она была рядом.

Это не имело ничего общего с гнетом настоящей любви Ничего общего с тем, что было у Денби с Гвен. Такое случается в жизни лишь раз, и это своего рода сумасшествие. Денби страдал. Даже женившись на Гвен, он страдал, как может страдать душа в присутствии божества, просто от сознания своего несовершенства. Гвен была натурой глубоко чувствующей, духовной и возвышенной. Денби любил ее духовность плотской любовью. Оба они страдали от боли, которую причиняло им их несоответствие. Даже когда ему уда-

[1] Разведенная *(франц.)*.

валось рассмешить ее, а это случалось очень часто, у нее на лице вдруг появлялась гримаса боли, и они поспешно отводили глаза. Гвен любила его глубоко, напряженно вдумываясь в их непохожесть и несовместимость, простирая свою любовь и на его чужеродность, всегда помня об этом, как помнит святой о гноящихся своих язвах, скрытых под рубищем от собратьев. Денби так и не оправился после ее смерти. Однако жизненные силы переполняли его.

Денби был привлекателен, высокого роста, правда, в последнее время несколько располнел. Округлое брюшко заметно выделялось пониже талии. Голова у него стала совершенно седая, хотя грудь по-прежнему покрывали золотистые волосы. У него были ярко-голубые глаза и превосходные ровные зубы, которыми он частенько любовался в зеркале, румяное лицо напоминало чуть-чуть сморщенное зимнее яблоко. Денби любил и поесть, и выпить, и поработать. В молодости он отлично танцевал и слыл хорошим теннисистом. Денби вырос в непритязательной семье торговца, и хотя был единственным сыном, ни он сам, ни любящие родители особенно не задумывались о его будущем. Он окончил обычную школу и год проучился в провинциальном университете. Отец, а затем и мать умерли, не оставив денег. Только когда некому стало пилить его и браниться, Денби по-настоящему понял, как любил свою мать. Он поступил на службу в страховую компанию. От этой участи его спасла война, на которой он неплохо провел время. Потом, встретив Гвен, он посерьезнел. Денби занялся типографским делом с некоторым трепетом, однако вскоре неожиданно для себя обнаружил, что имеет несомненные способности к бизнесу и справляется с работой гораздо лучше самого Бруно. Тому было уже за шестьдесят, и он с радостью передал дела зятю. Денби начал преуспевать. Его привлекали не столько сами деньги, сколько нечто вроде домашней распорядительности и хозяйской рачительности: все расставить по местам, все наладить, преодолеть двадцать маленьких кризисов ежедневно. Приятели, с которыми Денби постоянно выпивал в баре под названием «Старый лебедь», любили его. Поистине почти все любили Денби, хотя кое-кто и считал его ослом. Денби и сам любил Денби.

Отношения с Аделаидой не вызывали у него особенных угрызений совести. Денби полагал, что человек вообще волен поступать как заблагорассудится, если не причиняет никому зла, а какое зло мог он причинить Аделаиде? Она была в том возрасте, когда женщине необходимо быть желанной. Денби понятия не имел, нравится ли ей с ним спать, но он знал, что Аделаида влюблена в него, влюбилась сразу, когда пришла наниматься по объявлению. Бруно еще только начал прихварывать. Но оказалось, бедный старик заболел надолго. Аделаида помогала ухаживать за ним, а ее двоюродный братец — сиделка Найджел — сделался просто незаменимым. Денби и в голову не приходило (и Аделаиде, как он полагал, тоже), что мог встать вопрос о женитьбе. Не те у них были отношения. Однако он чувствовал, что стареет и приближается пора, когда требуется покой. Аделаида его вполне устраивала. Он пообещал обеспечить ее старость. Каждый вечер он ложился с ней в постель слегка навеселе и пребывал в совершенном блаженстве.

Не первой молодости и уже полнеющая, Аделаида была тем не менее очень недурна, как мог убедиться Денби за время их близости. Живот и бедра, пожалуй, тяжеловаты, зато плечи и грудь просто классические. Круглое румяное лицо, густые длинные каштановые волосы. (Волосы были крашеные, однако Денби об этом и не догадывался.) Пристрастие к излишне нарядной одежде — в полную противоположность Линде — придавало Аделаиде в его глазах какое-то экзотическое, чуть ли не восточное очарование. На ней все звенело, бренчало и шелестело. Широко поставленные карие глаза смотрели на него с набожным вожделением, когда она сворачивала в затейли-

вый пучок свои густые волосы. Ровный южно-лондонский выговор Аделаиды звучал для него любовным призывом.

Денби икнул. На улице мягко и дружелюбно шумел дождик. В этот день Денби, по обыкновению, выпивал с Гэскином в «Вороне». И конечно, немного перебрал. Он лежал на спине, согнув ноги в коленях. Он любил так лежать, испытывая блаженное ощущение расслабленности. Аделаида выключила свет и примостилась рядом, прилепившись к нему, точно Ева. Денби видел очертания своих коленей, возвышавшихся на фоне тонких занавесок, сквозь которые брезжил свет уличного фонаря, освещавшего двор. Они с Аделаидой спали в полуподвальном крыле, пристроенном прежним владельцем к дому на Стэдиум-стрит еще в те дни, когда все вокруг выглядело куда менее убого. Денби в этой убогости находил утешение. Красивый, ухоженный дом в Ноттинг-Хилле был домом Гвен, ее территорией. Денби сбежал оттуда и после нескольких лет скитаний по квартирам приобрел дом на Стэдиум-стрит именно потому, что он оказался таким обшарпанным, таким непохожим на тот. И конечно, неподалеку от типографии. Денби любил маленький, слегка осевший двор, в который смотрело окно спальни, всегда сумрачный, покрытый скользким зеленым мхом. Его называли двором, а не садом, хотя в нем росли кусты бирючины и лавра и даже выродившаяся в шиповник роза. На черном грунте травы не было. Только одуванчики и ноготки каждый год пробивались сквозь влажную корку мха. Громады труб электростанции Лотс-роуд как нельзя лучше гармонировали с этой мрачной, бесплодной землей.

Типография находилась на другом берегу Темзы, в Баттерси, почти у самой реки, прямо напротив муниципальной верфи, неподалеку от электростанции, и каждый день, перейдя Баттерсийский мост, Денби попадал на другую территорию, такую же грязную и убогую, отличавшуюся разве что запахами навоза, пивоварни и гниющих в воде отбросов. Наследство Гвен продолжало приносить Денби радость. Он любил типографию, грохот машин, бумажную пыль, клановую независимость печатников. Любил исходные материалы ремесла — ровный срез девственной бумаги, мужественный свинец. Еще в детстве Денби больше нравилось расплавлять солдатиков. чем выстраивать их для игры, и процесс изготовления букв из свинца никогда не переставал доставлять ему удовольствие. Нравились ему и машины, особенно те, что были постарее и попроще, и он гордился своей решительностью и хозяйственной смекалкой, благодаря которой устаревшее предприятие еще не село на мель. Порой он отправлялся в Челси, во всяком случае добирался по набережной до Королевского арсенала, изредка ходил с Аделаидой в фешенебельный ресторан на Кингс-роуд, потому что ей там нравилось, но Денби чувствовал себя неуютно в этой части города. Фулем и Баттерси, где он знал каждое заведение,— вот Лондон, который всегда оставался для него привлекательным и загадочным. Денби вздохнул с облегчением, когда Бруно перестал настаивать на переезде. Денби не любил, когда возникали разногласия со стариком. Они всегда ладили.

— Аделаида, тебе не холодно?

— Нет.

— А волосы у тебя холодные. Забавная штука — волосы. Не отрезай их, если любишь меня.

— Ты бы подвинулся немножко.

— У меня есть свежая рубашка на завтра? А то придут ребята Баутера.

— Конечно, есть.

— Радио в шесть часов слушала? Что там передают насчет реки?

— Предупреждают о наводнении.

— Не затопило бы наш двор, как два года назад.

— Как у тебя прошел день?

— Превосходно. А у тебя? Как старик?

— Как обычно. Опять вспоминал Майлза.

— Охо-хо.

— Хочет увидеться с ним.

— Только на словах.

— Мне кажется, ему нужно встретиться с Майлзом. Все же родной сын.

— Чепуха, Аделаида. Вряд ли это имеет смысл после стольких лет. Им не о чем говорить. Только расстроят друг друга. Кстати, ты не забыла спрятать марки?

— Нет.

Денби и в самом деле считал, что Бруно не имеет смысла встречаться с Майлзом. Не только потому, что Денби надеялся заполучить коллекцию. Хотя, конечно, он питал такую надежду. Любой бы на его месте надеялся.

— Тебе не кажется, что он слегка свихнулся?

— Вовсе нет. Даже если он что-то и путает иногда, разум все-таки у него очень ясный.

— Он столько говорит о пауках. Просто бредит ими.

— По-моему, он их даже притягивает. Ты заметила, в его комнате полно пауков?

— Отвратительные твари! Как ты думаешь, он еще долго протянет?

— Он угасает постепенно. Но это еще может длиться вечность.

— Ты говорил, он больше не расспрашивает о типографии, а это плохой признак.

— Может быть. Но бедняге все равно хочется жить.

— Не понимаю, зачем жить, когда становишься такой развалиной. Чего еще ждать от жизни?

— Очередной выпивки.

— Ну да, с тебя станется. А меня старость приводит в ужас. Не хочу быть старухой.

— Когда состаришься, милая, поймешь, что жить все равно хочется.

— Вот моя старая тетка совсем спятила. Вообразила себя русской княжной. Несет какую-то тарабарщину и думает, что это русский язык.

— Сумасшедшие до смешного любят титулы. Кстати, твой двоюродный братец все еще без работы?

— Уилл Боуз? Да он и не ищет ее. Выкачивает пособие из государства. Слишком уж много оно им дает.

— Он мог бы подработать у нас маляром. Причем не обязательно сообщать об этом в комитет по пособиям.

— Все-таки он учился в школе. Как и Найджел.

— Ну уж извини, Аделаида, но в настоящее время я, к сожалению, не могу предложить Уиллу более творческой работы.

— Ему обязательно нужно найти что-нибудь подходящее. Кстати, в прошлый раз ты ему слишком много заплатил.

— Ну, помочь всегда приятно. Знаешь, он совсем другой, чем Найджел. Странно, что они близнецы.

— Они не зеркальные близнецы. Лучше бы ты не брал сюда Найджела. И как это тебе в голову пришло?

— Я ведь не для него старался. Он превосходно ухаживает за Бруно. Просто поразительно.

— И о чем они говорят?..

— Не знаю. Они замолкают, как только я вхожу.

— Может, о женщинах?

— Найджел? О женщинах? Хм-м.

— Неужели такой старик, как Бруно, может интересоваться женщинами?

— Интересоваться женщинами не перестают никогда, дорогая.

— Но Бруно же ничего не может.

— Все мы по большей части живем в своем призрачном мире. Любят ведь тоже чаще всего в воображении.

— Вот уж за тобой ничего такого не замечала. Я так думаю: если кто и разбирается в любви, так это Найджел.

— В любви? Никто в ней толком не разбирается. Здесь нужно собаку съесть. Сдается мне, если наш Найджел и дока в этих делах, то довольно необычного плана.

— Да и какой нормальный мужчина захочет быть сиделкой?

— Ты не права, Аделаида, это очень уважаемая профессия.

— Ну, ты скажешь. А тебе не приходило в голову, что он наркоман или что-то в этом роде?

— Сомневаюсь. Просто он немного не от мира сего. Мути в мозгах у людей хватает и без наркотиков. А Найджелу не откажешь в здравом смысле.

— Нет, что-то с ним не то. У него порой лицо какое-то перекошенное.

— А по-моему, Найджел довольно симпатичный.

— Ты с ума сошел. Он сущий дьявол.

— А мне, между прочим, дьяволы по душе.

— У меня от него мурашки по коже. Лучше бы его здесь не было. Догадается он про нас.

— В пристройке мы одни, малышка. И не бойся Найджела. Он неплохой малый и совершенно безвредный.

— Вот уж нет. Я его знаю. Нехороший он человек. Непременно про нас разболтает.

— Ну и пусть.

— Как это «пусть»? Ты же знаешь, я не хочу, чтобы кто-нибудь о нас догадался.

— Ладно-ладно, малышка. Спи. Баю-бай.

Едва Денби закрыл глаза, он увидел Гвен. Она медленно поворачивала к нему голову. Мелко вьющиеся каштановые волосы упали на плечо, зацепились за камею. Внимательный взгляд больших карих глаз остановился на нем. «Вот тебе и клоунада в драме, как ты когда-то говорила, милая моя Гвен».

Иногда во сне являлся другой ее образ — страшный. Гвен утонула в Темзе. Она прыгнула с Баттерсийского моста, чтобы спасти ребенка, упавшего с баржи. Мальчик добрался до берега. А у Гвен случился сердечный приступ, она потеряла сознание и утонула. Денби опознал ее в морге, в мокрой одежде, со спутанными волосами. Как это в духе Гвен, говорил он себе потом долгие годы, броситься в марте с моста, чтобы спасти ребенка, который умел плавать. Только она могла выкинуть такое. В этом она вся. Действительно смешно.

— Бруно говорит: пауки появились на сто миллионов лет раньше мух,— сказала Аделаида.

— М-м-м.

— Чем же они тогда питались?

Денби уже спал, ему снилась Гвен.

Глава III

Найджел сидел в позе Лотоса на полу у дверей спальни хозяина и слышал все, о чем говорили Аделаида и Денби. Он ловко, бесшумно поднялся на скрещенных ногах. Из спальни доносился теперь только храп. Найджел скользнул вверх по лестнице в свою комнату и запер дверь.

В комнате темно. Дверь закрыта, толстые, как звериная шкура, шторы плотно задернуты. Где-то глубоко во тьме горит одинокая свеча. В черной рубашке, в черном трико, раскинув руки, кружит по комнате Найджел. У стены тускло поблескивает мебель. Коричневые стены отступают далекими арками от мерцающего круга, в котором вращается Найджел, прямой, как игла, как натянутая нить, узкий, как щель, сквозь которую упрямый ослепительный свет стремится проникнуть в этот загадочный мир.

Концентрическая вселенная. Круги завертелись быстрее и зазвенели. Священный город в экваториальном круге изумруда, в круге млечного пути жемчужины, в млечногалактическом круге, в галактике галактик, которая движется, застыв, где-то уже вне пространства. Частичка ржавчины, пылинка, невидимая пора в оболочке, через которую все просачивается, избывается.

Свеча выросла в огромный сияющий цилиндр, словно сотворенный из алебастра или кокосового мороженого. Он светится изнутри, пульсирует и дышит. Найджел упал на колени. Коленопреклоненный, раскачивается он в ритме своей беззвучной песни. Вначале был Ом, Омфалос, Ом Фаллос, черный нераздельный шар, лишенный сознания и индивидуальности. Из недреманного чрева времени выползает мгновение, которое не имеет ни начала, ни конца. Время порождает мгновения. На мрак надвигается мрак — сознание выделяется из бытия, колебания бьют крылами — и возникает звук, глаз всматривается в глаз — и возникает свет.

Найджел в сумраке стоит на коленях, он так велик, он затмевает собою небо. Маленькие руки трепещут, как волоски, но коленопреклоненный Найджел велик и размышляет о себе. Невольным движением он способен сокрушить миллион миллионов, когда почесывается, потягивается, разгоняет мириады суетливых ничтожеств, чей тысячелетний вопль для него лишь писк комара, попавшего между пальцами и случайно раздавленного, пока Найджел, стоя на коленях, размышляет о себе.

Свет с гудением прибывает, кромешная тьма рассеивается, гудение сменяется звуками хорала, возникает ослепительный нимб. Два невидимых, ужасных ангела обхватывают землю, обнимают, обвивают ее, пронизывая собою все земные пространства, единые, единящиеся в месмерическом торжестве. Любовь и смерть, преследующие друг друга и преследуемые друг другом.

Звуки стихают, и в пустынной мертвенно-бледной лазури меркнет золотой ореол. И вот он уже — лишь золотое пятнышко, сияющая крупинка, исчезающая вспышка, лазерный луч, мерцающая точка, вобравшая в себя весь свет. Обесцвеченная и обеззвученная тишь пульсирует и колеблется. ОН уже близко. Найджела охватывает трепет, он чувствует удушье и содрогается. Широко раскрытые глаза ничего не видят — он, Найджел, теперь провидец всего сущего, жрец, слуга бога. Время и пространство медленно отступают. ОН все ближе. ОН все ближе. ОН все ближе. Время и пространство сжимаются и отступают. Любовь — это смерть. Они едины.

Найджел хватается за сердце. Он задыхается, стонет, его шатает. Он падает ниц, ударяется лбом об пол. Глаза его скашиваются к переносице, он всматривается в сверкнувшую тьму. Существование — это агония, наказание, бич, бесконечно длящаяся пытка единого мига — мига уничтожения. Они едины.

Из другого, далекого мира его зовет старик, зовет и плачет, один в темноте уныло текущих ночных часов. Найджел с поразительной ясностью слышит его зовы и плач. Он лежит, распростертый на полу вселенной.

Глава IV

Такой чудесный парень
живет теперь у нас,
такой чудесный парень.

Напевая, Денби дружелюбно похлопал Найджела по спине. Найджел тряхнул длинными черными волосами, потупил глаза и, загадочно улыбнувшись, вышел.

— Денби, я собираюсь позвать Майлза,— сказал Бруно.

— О господи!

Бруно сидел в постели, откинувшись на подушки. Светлое одеяло было сплошь усеяно разноцветными марками. Сверху лежал открытый том монографии Герхардта Neue Untersuchungen zur Sexualbiologie der Spinnen[1]. Сегодня с головой у Бруно было получше. Только ноги ныли; но тошнотворная боль где-то в глубине его существа, способная доставлять такие страдания, почти отпустила. Он даже чувствовал легкую расслабленность и вялость. Бруно обстоятельно побеседовал по телефону со служащим из бюро погоды, который заверил его, что наводнения не будет. Вежливый голос незнакомого человека подействовал успокаивающе. И сам Бруно, поскольку он не называл себя, был просто голос, голос некоего безликого гражданина. Потом он набрал еще несколько заведомо перевранных номеров.

Ему нужно поговорить с Майлзом. Поговорить с сыном о самых обычных вещах — о делах в типографии, о его, Майлза, работе, рассказать, как добр Денби и какой молодец Найджел. Они бы говорили и говорили, в комнате бы постепенно смеркалось, и вот незаметно зазвучали бы имена Парвати, Джейни, Морин, и с тихой, сдержанной грустью они созерцали бы их призрачные тени. Майлз держался бы сначала несколько отчужденно, но стоило бы ему услышать, как чистосердечно и смиренно говорит о них Бруно, он бы опустил голову, а потом поднял на отца взгляд, преисполненный нежности, и вот в доме воцаряется целительный дух примирения. Каждый раз, когда Бруно мысленно повторял «целительный дух примирения», на глазах у него выступали слезы. Ему теперь ничего не стоило расплакаться. Любая газетная заметка о потерявшейся собаке или кошке вызывала у него слезы. Даже очерки о жизни королевской семьи.

Все возвращается к своим истокам. Этим многое можно объяснить. Отец дал ему имя Бруно, с которым мать так и не свыклась, она называла его Топтыжкой, Медвежонком. Как он, сын своей матери, мог так испортиться, развратиться и вообще стать плохим человеком? Да и в самом ли деле он плохой человек, а если да, то до какой степени? По статистике большинство мужчин постоянно обманывают жен. У него была только Морин. После смерти Джейни он разве что несколько раз пожал руку женщины, это было еще в Ноттинг-Хилле. Он вел поистине целомудренную жизнь. Его терзали обвинители, а не собственная вина.

Все, как теперь казалось, было игрой случая. Могла же сложиться его судьба иначе в тот вечер, когда он сделал Джейни предложение в Сент-Джеймсском театре, где воздух был напоен комплиментами и Шекспиром, в сладком мороке лондонского сезона? Он написал на программке: «Джейни, выходите за меня замуж», свернул бумажку и бросил ее в ложу со своего места в партере. Она поймала записку на лету и, слегка улыбаясь, прочла ее, когда уже начал гаснуть после антракта свет. Давали «Двенадцатую ночь». Потом Бруно метался как угорелый, разыскивая Джейни в переполненном фойе. Она обернулась и, не оставляя своей компании, легонько хлоп-

[1] Новые научные изыскания в сексобиологии пауков *(нем.)*.

нула его веером по руке. «Мне нравится ваше предложение, Бруно. Приходите завтра, мы все обсудим».

И это продолжалось — выкрутасы, острословие, искусственный блеск — вплоть, как ему теперь казалось, до того момента в наводненном толпой Харродзе, когда Морин вступила в единоборство с платьем. В то время еще только начинали входить в употребление молнии. Бруно, который часто покупал Морин наряды, привычно стоял перед зашторенной примерочной. Снимая через голову платье, Морин застряла в нем, потому что не расстегнула до конца молнию. Она выскочила к Бруно, запутавшись в платье, из-под которого виднелось кружевное белье, руки ее беспомощно болтались. «Быстрее, Бруно, стяни его, я не могу дышать». Бруно рассмеялся и начал стаскивать платье. Потом он вдруг испугался. «Подожди, Морин, глупышка. Да не задохнешься ты. Платье рвется». Платье снялось. И тут, взглянув поверх обнаженного плеча Морин, Бруно встретился глазами с Джейни. Она отвернулась и скрылась среди покупателей. Бруно, для которого Морин тотчас перестала существовать, бросился вслед за Джейни. Он с отчаянием стал разыскивать ее в неторопливой толпе, как много лет назад в театре. Вдруг он увидел ее, кинулся к ней, но не догнал. Бруно вернулся и расплатился с продавцом за порванное платье. Морин тоже исчезла. *Ты научил меня любить. Теперь научи, как тебя забыть.*

Дома, ожидая возвращения Джейни, Бруно ощущал, что время изменило теперь свой ход, возможно навсегда. Джейни не было до позднего вечера. Она настояла на том, чтобы Бруно повел ее к Морин. И как это ей удалось? Невыносимо было чувствовать, что тебя наказывают. Джейни вошла в квартиру Морин, проскользнув впереди него, и заперла за собой дверь. Бруно слышал голос Джейни и потом плач Морин. Он постучал в дверь, требуя, чтобы его впустили. Из соседних квартир выглядывали любопытные жильцы. «Жена отчитывает его мадам!», «Попался, голубчик? — издевались они.— Плохи дела, старик». Им было смешно. Бруно ушел домой. И снова потянулось ожидание. Он никогда больше не видел Морин. А Джейни навещала ее несколько месяцев кряду. «Пусть поймет, что она натворила, я хочу, чтобы она знала, как мы были счастливы прежде. Я хочу ей помочь». Неудержимая в своей мстительности Джейни, слабая, беззащитная Морин. Через несколько лет после смерти Джейни он дал объявление в «Таймс»: «Морин. Радость счастливых дней. Пожалуйста, дайте о себе знать Б. Г. Только разговор о прошлом». Она не откликнулась. Ничего другого он и не ждал. Это была попытка снискать прощение у тени. Много лет спустя он наткнулся на страшную заметку в газете. Миссис Морин Дженкинс, вдову, проживавшую в Крикльвуде, соседи нашли дома мертвой, она задохнулась, запутавшись в платье, которое снимала через голову. Помещена была и фотография толстой пожилой женщины. Он так и не смог разобрать, его ли это Морин.

Денби подошел и присел на край кровати. Собрал горкой марки.

— Будь поосторожнее с марками, Бруно. На днях я нашел на полу «Маврикий».

— Ничего с ними не случится.

— Они могут провалиться в щель.

— Нет здесь щелей. Такая грязища в комнате, какие там щели. Они давно забиты.

— По-моему, тебе незачем видеться с Майлзом.

— Ты ничего не понимаешь. Есть вещи, о которых я могу говорить только с ним.

— Хочешь исповедаться?

Бруно промолчал. Он опустил глаза, любовно окинул взглядом невинные, веселые личики марок. Потом посмотрел на крупное, кра-

сивое лицо Денби. Странные эти человеческие лица. Они разнятся даже по величине, не говоря уже о прочем. А Денби неглуп.

— Может быть.

— Ну так исповедуйся мне. А еще лучше — Найджелу. Он в ладах с потусторонним.

— Почему ты против нашей встречи?

Бруно почувствовал, что у него дрожит голос. Его охватил страх, как это случалось с ним порой, стоило ему представить себе полную свою беспомощность. Он пожизненный узник в этом доме. Не захотят допустить к нему Майлза и не допустят. Могут не выполнить поручение. Не отправить письмо. Существует, правда, телефон. Но могут обрезать провод. Бредовые мысли, конечно.

— Ты плохо представляешь себе это,— сказал Денби.— Вы только раздосадуете друг друга. Ты ведь возлагаешь большие надежды на эту встречу. А вы обязательно наговорите что-нибудь такое, отчего ты расстроишься.

— Мне надо увидеться с ним,— сказал Бруно, перебирая марки и глядя на свои жалкие руки в пятнах. Руки похожи были на гигантских пауков.

— Что это тебе вдруг приспичило, ты же столько лет обходился без него? Даже на письма не отвечал.

— Не так уж много времени прошло.— Бруно невольно посмотрел на свой халат.

— Майлз может и не прийти,— сказал Денби.— И это будет для тебя ударом. Об этом ты подумал?

Об этом Бруно не подумал.

— Конечно, подумал. Но по-моему, он придет. Я должен видеть его. Пожалуйста, Денби.

Денби, казалось, огорчился. Он встал, подошел к окну, приглаживая на затылке волосы.

— Смотри сам, Бруно. Конечно, ты волен поступать как знаешь. Тебе совсем не нужно меня упрашивать. Ведь надеюсь, ты не думаешь... Естественно, я допускаю... Это не... уверяю тебя, я беспокоюсь только о тебе. Не придется ли тебе потом мучиться?

— Я и так мучаюсь. Лучше что-то предпринять.

— Этого я не понимаю. Ну да ладно, действуй. Никто не станет тебе препятствовать.

— Не сердись, Денби. Я не выношу, когда ты сердишься.

— Да я не сержусь, боже избави.

— Так ты пойдешь к нему?

— Я? Почему я?

— Не мешало бы сходить на разведку,— сказал Бруно.

Мысль о том, что Майлз может попросту не явиться, очень испугала его, такое Бруно и в голову не приходило. Возможно, Денби прав, рисковать не стоит. Он слишком погружен в себя. А вдруг он напишет и не получит ответа? А вдруг сразу положат трубку, если он позвонит? Тогда его ждут еще бóльшие мучения, вереницы, галереи мук. Те, что были, и вдобавок новые.

— Ты имеешь в виду разузнать, придет ли он? Может быть, даже уговорить его прийти?

— Да.

Денби улыбнулся:

— Бруно, дорогой, да какой же из меня посол? Мы с Майлзом не очень-то ладили. Да и не виделись столько лет. Он считал, что я недостоин его сестры.— Денби помолчал.— Был недостоин его сестры.

— Но у меня больше никого нет,— сказал Бруно. Голос его сделался хриплым. Он откашлялся.— Ты член семьи.

— Ну хорошо. Когда к нему пойти? Завтра?

— Нет, не завтра,— сердце у Бруно бешено забилось. Что-то из всего из этого выйдет?

Денби пристально посмотрел на него.

— Доктор бы нас за это не похвалил.

— Теперь это уже не имеет значения.

— Может, тебе написать ему?

— Майлзу? О чем? Спросить, примет ли он меня?

— Да. Только не спеши. То есть дай ему время подумать. Сгоряча он может и отказаться. А если дать ему подумать, он придет.

— Хорошо, хорошо. Ты сочинишь письмо? Я ведь не умею писать писем.

— Нет, ты сам его сочинишь. Но не сегодня.

Вошла Аделаида и бросила на кровать «Ивнинг стандард». Марки потоком хлынули на пол.

— Минут через десять принесу чай. Вы что будете, булочки или бутерброды с анчоусами?

— Пожалуйста, булочки, Аделаида.

Дверь закрылась. Денби собрал марки и положил их в шкатулку. Отец Бруно не одобрял кляссеров, находя, что они портят марки, и всю жизнь безуспешно пытался изобрести что-нибудь другое; и хотя он был большим поборником эстетической стороны своего хобби и проповедовал сыну, что человек, у которого не возникает желания полюбоваться марками, всего-навсего жалкий лавочник, а не филателист, он тем не менее никогда не держал марки в кляссерах. Он заказал большую шкатулку из черного дерева с узенькими выдвижными ящичками, в которых марки лежали в целлофановых кармашках, сложенных гармошкой. Однако Бруно, еще бóльший эстет в отношении марок, чем отец, давным-давно внес неразбериху в эту тщательно продуманную систему. А с недавнего времени он и вовсе стал отбирать любимые марки и сваливать их в верхний запасной ящик.

— Ладно, Бруно,— сказал Денби.— Все это пустяки. Не волнуйся. Посмотрим, что из всего этого получится. Помочь тебе дойти до туалета?

— Нет, спасибо. Я сам.

— Ну, я пошел. У меня встреча в «Шарике». Пока.

Он думает, я не решусь встретиться с Майлзом, размышлял Бруно, потихоньку передвигая ноги к краю постели, но я решусь. Хотя встреча эта и страшит, поскольку она чревата последствиями, чем-то совершенно непредвиденным, грозит опасностью получить новую рану. Переместив ноги к краю постели, он передохнул. А вдруг Майлз не явится, вдруг пришлет враждебный ответ? А вдруг придет и будет неприветлив? А вдруг Бруно почувствует непреодолимую потребность заговорить о смерти Джейни и Майлз обрушится на него с проклятиями? Майлз способен на это, он ведь такой невыдержанный мальчик. Он умеет ранить, и пребольно. Пожалуй, Денби прав. Лучше умереть спокойно.

Бруно свесил ноги в чулках с постели и опустил их на пол. Казалось, за время между прогулками до туалета он отвыкал ходить. Согнутые под одеялом ноги деревенели и теперь подкашивались. Приучаться каждый раз ходить заново было мучительно. Бруно постоял, согнувшись, держась рукой за кровать. Цепляясь за кровать, он двинулся к двери. Добравшись до спинки кровати, он мог уже, не теряя опоры, дотянуться до халата, висевшего на двери.

Конечно, теперь, когда зима прошла, надевать халат было необязательно, но без халата как-то неприлично. Да и не так уж это и сложно. Продолжая держаться левой рукой за кровать, правой он снял с двери халат и быстро сунул ее в рукав. Потом приподнял руку повыше, и рукав наделся сам собой. Теперь, опираясь правой

рукой о дверь, левой нужно было поймать пройму другого рукава. Если ему это не удавалось, халат падал на пол, свисая с правого плеча. Приходилось сбрасывать его и оставлять на полу. С пола поднять халат он уже не мог.

Справившись с халатом, Бруно поудобнее натянул его на плечи левой рукой и запахнул полы. Он тяжело дышал от напряжения. Медленно опустив правую руку на погнутую латунную ручку, Бруно стал открывать дверь и выбираться по своей привычке бочком из комнаты. В конце концов он повернулся к ней лицом и какое-то мгновение созерцал свою тюремную камеру со стороны: старое индийское хлопчатое стеганое одеяло с выцветшим узором черных завитков, напоминающих каллиграфическую вязь древнего письма, деревянная со спинками кровать, донельзя неопрятная. Простыни сбились. Одинокое, убогое ложе инвалида, на время его покинувшего. В холодном, послезакатном свете на грязном, зашмыганном полу вырисовывался небольшой квадрат ветхого коричневого ковра, истертым краем засунутого под кровать. Линялые обои с потускневшими листьями плюща испещрены бурыми пятнами. Эта маленькая комната долгие годы пустовала. Бруно занял ее, потому что она была рядом с уборной. Справа — книжный шкаф с треснувшей мраморной столешницей, на которой среди пустых бутылок из-под шампанского стояла фотография Джейни. На верхних полках — книги в бумажных обложках, очень старые. Нижние полки заняты микроскопом и колбами на подставках с заспиртованными пауками. Слева, за дверью,— расшатанный раздвижной стол и на нем — драгоценная шкатулка с марками. Денби обычно забирает ее на ночь к себе в комнату, надеясь, вероятно, что Бруно когда-нибудь не вспомнит о ней и можно будет отдать ее в банк. Под столом — нераскупоренные бутылки шампанского. По предписанию врача Бруно пьет его неохлажденным. Огромные книги о пауках, которым не хватало места в книжном шкафу, разбросаны по всей комнате — на комоде, на обоих стульях, вокруг лампы, на маленьком столике у кровати. В окно видны часть мокрой шиферной крыши, медленное, неуловимое коловращение облаков на кофейном небе и одна из трех труб электростанции Лотс-роуд, вырисовывающаяся черным силуэтом в меркнущем свете.

Бруно повернулся и, опираясь рукой о стену, начал свое странствие в туалет. Туда вела темная длинная полоса на обоях, след множества подобных странствий. Дверь уборной, слава богу, открыта. То есть дверная ручка застопорена. Найджел хорошо придумал — не защелкивать дверь уборной, когда там никого нет. Он горазд на всякие выдумки, создающие удобства для Бруно. Рука Бруно ползет по стене. Наверняка Парвати не виновата, это Майлз посеял вражду. Парвати бы все поняла. Ее родители — брамины — тоже были против их брака. Они так и не захотели познакомиться с Майлзом. Если б только Бруно сам увидел Парвати, все бы уладилось, перед ним была бы живая девушка, а не какая-то там индианка. Да он и не собирался серьезно им мешать, просто сказал, что не хотел бы иметь цветную невестку. Он уже забыл, что чувствовал тогда. Если верить Майлзу, он был ярым противником их брака. Это неправда. Бруно смутно помнит, как отказывался от своих слов и холодное, высокомерное негодование Майлза. Что само по себе несправедливо.

В уборной Бруно закрыл дверь и прислонился к ней. Только он начал возиться с пижамой, как что-то упало на пол у самых ног. Он тотчас определил, что это pholcus phalangioides, лишившийся из-за него гнезда на двери, или, может быть, в углу, где он свил причудливую, едва заметную паутину, которую не увидела во время уборки Аделаида. Паук не шевелился. Странно, неужели он мог зашибить его рукавом? Бруно осторожно тронул паука ногой в чулке.

Насекомое лежало неподвижно со скрюченными длинными лапками. Возможно, паук притворялся мертвым. Стараясь не наступить на него, Бруно опустил стульчак и сел. Он оторвал клочок туалетной бумаги, наклонился и аккуратно подцепил крохотное тельце. Паук соскользнул в бумажку вместе с ворохом ворсинок и пыли. Слегка шевельнулся. Наверное, Бруно повредил ему что-то. Но без микроскопа или увеличительного стекла он не мог определить, что именно. Он попытался вглядеться в паучью физиономию, однако без очков все сливалось в одно пятно. Теперь он не держал пауков в неволе подолгу. Год назад ему вдруг страстно захотелось снова повидать красавца micromatta virescens, и он отправил Найджела, снабдив его фотоснимком, в Баттерси-парк. Найджел вернулся без micromatta, зато банка была битком набита самыми разнообразными пауками, два из которых, бедняжки ciniflo ferox и oonops pulcher, уже умерли; возможно, их прикончил свирепый drassodes lampidosus, вместе с которым они оказались в заточении. Бруно отложил увеличительное стекло и велел Найджелу сейчас же выпустить их всех во двор. Да, никогда он не был настоящим ученым.

Pholcus phalangioides не подавал больше признаков жизни. Должно быть, Бруно придавил его, когда прислонился к стене. Он бросил паука на пол и, оторвав еще туалетной бумаги, накрыл его и придавил едва ощутимый комочек пяткой.

Бруно снова почувствовал, как подступают слезы. Женщины были по-прежнему молоды, он же одряхлел, как Тифон. А вдруг, умирая, Джейни хотела его простить? Вот она протягивает к нему руки: «Бруно, я прощаю тебя. Прости, пожалуйста, и ты. Я люблю тебя, мой дорогой, люблю, люблю». Теперь он этого никогда не узнает. Самое главное в жизни упущено без возврата.

Глава V

— Как там мой ненаглядный братец? — спросил Аделаиду де Креси ее кузен Уилл Боуз.

— Ничего,— недоверчиво взглянула на него Аделаида.

Она плохо себе представляла, как близнецы относятся друг к другу. Порой они казались врагами, но определить их истинные чувства было невозможно.

— Ну и работенка у него. Уму непостижимо, как он выносит этого старого идиота.

— Он так добр к Бруно,— сказала Аделаида.— Это что-то невероятное.

— У Найджела не все дома, если хочешь знать. Лучше бы он оставался в театре.

— Посмотри, до чего тебя довел твой театр!

— Будь я одет поприличней, мне бы дали хорошую роль.

— Во всяком случае, денег ты у меня больше не получишь.

— А я прошу, что ли?

— Просто ты добрался уже и до тетиной пенсии.

— Да ладно тебе!

— Денби сказал: если хочешь, можешь покрасить фасад.

— Передай ему, пусть сам красит.

— Не будь дураком, Уилл. Денби прошлый раз хорошо тебе заплатил. Слишком даже.

— Вот именно. На черта мне его подачки.

— Но ты же должен зарабатывать на жизнь, как все люди.

— Все люди слишком много думают о деньгах.

— А ты побираешься.

— Господи ты боже мой! Я еще продам свои рисунки. Вот увидишь.

— Эту порнографию, на которую ты даже и взглянуть мне не дал?

— Порнография никому не приносит вреда. В том числе и тебе. Если бы все политиканы увлеклись порнографией, мир бы от этого только выиграл.

— Да кто купит такую гадость?

— Покупатель есть. Выйти бы на него.

— По-моему, тебе надо заняться чем-то одним, а не хвататься за все без разбору.

— Что поделаешь, Ади, такой уж я разносторонний.

— Ты и в стрельбе продолжаешь упражняться?

— Мужчина должен уметь постоять за себя.

— Витаешь в каких-то снах. Такой же глупый, как и Найджел.

— Подожди, Ади. Вот куплю себе камеру что надо. Фотографией тоже можно заработать.

— Сначала порнография, потом фотография. Камеру «что надо» тебе никогда не купить.

— Ладно, ладно!

— Vot serdeety molodoy[1].

— Тебя тут только не хватало, тетя, с твоими бреднями.

— Shto delya zadornovo malcheeka[2].

— По-моему, она совсем чокнулась.

— Не тараторь, тетя, а то затолкаем тебя в мусорный ящик. Иди пиши свои мемуары.

Аделаида приезжала каждое воскресенье готовить обед тете и Уиллу. При нем она предпочитала называть это ленчем. Вообще-то квартира была тетина. Уилл поселился здесь, когда потерял работу. Тетя была немного не в своем уме, но с домашними делами вполне справлялась. Аделаида готовила незамысловатый обед, поскольку ни Уилл, ни тетя не были особенно привередливы, а Уилл интерес к еде вообще считал буржуазным предрассудком.

Тетя, на самом деле им вовсе никакая не родственница, а просто поклонница таланта братьев еще во времена их увлечения театром, когда она сдавала комнаты актерам на севере Англии, в последние годы была не совсем в ладах с реальностью. Почитала себя русской княжной, заявляла, что намерена продать свои драгоценности, что пишет мемуары о царском дворе. А в последнее время ей, казалось, вообще изменила способность изъясняться вразумительно. Зайдя в магазин, она тыкала пальцем в то, что хотела купить, или разражалась потоком никому не понятных слов. Правда, известные им русские «да» и «нет» она вполне могла вычитать в газетах. Тетя занимала темную полуподвальную квартиру в Кемден-Тауне. Выглядело ее жилище весьма необычно. В нем всего было слишком много, в том числе и фарфоровых безделушек, которых не убывало, даже несмотря на обыкновение Уилла разбивать все вдребезги в припадке ярости. Мебель не помещалась у стен. Длинный сервант и высокий шкаф стояли поперек гостиной, что мало кому мешало, поскольку туда редко кто заходил. Жизнь в основном протекала на кухне. Уилл хотел было «подсовременить» квартиру, но его хватило только на покупку невообразимо уродливого металлического стула, который стоял теперь в прихожей, милосердно скрытый от чужих взоров наваленной на него одеждой.

В кухне, и так темной, сегодня было еще темнее обычного из-за дождя, пришлось включить электричество. Лампочка без абажура уныло освещала кухонный стол, за которым они сидели, доедая жареную баранину. Тетя, в очках с толстыми стеклами в металлической оправе, рассеянно улыбалась, более чем обычно погружен-

[1] Здесь и далее «тетя» говорит на непонятном для Уилла и Аделаиды русском языке: «Ох и грубиян!»

[2] Что творит, озорник!

ная в мысли о «царском дворе». У нее была привычка всматриваться в стекла очков, словно на них запечатлелись одной ей видимые сцены. Когда-то она была красивой. Высокая, со слегка отливающими голубизной волосами, тетя носила длинные юбки и очень длинные пуловеры, которые вязала себе из оранжевой шерсти. Ее лицо приобрело землистый оттенок и расплылось, но глаза оставались яркими и живыми. Казалось, потеря рассудка не сделала ее несчастной.

Аделаиду тяготила собственная аристократическая фамилия. Ее мать Мэри Боуз вышла замуж за благопристойного зажиточного плотника по имени Морис де Креси. «Мы ведем свой род от гугенотов»,— заученно повторяла еще девочкой Аделаида, хотя даже не знала толком, кто такие гугеноты и как пишется это слово. В школе, где она стояла в списке между Минни Даукинс и Доррис Доби, по поводу ее фамилии часто острили, и вскоре Аделаида заметила, что первоклассницы и те с любопытством поглядывают на нее. Вероятно, из-за фамилии Аделаида стала задумываться о социальной иерархии и о том, кто же она такая на самом деле. Всю жизнь ей не давали покоя эти вопросы. Ее родители, простые люди, жили в Кройдоне и обедали на кухне. Когда Аделаида подросла, она тщетно пыталась уговорить их есть в столовой. Потом сама заняла столовую и, назвав ее кабинетом, уставила безделушками из антикварных лавок. Но выглядела эта комната как-то неестественно. Брата Аделаиды, который был старше ее на десять лет, не тревожили подобные проблемы. Он стал программистом, женился и переехал в Манчестер, где жил на окраине, без всяких претензий.

Аделаида была способной ученицей, однако в пятнадцать лет бросила школу и пошла работать в страховую компанию. Она научилась печатать на машинке в расчете устроиться секретаршей какого-нибудь босса. Когда компания переехала из Лондона в другой город, Аделаида нашла место продавщицы в фешенебельном магазине, надеясь со временем стать его покупательницей. Но никто не оценил ее талантов, и она поступила на почту. У нее появилось чувство, что она осталась за бортом. В минуту отчаяния Аделаида откликнулась на хитро составленное объявление Денби о том, что требуется домоправительница. Она ожидала попасть в респектабельный дом. А когда оправилась от удивления, было поздно. Она влюбилась в Денби. Домоправительницей она по сути не стала, потому что Денби, у которого были наклонности старой девы, всем занимался сам, включая покупки. Аделаида лишь убирала в доме и готовила. Была прислугой. Денби называл ее Прислуга Аделаида и сочинял про нее шуточные песенки. Сочинил он их с полсотни. Денби относился к ней несерьезно, как почти ко всему на свете, и это задевало ее. Однажды он сказал: «У тебя фамилия шлюхи из знаменитого романа». Аделаида ответила: «Ну что ж, я и есть шлюха». «Все хорошенькие девочки такие»,— признал он вместо того, чтобы опровергнуть. Аделаида не стала расспрашивать о своей однофамилице, она знать ее не хотела. Только думала с горечью: «Я всего лишь жалкое подобие знаменитой шлюхи».

Отец Аделаиды умер, когда ей не было двенадцати лет, и мать, беспомощная и неуверенная в себе, вместе с Аделаидой перешла на иждивение Джозефа Боуза, отца Уилла и Найджела. Брат жил уже в Манчестере. Жена Джозефа, в прошлом актриса, не вынесла раздражительного характера супруга и, оставив семью, вернулась на сцену. Трое Боузов приковали к себе все помыслы осиротевших матери и дочери. Это семейство и раньше волновало воображение Аделаиды; мальчики-близнецы, которые были старше ее всего на три года, стали ей ближе родного брата. Она влюбилась одновременно в обоих, в те времена слегка отдавая предпочтение Найджелу. Была она влюблена и в дядю Джозефа, хотя относилась к нему не

без страха из-за его вспыльчивости. Он был неотразим со своими черными усами и бородой, служил в навигационном бюро и держал себя заправским моряком.

Детство, проведенное с близнецами, было не только самой счастливой порой, но, как часто казалось Аделаиде, оно было и наиболее подлинной частью ее жизни. Она была сорвиголовой и наравне с мальчиками принимала участие во всех их играх — рыскала по строительным площадкам, взбиралась на леса, оставляла следы на незатвердевшем цементе, удирала от сторожей и воровала кирпичи. «А можно Уилл и Найджел придут к нам пить чай? А можно я пойду пить чай к Уиллу и Найджелу?» По субботам они приглашали ребят играть в крикет на заднем дворе Боузов. И конечно, всегда выходили победителями. Они составляли маленькое тайное сообщество. Все трое были будто созданы друг для друга. Потом, когда близнецам исполнилось девятнадцать лет, они удрали от дяди Джозефа к матери и поступили в театр.

Аделаида работала тогда в страховой конторе. Их бегство ошеломило ее. Ведь и после того, как миновали времена, когда они воровали кирпичи, они по-прежнему оставались дружны. Ходили в театр, в кино, и мальчики, будучи старше Аделаиды, незаметно оказывали влияние на ее развитие. Она прислушивалась к их разговорам, читала книги, о которых они говорили. Братья будто не замечали, что она взрослеет, хотя порой отпускали шуточки по поводу ее миловидности. Аделаида ревновала их к девочкам, с которыми они дружили. Она уже подумывала о том, чтобы выйти замуж за одного из них, только не могла решить, за которого.

И вот близнецы исчезли из жизни Аделаиды, хотя слухи о них иногда доходили до нее. Им прочили блестящее будущее. А потом оказалось, что Найджел оставил сцену и работает кем-то в Лидсе. Уилла как-то раз показывали по телевидению в небольшой роли, но Аделаида была тогда на работе и не смогла его увидеть. Мать близнецов умерла, говорили, что она спилась. Когда и ее мать умерла, Аделаида сняла комнату. Она меняла одну работу за другой. У нее было много поклонников, порой весьма настойчивых, но она не доводила дело до постели. По сравнению с близнецами все они казались посредственными, недалекими, неинтересными. Уилл устроился в какую-то труппу в Шотландии. И неожиданно начал писать ей любовные письма.

Ему одиноко, он с грустью вспоминает детство; ну и что, думала Аделаида, может, это ничего и не значит. Все же ей было очень приятно. Она сердечно отвечала, первое время стараясь быть сдержанной, но вскоре ее письма стали не менее романтичными, чем его. Оба с наслаждением писали друг другу, их послания превратились чуть ли не в произведения искусства. Аделаида даже оставляла себе копии. Уилл твердил, что собирается на юг, но все не приезжал. Дядя Джозеф уволился из навигационного бюро и перебрался в Портсмут. Уилл намекал на какую-то хорошую должность в Уэст-Энде. Наконец он вернулся в Лондон безработным, поселился у тети и сделал Аделаиде предложение.

Аделаида не могла разобраться в своих чувствах. Они долго не виделись, и Уилл изменился. Он стал очень привлекателен и напоминал дядю Джозефа. Возмужал, отпустил усы. И всегда-то более плотного сложения, чем Найджел, теперь он напоминал игрока в регби викторианских времен. Крупный, румяный брюнет с аккуратно подстриженными довольно длинными волосами и размеренными движениями. И еще, как вскоре заметила Аделаида, в нем проявился нрав дяди Джозефа, и она не могла не признать, что это очень ее смущает.

Все осложнилось еще и тем, что Аделаида, встретившись с Уиллом, тотчас решила, что предпочитает Найджела. Если бы только их

не было двое! Она не видела Найджела несколько лет, ничего не слышала о нем, и никто не знал, где он. Ее преследовал образ темноволосого стройного юноши, и она не могла разобраться, Найджел это или Уилл, каким он был прежде. Она надеялась, что Уилл не почувствует этого. Но Уилл почувствовал и расколотил всех тетиных фарфоровых попугайчиков. Найджел вернулся в Лондон, поступил санитаром в Королевскую больницу для бедных [1]. Аделаида наврала Уиллу с три короба, и тайком отправилась на свидание с Найджелом. Ничего хорошего из этого не вышло. Найджел держался холодно, был рассеян, вял, отнюдь не ласков. Аделаида совершенно растерялась. Как раз тогда она и нанялась к Денби И влюбилась в него. Уилл весьма кстати уехал в Ист-Гринстед сниматься в фильме. Когда он вернулся, Аделаида была уже любовницей Денби.

Аделаида если и упоминала Денби об Уилле, то лишь вскользь, и, разумеется, скрывала от Уилла свои отношения с хозяином. Ей удалось внушить Уиллу, что он зря ревнует ее к Найджелу, и это оказалось легко, поскольку было правдой. Аделаида уже не испытывала влечения к Найджелу, хотя иногда он вызывал у нее какое-то смутное чувство тревоги. Она не могла простить ему того, что он не откликнулся на ее жалкий откровенный призыв. Найджел тоже изменился, и она побаивалась его. Он будто жил в ином мире. Она весьма неблагоразумно обмолвилась Денби, что у Найджела есть кое-какой опыт по уходу за больными и что сейчас он без работы. Денби, несмотря на все отговорки Аделаиды, тут же ухватился за идею нанять Найджела. Поначалу Аделаида думала, что присутствие Найджела в доме сделает ее жизнь невыносимой, но потом привыкла, хотя все же это тревожило и пугало ее. Впрочем, откуда Найджелу знать, что происходит ночью в пристройке, а если б он и догадался, то все равно ничего не стал бы рассказывать Уиллу, с которым, кажется, у него прервались всякие отношения. Не рассказал же он Уиллу об их свидании.

К Денби она уже относилась по-иному, что, однако, нисколько не уменьшило ее рабской любовной привязанности к нему. Аделаида по-прежнему оставалась в плену его обаяния, красоты, жизнерадостности. Она была до странности растрогана рассказом о его погибшей жене, чью фотографию на рояле в гостиной она ежедневно протирала. Большие задумчивые глаза, густые мелко вьющиеся темные волосы, бледное выразительное лицо, припухший, хорошо очерченный рот. Когда бы ни заговаривал Денби о жене, а это случалось очень часто, голос его менялся, менялось и выражение глаз, в них появлялось что-то серьезное, почти несвойственное ему, даже если они искрились смехом. Аделаиде это нравилось. Загадочный отсвет ложился как бы и на их откровенно легкую связь. Ей виделось в Денби нечто от смеющегося, увенчанного виноградными листьями лесного бога, веселого, но также исполненного мощи. С самого появления ее в доме он держался с ней дружески-фамильярно, постоянно похлопывая по плечу или по спине; как оказалось потом, он вел себя точно так же и с типографскими рабочими, и с официанткой в «Шарике», и с девчонкой из табачной лавки, и с временной прислугой, и с молочником. Как-то раз он вошел к Аделаиде, долго смотрел на нее, сосредоточенно и молча, потом поцеловал и сказал: «Как ты насчет этого, Аделаида?» Она чуть в обморок не упала от радости.

Любовником Денби оказался далеко не богоподобным. Дело было совсем не в том, что она тревожилась за свое будущее. С самого начала он всерьез заверил ее, что рассчитывает на длительные отношения и что в старости она будет обеспечена. Аделаида, которая не думала о старости и приняла бы предложение Денби в

[1] Бесплатная больница, находящаяся на попечении благотворительного общества.

любом случае, выслушала эти торжественные заверения с некоторым замешательством. Позже она стала черпать в них отраду. В те минуты, когда Аделаида чувствовала, особенно впоследствии, что она многим пожертвовала ради Денби, утешительно было думать, что по крайней мере в итоге она хоть что-то да выиграла.

Неполное наслаждение в постели устраивало ее. Она боялась забеременеть. Ей доставляло радость, что ему хорошо с ней, ее трогали его нежность и восторг от того, что он у нее первый. Так уж оно устроено, думала Аделаида, любой мужчина, когда узнаешь его как следует, оказывается законченным эгоистом. Денби делал все, как ему хотелось, нимало, казалось, не заботясь о том, что это может не нравиться Аделаиде. Она затруднилась бы точно припомнить, чем он сердил ее, но в глубине души понимала, что не много для него значит. Пожалуй, если все взвесить, высокомерие Денби основывалось на том, что она ему неровня. Аделаида чувствовала порой это высокомерие, едва уловимое и вместе с тем постоянное, вездесущее. Она ощущала почти физически эгоизм Денби и свою беззащитность, лежа без сна долгими ночами после близости с ним и не понимая, почему с ней рядом в постели это толстое, потное, волосатое тело. Но открытие его изъянов, даже его посредственности, только усиливало ее любовь.

Уилл между тем был поразительно настойчив. Упорство же Аделаиды оставалось для него непостижимым, и он самоуверенно ожидал ее неминуемой капитуляции. Она положила много сил, дабы внушить ему, что у нее никого нет. Сначала разыгрывала из себя старую деву. Потом как-то попробовала намекнуть, что она лесбиянка, но Уилл так расстроился и разбушевался, что она больше к этому не возвращалась. Денби никогда не вызывал у него подозрений скорее всего потому, что Уилл принадлежал к числу людей, нечувствительных к его обаянию. Уилл считал его ослом. Время, которое все сглаживает, превращает самые невероятные ситуации в привычные и обыденные, и тут сделало свое дело. Аделаида перестала постоянно бояться, что Уилл узнает о Денби, хотя порой ее еще и охватывал страх. По воскресеньям она приходила к тете, где ее преданно ждал пылкий, обидчивый и напористый Уилл. Она оделяла его деньгами из скромных сбережений, накопленных от щедрот Денби, который давал ей деньги на наряды. После ленча наступало самое неприятное время, когда тетя уходила отдыхать и Уилл становился особенно навязчивым и ершистым. Но Аделаида научилась с ним управляться. Не вполне это сознавая, она была даже немножко рада, что у нее есть еще и Уилл.

Хотя Аделаида и видела, что Уилл такой же себялюбец, как и Денби, брат по-прежнему казался ей благородным и незаурядным человеком. Она восхищалась его равнодушием к неустроенности, его здоровым убеждением, что он «рабочий касс». На самом деле это было совсем не так. Обладая самыми разнообразными артистическими наклонностями, он скорее принадлежал к богеме. Аделаиду восхищало даже то, что он не боялся оставаться без работы. Несомненно, он был талантлив. Как-то он показал ей целую серию своих рисунков, на которых были изображены чудища, странные эмбрионы и отвратительные щетинистые существа с человекоподобными лицами, напугавшие и поразившие ее. Были у него и порнографические рисунки, один из них попался однажды ей на глаза, и ее едва не стошнило. В Уилле была какая-то сокрушительная сила, которой она побаивалась и которая вместе с тем ее волновала. Но она была осторожна и осмотрительна в отношениях с ним и усвоила для себя роль ворчливой сестрицы.

Тетя слонялась по квартире, перед тем как уйти отдыхать. Аделаида мыла посуду. Уилл сидел за столом и курил.

— Ну и что Бруно делает целыми днями?

— Возится со своими марками. Без конца читает о пауках. Звонит по телефону кому попало. Читает газеты.

— Ужасно быть беспомощной развалиной. Я надеюсь не дожить до таких лет.

— К тому же он страшон до невозможности. Похож на твоих чудищ.

— Ну, я думаю, теперь уже не имеет значения, на кого похож бедный старикан. А марки-то, наверное, стоят кучу денег.

— Денби говорил — двадцать тысяч.

— И кому они достанутся?

— Наверное, Денби.

— Ты хоть немножко разбираешься в марках, Ади?

— Нет. А помнишь, ты тоже собирал марки?

— Да, и самые лучшие всегда воровал Найджел. Найджел — форменный жулик.

— А ты всегда лупил его. Ты форменный хулиган.

— Может быть. Интересно, есть у Бруно «Треугольный Мыс»?

— Что это такое?

— Мыс Доброй Надежды, треугольные марки.

— Какие-то треугольные у него есть. Я видела. Только не знаю какие. Чашка тебе больше не нужна?

— Ади, и ты видела все его марки?

— А как ты думаешь? Конечно. Я трачу на них полжизни: собираю с пола, кладу на место, приношу опять...

— Где он их держит? В кляссерах?

— В шкатулке с ящичками, в целлофановых кармашках. А некоторые валяются в шкатулке просто так. Они у него в ужасном беспорядке.

— Может, ты посмотришь, есть ли там «Треугольный Мыс»? Я тебе покажу, как он выглядит.

— А почему тебя это интересует? Ты же давно забросил марки. Все это детские игрушки.

— Двадцать тысяч фунтов — не детские игрушки, Ади.

— Люди с ума посходили. Платят такие деньги.

— «Треугольный Мыс» на прошлой неделе купили за двести фунтов, я в газете читал.

— Тебе бы его иметь, да?

— Я и собираюсь заиметь его, Ади.

— Каким образом? Как ты его добудешь?

— Ты мне добудешь его из коллекции Бруно.

— Уилл!

— Только одну марку.

Аделаида перестала мыть посуду. Она обернулась и прямо взглянула на Уилла. Он сидел, вытянув свои крупные ноги, каблуки тяжелых ботинок вдавились в мягкий коричневый линолеум, где уже виднелась не одна пара вмятин. Уилл смотрел на Аделаиду тем мечтательно-задорным взглядом, который она помнила с детства.

— Ты хочешь, чтобы я украла у Бруно марку? Ты шутишь!

— Нет, Ади, не шучу. Я уже говорил тебе о фотоаппарате. В общем-то я его уже раздобыл. Осталось только заплатить за него. Мне нужно двести фунтов.

— Ты с ума сошел. Бруно так или иначе заметит.

— Не заметит. Ты же сама говоришь, он совсем спятил и стал страшно рассеян. И говоришь, лежат они как попало. И никто, кроме него, ими не занимается, так?

— Никто. Но я думаю, Бруно заметит. Да и в любом случае это низость — красть у старика.

— Гораздо меньшая, чем красть у молодого. Ты слюнтяйка, моя дорогая. Не заметит он ничего. И это наверняка никак не повлияет на ценность всей коллекции. А я куплю фотоаппарат.

— Отстань, не буду, и все!

— Ты эгоистичная дрянь! Не хочешь, чтобы у меня был заработок? Сколько можно заработать этим фотоаппаратом, у меня полно идей!

— Почему ты тогда не продашь свои дуэльные пистолеты?

— Потому что не хочу.

— Или купи аппарат подешевле. Я могу дать тебе десять фунтов.

— Ади, я же не прошу тебя украсть всю коллекцию. И потом, Бруно ведь не сам собирал эти марки. Они достались ему по наследству. А это несправедливо. Каждый собственник — вор. Правда, тетя?

Тетя зашла в кухню за своим оранжевым пуловером.

— Seezara seezaroo, boga bogoo[1].

— А ну тебя.

— Уилл, по-моему, ты спятил.

— Значит, ты не сделаешь этого, даже ради меня?

— Нет.

— Ты всегда говоришь «нет», Аделаида. Посиди со мной немножко, пока нет тети. Брось эту посуду. Я домою ее потом.

— Мне скоро пора уходить.

— Замолчи, а то получишь у меня. Иди сядь сюда.

Они неловко сидели рядом на стульях с прямыми спинками, под электрической лампочкой, болтавшейся на шнуре. Аделаида положила руки на стол, на скатерть в красно-белую клетку, и чувствовала крошки сквозь рукава. Она смотрела в окно, за которым было темно и шел дождь, на грязно-бурый штакетник соседнего дома, на мокрую серую оштукатуренную стену. Уилл, повернувшись к ней, не сводил с нее глаз, коленом он уперся ей в бедро, а руку положил на плечо, потом опустил ее, придавил к столу запястье. Крошки больно впились ей в локоть. Другой рукой он водил по юбке. Аделаида вырвалась, схватила Уилла за руки и стиснула их, продолжая рассеянно глядеть в окошко.

— Ади, ты же знаешь, я с ума по тебе схожу. Ничего не могу с собой поделать. Когда же ты скажешь «да»?

— Отстань от меня, Уилл, мне неприятно.

— Я и не пристаю к тебе, черт побери. У меня ведь это серьезно, по-настоящему. Иногда мне кажется, что ты живешь как во сне. Тебя нужно как следует встряхнуть.

— Прости, Уилл. Я бы и сама рада, но ведь себе не прикажешь.

— А ты постарайся, моя милая. Я же люблю тебя. Просто жить не могу без тебя. Без тебя так пусто. Ну, Аделаида, в чем дело?

— Не хочу, и все.

— Странно. Ты должна меня любить.

— Мы слишком в большом родстве. Ты мне как брат.

— Ерунда. Я знаю, что волную тебя. Ты вся дрожишь.

— Ты только выводишь меня из себя. Пожалуйста, Уилл, не будь таким противным, не затевай ссоры. В прошлый раз мы поссорились, и это было очень глупо.

— Аделаида, у тебя кто-то есть? Скажи, пожалуйста, правду. Есть?

— Нет.

— О господи, если бы у тебя кто-то был, я бы его прикончил.

Глава VI

Почему никто никогда не видит мертвых птиц?
Куда же они прячутся, когда приходит время умирать?

[1] Цезарю — цезарево, богу — богово.

Майлз закрыл тетрадь и подошел к окну. Только что он пробовал описать увядший лист, прилипший во время дождя к стеклу. Прошлогодний лист, темно-коричневый, прозрачный, как тонкие чулки, наводил на мысль о женских ногах. Прожилки на листе напоминали ветви дерева, а черенок — его ствол. Черенок выгнулся, отделившись от стекла, образовался узкий проток, в золотистом устье которого мерцала серая дождевая капля.

Как трудно описать предмет. Как трудно его увидеть. Интересно, стал ли он наблюдательнее, бросив пить? Не то чтобы он очень уж пил, но любое отклонение от трезвости искажает восприятие. Даже бросив пить, он не был достаточно трезв, был недостаточно трезв, чтобы постичь окружающие его чудеса — красоту полета голубя, общность сброшенных с ног башмаков, узор на срезе сыра. Его «Книга замет» была уже третьей по счету, а он все еще только учился видеть. Он понимал, что пока в этом состоит вся его задача. Великие произведения он сможет создать только тогда, когда будет к этому готов.

Майлз приоткрыл створку окна. Наступал вечер, начинало смеркаться — его любимое время суток. Было тепло и сыро. Он протянул руку в открытое окно, согнул ее в запястье, ухватил чулочный лист за черенок и оторвал его от стекла. Лист отлепился, слабенько чмокнув. Какое-то мгновение Майлз всматривался в него, потом кинул в темноту. Дождь кончился, багрово светилось небо над огромной горбатой крышей выставочного комплекса Эрлз-Корт. Мокрая металлическая крыша блестела, отражая городское зарево.

Внизу узенький, зажатый оградой сад уже погрузился во тьму, только слабо отсвечивали окна летнего домика. Майлз построил это похожее на короб строение у ограды неподалеку от дома в надежде, что там ему будет лучше работаться. Но оказалось — что ничуть не лучше, а зимой в нем было страшно сыро.

Сад тонул уже в дрожащих сгущающихся сумерках, и Майлз различал лишь сереющие заросли иссопа, лаванды да кустик руты, посаженные в аккуратных квадратных гнездах на асфальтовой площадке. За ними была разбита лужайка, рассеченная надвое выстриженной в траве тропинкой, бегущей через проход в тисовой изгороди к сараю, где Диана хранила садовый инвентарь. Благодаря этому проходу, над которым пышные ветви тиса смыкались, образуя арку, создавалась иллюзия, будто маленький этот садик простирается вдаль, а за ним должен быть еще садик, еще и еще. Сейчас проход под аркой зиял чернотой, и тисы были почти такие же черные — прямо сгустки тьмы.

Сколько же это может длиться? — думал Майлз. Сколько же еще потребуется выдержки? Придет ли ОН, явится ли в конце концов? Уже около года у Майлза росла уверенность, что вот-вот он снова начнет писать, и гораздо лучше, чем раньше, это будет наконец настоящее. И он ждал. Он пытался предуготовить себя. Перестал пить, свел почти на нет свои и без того скудные связи с внешним миром. Все главное, полагал он, человек находит в себе самом. Он проводил вечера наедине со своей тетрадью, и если к нему заходили Диана или Лиза, он с трудом удерживался, чтоб не закричать, не выгнать их вон. Он ничего им не объяснял. Они решили было, что он болен. И только молча смотрели на него и переглядывались. Иногда он набрасывал несколько строк — так музыкант берет два-три аккорда, пробуя инструмент. Случалось, приходили прекрасные строчки. Но все никак не наступал тот миг, когда осеняет сам бог.

Юношеские стихи Майлза выглядели сейчас вялыми, надуманными. И поэма, которую он написал после смерти Парвати, представлялась уже ему выспренней, бутафорской. Им двигало стремление перенести в сферу искусства, осмысленности и красоты ужас этой смерти. Это была поэма уцелевшего, порожденная неистовой жаждой жизни. Порой ему казалось, что писать ее было преступлением, она словно

бы затмила то, во что он обязан был всмотреться и во что так избегал всматриваться — истинное лицо смерти. Но поэма подступила к нему с той силой внутренней необходимости, какой он не знал ни до этого, ни потом. Он назвал поэму «Парвати и Шива».

«Бог Шива»,— словно бы слышит он голос Парвати, с характерным акцентом рассказывающей ему об особенностях индуистской религии.

— Ты веришь в Шиву, Парвати?

— Истина есть во всех религиях.

— Да, но веришь ли ты в Шиву, именно в Шиву?

— Возможно. Кто знает, что такое вера?

Чисто восточная способность Парвати видеть, с определенной точки зрения, за всем что-то еще озадачивала Майлза и в то же время привлекала его западный, воспитанный на Аристотеле ум. Они познакомились в Кембридже, где он изучал историю, а она — экономику. Оба были, конечно, социалистами. Она — более убежденным. Вот Парвати холодными кембриджскими вечерами у газового камина в серой, тонкой, как паутина, кашмирской шали, наброшенной на голову и плечи, говорит о неминуемом кризисе капитализма. Они уедут в Индию и будут служить людям. Парвати станет учительницей. Майлз — инженером-агротехником. Они поселятся в деревне, среди народа. Майлз начал учить хинди. Они поженились сразу же после выпускных экзаменов. Им обоим было по двадцать два года.

Парвати выросла в семье богатых браминов, в Бенаресе. Родители воспротивились ее браку с Майлзом, он так и не понял почему. Социальные, расовые, религиозные мотивы или, может быть, финансовые соображения послужили тому причиной? Он тщетно выспрашивал об этом Парвати. «Тут много всего. Они не могут этого принять. Мама всегда была далека от современной жизни». Как-то раз она перевела ему письмо от брата. Оно было уж очень высокопарным. Кажется, брат и не подозревал, насколько серьезно решение Парвати. «Грех противен человеческому естеству...» Что они подразумевали под грехом? Парвати расстроилась и хотела отложить замужество. Но они слишком любили друг друга, и Майлз восстал против отсрочки. Он сердился на ее родных, поведение которых казалось ему странным. Но собственный отец вывел его из себя еще больше, грубо заявив, что не желает иметь цветную невестку и внуков цвета кофе. Майлз порвал отношения с отцом. Они с Парвати поженились и написали несколько примирительных писем в Бенарес. Через некоторое время мать ответила дочери и пригласила ее домой. О Майлзе она не упоминала. Парвати обрадовалась. Они были уверены — уж теперь-то все образуется, особенно когда Парвати скажет им, что ждет ребенка. Майлз проводил ее в Лондонском аэропорту. Самолет разбился в Альпах. Майлз никогда никому не говорил, даже Диане, что Парвати была беременна.

Майлз не поехал к ее родителям. Конечно, они считали его виновником гибели дочери. Он написал им много времени спустя, уже когда был женат на Диане, но они не ответили. Майлз остался в Кембридже, занялся каким-то исследованием, но так и не довел работу до конца и не получил места в университете. Началась война, стоившая Майлзу семи лет тяжких испытаний. Он не участвовал в военных действиях. Жил лагерной жизнью, не имея возможности ни сочинять стихи, ни читать, все более страдая непонятным заболеванием кишечника. Его перевели в канцелярию. Он дослужился до капитана. Когда война кончилась, поступил в гражданское ведомство.

Работа над поэмой, занявшая более года, несмотря на душевные муки, продлевала ощущение жизни, преисполненной любви. Он передал крушение самолета ослепительным вихрем эротических образов. Но поэма знаменовала Liebestod[1], и хотя искусство обычно дарует уте-

[1] Гибель любви *(нем.)*.

шение, когда, обращаясь к нему, оплакивают свое горе, завершение работы над поэмой принесло ему чувство смертельной усталости и абсолютной убежденности в том, что любить он больше не сможет. Его одиночество в армии обострялось тайным болезненным отвращением к распутной легкости, с какой собратья-офицеры относились к сексу. Майлз избегал женщин. Когда начинались разговорчики определенного толка, он выходил и хлопал дверью. В результате его сторонились и даже относились к нему враждебно. Он не то чтобы желал смерти, но вечерами его охватывала какая-то безотчетная тоска, причину которой он вряд ли смог бы объяснить.

Никакой другой женщины, кроме Парвати, для него быть не могло. Парвати, заплетающая длинную черную косу. Парвати, легко и изящно поправляющая сари. Парвати, сидящая, как кошечка, на полу с чуть высунутым языком. Он любил ее утонченное, полное орлиной гордости лицо, медового цвета кожу; чувствовал, что в ней он обрел особый, драгоценный мир. В серьгах у нее, о чем он с изумлением узнал, играли настоящие рубины и изумруды. Он удивлялся, и это ее смешило. Вот Парвати гладит сари в их квартирке в Ньюнеме. Потом гладит его рубашки. «Ты послана мне богом».— «Каким богом?» — «Богом Шивой, Эросом... У каждого поэта есть свой ангел. У меня — ты». Он помнил ее смуглые маленькие ловкие руки, босые ноги в легких сандалиях, мелькающие на мокром осеннем тротуаре. Красно-коричневую помаду на губах. Рядом с грациозной Парвати любая западная женщина казалась неуклюжей, топорной. Грубо скроенными, унылыми и неприятно розовыми выглядели по сравнению с ней сокурсницы. Еще и теперь он ощущал у себя в руке ее толстую косу, вспоминая, как впервые отважился игриво и в то же время трепетно дернуть за нее. Он поцеловал косу. Потом поцеловал край шелкового сари, соскользнувшего с тонкой руки. Она, засмеявшись, оттолкнула его. Парвати была умной девушкой и намеревалась самым серьезным образом изучить экономику, но в то же время слишком многое связывало ее с отгороженным от мира домом в Бенаресе, где ее мать украшала гирляндами изображения богов. Парвати горячо говорила о сварадж[1] и о проблемах сельскохозяйственной экономики.

Майлз сочинил сотни любовных стихов, посвященных Парвати. После войны казалось, что с поэзией покончено, как и со многим другим. На смену Эросу пришел Танатос[2], а позднее даже лик Танатоса подернулся дымкой. Единственным человеком, к которому у Майлза сохранилась какая-то привязанность, была Гвен. В детстве они с сестрой не очень дружили. Она была на несколько лет младше, а он большую часть времени проводил вне дома, в школе. Впервые он поистине обрел Гвен, по-настоящему разглядел ее, когда она так решительно вступилась за него перед отцом, который воспротивился его женитьбе. Гвен любила Парвати, восхищалась ею. Она приняла их сторону и донимала отца длинными проповедями. Позже, когда Майлз начал сожалеть о разрыве с отцом, ему пришла в голову мысль, что, возможно, Гвен принесла больше вреда, чем пользы. Бруно нужно было не нотации читать, а ласково его уговорить, и другая дочь сумела бы это сделать. Майлз и не помышлял уговаривать отца. Он просто послал его к черту.

После гибели Парвати Майлз никого не хотел видеть, даже Гвен. Гвен уехала тогда в Кембридж, занялась этикой и готовила докторскую диссертацию по Фреге[3]. Началась война, Гвен пошла в гражданскую противовоздушную оборону. Потом, когда в конце войны Майлз приехал в Лондон и, не сменив военной формы на штатский костюм, поступил на гражданскую службу, между ними возникла

---

[1] Движение за самоуправление Индии.
[2] В греческой мифологии олицетворение смерти.
[3] Готлоб Фреге (1848—1925) — немецкий логик, математик, философ.

духовная близость. Гвен обычно уставала до изнеможения. Майлз испытывал чувство вины за легкую жизнь, какую вел теперь в отличие от Гвен. Они жили в разных местах, но он почти каждый вечер заходил после работы в ее маленькую квартирку в одном из переулков Бейкер-стрит и, поджидая сестру, готовил ей что-нибудь горячее. Порой она сильно задерживалась, и он сидел, напряженно прислушиваясь к бомбежке и стараясь не давать воли воображению. Порой она работала ночами, и он ее почти не видел. Они о многом говорили, но не о себе, и никогда о Парвати, а на успокоительно отвлеченные темы: о поэзии, философии, об искусстве. По большей части их разговоры замыкались в круге философских и теологических проблем: Карл Барт[1], Витгенштейн[2].

Их дружбу перед самым концом войны нарушил Денби. Майлз никогда не мог понять, что общего между Гвен и Денби. Все произошло очень быстро. Они познакомились в метро. На кольцевой линии, чему оба, казалось, придавали большое значение. Во всяком случае, они твердили об этом с идиотской ритуальной торжественностью. Гвен и Денби разговорились. Во время войны люди были общительнее. Денби не заметил, как проехал свою остановку. Гвен не заметила, как проехала свою. Когда кольцо замкнулось, им пришлось признать, что все это неспроста. Их знакомство началось с нелепости, и Майлз считал, что все, происшедшее между ними, было нелепостью от начала до конца. Денби по сути своей был нелепый, случайный человек, и Майлза возмущало, что этот пустоцвет, эта вялая водоросль прилепилась к такому близкому и вовсе не случайному существу, как его сестра.

Майлз чувствовал себя обманутым. Гвен не должна была сразу выходить замуж за Денби, должна была посоветоваться с ним. Она же — правда, со слегка виноватым видом — ни с того ни с сего представила Майлзу Денби как жениха. Майлз был вежлив, однако глядел хмуро на этого пухлого, постоянно улыбавшегося и явно самодовольного блондина в форме артиллерийского офицера. В те дни у Денби были золотистые волосы, свежий цвет лица. Он выглядел курсантиком. Майлз прямо спросил, что у него за профессия и какое образование. Денби оказался сыном лавочника из Дидкота. Окончил местную среднюю школу, потом поступил в провинциальный университет и бросил его, проучившись год на отделении английской литературы. Потом работал в страховом агентстве, откуда ушел на войну, тихо-спокойно, без отличий и наград прослужил в артиллерии и, как говорил Майлзу, армией остался очень доволен. Интеллектом он не блистал. После женитьбы Денби сразу, ничтоже сумняшеся, занялся типографским делом, что раздражало, да к тому же и преуспел, что раздражало еще больше. Майлз не мог представить себе, чтобы у Денби вообще был серьезный raison d'être[3]. «С Денби это просто не вяжется»,— сказал он сестре однажды. «О да, Денби такой забавный»,— ответила Гвен. Майлзу этот ответ ничего не объяснил.

Отцу, с которым у Гвен теперь наладились отношения, Денби, говорили, пришелся по душе, и со временем Майлз сделался терпимее к зятю. Денби стремился ему понравиться, и после того, как Майлз ясно дал понять, что он думает о мужланских шуточках, которыми Денби с самого начала пытался снискать его расположение, между ними установилось некоторого рода взаимопонимание, основанное на том, что Денби по-своему принял роль подконтрольного и подцензурного дурачка. Чувствуя отношение к себе Майлза, Денби приноровился выказывать перед ним, дабы его умиротворить, свою неполно-

[1] Карл Барт (1886—1968) — швейцарский теолог, активный противник «холодной войны».

[2] Людвиг Витгенштейн (1889—1951) — австрийский философ и логик, представитель аналитической философии.

[3] Смысл существования *(франц.)*.

ценность, которую поистине ощущал перед Гвен. Он признавал превосходство Майлза, принимал и разделял точку зрения Майлза, что ему неправдоподобно и в высшей степени незаслуженно посчастливилось получить в жены сестру Майлза. На этом они и остановились, но Майлз виделся с Гвен и Денби все реже и реже. А после смерти Гвен ему вообще незачем стало встречаться с Денби.

Диана появилась позднее, нежданно-негаданно, как чудо. Майлз мучительно переживал гибель Гвен, его снова преследовали мысли о смерти, от которых его избавила когда-то работа над поэмой. Но он нашел в себе силы закрыть на все глаза, заткнуть уши и повел отрешенную, полностью отупляющую жизнь. Писать было немыслимо. Он по привычке много читал, в основном историческую литературу и жизнеописания великих людей, без всякого увлечения. Он выполнял свою работу, сторонился сослуживцев, считался оригиналом и пренебрегал карьерой. Начальство стало замечать в нем какую-то неуравновешенность, но в общем на него мало обращали внимания. Порой он страдал от приступов глубокой депрессии, впрочем не таких уж частых.

И вот однажды в магазине на Эрлз-Корт-Роуд, куда он дважды в неделю заходил за продуктами, какая-то девушка сказала ему: «Не грустите». Майлз вздрогнул от того, что к нему обратилась девушка, и сейчас же вышел из магазина. Она догнала его. «Вы меня извините, я вас часто здесь вижу. Можно пройтись с вами немножко?» А потом спросила: «Вы живете один?» А потом еще: «Вы были женаты?» Диана все взяла на себя. Позднее она рассказывала Майлзу, что видела его несколько раз в магазине, рассеянного и грустного, и представила себе его жизнь именно так, как и оказалось: что он, должно быть, остался один, что у него большое горе, что он избегает общества, сторонится женщин. Просто-таки чудесное воплощение ее мечты. Она давно искала такого Майлза. Она узнала его сразу. Она увидела в нем своего суженого, благодаря чему они и познакомились.

У Дианы было ясное представление о своей женской роли. Эта роль была для нее главной в жизни, и она отдалась ей целиком после окончания школы. Она выросла в Лестере, отец ее служил клерком в банке. Родители были людьми не строгими, и они с сестрой делали все что заблагорассудится. Диана поступила в художественное училище в пригороде Лондона и получала стипендию, но через два года бросила занятия. Из нее не вышло хорошего дизайнера, она пошла работать в рекламное агентство. Но главным образом просто жила. Переехала в Эрлз-Корт. У нее были романы. Она сходилась с мужчинами, среди них встречались и богатые, которые находили в ней что-то особенное и делали ей дорогие подарки, и бедные, которые вытягивали из нее деньги, пьянствовали и плакались ей на судьбу. Все это она со временем поведала Майлзу, с удовольствием отмечая, с каким недоумением он слушал ее, как у него неодобрительно подергивалось лицо. Она рассказала ему, что искала все это время только его. Она мечтала о необыкновенном человеке, печальном, суровом и одиноком, о человеке, пережившем горе, об отшельнике. Она была бабочкой, которая хотела сгореть в холодном-холодном огне.

Она очень полюбила Майлза, и хотя он говорил ей с самого начала, что он порожний сосуд, и больше ничего, и что любовь ее ему не нужна, ей удалось в конце концов увлечь его. Майлзу было тридцать пять. Диане — двадцать восемь. Он видел, что она хороша собой: кареглазая, с чудесными волосами, широкими бровями и прямым носом, с большим, хорошо очерченным ртом; крупное малоподвижное лицо цвета слоновой кости имело выражение несколько холодное и загадочное. Волосы Диана аккуратно зачесывала назад и смело преподносила миру свое бледное, гладкое, большеглазое лицо. В ее кажущемся бесстыдстве Майлз позднее стал усматривать скорее отвагу. В первые дни, когда она начала вызывать у него интерес, он не без

тайного удовольствия видел в ней куртизанку; а потом, когда убедился в искренности ее чувства, понял, что «похождения» Дианы как бы обострили, а не ослабили ее способность любить. Когда Майлз женился на ней, он все еще воспринимал ее как любовницу, и это нравилось им обоим.

Конечно, Диана понимала, кем была для Майлза Парвати. Не просто большая земная любовь, но нечто высшее. Она покорно признала превосходство Парвати, и это тронуло сердце Майлза, заставило его по-настоящему поверить в любовь Дианы. Она приняла как должное, что ни о каком соперничестве между нею и Парвати не может быть и речи. Та его жизнь, та часть его самого, вероятно лучшая часть, была ей просто недоступна. Майлз объяснил ей это, когда пытался отлучить ее от себя. Потом, а возможно даже уже тогда, он с облегчением обнаружил, что, сколько бы он ни выказывал ей досаду, какую бы горькую правду ни выкладывал, отлучить ее было невозможно. В конце концов он перестал сопротивляться и позволил ей употребить всю недюжинную силу ее женственности на то, чтобы утешить его, выманить из мрачного закута, в который он забился. Она восхищалась, как дитя, тем, что это ей удалось, и он тоже радовался, глядя на нее, впервые за последние много лет.

Они поселились на Кемсфорд-Гарденс, и с течением времени Майлз понял, что Диана надеется обзавестись ребенком, хотя сама она ничего об этом не говорила. Майлз не знал, как он относится к детям. Его ребенок, его единственный ребенок погиб в Альпах. Мог ли быть другой? Он смутно стал помышлять о сыне. Но годы шли, а все оставалось по-прежнему. Они вопрошающе смотрели друг на друга в пустом доме. Жизнь их была проста. Майлз никогда не жаждал общества других людей. Теперь же он вполне довольствовался тем, что с ним была Диана. Он рад был бы вообще никого больше не видеть. Диана встречалась со своими друзьями днем. Они почти не знали развлечений.

Диана установила и неукоснительно поддерживала определенный жизненный порядок. Она завела в их маленьком домике на Кемсфорд-Гарденс церемониал как в старинном поместье. Еда подавалась вовремя и со всею тщательностью сервировки. Майлз не допускался на кухню. В доме всегда были свежие цветы. Майлзу пришлось приспособиться к сверхъестественной аккуратности, которую он всегда считал абсурдной и которую теперь полностью усвоил. Диана как бы взялась дать ему почувствовать, что живет он на широкую ногу, и скоро ей это и впрямь удалось. В ее власти было сделать маленькое большим, подобно тому как их садик словно по волшебству казался большим, бесконечным, как в сказке. Майлз догадывался, что Диана пыталась таким образом создать комфорт, которого недоставало ей в детстве, в Лестере. Как-то она сказала ему задумчиво: «Ты самый незаурядный человек из всех моих поклонников». У Дианы был свой строгий распорядок дня, ею самою установленные обязанности. Не имея других занятий, она проводила время в домашних трудах и развлечениях. Были у нее определенные часы для работы в саду, часы, когда она занималась цветами в доме, когда рукодельничала, когда усаживалась в гостиной и читала книгу в кожаном переплете или слушала пластинки со старыми популярными мелодиями, которые Майлзу не нравились, но с которыми он тоже постепенно свыкся. Диане подошел бы помещичий уклад жизни в восемнадцатом веке с ее мирной, томительной скукой и чинным однообразием, с праздными, затяжными визитами. И в одном из самых густонаселенных районов Лондона каким-то чудесным образом Диане почти что удавалось вести такую жизнь.

Однако и к ним пришли перемены. Возможно, они даже обрадовались им, хотя поначалу были очень встревожены. У Дианы была младшая сестра Лиза, которая совершенно по-иному построила свою

жизнь. Она изучала классическую литературу в Оксфорде и с отличием окончила университет. Потом уехала работать учительницей в Йоркшир и вступила в коммунистическую партию. Диана, которая очень любила сестру, на время потеряла с нею связь. Лиза приехала с севера к ним на свадьбу и познакомилась с Майлзом. Потом она снова исчезла, и до них дошли слухи, что Лиза приняла католичество и вошла в религиозную общину «Бедные девы». «Уверена, что ее привлекло название,— говорила Майлзу Диана.— Она всегда была книжной девушкой». Через несколько лет Лиза, разочаровавшись в католицизме, уехала в Париж. Вернулась она в Англию больная туберкулезом и поселилась у Дианы с Майлзом на время лечения. Получила место учительницы в Ист-Энде. Постепенно становилось ясно, что она может так и остаться у Дианы и Майлза. И она осталась.

Они не были полностью убеждены, что приняли правильное решение — жить вместе, но в конце концов укрепились в нем, и вскоре все стало казаться само собой разумеющимся. Возможно, Лиза восполняла отсутствие у супружеской четы ребенка. Сестры были глубоко привязаны друг к другу, и Майлз, на которого благотворно влияло присутствие Лизы в доме, полюбил свояченицу. Ему приятна была близость сестер, их неуловимое сходство. Ему нравилось вечерами заставать их за шитьем. Лиза, более беспорядочная, чем Диана, капитулировала даже быстрее Майлза перед домашней тиранией сестры. Хорошо, что после стольких лет a deux [1] в доме есть кто-то еще, что в доме две женщины и обе о нем заботятся. Возможно, они слишком долго были вдвоем с Дианой. Лиза внесла разнообразие в их жизнь и позволила ему по-новому увидеть жену.

Да и Лиза явно нуждалась в заботе. Диана склонна была считать сестру неудачницей: «Она из тех, кто всегда остается за бортом», «Такие если уж падают, то все кости ломают», «У нее нет инстинкта самосохранения», «Она птица с перебитым крылом». Лиза была серьезнее, суше, мрачнее Дианы, и обычно ее принимали за старшую. Но эта нервная, скрытная, молчаливая и замкнутая Лиза отстаивала свои позиции в философских спорах с Майлзом куда горячее, чем он. Иногда дело доходило до ссор, и Диане приходилось их разнимать. Лизу, видимо, устраивала работа в школе, а по выходным она добровольно помогала участковому инспектору, в ведении которого находились условно осужденные. Майлзу нравилось ее общество. Она была для него загадкой, и ему было жаль ее. Она казалась окропленным росой увядшим цветком. Иногда она представлялась ему просто призраком, тенью рядом с полной жизни сестрой. Майлз вместе с Дианой тревожился за Лизу, отчего она делалась им только дороже.

В небе, теперь уже почти черном, сверкала большая вечерняя звезда в окружении мелких блесток других звездочек. С Олд-Бромптон-роуд доносился ровный шум машин. Дрозд, начинавший петь с наступлением темноты, выводил на ближнем дереве свое пронзительное неугомонное «кирие»[2]. Сырой воздух к ночи стал холодным. По саду двигалась какая-то светлая тень — женщина в светлом платье медленно пересекла асфальтовую площадку и пошла через лужайку по выстриженной в траве тропинке к тисовой арке. Кто это? Диана? Лиза? Он молча стоял у окна, не в силах разглядеть движущуюся в темноте фигуру.

Вдруг в комнате зажегся свет.

Майлз резко обернулся, захлопнув окно и задернув штору.

— Диана, я просил тебя никогда так не делать.

— Извини меня.

Диана была одета в голубое вышитое кимоно в духе японской старины. Ее гладко причесанные волосы, еще не седые, выцвели, не

---

[1] Вдвоем *(франц.)*.

[2] Kyrie eleison — господи, помилуй *(греч., церковн.)*.

потеряв блеска, сделались песочно-жемчужными. Матовое лицо было гладким, без морщин, как на миниатюре.

— Извини меня, я не знала, что ты здесь.

— Где же мне еще быть в такое время, черт побери? Прошу тебя, не входи ко мне неожиданно. Я пытаюсь работать. Что тебе?

— Кто-то бросил письмо в почтовый ящик. Написано «срочно», вот я и пришла отдать тебе его сейчас же.

— Не уходи, дорогая. Прости меня. От кого же это? Дьявольщина, почерк незнакомый.

Майлз вскрыл конверт.

Дорогой Майлз!

Представляю себе, как ты будешь удивлен, неожиданно получив мое письмо. Дело в том, что отец твой, как тебе известно, болен, и хотя в данный момент нет особых причин для беспокойства, он, естественно, думает о последних распоряжениях и все такое. Ему хочется повидаться с тобой. Он велел мне подчеркнуть, что не имеет в виду ничего особенного, просто хочет видеть своего сына. Очень надеюсь, что ты изъявишь готовность встретиться с ним, раз он к этому так стремится. Поскольку вы долго не виделись, я думаю, неплохо было бы нам с тобой предварительно встретиться и потолковать, я бы ввел тебя в курс дела. Очень надеюсь, что ты на это согласишься. Если можно, я позвоню тебе на работу завтра утром, чтобы узнать, когда удобней к тебе прийти. Очень надеюсь, что мы сможем обо всем дружески договориться. Твой отец стар и, увы, очень болен.

Искренне твой Денби Оделл

— О господи,— сказал Майлз.

— Что такое?

— Письмо от Денби.

— От Денби? А, Денби Оделла. Что ему нужно?

— Чтобы я сходил к отцу.

— Не странно ли,— сказала Диана, приглаживая волосы на висках,— за все эти годы я ни разу не видела ни твоего отца, ни Денби Оделла. Это что, спешно? Старик при смерти?

— Да вроде бы нет.

— Ты сходишь к нему, конечно? Я всегда считала, что вам нужно помириться.

Майлз бросил письмо на стол. Все это было неприятно, тягостно и страшно.

— Черт-те что, я все эти годы почтительнейше писал старому ослу, и он не отвечал мне. А теперь этот идиот Денби изображает дело так, будто я же во всем и виноват.

Диана взяла со стола письмо.

— По-моему, очень милое письмо. В нем и намека нет на твою вину.

— Как бы не так! О господи.

Майлзу это было сейчас ни к чему. Ни к чему переживания, воспоминания, сцены, вообще тяжелые впечатления. Ни к чему обвинения и разглагольствования о прощении. Одно позерство. И грязь. А между тем все это может отсрочить, спугнуть, может окончательно отвратить тот бесценный миг, когда осеняет бог.

Глава VII

Денби поправил галстук и нажал на кнопку звонка. Майлз открыл дверь.

— Надеюсь, я не слишком рано?

— Входи.

Майлз повернулся и пошел наверх, предоставив Денби самому закрыть дверь. Слегка помешкав, Денби закрыл ее и последовал за хозяином вверх по лестнице. Майлз уже исчез в комнате. Денби подошел к отворенной двери и увидел Майлза, стоящего у окна вполоборота к нему. Денби вошел в комнату и притворил за собой дверь.

Денби решил явиться в полседьмого в расчете на то, что Майлз, конечно же, предложит ему выпить и это облегчит беседу. Он не преминул, однако, пропустить две большие порции джина в «Лорде Кларенсе», прежде чем свернул на Кемсфорд-Гарденс. В комнате было темно. Серовато светилось небо за окном.

В последний миг мысль о том, что сейчас он увидит Майлза, весьма взволновала Денби. Не то чтобы он беспокоился о марках. Судьба их вряд ли зависела от того, придет или не придет Майлз к Бруно, Денби не очень-то верил, что Бруно всерьез собирается встретиться с сыном. Бруно и раньше заводил разговоры о встрече с Майлзом, и ничего из этого не вытекало: он помышлял о том, чтобы помириться с Майлзом еще в те времена, когда был куда предприимчивее и решительнее, чем теперь. Денби полагал, что Бруно настроен под конец жизни на мирный лад и вполне довольствуется своими марками, телефоном и вечерними газетами, своими размышлениями, если не о вечности и страшном суде, то по крайней мере о том моменте великого успокоения и надвигающегося небытия, с приходом которого кончаются все треволнения, недомолвки и неожиданности. Денби недооценивал Бруно и, когда вдруг постиг всю силу порывов, которые владели этим истаявшим стариком с распухшей головой, был потрясен и тут же пересмотрел свою точку зрения на то, что значил для Бруно Майлз.

Уже много лет Денби считал Майлза отрезанным ломтем. Особенно не рассуждая, он просто решил, что вряд ли им придется встретиться снова. У них не было на то причин, разве что похороны Бруно. Случалось, Денби представлял себе эти похороны. Представлял себе торжественность обстановки, и как он молчаливо кланяется Майлзу, и какие будет испытывать чувства: нежность, жалость и вместе с тем облегчение. А дело неожиданно повернулось так, что вот он странно нервничает и волнуется, воочию видя перед собой этого чужого, но тем не менее, как понимал теперь Денби в связи с решением Бруно, глубоко вовлеченного в его жизнь человека. Он мог оставаться безразличным к Майлзу только на расстоянии. Вблизи же Майлз снова притягивал его, будоражил, даже страшил.

Хотя Майлз и Денби были почти ровесниками, Денби всегда казалось, будто Майлз старше. Это ощущение передалось ему от Гвен, которая глубоко уважала брата и взирала на него как на оракула. Денби еще тогда привык считать Майлза выдающейся личностью и теперь старался внушить себе, что в сущности Майлз самый обыкновенный человек, в некотором смысле даже неудачник. Еще до знакомства Денби немного побаивался Майлза и весьма обоснованно опасался его власти над Гвен. А Майлз и не скрывал своего отношения к Денби, что причиняло Денби ощутимую боль даже после того, как он убедился, что Гвен не позволит брату воспрепятствовать их женитьбе. Теперь же, стоя в темноте и глядя на спину Майлза, Денби отчетливо осознал, еще раз убедился в том, что он просто забыл, как искренне восхищался когда-то Майлзом. Встретившись с ним, Денби снова испытал старое, знакомое чувство унижения, смешанное со страхом, восхищением и горькой обидой.

Майлз обернулся, указал на кресло у камина, и Денби сел.

— Ну-с,— произнес Майлз и опустился на стул, стоявший у окна.— В чем дело?

— По-моему, ясно,— сказал Денби.— Бруно хочет тебя видеть.

— Неужели?

— Ну, он так говорит, просит об этом постоянно. А мыслей читать я не умею.

Денби, много думавший об этой беседе с Майлзом, так и не смог решить, какой ему выбрать тон, и махнул на это дело рукой — как получится. И теперь он был весьма напорист.

— Бессмысленно встречаться через столько лет,— промолвил Майлз. Он аккуратно складывал лист бумаги, не глядя на Денби. В комнате становилось все темнее.

— Он умирает,— сказал Денби. На него вдруг нахлынула щемящая тоска, соединившая в его представлении и Бруно, и Гвен, и профиль Майлза, вырисовывающийся на фоне сереющего окна.

— Да, да,— раздраженно сказал Майлз.— Но у отцов и детей не всегда есть что сказать друг другу. А на условности мне плевать, да и отцу, по-моему, тоже.

Он произнес слово «отец» так же, как Гвен,— казалось, Денби услышал ее голос. Он сказал:

— Отец хочет тебя видеть. Какие бы то ни было рассуждения по этому поводу просто неприличны.

Майлз с высокомерным видом бросил на стол сложенный лист бумаги, и Денби подумал: как странно и удивительно, что ему приходится напоминать Майлзу о приличиях. Денби не без удовольствия отметил, что некогда густая шевелюра Майлза слегка поредела, образовалась плешь.

— Боюсь, ты не отдаешь себе ясного отчета в ситуации,— сказал Майлз.— Я забочусь о благе отца. Встреча со мной может плачевно отразиться на его состоянии. Все это нужно как следует взвесить. Он что, думает, я каждый день должен являться, или как?

Господи, вот чинуша бессердечный, пронеслось в голове у Денби.

— Мне кажется, Бруно ни о чем таком не думает, он просто хочет тебя увидеть.

— Не вижу смысла в подобной встрече.

— Ну, потом вы сами решите, что дальше.

— Это может оказаться настоящей пыткой для отца, и я удивляюсь, почему ты не отговорил его. Ты ведь теперь, должно быть, имеешь на него влияние.

Это что, намек на марки?

— Бруно сам себе голова, я не вожу его на помочах.

— Эта наша встреча может нанести ему такой вред, что потом ничем не поправишь — хоть ходи, хоть не ходи.

Только тут Денби пришло в голову, что Майлз, пожалуй, прав. Как и Бруно, он не шел в мыслях дальше первого шага.

— Ты усложняешь дело,— сказал Денби.— Ты, в конце концов, его единственное дитя, он при смерти и хочет тебя видеть. Мне кажется, твой прямой долг навестить отца, как бы то ни было.

— Всегда надо помнить о последствиях.

— Ох, ладно,— сказал Денби; он резко встал и отодвинул кресло.— Значит, я пойду и скажу ему, что ты не придешь?

— Сядь, Денби.

Денби постоял, переступая с ноги на ногу, и медленно опустился в кресло.

— Извини меня,— сказал Майлз.— Вероятно, я кажусь тебе бессердечным, но я хочу все предусмотреть. Давай зажжем свет.

Он задернул шторы и пошел к выключателю. Денби стиснул зубы.

Майлз был не так уж похож на Гвен, и все же отдельные ее черты, которые память и даже фотографии хранили только в туманной обобщенности, были сейчас неожиданно явлены перед Денби: резко очерченный рот, глубокая бороздка, тянувшаяся к нему от носа, сросшиеся на переносице брови, сосредоточенный взгляд, мелко вьющиеся темные волосы.

Денби отвел взгляд от Майлза и бегло осмотрел комнату, которую освещали теперь две лампочки под зеленым абажуром. Судя по множеству полок с книгами, это был кабинет. Аккуратные стопки бумаги, тетради, стройный ряд шариковых ручек на столе у окна, под самым подоконником. Вычищенный открытый камин с пирамидой еловых шишек, облицованный изразцами Уильяма Морриса [1], сиял голубыми и пурпурными бликами. Гвен бы понравились эти изразцы. Она бы с удовольствием собирала шишки. На белой крашеной каминной полке — ваза с желтыми нарциссами, над ней — небольшое квадратное зеркало в золоченой раме. Тут и там на книжных полках поблескивали фарфоровые вазочки, ультрамариновые утки, собачки, драконы. Немыслимая чистота и порядок. Образцовое жилье, но и цветы, и утки, и еловые шишки — все это мало похоже на Майлза. Денби смутно припомнил, отчего-то встревожившись, что Майлз женат.

— Откровенно говоря,— Майлз сел и снова принялся сосредоточенно складывать бумагу и тщательно разрезать ее острым ножичком,— откровенно говоря, меня несколько пугает эта затея не только потому, что она может принести вред отцу, но и потому, что она выбьет меня из колеи. Я довольно-таки сильно подвержен эмоциям, а мне надо работать. Отец собирается говорить со мной о деньгах?

— О деньгах? — переспросил Денби.— Господи, да нет же!

А может быть, да? Не исключено, что Бруно хочет решить судьбу марок. Проклятые марки, все они усложняют.

— Видишь ли,— сказал Майлз, старательно и точно разрезая сложенную бумагу.— Видишь ли, не знаю, известно ли тебе, что я регулярно писал отцу и никогда не получал ответа. Я понимал это так, что он вычеркнул меня из своей жизни. Его желание встретиться несколько неожиданно. Он очень сдал?

— Нет,— сказал Денби.— Ему приходится пить всякие лекарства, и бывают дни, когда он слегка рассеян и заговаривается, но в основном у него совершенно ясная голова. Он безусловно в здравом уме.

— Он сильно изменился?

— Внешне да. Но вообще — нет. Я думаю, ты знаешь, что с ним?

— Знаю, как это ни странно,— медленно произнес Майлз, устремив на Денби серьезный, задумчивый взгляд, что очень напомнило Гвен.— Да, как это ни странно, знаю. Я писал его врачу примерно полтора года назад. Надеюсь, с тех пор ничего нового не случилось?

— Нет. Только прогрессирует эта... штука.

Они замолчали. Денби смотрел на Майлза, а Майлз внимательно оглядывал разрезанную бумагу.

— Хорошо. Я навещу его. Но думаю, что это будет ужасно. Ужасно.

Денби встал. Он испытывал необычайную нежность к Бруно, желание его защитить, и в то же время ему страстно хотелось, чтобы Майлз предложил ему выпить. Хотелось, чтобы его пригласили остаться, приветили, чтобы Майлз утешил его. Хотелось поговорить с ним о прошлом.

— Бруно держится молодцом.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Так когда мне прийти? — Майлз тоже поднялся.

— Конечно, Бруно может переменить решение, когда узнает, что ты собираешься навестить его. Может струсить.

— Ты полагаешь, он тоже боится?

— Да.

— Забавно,— сказал Майлз.— А я-то думал, что он и не вспоминает обо мне, особенно теперь.

---

[1] Уильям Моррис (1834—1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства.

Он улыбнулся. Зубы у него были острые, неровные, их было больше чем нужно, впереди они находили один на другой, и это придавало его улыбке, которую Денби успел забыть, что-то неукротимое, волчье. Денби обычно презирал людей с некрасивыми зубами, но Майлза это не портило.

— Во всех случаях я позвоню тебе,— сказал Денби, продолжая неловко стоять. Он был выше Майлза. Об этом Денби тоже как-то забыл. Самое время для благословенного стаканчика джина. Если Бруно отменит встречу, пронеслось в голове у Денби, в следующий раз я увижу Майлза разве только на похоронах. И Денби слегка отодвинул кресло, что можно было расценить и как готовность попрощаться, и как готовность снова сесть. При этом он увидел голубой комочек во впадине между сиденьем и спинкой. Это был женский платок.

— Я никогда не видел твоей жены,— сказал Денби.

Майлз рассеянно взглянул на него и взялся за дверную ручку.

Я должен остановить его, подумал Денби, я хочу поговорить с ним о Гвен. С чего бы начать? Но он так и не смог ничего придумать. Сказал только:

— Бруно хотел познакомиться с твоей женой.

Ничего подобного Бруно не хотел.

— Ненужные эмоции,— сказал Майлз.— Все это совершенно бессмысленно. Совершенно.

И он стал спускаться по лестнице.

— Значит, вы говорили обо мне? — спросил Бруно, подозрительно взглянув на Денби.

— Да,— ответил Денби раздраженно.— Конечно, говорили.

Денби вернулся от Майлза сердитый, и Бруно не мог добиться, что же там произошло.

Денби стоял у окна с незадернутыми шторами, глядя в бурую тьму лондонской ночи. Бруно сидел, удобно устроившись среди подушек. Оба они потягивали шампанское. Светлое, небрежно накинутое покрывало усеяно было марками и разрозненными страницами «Ивнинг стандард», сверху лежал первый том «Пауков России», открытый на главе «Пауки Балтийского побережья».

— Ну и что вы обо мне говорили?

— Он спросил, как ты поживаешь, я рассказал ему про тебя, передал, что ты очень хочешь с ним встретиться, и...

— Не нужно было этого говорить.

— О боже...

— Я не уверен, что очень хочу с ним встретиться,— рассудительно произнес Бруно.

— Ну так определись же ты наконец, бога ради.

— Не понимаю, отчего ты так расстроен.

— Да не расстроен я, черт побери.

С тех пор, как он решил повидаться с Майлзом, или во всяком случае с того момента, как он отправил Денби к Майлзу, Бруно испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, надвигающаяся встреча с сыном вызывала у него какой-то животный страх, а с другой стороны, он боялся того, что ему придется пережить, если Майлз откажется прийти. С ума можно сойти. Но тут Денби, вернувшийся от Майлза, сразу успокоил его. Бруно к тому же охватывала жгучая досада при мысли о том, что Майлз и Денби, чего доброго, могут объединиться и начать строить против него козни. Денби скажет:

— Старый болван хочет увидеться с тобой. Ты уж потрафь ему.

— Он что, совсем спятил? — ответит Майлз.— Ну и сколько же он еще собирается коптить небо?

А почему бы им и не говорить о нем в таком тоне. Они молоды, здоровы, ничем не связаны. Еще он растроганно удивлялся — надо же,

столь острые и разнообразные чувства могут возникать у такого старика. «Такого старика»,— мысленно повторял он, пока не выступили слезы. Ему было приятно, что он не обратился в примитив под влиянием возраста и болезней. Он был таким же сложным, развитым существом, как и раньше. И даже еще более сложным, много более. Он плел паутину своих чувств, не обрывая ни единой ниточки. Хорошо, он увидится с Майлзом. Однако ничего нельзя было предсказать заранее, и это его пугало.

— Конечно, я хочу его видеть,— рассудительно продолжал Бруно,— и все же мне как-то не по себе. Не думай, что я помешался.

— Да я и не думаю. Мы с ним откровенно поговорили.

— Что значит откровенно? Как он выглядит?

— Слегка облысел.

— Ты всегда не любил его, Денби.

— Это он меня не любил. Я-то его как раз любил. Он был похож на Гвен. Да и сейчас тоже.

— Вот почему ты расстроился.

— Да. Еще шампанского?

— Спасибо. И как же он выглядит?

— Раздраженный, озабоченный. Но с тобой он, конечно, будет ласковее.

— Не представляю, о чем только с ним говорить,— сказал Бруно. Левой рукой он безотчетно шарил по покрывалу, а дрожащей правой подносил к губам стакан. Шампанское бодрило его.

— Всего лучше пригласить Майлза как-нибудь утром. По утрам ты прекрасно себя чувствуешь.

— Да-да. Тогда это нужно сделать в субботу или воскресенье. Ты дашь ему знать?

— Да. Ну, я пойду, ладно, Бруно? Меня ждут в баре. А вот и сиделка Найджел.

Осторожно ступая, явился Найджел, и Денби ушел. Прямые темные волосы Найджела мягко обрамляли его бледное неправильное лицо и сходились дугой под подбородком. Темные глаза были сонными, но он расторопно и заботливо наводил у Бруно порядок перед ужином. Убрал марки, аккуратно сложил «Ивнинг стандард», снова наполнил до краев стакан Бруно золотым пузырчатым шампанским. Оно немного расплескалось на белую поправленную Найджелом простыню, потому что державшая его пятнистая рука бессильно дрожала. Такая старая-престарая была эта рука.

— В туалет хотите?

— Нет, не хочу, Найджел, спасибо.

— Судорог не было?

— Нет, не было.

Найджел порхал, как мотылек. Застегнул пуговицы на пижаме Бруно, подставил ему под лопатки подпорку и взбил подушки, отодвинул подальше от кровати лампу и телефон. Закрыл и убрал «Пауков России». Тыльной стороной руки Найджел вытер Бруно щеку. Нежность — восхитительна. У Бруно на глазах выступили слезы.

— Я собираюсь повидаться с сыном, Найджел.

— Вот это хорошо.

— Как ты думаешь, Найджел, возможно ли прощение? Существует ли оно на самом деле, или за этим словом ничего не стоит. Что-то спать хочется. Нельзя ли побыстрее поужинать?

Слишком много шампанского. Найджел пьет его из стакана Денби. Найджел порхает, словно мотылек, как бы наполняя комнату мягким, едва слышным шелестом больших крыльев.

(Продолжение следует)

ЯН БОЛЕСЛАВ ОЖУГ

С польского

В статье «Как рождается стихотворение» Ожуг излагает свою «теорию творчества»: «Прежде всего живешь. Работаешь, учишься, любишь, приобретаешь горькое знание о мире. Носишь на своих плечах собственные и чужие несчастья и трагедии, а уж потом становишься поэтом».

Он родился в деревне на Жешувщине, на юге Польши, в Предкарпатье. Дед его — деревенский кузнец. Отец, самоучка, выбился в деревенские органисты. Сыну, несмотря на скудные средства, постарался дать образование. По настоянию отца, мечтавшего видеть сына ксендзом, молодой Ожуг после гимназии в Жешуве поступил в семинарию в Пшемысле, но после двух лет монастырского режима убежал. Репетиторствуя, надрываясь и голодая, окончил университет в Кракове. К этому времени уже вышли первые две книги его стихов. Это было в 1939 году. В годы оккупации Ожуг вернулся в деревню, крестьянствовал на земле вместе с родными, воевал в партизанском отряде в лесах Жешувщины, тайно обучал польских детей в близлежащем городке. Его стихи военных лет составили книгу «Страна» (1945). В 1945—1950 годах он преподавал в провинциальных городах на юге Польши. С 1950 года живет и работает в Кракове.

Гимназист, семинарист, студент, преподаватель гимназии, писатель, Ожуг рано стал жителем города, но и сейчас не перестает подчеркивать свое деревенское, крестьянское происхождение. «Верность себе и земле» — так назвал он книгу своих эссе о литературе (1980).

В первых книгах стихов — «Выезд внука» (1937), «Жеребец и коноплянка» (1939) — Ожуг пытался вместить весь мир сельской природы, весь мир деревенской жизни. Он — поэт-этнограф, хранящий в памяти интерьер деревенской избы и инвентарь крестьянского двора. И поэт-натуралист, воспевающий растительно-птичье изобилие: черный дрозд и дрозд-рябинник, дятел и сорокопут, тысячелистник и скабиоза, люпин и клевер, подсолнух и конопля, десятки видов деревьев и еще столько же — кустарников.

И в поздней поэзии Ожуга сквозь городскую «вонь бензиновой гари» порой пробиваются благоухания луга и леса:

...Лиственница золотая
дышит смольно и лимонно...

(Перевод Н. Астафьевой)

В том же стихотворении вновь, как когда-то, появляется и дрозд. Но название стихотворения — «Верить ли?» — говорит о времени его написания: 80-е годы. Верить ли, что это живой дрозд и живая лиственница? Певец изобилия цветущей и поющей живой материи оказался очевидцем ее стремительного исчезновения.

Экологическое сознание человечества перестраивается. Началось это лет пятнадцать—двадцать назад. Литература в такие периоды ломки и перестройки сознания частью «откликается» (то есть опаздывает), частью — опережает. Ожуг — опережал. Его первые резкие, страстные, яростные стихи о необходимости спасения при-

---

ЯН БОЛЕСЛАВ ОЖУГ — JAN BOLESŁAW OŻÓG (род. в 1913 г.)

Польский поэт и прозаик. Его первая книга стихов вышла в 1937 году. С тех пор издано около тридцати поэтических сборников, много книг повестей и рассказов, статей и очерков. Я. Б. Ожуг — дважды лауреат премии министра культуры ПНР (1967, 1985), премии города Кракова (1977). В русских переводах публиковались отдельные стихотворения в антологиях и периодике. Предлагаемая подборка составлена из стихов, взятых из второго тома «Собрания стихотворений» («Poezje zebrane», t.2, Warszawa, LSW, 1977), а также из книг «Земля расточительных» («Ziemia marnotrawnych». Kraków, WL, 1980), «Где светит ночь» («Gdzie świeci noc». Warszawa, Czytelnik, 1985).

роды датируются серединой 60-х годов. Да первые ли? Если внимательно перечитать сейчас собрание стихотворений Ожуга, то оказывается, что даже среди его стихов военных лет, составивших книгу 1945 года, есть стихи в защиту природы. Нужно было быть Ожугом, чтобы в годы гитлеровской оккупации, когда над польским народом нависла реальная угроза физического истребления, думать и писать не только о людях, но и о польском лесе, вырубаемом оккупантами. Забавно сейчас читать, как тогдашний рецензент книги хвалит Ожуга за то, что поэт уходит от стихов о природе к более глубоким и серьезным проблемам. От природы Ожуг не уходил и не ушел. Природа для Ожуга была и осталась не проблемой, не чем-то умственным и абстрактным, а живой плотью-сутью, кровной и кровоточащей.

Вопрос жизни и смерти природы — вопрос нашей собственной жизни и смерти. Отец с топором и подрубленная им ольха (в стихотворении «Ольха», в книге 1966 года), человек и земля (в стихотворении «Не я иду, не я кричу...», в книге 1969 года) оказываются «повязаны одним смертным концом», как рыбак и «царь-рыба» в книге В. Астафьева. Не только круг тем, но и многое в поэтике, в мироощущении сближает лирику Ожуга 60—80-х годов с прозой В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова.

«Пустая деревня» — этим стихотворением (в книге 1961 года) начинается одна из главных тем позднего Ожуга: опустение и запустение деревни, исчезновение деревни, уход крестьян с земли. Деревня — «край, которого уж нет», «высохшая река». Над пустой или пустеющей деревней высятся, «как дубы над оврагом», лишь отдельные старики и старухи, «священнослужители пашен». Оставшиеся и ушедшие оцениваются Ожугом по их отношению к земле. На одном полюсе — труженики земли, «праведники», на другом — «сытые кукушки», улетевшие «за гнездами дармовыми и городской зарплатой». С гневом и скорбью, с присущей ему предельностью пишет Ожуг о пошатнувшихся устоях трудовой морали народа, которые веками хранила деревня.

Потому что Ожуг — моралист, не экология и не экономика, а конечно же, этика — центр, ядро его поэтической «философской системы».

Ожуг — поэт драматический, трагедийный. О судьбе человека и о судьбе земли он говорит с тревогой, доходящей моментами до отчаяния. Кричит. Кощунствует. Проклинает. Образы жестокости и насилия преследуют его. Мир предстает острым, колючим, «гвоздистым» (стихотворение «Гвозди»), как в архитектурных образах готики или на средневековых изображениях распятого Христа.

В его сравнительно небольшой домашней библиотеке сразу же бросается в глаза полное собрание сочинений Достоевского. А среди поэтических его привязанностей самая давняя и постоянная — Есенин.

Есенинские интонации явственны и в первой книге Ожуга (что отмечала тогдашняя польская критика), и в некоторых стихотворениях самых последних лет. Сейчас это, конечно, воспоминание о юности и о любимом поэте юности. Но не только. Ведь именно теперь заметно, что Есенин был, кроме всего прочего, и предтечей современной «экологической» поэзии и прозы.

Ожуг учитывает и художественный опыт экспрессионизма и сюрреализма в европейской поэзии и живописи XX века. Но многие элементы его поэзии идут не от книг и картин XX века, а от традиции вековой, тысячелетней: от волшебной сказки, от магии заговоров и заклинаний, от пережитков язычества в «поэтических воззрениях крестьян на природу». Ведь еще в гимназические годы, возвращаясь на летние каникулы в родную деревню, Ожуг записывал песни и сказки, поверья и присловья.

И сейчас, выступая в защиту природы, он одновременно выступает в защиту древней крестьянской культуры. Иронизируя над успехами химии в искоренении «сорняков» и «вредителей», он добавляет с горечью:

...и зеленые песни
сожгли на вилах, как осот, искоренили.

(Перевод Н. Астафьевой)

Характерен здесь эпитет «зеленые». «Зеленые» на языке Ожуга — значит, естественные, живые, «дикие», как природа.

Поэзия Ожуга — поэзия резких антитез, противопоставлений, оппозиций. Зелень-жизнь, зелень-природа в его поэзии противопоставлены крови, огню, войне.

В нескольких стихотворениях Ожуга разных лет настойчиво повторяется образ Красного моря. Как метафора-рефрен. Как знак прошедшей, «пройденной вброд» войны.

...Через Красное море
перешел я один...
Тело мясом и кровью
через рельсы катил...—

(Перевод мой.— В. Б.)

поет, играя на дудочке-окарине, безногий инвалид («Калека с окариной», в книге 1961 года). Читатель догадывается, что это бывший партизан, искалеченный при взрыве на железной дороге, остальные его товарищи погибли.

Эта дудочка все звучит в ушах Ожуга, не затихает в его поэзии тема второй мировой войны и причиненных ею страданий. И все слышнее угроза будущей войны, еще более страшной.

Поэзия позднего Ожуга часто бывает публицистична:

...ЦИВИЛИЗАЦИЯ, овладей собою,
прежде чем овладеешь Землей беззащитной!

Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к любой из его последних книг. Ожуг — не из тех, чья хата с краю. Его касается не только то, что в его дворе, в его городе, в его стране. Он мучается вместе с «убитой Европой»: вместе с отравленным Рейном и осквернённым нефтью норвежским фьордом, вместе с умерщвляемыми химией древнегерманскими лесами. «Поэт земли» обернулся поэтом Земли с большой буквы, поэт «деревенский» — поэтом вселенским.

В подборке мы представляем поэта стихотворениями 1966—1985 годов.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ

Ольха

Рубил он ее над ручьем,
еще не замерз поток,
и теплая кровь текла
за голенища сапог.

Вся снежной кровью сочась,
от пня, от нутра корней,
упала в объятья отца —
и сросся навек он с ней.

В отцовом-ольховом стволе —
и сукровица, и сок,
и теплый пульсирует снег,
и крови с водой шепоток.

О смерть, не бери меня в рай,
оставь с топором на земле
на долгую зиму зим,
оставь лежать, как отца,
приваленного к кресту
ольхой, подрубленной им.

Зелень

Зелень, зелень, вспомним зелень,
вспомним о полях сожженных,
вспомним об убитых турах,
уничтоженных бизонах,
добрые люди,
о мехах, звериных шкурах,
добрые христиане.

Зелень, зелень, вспомним зелень,
вспомним о забытом доме,
и о песенке пастушьей
и о вас, мои лесные
добрые люди,
о поэте нашем гневном —
Юлиане [1].

Зелень, зелень, вспомним зелень,
по весне, в средине лета,
осенью ли, в зимний день ли,
добрые люди,
накануне ль конца света.

Христиане и мещане!

© LSW, 1977, WL 1980, Jan Bolesław Ożóg 1985.

[1] Имеется в виду польский поэт Юлиан Пшибось (1901—1970).

Христос

Вы повырубили зубров и богов дубрав и дебрей.
Выдумали меня вместо тех, кому молились древле.

Вы поставили мне церкви, чтобы вам прощал злодейства,
беззащитен, как девчонка, в поле брошенная наземь.
Вот чего вам не хватало, вот зачем вам нужен здесь я —
вам моих благословений не хватало в час палачеств.

Вы богов сгубили старых, тех, что мором вас казнили
за убийство серны в жите, за погибель белых лилий.

Но о том, что я увидел, вся Земля кричит и плачет
черной птицею над фьордом, осквернённым нефтью черной.
Ничего вы не добились, отобрав мой бедный разум,
но — ужо! — умалишенный Бог не гибнет не отмщенный!

Перевод ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

В минуту взрыва

За тоннами мороженых цыплят,
телят, порубленных на части,

за грудами окороков,
кругами колбасы
и длинными плетями луковиц

язык огня висит.

На блюде с сельдью
колышется планета,
как если б руки ее были из желе.

Надеясь пережить и страшный суд,
наивные косят глазами
на блеск разбитого стекла пекарни
и, с недоверьем
слушая тромбон
сверхбомбы,
хватают помидоры
и в холодильники мешками тащат сахар.

Мохнатым пауком
уже им в горло лезет смерть,
они ж бегут на склады за добычей.

Крадут открыто, так, как крали —
с прилавков, с магазинных полок,
бананы и манто им все еще нужны —
и лишь с пустых весов бумага
свисает, как балкон с бессмысленной стены.

Поверьте,
на собственных их галстуках с балконов
я не повесил бы
всех тех колоколов неутоленных,
что языком огня звонят им всем конец.

Притча

Когда и материк и море
покроются сплошной попоной
аэродромов и ангаров,

когда, как черным шоколадом,
углем позарастают зубы
металлургии,

застынет и свинец в щипцах
колодезного журавля,
над бездной ада,
а техники и инженеры
застынут в эйфории,

рассевшись наконец
на выстеленных долларами креслах,
глядя на роботов-эквилибристов
в окно
и в телевизор

и слушая, как щелкают и свищут
железные цеха заводов,
как девственные птичьи джунгли,
и квакают дизели,
как деревенские в пруду лягушки,

щебечут двигатели, будто жаворонки,
и вторят грохоту гремучих змей конвейеров,
и пухнут электронные мозги,

а кто-нибудь увидит:
Четыре Всадника в стеклянном небе
и на конях из окровавленного мела,
а может, извести, облитой гематитом,—

а в лесопильнях роботы во мгле
скрежещут, как лягушки из железа,—

и тут последняя живая жаба,
прыжками через весь машинный цех,
вдруг на глазах у телезрителей,
воспользовавшись тем,
что сторож спит,
впрыгнет в открытые ворота рая.

В Ноев ковчег.

Как при потопе.
Или же пожаре.

* * *

Не я иду, не я кричу —
земля кричит, горланит во все горло.
С пивною кружкой в баре за столом
не я сижу —
земля босая раскорячилась коровой.

Не я верчусь от боли, как бурав,—
земле ломает кости.
Не я в отчаянье хватаю нож —
то за меня земля нож из воды возносит.

Встаю с соломы, весь в крови.
Но и земля недоспала
и ненавидит все еще во сне.

Дымится бойня, море крови.
— О, горе! — вопию, пощады не моля.
И петлю вешаю себе на шею —
и в петлю вкладывает голову земля.

Перевод НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Гвозди

В. П. Шиманьскому[1]

Что до гвоздей,
я не люблю гвоздей.
В метизной лавке — ящики гвоздей.
Стол: под столешницею — острия гвоздей.
Пол аж позванивает шляпками гвоздей.
Бритва отца лежит в шкапу среди гвоздей.

Я попрошу — ты говоришь — гвоздей.
Я попрошу кило гвоздей.
Еще, прошу, мне полкило гвоздей.
Я ставлю дом и колыбель сбиваю.
Растем мы день и ночь на дереве гвоздей.

Плывут по водам лодки из гвоздей.
Трава в лугах зеленых — шерсть гвоздей.

А стало быть, коровы — из гвоздей.
Их брюха — торбы, полные гвоздей.
Коровы, телки ржави и гвоздей.
И это молоко — из острых трав-гвоздей.

Клецки из пуль — для солдат, суп из свинцовых гвоздей.

Добавим в хлеб стекла или гвоздей
и в крышку гроба шесть гвоздей.
Где гонтовой костел, но без гвоздей?
Бог без гвоздей? Крест без гвоздей?

Цветет акация среди шипов-гвоздей
и алой розы кровь течет с куста гвоздей.

Перевод ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

---

[1] В. П. Шиманьский (род. в 1932 г.) — польский критик.

Петля

Да. Красных в гости принимал. Признался.

Потом,
когда веревку, как змею,
петлей завязывали с одного конца,
другой конец на дерево забросив,
уже он знал, чей это галстук.

Не плакал, вечности он не боялся,
и времени уж не хватало
отчаиваться или горевать,

поскольку судороги рвоты
с внезапным головокруженьем
слились в шум листьев груши.

Из хаты
стул вынесли, поставили под грушей,
набросили петлю.

Спросил он, можно ли,
но сам не вспомнил что́,

судья великодушно разрешил —

и руки сразу же ему связали.

Была веревка острой, как стекло.

Пепел

Грозы прошли, как немецкие танки,
черные тучи — волы брюхо по́ земи проволокли,
конь-ветер один лишь галопом через поля и ограды
легкий несется в компании крестьянских телег.

Костел на холме
возглашает хвалу тем, кто в город не убежал, а остался.

Звездчатка, как снег запоздалый на зазеленевшем лугу,
и березки в белых чулках и коротких юбках —
светло-зеленые и воздушные,—
единственные женщины в пейзаже.

Мужчины, оставшиеся в деревне,— это дубы над оврагом,
вязы, кусты боярышника с птичьим гнездом средь шипов,
еще не заслоненным занавеской зелени.

Оставшиеся в деревне крестьяне —
это священнослужители своих и не своих пашен,
столь величественные, что полевые кресты кланяются им издали,
когда, ступая большими шагами, шагами сеятеля,
смотрят они с межи, так ли ржица растет, как раньше.

Единственный старик, как викарий, непослушный курии,
сеет по запоздалой пашне свой последний сыпкий белый пепел.

Старики

Остались:
старик
и старуха.
В глубоких оврагах, в постромках терновника —
вот их воля.

Он — грабовый ствол,
она — упрямая тополь.
С неба — град и зной.
В дольних долах — юдольная доля.

Он босой на серпе и гвоздях,
а она босая на вилах.
Одним терновым венцом
укрываются на ночь оба.

Крапива в его руке
расцветет багряною розой.
В ее руке крапива
забьет родником медовым.

А где же сыновья ваш хлеб едят?

Без вранья

Я не резал ножом березу
и сок из нее не пил.
Я не знаю этого вкуса
и уйду из мира, как жил.

Я любил тишину полевую
и старых лесных богов,
тех, что ходят с пером павлиньим
среди привольных лугов.

Я стихов оставляю торбу
из картофельного былья.
С теми, что землю убили,—
никогда с ними не был я.

Глажу горбатую спину
убитой Европы,
сам я такой же калека,
кривоногий и плоскостопый.

С землей

Все медленней я подымаюсь в гору
с заложенными за спину руками,
они как будто крылья дятла.

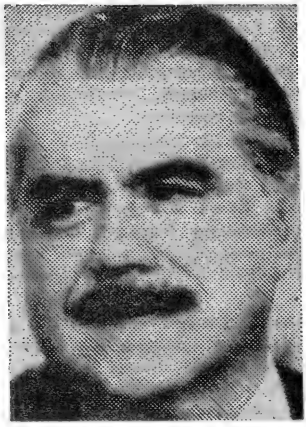
Земля, не отрывая взора,
глядит мне вслед, кричит: останься с нами!
И пенится вода невнятно.

Побудь еще, не уходи!
И ждут, что их к груди прижму,
как в давние года, как в детстве.

Поля и воды, реки и дожди!
Я в небо ухожу, в ночную тьму,
с Землей, как с катышком из конской шерсти.

Перевод НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

■



ЖОЗЕ САРНЕЙ

Рассказы

Перевод с португальского ЛЮДМИЛЫ НОВИКОВОЙ

Бразилия — это не только гигантские небоскребы Сан-Пауло, как-то неожиданно взметнувшиеся посреди обширных кофейных плантаций, или издавна воспетый живописнейший Рио-де-Жанейро; не только колоритнейшая Баия — «земля какао», благодаря популярным романам Жоржи Амаду ставшая такой близкой всем читающим на земном шаре, или поражающая супермодернизмом архитектуры Бразилиа, столица республики, прозванная «городом будущего»...

От «города будущего» до Сан-Луиса, административного центра штата Мараньян, что на северо-востоке страны, насчитывается примерно полторы тысячи километров — в наши дни по сути незначительная географическая дистанция. Но в штате Мараньян словно окунаешься в далекое прошлое. Следы истории явственны в облике Сан-Луиса, основанного французскими корсарами в 1613 году на острове, в ту пору обособленном от материка. Заложив город, французы наименовали его в честь короля Людовика XIII, а внушительные, хотя невысокие здания — свидетели былого — побудили мараньянцев ныне восславлять столицу своего штата как «город малых дворцов». Отпечаток колониальной эпохи не исчез кое-где и в самом штате. Во всяком случае, тут, судя по бразильским источникам, не сказалось разительным образом воздействие распропагандированного в период правления военной диктатуры так называемого «бразильского чуда» — недолгосрочного преуспевания за счет позаимствованных извне колоссальных кредитов, в итоге поставивших экономику страны в тяжелое положение.

Мараньян никогда не относился и не относится к индустриализированным штатам. Его экономический фундамент зиждется на сельском хозяйстве, в котором поныне преобладает крупное землевладение. Как и в давние годы, мараньянцы возделывают преимущественно хлопок, рис, сахарный тростник (даже говорилось, что именно белые хлопок, рис и сахар превратили Мараньян в один из «черных» штатов, поскольку основной рабочей силой на плантациях стали негры, мулаты и метисы-кабокло). Однако первое место в стране Мараньян занимает по сбору маслянистых орехов пальмы бабассу, ценного промышленного сырья и продукта питания,— и многие мараньянские авторы в своих произведениях недаром упоминают эту пальму. «...Леса бабассу в Мараньяне похожи на сплошные массивы кофейных плантаций Сан-Пауло»,— писал Жозе Вериссимо да Коста Перейра, отмечая при этом, что «лишь крайняя нужда заставляет людей заниматься сбором и разделкой орехов — очень трудным делом».

В свое время пользовался печальной славой большой невольничий рынок в Мараньяне, и землевладельцы-фазендейро выступали всемогущими властелинами округи, не признавая других законов, кроме собственной воли. А каковы потомки рабовладельцев минувшего? В немалом числе произведений бразильской литературы запечатлены портреты фазендейро нынешнего века. Как и прежде, не желая ограничиваться пределами своей вотчины-фазенды, пытаются они управлять и «своим» муниципалитетом, и «своим» штатом. Симптоматично, что, цепляясь за вчерашний день, кое-кто из них предпочитает титуловать себя «полковником». Еще в прошлом столетии, после провозглашения независимости Бразилии, землевладельцами была создана «национальная гвардия» в целях «поддержания внутреннего порядка»; под командованием помещиков находились отряды, сформированные из рабов и батраков,

© Horizonte Editora Limitada, Brasilia, 1985.

а порой из головорезов — наемных убийц. Прошли десятки лет, нет и в помине «национальной гвардии», но остались кое-какие «полковники», самовольно присвоившие себе воинский чин. В будущем году отмечается столетие со дня объявления «Золотого закона» об отмене рабства, а еще до сих пор не изжита беспощадная эксплуатация сельскохозяйственных рабочих, батраков, мелких арендаторов, особенно выходцев из соседних с Мараньяном штатов Сеара, Пернамбуко, других.

Землей обетованной представляется Мараньян беженцам из сертанов — полупустынных степных районов тех же Сеары или Пернамбуко, очень часто подвергающихся страшным стихийным бедствиям. Спасаясь от засухи либо наводнений, обрекающих на голод, а то и гибель, потерявшие все бедняки бегут в Мараньян и тут попадают в помещичью кабалу. Северо-Восток, по свидетельству видного бразильского ученого, иностранного члена Академии медицинских наук СССР, автора труда «География голода» Жозуэ де Кастро,— «та часть бразильской земли, где трагизм наиболее ощутим».

Полны подлинного трагизма реалистические рассказы, публикуемые в этом номере нашего журнала. В них мы видим Бразилию без нарядного фасада, вне огромных городов и промышленных центров. Впечатляют картины жизни штата Мараньян, судьбы его обитателей.

Советский читатель впервые знакомится с литературным творчеством Жозе Сарнея— автора этих рассказов.

Автор рассказов — уроженец Мараньяна. Свет он увидел в 1930 году в небольшом городке Пиньейро. А в Сан-Луисе получил высшее образование, окончив в 1953 году факультет права Мараньянского университета. В Сан-Луисе началась и его литературная деятельность. Пятнадцати лет он стал победителем конкурса репортажей, проведенного издательским объединением «Диариос ассосиадос». Будучи студентом, он редактирует университетскую газету «Фолья до эстуданте», успешно сотрудничает в журнале «Илья». Его произведения — стихи, рассказы, очерки — печатают издающиеся в Сан-Луисе газеты «О комбате», «О жорнал до пово», «О жорнал до Мараньян». Он руководит литературно-художественным приложением к газете «О импарсиал».

В 1952 году выходит из печати первая книга молодого автора — поэтический сборник «Начальная песнь». Спустя несколько лет литературная критика Бразилии — известность автора уже перешла границы штата Мараньян — высоко оценила первый сборник рассказов писателя «Воды устремляются на Север» (в Мараньяне почти все реки и речушки текут в северном направлении, к Атлантическому океану, омывающему побережье штата). Этот сборник вышел в 1969 году в издательствах Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро, неоднократно переиздавался.

Если «Начальная песнь» ввела Жозе Сарнея в Литературную академию Мараньяна, то книга прозаических произведений, можно сказать, распахнула перед ним двери национальной Бразильской академии литературы: в 1980 году его избрали академиком.

Литературный труд Жозе Сарней сочетал с активной политической и общественной деятельностью (не считая педагогической работы). Он был депутатом федерального парламента, сенатором республики, губернатором штата Мараньян. В 1980 году его выдвинули на пост председателя Социально-демократической партии, однако через четыре года — после того как эта партия поддержала военную диктатуру, находившуюся у власти в результате государственного переворота 1964 года,— он вышел из партии и возглавил группу ее бывших членов, основавших Либеральный фронт. В 1985 году Либеральный фронт в блоке с партией Бразильского демократического движения (Демократический союз) победил на выборах, заставив сойти со сцены военную диктатуру, удерживавшую власть почти двадцать лет. Жозе Сарней был избран вице-президентом, с апреля 1985 года он является конституционным президентом Федеративной республики Бразилии.

Проза Жозе Сарнея тесно связана с народным творчеством. В трех рассказах, «Боастардес», «Бонсдиас» и «Боаснойтес», появившихся в первом прозаическом сборнике, он как бы воспроизводит — в своей интерпретации — народные сказания о братьях-разбойниках, удалых «героях» сертанов: в каждом рассказе действует тройка братьев, несхожих между собой, по словам бразильского критика, «триада зла» (у каждой триады свои фамилии, не то прозвища — «Добрый день», «Доброе утро», «Спокойной ночи»). В текст прозы автор включает безыскусные народные песенки, явно преднамеренно сохраняя их лексику, фонику, ритм. Это придает бо́льшую правдивость повествованию о том, что, возможно, происходило не так давно (писатель не уточняет время действия). Нельзя не согласиться с оценкой бразильских коллег, что в творчестве писателя отражены национальные традиции, живой язык. Автора относят к знатокам фольклора родного штата, да и всего Северо-Востока — он руководил историко-географическим институтом Мараньяна, был членом комиссии по фольклору.

С полным правом — вслед за своим соотечественником, великим композитором Эйтором Вила Лобосом, обретшим истоки собственного творчества в народных мелодиях Северо-Востока,— автор рассказов мог бы повторить: «Фольклор — это я».

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

Мерисия с берегов реки Пылкой Любви

У меня лишь просьбы две
Ныне к утренней звезде:
Ниспошли мне розмарина
Да и розы аромат...

Из псалмов в церкви Бурити да Инасиа

1

Кажазейрас — огромная старинная фазенда [1]. На добрых шестьдесят легуас [2] тянется она по земле Мараньяна к реке Гурупи.

По обеим сторонам помещичьего дома, увитого диким плющом, раскинулись длинные веранды. Кровля крыта тяжелой почерневшей черепицей. За домом — амбары; здесь хранится зерно, большие кувшины и бочки с маслом и разными другими продуктами, всякая рухлядь. У ворот фазенды на привязи лошади; в ворота въезжают и выезжают ослы и мулы с поклажей. Люди снуют — это батраки сгружают мешки с богатыми маслом орехами бабассу и рисом. Приемщики тщательно взвешивают, составляют списки привезенных товаров.

То и дело в воздухе раздается свист бича — батраки торопят животных.

Хороший погонщик никогда не ошибется — издалека достанет самого ленивого осла! Бич у него длиной метров в пять, да еще с шипами на конце...

— Посмотри-ка на того Жоана, сына Марии...

— Лучший погонщик в округе. Самый быстрый, самый ловкий. Вмиг разгрузит свой товар...

Слышен голос Жоана, сына Марии:

— Эй, Балансина! Пошла, пошла! Ну и характер у этой ослицы!

Опять запел в воздухе бич из сыромятной кожи, сопровождая топот ног, цокот копыт, позвякивание стремян и шорох сбруи.

— Шагай, шагай, Баронесса! Скоро домой...

— Поворачивайся, Морена! Живее!

И вновь потянулась из ворот фазенды цепь мулов и ослов. И вновь погонщики бредут по узкой тропинке, которая, обегая болота, перепрыгивая по хрупким мостикам через речки и ручейки, ведет их туда, где они трудятся изо дня в день все годы.

Всему хозяин здесь — Сиприано Элдорадо Фейтоза. Истинный полковник, что по судьбе, что по слову. По судьбе — потому как действительно унаследовал титул полковника от отца, который в свою очередь получил его еще в Национальной гвардии. По слову — потому как твердо держался своих принципов.

— Не терплю, когда мне перечат или врут.

Таким был. Скажет будто пристрелит, без лишних разговоров. Жену его при одном виде благоверного колотила дрожь. Сыновей и дочерей — тоже. У Сиприано были свой кодекс, свои каноны, свое представление обо всем, он следовал жестоким законам сертанов.

По-своему полковник понимал и нежность и мужество, вел бои и выносил смертные приговоры. Расчеты его всегда были соразмерными, весы строго отрегулированы, с работниками он расплачивался сполна, по-своему, конечно.

Был он высок, телом по-юношески строен. Весь облик его — глаза, особенно губы — до последней родинки и морщинки говорил о суровости и непреклонности его в решениях. Полковник часто повторял, чтобы оправдать свою строгость, граничившую с беспощадностью:

— Я из того поколения, которое знало все...

2

Сердце его было жестким, но откровенным. Слова — тоже.

— Сеу [3] полковник Сиприано, пришел к вам просить о помощи. Жена болеет, хочу свезти ее в город, полечить. Дайте мне в долг! Расплачусь с урожая...

---

[1] Усадьба. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Легуа — старинная мера длины, в Бразилии — 5, 5 км.

[3] Уменьшительное от «сеньор».

— Не с твоим урожаем лечить жену в городе. Бог не дал тебе того. Пойди поищи трав, сделай настой. Не поможет — пусть помирает. А ты женись на новой...

— Спасибо, сеу Сиприано! Да благословит вас бог за доброе слово.

Вот таким был полковник.

Однажды прибежал на фазенду кум полковника. В ужасе, давясь слезами, пробормотал:

— Сеу Сиприано! Этот Марио, сын Паулины, попортил Зуку, дочку мою, вашу крестницу. Прошу вас — обженитe их.

Полковник вспыхнул:

— Ты совсем стыд потерял, кум! Что за глупости болтаешь?! Твое дело — прикончить Марио! А ко мне приходи защиты искать, чтобы тебя в тюрьму не упекли. Вот о чем надо просить, а не воду в ступе толочь!

Подумал и заключил:

— Да, кум, совсем ты стыд потерял!

Через два дня на фазенде вновь появился кум:

— Зука замуж выходит за Марио. Обкрутил я их, сеу полковник.

— Ну и хорошо. И больше об этом не вспоминай.

По вечерам на фазенде Кажазейрас, как и всюду в сертанах, собирались погонщики скота, батраки. Пригоняли стадо. Пыль стояла столбом. Сиприано ждал сам у открытых дверей амбаров. Тут же производились расчеты.

— Три веса, всего сто восемьдесят девять килограммов,— говорил крестьянин.

— Скину за мешки. Разгружай.

— Сеу полковник, дайте мне табака, керосину. И еще пороха, свинца, лески...

— А материи?

— И материи тоже. В крупный цветок.

3

Педрока был сыном смазливой негритянки Кирины. Красивый светлый мулат. Высокий, стройный, сильный. Считал Педрока быстро и при этом всегда улыбался, показывая ослепительные крупные зубы. Скромного парня покупатели любили и хотели, чтобы их обслуживал только Педрока. Никогда он не мусорил на прилавке — соль или муку насыпал аккуратно в чаши весов. Старого Сиприано называл крестным и работал у него подручным в лавке вот уже четыре года.

Времени свободного у Педроки было в обрез, всего-то лишь по воскресным вечерам, когда лавка закрывалась пораньше. Но парень не жаловался, хотя всю неделю ему приходилось ложиться поздно — после семи, восьми, а порой и после десяти, когда привозили груз из Мата-Вельи — оттуда доставляли обычно много кокосовых орехов.

Весь день Педрока отвешивал муку, а то плоды кажу́, кокосы, и постоянно его обволакивал сильный, терпкий, опьяняющий иногда до тошноты запах бабассу. В лавчонке стояла нестерпимая жара, помещение было забито продуктами и товарами, руки вечно были мокрыми от пота. Зато по вечерам, окончив работу и закрыв лавку, Педрока наслаждался свежим ветерком. Он тут же хватал керосиновый фонарь, ведро, ароматное мыло и спешил к роднику — поскорее смыть с себя грязь, пот и вонь. Но сначала надо еще достать воды из колодца у родника, а там лягушки да жабы — черные, холодные, так и норовят прыгнуть из ведра прямо на спину!

Подбежал Педрока к роднику, сорвал рубаху, привязал к веревке ведро, стал опускать длинный деревянный рычаг в глубину. В несколько рывков вытащил воду. Намылился. Будто вновь на свет народился! Опять можно жить! Еще пара ведер — руки скользят по мокрому телу вверх-вниз, сгоняя влагу. Теперь осталось натянуть пахнущую свежестью выстиранную рубаху, и вот уже все тебе кажется чистым — и собственное тело, и ветер, и земля, и звездная ночь.

Раскинулось над головою небо. Необъятное небо Мараньяна, похожее на круглую рыбацкую сеть таррафу, наброшенную на освещенные лунным светом купы деревьев. Вместе с ночью опускается на землю небо, вот оно уже совсем близко, и вдруг — нет его, исчезло. Осталась только ночь.

Педрока доволен. Он работает в доме полковника Сиприано, его уважают здесь, он честно выполняет свою работу. К ночи укладывается в собственный гамак. Перед этим на задней веранде вместе со всей прислугой — работниками, батраками, погонщиками, пастухами — Педрока ужинает. Сбросив одеяло, спит он в небольшом чулане,

здесь держит и свои пожитки — пару рубах, мыло, пахнущее фруктами. Белье ему стирает Жоакина, высокая и стройная негритянка. С другими женщинами она ходит стирать на ручей, там они и купаются в укромном местечке.

Однажды, еще совсем мальчишкой, Педрока решил было приворожить Дивину, дочь Жоана Прекаты: по совету знахарки поймал он птичку винвин, убил ее, высушил головку, растер в порошок. Ночью пробрался к ручью, где обычно купались женщины. Дивины не застал, но решил все же разбросать порошок на том месте, где она всегда стирала. Тут ему захотелось пить, склонился он над водой, ладонью разогнал ряску... и почудилось ему, будто вода пахнет женщиной... Рассказал Педрока об этом своим приятелям. Часто теперь забирались мальчишки в камыши, пили воду, и им казалось, что они целуют женщин.

Давно Педрока уже повзрослел. Совсем стал взрослым. Может даже позволить себе побаловаться с девушками. Может сходить за две легуас от полковничьей фазенды навестить красотку по имени Фогойо. Правда, обходилось это недешево, но все же иногда он позволял себе такую ночь...

Вернулся Педрока домой после купанья у колодца. Ужин ждет его — на тарелке высокой горкой рис, рядом порция муки, желтоватой и сухой, лишь немного смоченной водой. Тут же нарезанные листья арарути. Поверх всего лежит узенькая ленточка вяленого мяса. Иногда перепадал и кусочек дикой свинки анты, а то и оленины. Давали и маниоку с зажаренной на углях рыбой тарирой. Но в этих случаях риса уже не полагалось — только мука и вода. После ужина завязывалась неторопливая беседа:

— Ты слышал, о чем Раймундо болтал сегодня?

— А как же! Ему надо выменять свою больную животину на здорового осла.

— Это какой же Раймундо? Тот, что привез полный воз рыбы куриматы?

— Тот самый.

— Счастливчик! Помнишь, как ему повезло, когда ножом его пырнули?

— Помню, конечно.

— Жеремиас здорово саданул его тогда, но лезвие попало в пряжку и соскользнуло, только малость живот поцарапало.

— Повезло! Нелегко уцелеть от ножа Жеремиаса!

— В тот день Жеремиас был на взводе!

— Был он пьян или не был — главное, что Раймундо увильнул от ножа!

— Зато Жеремиас помер...

— Да, подошел его последний денечек.

— К таким, как он, последний день всегда раньше приходит.

— На поножовщину времени ему и так хватило.

Педрока рассеянно следит за беседой, мало интересует она его. Щепотью подбирает он с тарелки последний рис, смешивает его с мукой, сплющивая на манер лепешки, и бережно отправляет в рот. Потом он вымоет руки под струей воды и вновь вернется к столу.

— А знаете, Раймундо всякий раз, как мимо могилы Жеремиаса проходит, мочится на нее!

— Да ты что?!

— Мстит ему за прошлое.

— Кум, а ты не заметил на боку своей рыжей ослицы язву?

— Как не заметить! Уж и черви завелись.

— Утром полечим ее. Выдавим гной, промоем и замажем.

4

На веранде дома, покачиваясь в качалке с парусиновым сиденьем и вытянув ноги, отдыхает полковник Сиприано. Жена его и дочери убирают со стола: аккуратно составляют посуду, складывают скатерти в комод. Дочерей у полковника три: Дивина, Жертрудис и Мерисия — средняя и самая своевольная. Сейчас она стоит, опершись на перила веранды, и смотрит в сторону кухни, где прислуга. Ей девятнадцать лет. Сложена прекрасно: стройные ноги, маленькая высокая грудь. Миндалевидными глазами и иссиня-черными волосами Мерисия походит на отца. От него же она унаследовала высокомерный вид, повелительный взгляд и решительную походку. Главное занятие ее — вязание и приготовление сладостей. Иногда, правда, пишет письма; редко, раза два-

три в год, ей позволяется выезжать в ближний городок на церковные праздники. Там она чинно прогуливается по улицам, порой танцует на вечеринках в доме судьи.

Старшая из сестер, Дивина, уже просватана, и дата свадьбы назначена. Избранником ее, а точнее — выбранным для нее родителями будущим супругом, станет ее двоюродный брат. Человек он работящий, владеет небольшими угодьями, да еще и приторговывает. Так что положение вполне, по здешним понятиям, солидное имеет. Неважно, что жених и невеста встречались от случая к случаю — на праздниках да во время визитов, но уж если полковник Сиприано решил, так тому и быть!

Сестры помогают Дивине готовить приданое. Стопками лежат ночные рубашки, отделанные воздушными кружевами; лифы и корсеты, чтобы скрыть девичью грудь. Кружева, кружева, кружева! Вышитые, связанные, плетеные — и всё с такой любовью к сестре!

— Женщина выходит из своего дома лишь трижды за всю жизнь. В первый раз — когда ее крестят. Во второй — на свою свадьбу. В третий — на кладбище,— так подводит итог полковник Сиприано своим размышлениям о женской судьбе.

Дочери росли под строжайшим присмотром отца — как и все, что росло на фазенде Кажазейрас. Да что девушки! И мать их, и бабушка, и другие женщины, окружавшие их, знали одно лишь: домашний очаг.

— Женщина создана для того, чтобы служить мужчине!

Мерисия постоянно слышала эту заповедь. За всю свою жизнь она лишь несколько раз беседовала с отцом, и сестры не больше. При этом все считали, что Мерисия — любимица отца. Она не могла объяснить даже самой себе причины, однако в глубине души противилась всему, о чем толковал старик. Мерисия мечтала о другой жизни. Несколько лет назад она осмелилась сказать:

— Я хотела бы учиться.

Полковник Сиприано посуровел. Женщине не дано знать много. В конце концов, мать Мерисии, его супруга, не умеет даже имени своего подписать, а дочери и читать, и писать, и считать научились! Представить себе трудно такое! Мерисия, видите ли, уедет с глаз отца и матери! Просьба дочери поразила полковника как удар ножа, это было нечто совершенно несовместимое со всем укладом его жизни. Кто мог вбить в голову девочке подобную ересь?! Кто мог подсказать ей такое?!

— Давина, это ты настроила девчонку?

— Господом богом клянусь, не я...— отвечала жена.

Мерисия промолчала. Гордыня ее была сродни отцовской. Как же она стремилась к независимости!

Однажды ночью, находясь в благодушном настроении, полковник заявил жене:

— Давина, пора подумать о замужестве и Мерисии и Жертрудис. Слава богу, с Дивиной все решено. Надо поискать девочкам мужей из нашего круга.

— Поедешь в город, посоветуйся с кузеном Зеканом,— мягко ответила дона Давина.

...Итак, Мерисия стояла на веранде и смотрела туда, где ужинала прислуга. Лицо ее нельзя было назвать красивым, но отличалось оно особой привлекательностью. Да и вся она вызывала желание...

«Неужели весь мир таков, как наш дом? — думала Мерисия.— Как фазенда Кажазейрас? С телегами, запряженными быками, со стадами ослов, с запахом масла бабассу? Неужели?! Неужели мир — это голос отца, глаза отца, неужели законы отца правят всем миром?..»

Сердце девушки отказывалось в это верить. Зрела в ее душе неведомая ей самой сила, жгла ее, распаляла. Так случается в кучах золотистых орехов бабассу: где-то в глубине возникает жар, и чем глубже, тем горячее.

Вдалеке ей был виден Педрока. Он того же возраста, что и Мерисия. Она давно заприметила этого мулата с гладкой кожей, следила за ним, когда он торговал в лавочке или просто сидел среди батраков. Однажды Педрока подарил девушке певчую птицу коррупиана в красивой плетеной клетке. Птица была совсем ручной. Мерисия вынимала ее из клетки, и та пела у нее на ладони. Внезапно коррупиан исчез — то ли кот, то ли крыса съели ее.

Педрока не мог не привлечь ее внимание: мускулистое тело, красивые крепкие зубы, и при всем том застенчив. Мерисия взглядом обвела стоявших неподалеку отцовских помощников — и Жоакина, и Марсионилио, и других. Однако вновь вернулась к Педроке, сыну Кирины. Не отдавая себе отчета, девушка позвала:

— Педрока, подойди сюда.

Мулат быстро ополоснул руки, поднялся по лестнице, отделявшей кухню от господского дома, вопросительно поглядел на Мерисию:

— Я к вашим услугам.

— Педрока, поймай мне еще одного коррупиана. Такого же, как тот, которого ты мне подарил когда-то.

— Я давно не ловлю птиц, но для вас, дона Мерисия, выпрошу у кого-нибудь. Лучше найти уже приученную.

— Хорошо, постарайся.

Мерисия произносит все это лишь для того, чтобы сказать что-то, на самом же деле ей просто хотелось присмотреться к белозубому юноше.

Разговор этот не прошел мимо ушей полковника Сиприано:

— Ты уже не в том возрасте, дочь моя, чтобы птичками заниматься. И что за вольности ты себе позволяешь? Просишь у работника подарок! С этими людьми не тебе общаться! Никаких бесед!

— Хорошо, отец. Просто мне тоскливо без птицы.

Педрока всем телом ощутил, как взгляд доны Мерисии встретился с его взглядом и задержался на нем. Только что ее глаза были так близко! И так похожи на отца! И в то же время совсем другие. Педрока не понял, почему дона Мерисия так посмотрела на него. «Какая она сильная, вот это женщина! Властной хозяйкой станет! — мелькнула у него первая мысль. А потом: — Вот бы и я был из господского дома! Тоже был бы из тех, кто нежится в качалках и кому слуги взнуздывают коня!»

Ночью парню не спалось. Едва ли когда он замечал дочерей полковника — они были так далеки от него, что ему и в голову не приходило видеть в любой из них женщину. Женщинами для него были, например, дочери Дас Дорес. Те, кто стирали и купались в ручье. Те, кто красовались перед ним своими прелестями и которых он угощал на сельской площади стаканчиком имбирной, леденцами в виде сердечек и прочими сладостями с лотка бродячего торговца. Этим же девицам он непременно делал подарки к рождеству, в праздник Волхвов. А как же иначе? Ведь они тоже дарили ему красивые открытки, на которых были написаны такие вот слова:

В День Волхвов дарить не стыдно.
Стыдно праздник не справлять.
Разве будет не обидно,
Если сердцу отказать...

Дона Мерисия, ясное дело, никогда в День Волхвов не подарит Педроке такую красивую открытку — розовую, голубую, пусть даже белую! — надушенную лепестками роз. Покачиваясь в гамаке, Педрока все думал о доне Мерисии и об открытках ко Дню Волхвов.

Потерял парень покой, и даже Фогойо не смогла бы принести ему успокоение. Пришлось Педроке встать и вылить на голову ведро холодной воды, чтобы прийти в себя.

5

После разговора с доной Мерисией Педрока словно заново родился. И вокруг все казалось иным. Перед ним стояли глаза девушки, и взгляд ее пронизывал тело, как игла прошивала рогожный мешок. В час обеда мысли мулата опять были далеко. Они неслись к веранде хозяйского дома. Вечером повторилось то же самое. Надо сказать, что с тех пор Мерисия все чаще стала подходить к перилам веранды и все чаще улыбалась, поглядывая в сторону людской. А Педрока... Лицо Педроки теперь не покидала улыбка. С нетерпением он ожидал, когда подвернется случай и вновь он поймает взволнованный взгляд. Он счастлив был уже тем, что имел, не задумываясь о том, что может случиться дальше.

Зе де Донга, сосед и приятель Педрокн, заметил, что с парнем творится неладное:

— Что с тобой, дружище? Ты словно пугливый олень шарахаешься?

— Ничего особенного, нет. Просто мне хорошо, да и погода хорошая.

— Если тебя прихватило, Педрока, сходи к Фогойо, а то совсем ошалел!

Педрока промолчал и лишь покосился на Зе де Донгу. Потом глянул в небо, там плыли облака, и каждое из них принимало очертания доны Мерисии.

Случилось так, что полковник должен был отправиться в город: надо было оплатить заказанные им товары. На заре вывели из конюшни мулов и ослиц. Полковнику

под седло положена была широкая, полукружиями сшитая ткань вместо потника, к луке приторочены кожаные мешки, не забыт и знаменитый хлыст из сыромятной кожи с плетеной косицей на конце. На сапогах полковника — шпоры, спущены наглухо закрытые, старинной выделки стремена. Оседлана для дона Сиприано темно-гнедая кобыла Балерина. Лет ей уже много, и все эти годы она верно служит хозяину: шаг у нее ровный и устойчивый, да и к любым, самым гиблым, дорогам животина привычная. Вот только в последнее время что-то стала спотыкаться, даже колено где-то сбила.

— Слепнет.

— Придется покупать другую,— замечает полковник.

— Да и эта еще послужит...

На столе в хозяйской столовой ждет полковника чашка кофе, тарелка с маниоковым печеньем. Остается только выпить — и в путь. Педрока стоит тут же, он сам седлал коня для крестного.

— Благословите перед отъездом, сеу Сиприано.

— Да будет с тобой мое благословение. Проследи за товаром, сегодня должен приехать Анжелин.

— Будьте спокойны, хозяин.

6

Педроку преследовали мысли о том, как бы поговорить с доной Мерисией в отсутствие отца. Он следил за тем, как в предрассветных сумерках, исчезая в зарослях, удалялись лошади, уносившие полковника и его спутников, и непривычное чувство овладевало им. Он посмотрел в сторону скотного двора. Эрнесто уже встал и доил коров. С наступлением дня язычок керосиновой лампы, что стояла возле Эрнесто, все бледнел, пока не стал совсем невидимым. Рядом — посудина, куда днем сливают из лампы керосин, и выдолбленная тыква с чистой водой, чтобы обмыть вымя. Вполне возможно, что скоро сюда придут дочери хозяина выпить парного молока. Они сюда часто заглядывают по утрам. Педрока вызвался помочь приятелю:

— Эрнесто, хочу поучиться у тебя доить, поразмять пальцы. Дай кнут, пригоню корову.

— Возьми, в хлеву висит.

— Жоаким, отгони теленка вон от той безрогой...

Педрока схватил корову за уши, подогнал к сараю, втолкнул, перехватил веревкой передние ноги, на рога набросил петлю, чтобы не бодалась. Потом обмыл вымя, уперся лбом в теплый бок и потянул за соски. В ведре вздыбилась белая пена. Педрока тянул и тянул, а на уме была только дона Мерисия.

Бычок, ты мой бычок!
Бычок глиняный с соломкой,
Я тебя с душой лепил
И картоном укрепил.
Только ты не убегай
И меня не покидай!

Эрнесто напевал песенки, которые обычно пел Николау на ярмарке во время представления бумба-меу-бой [1]. А героями песенки были батраки из этого лесного края. Праздник кончался тем, что участники его разбегались, уводя игрушечного бычка, а под ноги им вдогонку бросали шутихи:

Через речку Бем-Керер[2]
Должен мой бычок пройти,
И огонь ему не страшен —
Не сгорит он, не утонет...

У входа в коровник появилась дона Мерисия с сестрами. Увидев ее, Педрока благословил и молоко и корову. Лицо у девушки ясное, спокойное.

— Эрнесто, отец рано уехал?

— Уехал, сеньора.

Педрока с трудом выдавил:

---

[1] Традиционная народная игра, участники которой пляшут под музыку вокруг раскрашенной фигурки быка, сделанной из глины, соломы и картона.

[2] Бем-Керéр — Пылкая Любовь.

— Дона Мерисия, не хотите ли молочка?

— Хочу, Педрока, налей мне в мою чашку, ту, что с длинной ручкой.

Педрока взял чашку, с силой потянул сосок, струя молока, ударившись о дно, вспухла пеной, превратилась в большой белый цветок, закрывший все. Мерисия отошла в сторону от сестер.

— Дона Мерисия, вот молоко... Смогу ли я увидеть вас еще раз сегодня, попозже? Может быть, после ужина? Я буду у амбара с орехами бабассу...

— Почему после ужина, а не после обеда?

— Люди...

— Тогда ночью.

Эрнесто продолжал напевать. На этот раз ему вспомнились гулянья после церковной процессии, когда на ярмарках выступают ряженые — придворные дамы, император с императрицей и пажи. Пел он монотонно, будто убивал время:

Ярко-красный, и зеленый,
И желтеющий, как роза,
Призывают к выступленью
Нынче все цвета на стяге...

7

Педрока в лихорадке. Какой сегодня день? Вториик. Какой месяц? Июль. А год? Год, когда доне Мерисии исполнилось девятнадцать лет. Где он? На фазенде Кажазейрас, там, где шелестят под ветром пальмовые ветви. Где топот копыт и звон колокольчиков на шеях коров.

Весь день мулат, охваченный то страхом, то радостью, метался по лавке — перебирал гири, ворочал мешки, перетаскивал с места на место. Из лавки он ушел пораньше. Взял с полки новый кусок мыла, записал его в книгу долгов на свой счет. Подошел к колодцу. Лампочку поставил подальше от себя, чтобы запах керосина не отбил аромата душистого мыла. Он только сейчас впервые осмотрел свое тело: на плечах и руках перекатывались сильные мускулы, бедра крепкие, упругие икры. Волосы приглажены. А голову Педрока всегда держал высоко.

Тарелка с ужином Педроки вернулась к стряпухам почти нетронутой — есть ему не хотелось. Зато душа его пела, и чувствовал он себя среди приятелей прямо-таки королем!

— Педрока, а помнишь, как мы мальчишками бегали на реку, пили воду, и нам казалось, что вода пахнет девушками...

— Глупости болтаешь, Эриесто!

— Хорошие были времена. Жаль, что прошли...

— Хорошие времеиа только наступают!

В этот момент Педрока увидел у перил веранды дону Мерисию — взгляд ее был устремлен в его сторону — и добавил:

— Только сейчас мы становимся мужчинами.

— Нет, все не так! Что мы с тобой видели в нашей жизни? Ради чего надрываемся день и ночь на работе?! А потом подохнем? Тебе нравится такая жизнь?!

— Нравится.

— Чем же?

— Нравится, и все тут.

— Что с тобой, Педрока? Ты словно козел, которого слепни искусали! Что-то скрываешь от нас...

Педрока прервал разговор. Поднялся, вымыл руки душистым мылом, которое прихватил с собой. Еще раз взглянул на хозяйскую веранду и пошел, стараясь принять как можно более равнодушиый вид. К амбару он направился кружным путем. Вскоре появилась и Мерисия. Они забились в угол, устроившись на пальмовых ветвях, еще горячих от дневиого зноя. День умирал, наступала ночь.

— Доиа Мерисия, сеу Сиприано убьет меня, если узиает...

— Не одного тебя, и меня убьет. Да еще с большей яростью. Я как во сне, Педрока... Обними меня!

Педрока обнял Мерисию. И так крепко сжал ее в объятиях, что в ладони ему врезались косточки ее корсета. По лицу его рассыпались девичьи волосы. Его опьянял запах — особый аромат женщиины из помещичьего дома.

— А завтра придете?

— Приду и завтра.

— И если вернется сеу Сиприано?

— Все равно приду.

— А если нас увидят?

— Убежим!

— Но полковник догонит нас и убьет! Из Кажазейрас еще никто не смог убежать!

— А далеко отсюда мир?

— Мир? Очень далеко. На том берегу реки Бем-Керер.

— Педрока, не могу я больше жить здесь! Все равно я нарушила запрет отца!..

— Вам лучше знать...

— Я знаю и не хочу умереть прежде, чем стану твоей. Ты мне очень нравишься, Педрока!

— Вам лучше знать...

— Слушай! Убежим отсюда! Сегодня же! Все равно узнает... Бежим, пока его дома нет. Хоть немного времени, да наше будет.

— Тогда бежим!

— Как только лягут спать все. Отец вернется послезавтра. Успеем уйти подальше.

— Успеем ли? Он настигнет нас. И убьет.

— Пусть! Но лучше умереть, взглянув на мир. Педрока, я хочу увидеть мир, другой, непохожий на наш! Хочу уйти отсюда! Здесь не жизнь — ад! Ты же сам знаешь, что на фазенде единственный господин — он, мой отец.

Педрока ощутил тепло пальмовых ветвей. Он крепче прижал девушку к себе. Решение принято. За стеной упали первые капли дождя. Педрока вспомнил слова из песни Эрнесто:

Призывают к выступленью
Нынче все цвета на стяге...

— В одиннадцать?

— В одиннадцать.

8

Педрока вернулся к себе. Открыл сундучок, вынул нож, пристегнул к поясу. Улегся в гамак, стал раскачиваться. Лежал с открытыми глазами — через щели в черепичной крыше ему были видны одинокие звезды. Он думал о том, что произойдет после одиннадцати ночи. Ему представлялось тело доны Мерисии, волосы доны Мерисии. И не оставляла мысль о полковнике Сиприано. Вспомнились его слова: «Никто нигде от меня не скроется, даже крошечная улитка!» Вспомнилась ему и смерть Эркулано Кабесейры. Привез тот орехи бабассу, да подложил в мешки камней и песку для большего веса. Разгорелся дикий спор. Эркулано схватился за нож, но дон Сиприано всегда наготове держал свой револьвер тридцать восьмого калибра. Прозвучали два выстрела... Тело Эркулано бросили в огромную корзину из тростника и отправили вдове. По дороге, а потом и дома над телом покойника пели заклинания, чтобы отогнать от него неприкаянные души:

Помер ты,
И ты страдал,
Но за все ты заплатил...
Помоги мне, Матерь Божья,
Рядом смерть, передо мной
Одинешенька стоит,
Глядя на меня, шипит:
«Эта душенька — моя!»

Хор мужчин подхватывал:

Хватай-ка кобру,
Скрути ее!
Не то нападет,
На тебя нападет!..

Педрока ждал, перебирая в уме все, что с ним произошло. Вспомнил тело Фогойо, вспомнил девушек, за которыми следил у речки из камышей. И вдруг — дона

Мерисня! Она совсем другая! В ней пылает особый жар, непохожий на тот, что теплится в кучах влажных орехов бабассу.

Показалась Мерисия. С собой — ничего, в легком платье без обычных нижних юбок с пышными кружевами. В Кажазейрас царила тишина.

— Поедем верхами?

— Да, но лошади на пастбище. Оседлаем их там, здесь нас заметят.

Взявшись за руки, они вышли в звездную ночь. Перелезли через изгородь, таясь. Ступили на тропинку в зарослях. Они вступали в новый мир — и так хорошо у них было на душе!

— Педрока, прежде чем отловим лошадей, я хочу быть твоею...

— Дона Мерисия, нельзя задерживаться! Нас могут догнать.

— Тем более! Пусть уж схватят после того, как я стану твоей...

— Дона Мерисия...

— Не хочу умирать, Педрока, не узнав тебя!

Педрока сошел с тропинки, вынул нож, быстро расчистил местечко, нарубил ветвей, уложил их на землю. Над крохотной полянкой, скрытой зарослями, ярко горели звезды. Они будто опустились над Мерисией и Педрокой. Звезды следили за лошадьми, что паслись в загоне...

Хватай-ка кобру,
Скрути ее!
Не то нападет,
На тебя нападет!..

9

Занималось утро. Вокруг Педроки и Мерисии пели цикады, издалека доносился голос цапельки сирико́ры. Да еще ветер шумел в пальмовых ветвях.

— Теперь в путь. Я пошел за лошадьми.

— Отец все равно настигнет нас. Почему бы нам не остаться здесь? Пробыть столько, сколько нам отпущено жить?

— Нет, дона Мерисия, мы поедем к реке Бем-Керер. Там начинается новый мир, оттуда три ночи езды до Мараньянской бухты.

Влюбленные поспешили вперед. Днем и ночью Педрока вырубал в зарослях просеки и полянки для убежища, не то рыскал повсюду в поисках воды и пищи. Однажды он услышал конский топот, разглядел вдалеке облако пыли...

— Зачем, Педрока, ехать дальше? Не будем терять времени. Не хочу умирать, не став еще раз твоей...

10

Дома полковник Сиприано, мрачно прищурив глаза, кратко спросил:

— Ты знала?

— Бог с тобой, ничего, ничего не знала,— ответила, затрепетав от страха, жена.

— Собрать людей! Вооружить! Следовать за мной! — приказал полковник своим помощникам.

Жена и дочери осмелились просить дона Сиприано не преследовать Мерисию, подарить ей жизнь и свободу. Уже все домашние считали ее чуть не покойницей.

— Если я не подам пример своим, то не смогу быть примером для чужих!

Следы беглецов удалось обнаружить без промедления. Сиприано подъехал к изгороди, окружавшей пастбище для лошадей, увидел на земле увядшие листья бабассу. Ему почудилась тень его дочери... Его Мерисии, чистой и целомудренной. Представил он себе и сына негритянки Кирины, запутавшегося в тончайших кружевах, плетенных на старинных коклюшках...

Выехали на лужайку под раскидистой кроной имбаубы. Над цветами вились желтоспинные пчелы. На их крылышках виднелись белые пятнышки.

— Что за пчелы такие?

— Их обычно называют «белыми девицами».

Сиприано подумал, что судьба послала ему испытание: бог, видимо, призывал Мерисию к себе. Она недостойна оставаться в живых. Рука полковника сжимала оружие. Он готов был исполнить свой родительский долг.

Всадники продвигались по следам беглецов.

— Поедем за ними, пока не увидим, где она для меня погибла...

— А где же погибла? — спросил Эрнесто у соседа, скакавшего рядом.

— Где ветер и пыли не оставил.

Педрока и Мерисия уже третью ночь спешили к новой жизни. Заметая следы, они выбирали едва заметные тропинки. Мерисия сбросила корсет, и освобожденные ее груди вздымались и опускались в ритм скачке. Она устала, но взгляд ее был счастливым. Педрока тоже сиял. По дороге они нагнали семью беженцев, спасавшихся от засухи, надеявшихся найти более гостеприимную землю. Влюбленные примкнули к ним. Путь казался теперь короче.

В ту ночь они опять расчистили себе крохотную полянку, устлали землю мягкими ветвями. В ту последнюю ночь.

Солнце поднялось уже высоко, когда они проснулись. С дороги слышались странные звуки. Мерисия взглянула на Педроку:

— Что за шум?

— Должно быть, водопад шумит на реке Бем-Керер, за дорогой...

11

Педрока вскочил. На берегу реки, у висячего мостика, ладно сбитого из срубленных пальмовых стволов, стоял полковник Сиприано, приехавший сюда накануне...

Только по утрам дорогу обрамляет свежая зелень, только по утрам царит тут мир и покой. Ярким ковром устилают дорогу травы, каких только нет тут цветов.

Педрока страха не испытывал. Три дня и три ночи пробыл он с Мерисией, и вся она — ее глаза, ее волосы, ее тело — принадлежала ему, и только ему. Ему же принадлежали и звезды, подглядывавшие за ними сквозь ветви пальм и заросли кустарников. Оба они были свободны, как птицы в небе.

Мерисия же оставалась дочерью своего отца. Она спокойно встретила взгляд полковника. И если бы в последний миг ей пришло в голову молить отца, она просила бы не о жизни. Она просила бы о смерти, но... на следующий день, чтобы еще одну ночь побыть в объятиях Педроки.

Крестьяне-беженцы, шедшие с Педрокой и Мерисией, метнулись в чащу. Завидев полковника, Педрока встал, заслоняя собой Мерисию. Круг замкнулся.

Сиприано не мог проронить ни слова — зубы скрипели, лицо кривилось. Педрока, наклонившись, обнял девушку — исцеловал ее всю. Руки, ноги, волосы, лицо. В ушах его звучала песня, услышанная на поминках Жоакима Кабокло:

У меня лишь просьбы две
Ныне к утренней звезде:
Ниспошли мне розмарина
Да и розы аромат...

Глаза полковника, как всегда, были непроницаемы, но гневу его не было границ. Спутники Сиприано было вытащили оружие. На берегу реки Бем-Керер, реки Пылкой Любви, стояли Педрока и Мерисия.

Полковник закричал:

— Не стрелять! Это мое дело.

Он вытащил свой знаменитый, тридцать восьмого калибра, двуствольный револьвер с рукоятью, отделанной перламутром. Раздались выстрелы, один за другим. Старик подошел к распростертым телам, наступил сапогом на мускулистую грудь мулата:

— Оттащить его!..

Несколько человек слезли с коней, подошли к Педроке, перерезали ему ножами сухожилия на ногах — так некогда поступали с беглыми рабами. На мертвом лице Педроки застыла улыбка счастья. Рядом с ним все еще лежала дочь полковника. Из-за кустов, застыв от ужаса, взирали на эту сцену попутчики влюбленных — крестьяне. Последовал новый приказ:

— Вырыть яму, закопать.

— А девушку?

— Девушка — моя дочь. Господь бог направил меня за ней, чтобы не жила она в позоре. Ее мы возьмем с собой. Оплачем дома, как положено.

Тишина в лесу всегда пронзительна. Лишь едва шелестят пальмы бабассу, рощи которых с незапамятных времен простираются по Мараньяну. Да еще шелохнется где или промелькнет дикий зверь...

Сиприано отвязал от седла свой излюбленный широкий плащ. Завернул в него окровавленное тело Мерисии. Вновь вскочил на коня. И повез домой, чтобы простились с нею мать и сестры.

— Господи! За что, за какие грехи направил ты меня за дочерью?

Будь я мастером плотницких дел,
То воздвиг бы у церкви придел,
И с Богоматерью на алтаре
Дону Мерисию видели б все...

— Плачь, Сиприано! Оплакивай волю господню!

На рассвете нового дня
Дева Мария лишь видна,
Потеряли мы нашу Мерисию,
Потеряли ее навсегда.

Старого Антана сыновья

Кем же был Аглау Софидио? Старым землепашцем, самым бедным во всей Аркадии, и всего-то добра у него было — крохотный клочок земли возле хижины, который он обрабатывал собственными руками, не завидуя никому и не вызывая ничьей зависти. Земля давала ему ровно столько, чтобы не помереть с голоду.

Падре Антонио Виейра[1]. *Из непроизнесенной в связи с болезнью автора проповеди в Королевской часовне в «пепельную среду» — предпоследний день карнавала.*

Двадцать борозд. Каждая — длиною в двадцать пять брасас[2]**. Каждая браса — это, считай, день работы. Сначала вырубить и выкорчевать заросли, потом сжечь, а золу рассыпать по земле. И уже после — вспахать и засеять. А еще — полоть. Наконец, убирать урожай.**

Пот. Жажда. Истрескавшиеся от зноя губы. Спины, опаленные немилосердным солнцем. Руки — большие и грубые, покрытые мозолями, будто коростой. У всех — у мужчин, у женщин, у детей.

Скупого на слова Сатиро, недаром прозванного Молчуном, не могло не радовать зеленеющее поле, обещавшее добрый урожай. Конечно, полить бы еще, тогда совсем хорошо будет! Всякое, правда, может случиться, но разве все предусмотришь! Однако самое тяжкое — уже позади. Даже засуха, хотя и пришлось из-за нее засевать поле по второму разу. И вот уже поднялись нежные светло-зеленые листочки, тихо покачивающиеся от ветра. Появились, правда, какие-то гусеницы, кое-где оставив после себя проплешины. К счастью, было их немного. Не так, как случилось в прошлом году, тогда действительно нагрянула беда. Блошка! Напала не только на посевы, но и пробралась во все углы, в щели, даже в доски сарайчика. Была она двух видов. Та, что черная, проникала в завязь, и обнаружить ее было нелегко — малюсенькая, почти невидимая глазу. А вот красная разбойничала в маисе, в зерне, в соломе. Все изгрызла, все превратила в труху: и початки, и стебли. И откуда только бралась — словно из воздуха!

---

[1] Антонио Виейра (1608—1697) — португальский богослов, проповедник, развернувший свою деятельность в Бразилии, в частности в нынешнем штате Мараньян. Изданные им «Проповеди» считались образцом классической литературы Португалии и Бразилии.

[2] Браса — старинная мера длины, равная 2,2 метра.

Нынче повезло, пока все шло хорошо. По утрам, как только вставало солнце, особенно после небольшого дождя, Молчун и его брат Зекинья шли на поле — надо успеть выполоть сорняки. Работали все: и жена, и старшие дети, и малыш Баду. Он, правда, еще только переступать начал. Но всем — и взрослым и ребятишкам — хватало в поле работы.

— А Баду зачем с собой тащить? — спрашивал Зекинья.

— Пусть помогает. Сам знаешь, сколько слепней над полем вьется, работать не дают. А как почуют мальчонку, так и займутся им, нас в покое оставят.

Согбенные потные спины. Без устали поднимаются и опускаются мотыги, вырезая сорняки, оплетшие почву, душившие посевы. При каждом взмахе мотыги над спинами вздымается и опускается облако слепней и москитов. Постепенно превращается оно в плотную живую пелену, и эта пелена уже не летает, а висит в воздухе и пронзительно звенит.

Три удара по земле, три хлопка по себе: по лицу, по плечам, по шее. Но разве отгонишь эту нечисть! Бедняжка Баду — стоит двухлетний малыш, отбиваясь от этой кусачей своры, машет ручонками, ревет во всю глотку, а все же долг свой выполняет: пусть взрослые еще поработают...

— Вырастет он настоящим мужчиной! Нас кусают и его кусают...

Только редко кто перекинется словом с соседом — некогда, не до разговоров, работают молча. Под листьями, срезанными с чудом уцелевших здесь пальм, лежит выдолбленная тыква с водой. Убывает вода скорее, чем освобождается от сорняков поле.

Все же работа подходит к концу. Очистится поле — жди урожая. А тем временем пора позаботиться о хорошей изгороди. Она должна быть надежной, прочной и окружать все поле. Не дай бог — вдруг заберется сюда скотина. А тем более недалеко пасутся стада полковника Жозе Раймундо Балдеса, владельца соседней фазенды. Не вздумай с полковником спорить — много у него скота, много у него и всяких документов, да и к тому же обладает он крепкой глоткой и огромной властью.

Каждый год обращались к нему люди с жалобами на потраву. Но Сатиро Молчун не хотел быть жалобщиком: изгородь у него всегда была отличной, он заботливо следил за ней — чуть что, немедленно подправит. А кроме всего прочего ему был хорошо известен нрав полковника.

— Перца под хвост захотел, черномазый ублюдок! — орал в таких случаях полковник.— Пошел прочь, пока цел...

Сатиро пришел в эти места с Северо-Востока, из своего многострадального штата Сеарá года два назад. Пришел с беременной женой и жалкими пожитками. Три его двоюродных брата — все по фамилии Арруда — добрались досюда еще раньше, а он все пытался в родном краю сопротивляться голоду. В конце концов не выдержал, ушел. Сманила его добрая слава Мараньяна. Благословенный Мараньян! Богатейшие почвы от засухи не страдают. Течет многоводная река Меарим, орошая долины. А земли свободной — хоть отбавляй, нет у нее хозяина, выбирай, располагайся, где понравится. Вот и оказался здесь. Понятно, жаль было покидать старых друзей и родственников, оставшихся в родном селении. Горько было прощаться с крестами над могилами померших сыновей. Но с ним было еще четверо, а теперь вот и Баду — двухлеток.

Жоаким, Жозе, Маргаридо — все трое Арруда — основали здесь нечто вроде семейной общины и назвали ее громко: Центр Арруда. Поселились они там, где кончались владения полковника Жозе Раймундо Балдеса — фазенды Оуро-Вельо. Для риса места подходящие. В густых зарослях братья прорубили дорогу, чтобы летом сюда могли заезжать грузовики за урожаем. Этот проселок, виляющий как бог на душу положит, было трудно, правда, считать дорогой. Но все же проехать было можно, до них тут никто не бывал, хотя, говорят, когда-то были здесь поселенцы, потом ушли, и, как всегда в таких случаях, за брошенными землями закрепилось наименование Морада-Велья — Старое Жилье. Когда-то и тут были проложены дороги, но теперь сплошной стеной стоял лес, заполняя собой овраги, изрезавшие берега речки Туриасу. Ежегодно в ноябре над лесом висит густой дым. Выжигают просеки, освобождая землю под поля. Только недавно небо начало светлеть, дожди не так часты, зато вода в речушках и колодцах чище.

По воскресеньям братья отдыхают. Впрочем, в этот день стараются отточить топоры, мачете, направить серпы, косы, мотыги. Женщины стирают белье. И помыться есть время.

Узнав о том, что непроходимые заросли в этих краях отступили, а на их месте разбиты поля и пастбища Центра Арруда, полковник Жозе Раймундо распорядился погнать сюда на откорм свои стада.

Братья Арруда, а с ними Сатиро и еще Жоан, Закариас, Томас и Эрнестино — из тех, кто нашли пристанище тут раньше, отправились за две легуас вверх по реке переговорить с полковником.

— Сеу полковник, мы — братья Арруда. Пришли вас просить отвести скот из наших мест, большие потравы терпим. А на выборах мы будем голосовать только за вас.

— Очень приятно с вами познакомиться, сеньоры,— вежливо ответил полковник.— Но мои стада привыкли кормиться на дальних пустырях. А если вы обзавелись полями, так и огородите свои земли. Кроме того, хочу вам напомнить, что в этой округе вся земля принадлежит мне. И мой скот пасется на моей земле.

— Сеу полковник, мы освоили ничейную землю. Не было у нее хозяина. Мы ее расчистили, раскорчевали, поставили хижины, и никто нам ни разу не сказал, что эта земля кому-то принадлежит. Вот мы там и обосновались.

— Ну, это мы еще посмотрим... Был рад вас видеть, сеньоры.

Полковник Жозе Раймундо Балдес оборвал разговор.

Сатиро слушал в полном молчании. Его поле было самым дальним, дорога на луга полковника — в стороне.

...Рыжая телка отличалась строптивым нравом. Не лежалось ей на месте, не стояла она как все в стаде. Взбрыкнет, задерет голову с острыми, вширь разнесенными рогами, выпучит глаза и несется как шальная. Да норовит прямо в чащу, в кусты! Шкура у нее гладкая, блестящая, вымя — твердое, круп — высокий, мясистый, разгуливает себе королева королевой. Лакомится орехами пальмы бабассу. Чуть заслышит какой-то тревожащий ее шум, мигом шарахнется в кусты — только и видели. Гордячка была, недоступная! Бычки знали ее характер и, чтобы понравиться рыжухе, бросали стадо и шли за ней в лес. Один только из них — чистопородный зебу, которого держали в загоне фазенды, оберегали и выводили по утрам размяться,— остался равнодушным к капризнице. Ему и так хватало дел с теми телками, что повседневно и чуть ли не каждый час приводили к нему в загон.

За рыжухой повадился бегать неприметный на первый взгляд бычок. Много раз он ее терял, но такой упрямый, что, пробегав несколько дней по ее следам, все-таки догнал ее — как раз у поля Сатиро Молчуна. Сначала телка разозлилась. Глаза ее налились кровью, да и устала она от долгого пути. И вдруг увидела зеленеющее поле молодого риса. Одним махом телка перескочила через изгородь, только задними копытами малость зацепила ограждение. Бычок же остановился. Попытался боднуть преграду, сбить ее, но не вышло.

Рыжуха топтала едва заколосившуюся поросль, ходила кругами и обкусывала, выдергивала нежные побеги. А пожалуй, больше вытаптывала, пережевывая жвачку. С презрением посматривала она на ухажера, застрявшего у плетня. Наконец, сжалилась, подошла к изгороди и грудью пробила дыру, в которую и пробрался бычок. Сама она была уже сыта, живот ее раздулся. Ласково потерлась она мордой о холку ухажера.

Закатное солнце бросало последние лучи. Едва коснувшись земли, они гасли, и в наступающих сумерках глухие звуки от бродивших по мягкой земле животных сливались с посвистом пролетавших ночных птиц.

Загаженным, истоптанным осталось поле.

Утром Сатиро Молчун обнаружил потраву. Вначале он подумал, что на его поле передрались два быка. Он увидел дыру, зиявшую в изгороди совсем близко от ворот. Осмотрел посевы, и даже горько во рту стало. Да, урон был нанесен большой. Там, где раньше стелилась сплошная густая зелень, теперь чернели плеши. Вспомнил Сатиро маленького Баду, тщетно отбивавшегося от слепней и мошкары. Вспомнил свою жену Дас Флорес, у которой на ноге от постоянной работы в воде не заживали язвы. Подавив в себе возмущение, Сатиро первым делом принялся восстанавливать изгородь. Наломал сучьев, ветвей колючих лиан сипó, укрепил забор, обошел вокруг, еще раз подправил и подбил колья. Потратил на это весь день.

Возвращаясь с поля, он вдруг услышал доносившийся из-за деревьев топот копыт и решил дождаться. Так оно и есть — в низинке, у неглубокого озерца, уже на-

чинавшего высыхать, стояли рыжуха и бычок. Быть может, они возвращались в стадо. Сатиро подбежал ближе, закричал — хотел отогнать животных — и вдруг заметил на каждом из них тавро: букву Б, скорее похожую на Р. Стало быть, от имени Раймундо или от фамилии Балдес. Мелькнула мысль: на следующей же день послать домашних сторожить поле, а самому отправиться на фазенду Оуро-Вельо и поговорить с полковником.

— Сеу полковник Жозе Раймундо, да пошлет вам бог здоровья! Пришел к вашей милости, потому как телочка ваша рыженькая, а с ней и бычок, тоже рыженький да еще со светлыми подпалинами, потравили мое поле. Истоптали посевы... Вчера к ночи я спугнул их, как они шли назад в стадо.

— Где твое поле, сеарец [1]?

— Недалеко от Водопоя тапира, чуть правее.

— У меня там нет скота.

— Есть, сеу полковник! Я сам видел тавро вашей милости на бычке и на телке.

— Нет у меня там скота, сеарец! Туда я свои стада не гоняю.

— Ваша милость! Здесь по всей округе ни у кого, кроме вас, нет скота. Да и тавро — не то буква Б, не то Р — ваше.

— Ну, если забрела моя скотина, забей, как увидишь!

— Не хочу я этого делать. Никак не хочу! Очень прошу вашу милость: распорядитесь отвести стада, а то весь наш урожай истопчут.

— Послушай-ка, сеарец! Предупреди всю свою родию, что последний год разрешаю вам здесь возиться. Последний! Все документы на землю у меня оформлены. Те, что мне до сих пор не принадлежали, взял в аренду, записал на своих детей. Так что ваш Центр Арруда как раз посреди моих владений. Придется всем вам убираться отсюда, и поскорее, подобру-поздорову. Я человек душевный, к кабокло отношусь прекрасно, а вы устраиваете мне свары да склоки!

— Бог с вами, сеу полковник! Мы здесь потому, что земля никому не принадлежала. Да и бросовая она была, совсем негодная. Мы все своими руками наладили. И братья мои, Арруда, не знали — принадлежит ли она кому-нибудь.

— Ну, пусть и дальше не знают...

— Сеу полковник, я ведь пришел всего лишь за тем, чтобы просить вашу милость...

— Сказано тебе, нет у меня там стада. А если появится на твоем поле животина, забей.

Истории, которые рассказывали о полковнике Жозе Раймундо Балдесе люди из его окружения не внушали надежд на мирную жизнь в будущем. Говорили, пришел как-то на его фазенду крестьянин, тоже бежал с Северо-Востока от засухи. Привел с собой двух ослов, жену, трех детей. Скарба никакого, только пара крепких рук.

— Сеу полковник не дадите ли мне землицы?

— Конечно, сынок, добро пожаловать! Счастливчик ты — выбрал для житья лучшее место в Мараньяне! Земли что надо, и добрейшей души хозяин! Я ведь каждому друг! Земли здесь хоть отбавляй. И под пашню, и под огород. Есть и рощи бабассу, всех нас кормят.

— Можно мне хижину поставить?

— Можно, сынок!

— А как я буду расплачиваться с вами?

— Из орехов бабассу что соберешь, половина — моя. Потому что все пальмы в округе — мои. Вторую половину сбора продашь. Тоже мне. Ведь все земли вокруг — тоже мои. Да и единственный покупатель здесь опять-таки я. Из того, что посадишь, половина моя. А вторую половину урожая продашь тоже мне.

— Сеу полковник, а можно посадить фруктовый сад?

— А зачем он тебе, сынок? У меня вон в саду фрукты гниют. Захочешь, приходи в любой час. Продам их тебе, а стоимость вычту из твоего урожая. Ведь собирать-то все равно будешь с моей земли.

— Сеу полковник, а ослов я могу себе оставить?

— Не нужны они тебе, кабокло. Животные тебе не понадобятся, ты их мне отдай. Наступит время уборки, я сам пришлю к тебе телеги, ослов — их у меня много.

---

[1] В данном случае — презрительное обращение к беженцам из штата Сеара.

А оплату за перевозку вычту из той части, что тебе положена за продажу урожая. Видишь, тебе вперед ничего мне платить не надо!

— Сеу полковник, а охота здесь есть?

— Сколько угодно...

— А ваша милость купит у меня шкуры? Тех, что на охоте...

Его милость полковник Жозе Раймундо Балдес более не мог терпеть наглости пришлого голодранца. Брови сошлись к переносице:

— Кабокло! Грязный негр! Вон отсюда! И он еще хочет жить на моей земле? По роже видно — бродяга! Бродяга и есть! Он, видите ли, желает жрать мясцо моих оленей, да еще шкуры с них продавать! И кому? Мне! Их владельцу!

...Раннее, чистое утро. На острых кончиках рисовых побегов сверкает роса. С трудом поднимаются втоптанные в грязь стебельки.

Сатиро сегодня начеку. Он решил провести у своего поля весь день: не дай бог, скотина опять вернется. А он знал, что обязательно вернется, недаром говорится, что бык, полакомившийся свежими побегами, да еще рисовыми,— пропащее животное! Непременно вернется на свою потраву. Так привыкает безобразничать, что по-хорошему ни за что не отстанет! Да ясное дело: гораздо приятнее пастись в одиночестве, пожевывая побеги — нежные, сочные, вкусные! — чем под палящим солнцем толкаться со всем стадом по высохшим пригоркам, где и травы-то не осталось.

Рыжуха не заставила себя долго ждать. Хитрющая! Почуяв засаду, ушла в кусты, спряталась. Едва лишь успокоенный Сатиро отправился домой, как телка вышла из укрытия. Перепрыгнула через изгородь и преспокойно начала щипать зелень. Здесь похватала, там порвала, тут потоптала, сюда перешла. Намесила, изуродовала поле. Пришла одна и ушла одна, пожевывая жвачку, роняя по дороге ярко-зеленую слюну.

Так случилось еще раз. И еще два. И еще не раз и не два. Поле поникло. Ничего не мог поделать Сатиро с упрямой телкой. Обида перешла в ненависть. Спал он теперь урывками, каждое утро вставал с мыслью о том, что увидит поле опять обезображенным. Не вытерпел наконец, отправился снова на фазенду полковника:

— Сеу полковник! Опять пришел к вам. Во имя всего доброго, что вы своим деткам желаете, прикажите отвести стада из наших мест. Сил нет! Скотина уже сожрала полполя, дожрет и то немногое, что осталось.

— Говорил я тебе, сеарец, что нет у меня скота в тех местах!

— Как же нет?! Тавро-то ваше — буква Б, похожая на Р!

— А коли моя корова, можешь ее забить!

— Сеу полковник...

— Сказано тебе — разрешаю прикончить. Только пулей и отвадишь.

Сатиро отправился домой. По дороге завернул в лавчонку Манэ Дондона, купил ружьишко. Не забыл свинца, пороха, дроби, пыжей. Для верности в патрон загнал еще и пулю.

Решение принято. С ружьем в руках Сатиро отправился в поле. Засел за изгородью. Ждет.

Ждал весь вечер. И ночь. Ждал в нетерпении, до дрожи ждал. Что ж, другого выхода нет. Перед ним лежало истерзанное поле. В ушах Сатиро все еще слышался голос полковника: «Нет у меня скота в тех местах. А коли моя корова, можешь ее забить!»

Наступил новый день. Страшный для всех день. Телка, конечно, должна прийти. Не может не прийти, раз уж повадилась. Опять перемахнет через изгородь, опять начнет губить все подряд.

И правда, зашелестели листья, хрустнули сучки. Шаги были тяжелыми. Опять она — рыжуха! Подрагивая кожей, будто чувствуя опасность, пошла вдоль кольев в поисках места, где она всегда перепрыгивала. Тут ее и ждал Сатиро. Он стоял полный решимости не пропустить рыжуху. В руках — ружье, патрон в стволе. Животное подняло морду, взбило песок копытом. Несколько сильных ударов хвоста — ночные мошки роем взвились,— и вот уже тело ее готово к прыжку. Но вдруг телка замедлила движения, будто заколебалась, немного отошла назад, стала осматриваться. Наконец все же решилась.

Сатиро терпеливо следил за ней, хотя и понимал, что пора ему целиться. Выбрал белое пятнышко меж рогов. Промахнуться не мог! Не имел права! Должен

отомстить за все несобранные алкейрес[1] риса. За искусанного слепнями и мошкарой Баду. За незаживающие язвы на ноге Дас Флорес. За все муки. За жажду. За долгие переходы. Расплатиться за голодные месяцы, когда не остается ни зернышка.

Телка не успела оглянуться. Грянул выстрел. Животное вздыбилось, резко прыгнуло в сторону и с диким ревом рухнуло на землю у самой изгороди. Сатиро подбежал ближе. Телка еще дергалась, перебирала ногами, будто тянулась куда-то. Он вынул нож и погрузил его в рыжую шею. Вонзил яростно и глубоко, передав лезвию всю свою ненависть.

Солнце садилось за горизонт, спокойное и какое-то бесцветное. Последние его лучи повисли на корявых сучьях почти голых кустов. Теперь надо было снять шкуру, уложить в нее мясо и отнести кровавый тюк на фазенду полковника. На задней ноге отчетливо темнело тавро: буква Б, скорее похожая на Р.

На утренней заре Сатиро вместе с Зекиньей и двумя братьями — Жозе и Маргаридо Арруда — вернулся к полю. В шесть утра все было кончено. В заросли выброшен самый негодный кусок требухи, над которым тотчас же повис рой зеленых мух, а откуда-то издалека прилетели стервятники урубу и стали кружить над тем местом.

По приблизительным расчетам, туша тянула на пятнадцать арроб[2] с лишком. Братья разделали мясо, увязали его в самодельный тюк из снятой шкуры, подвесили к палкам, а палки подняли на плечи. И пошли к фазенде.

— Добрый день, сеу полковник.

— Добрый день, сеньоры.

— Принесли вашей милости мясо. Та самая ваша телочка, что прикончила мое рисовое поле... Ваша милость тогда сказали, что если и впредь будет топтать... Вот я так и сделал... Ничего другого не мог придумать.

Глаза полковника сузились, потемнели и будто остекленели. Взгляд стал жестоким. Полковник молча посмотрел сначала на Сатиро, потом на Жозе, на Маргаридо — на всех по очереди. Было видно, что он пытался взять себя в руки. Внешнее спокойствие его свидетельствовало о многом. Взмахнув рукой в сторону амбаров, проговорил:

— Мясо отнести туда.

Впервые кто-то осмелился прикоснуться хотя бы к волоску на голове полковника Жозе Раймундо Балдеса! Кружком встали его головорезы — они уже были в курсе случившегося. Напряжение росло. В воздухе запахло тревогой, вот-вот что-то случится... Все понимали это, все хорошо знали нрав полковника. Знали его земли, его скот, бескрайние маисовые поля, плантации маниоки, риса, рощи бабассу. Знали его дом, его детей — законных и незаконнорожденных, его покровителей, кумовьев, родственников, крестников, наложниц и прислужников. Но никто не знал врагов полковника Жозе Раймундо, одни были далеко от этих краев, а другие — его усилиями — уже переместились в лучший мир, в царствие божие.

Маргаридо с трудом развязывал веревки, стягивавшие тюк с мясом. В голове его крутилась и крутилась песенка, которую недавно в свободную минуту сложил в Центре Арруда бродячий музыкант:

Жоаким, Жозе и Маргаридо,
Старого Антана сыновья,
Добрые дети земли,
Добрая у них земля!
Арруда, Аррудинья, Аррудан —
Все они на славу землепашцы.
Сильный это и свободный народ
И господ над собой не признает.

За эту песенку братья наградили певца целым алькейре отборного риса.

Жозе — могучие руки, огромные ноги — не спеша развешивал на крючья куски мяса. С них еще стекала белесая сукровица, собираясь лужицами на земляном полу. Арруда принесли все — от лучших кусков до голяшек и костей. Даже обрезки вытертой на ногах шкуры отдали полковнику.

— Все возвращайтесь домой. На фазенде пусть останется только хозяин потравленного поля. Поговорим с ним позже, да и слугам моим поможет засолить мясо,— распорядился Балдес.

— Хорошо, сеу полковник. Спасибо, ваша милость,— ответили братья Арруда, однако с места никто не двинулся.

[1] Алкейре — старинная мера веса, в различных штатах Бразилии исчисляется поразному.

[2] Арроба — мера веса, около 15 кг.

— Сеу Жозе,— обратился полковник к одному из братьев,— вырежи-ка лучший филейный кусочек и отнеси в чулан, где седла хранятся, повесь там мясо. У меня как раз покупатель имеется...

Нож Жозе быстрыми и точными движениями вырезал сочнейшее филе.

— Готово, сеу полковник.

— Неси в чулан, повесь слева на крюк.

Распоряжение это озадачило братьев. Глаза полковника опять были жестокими, лицо — бледным, но совершенно бесстрастным.

К пяти часам пополудни все было кончено. Часть мяса продана кумовьям, соседям, остальное пущено в засолку. Острые ножи разрезали, скоблили, истончали куски, растягивая их почти до прозрачности. Слуги-негры натирали эти ленты солью, тут же распяливали их на солнце. Просоленное и высушенное вяленое мясо увяжут в свертки, уложат в лари. Немало свертков получилось.

На фазенде наступал вечер с обычными вечерними хлопотами. Коровы загнаны в загон, телята отведены на свое место, туда, где самая сочная трава,— пусть с раннего утра попасутся. Лошади почищены, сбруя развешана по стенам конюшни. Убраны продукты. В хижинах батраков и пастухов зажглись масляные фитильки.

В помещичьем доме загорелась огромная хрустальная люстра. Здесь еще купали хозяйских детей, собирали ужин. Принявшие душ женщины расчесывали волосы, девицы тоскливо поглядывали в окна. Сновали служанки. Входили и выходили ближайшие помощники полковника с отчетами о проделанном за день. С ними вплывал и выплывал едкий запах мужского пота, еще не смытого после дневных работ.

В углу чулана на табуретке сидел Сатиро Молчун. Перед ним на крюке висел филейный кусок — все, что осталось от рыжухи. Мясо было густо облеплено мухами. За жаркий день оно успело протухнуть, и при малейшем движении воздуха по чулану разносилось зловоние. За хлевом, незаметно для всех, сидели Жозе и Маргаридо. Оба были испуганы, но изо всех сил старались принять беззаботный вид, ожидая, когда полковник отпустит их родственника, виновника всего этого переполоха. С раннего утра у них во рту не было ни крошки. Воды они попили из колоды для скота, а риса — ни зернышка! Никто на фазенде не осмелился их покормить. Так братья и сидели, опершись о деревянную загородку, терпеливо, но были начеку. Ждали наступления ночи.

Полковник Жозе Раймундо поужинал. Ему подали слегка поджаренное на углях мясо, мягкое и сочное. К мясу — нежнейшее, как пух, картофельное пюре. Вся пища была приготовлена так, чтобы не затруднить челюстей полковника, сохраиить его зубы: ни хрящика, ни катышка! После ужина в глазах сеу Жозе запрыгали огоньки. Он вдруг так развеселился, будто поймал хорошую добычу.

— Ха! Засуну гнилье прямо в пасть! А будет кобениться, свяжу!

Окружающие с полуслова поняли полковника: речь шла о бедолаге, что сидел в чулане. Да и тот не надеялся, что ночь пройдет спокойно.

В кухне посмеивался Туде Трибутино, он-то все знал наперед. Полграфина кашасы [1] он уже опорожнил и теперь закусывал, пожевывая поджаренные лепешки из маниоковой муки.

У Трибутино — большой опыт. По всей округе он был известен — и уважаем! — как жестокий бандит и наемный убийца, доверенное лицо полковника. Человек он был без страха и совести, поэтому господа и доверяли ему всякие деликатные делишки... Меткий стрелок, Трибутино влет попадал в голову птички сурулины, чтобы не дай бог не попортить дробью тушку. На поясе у него всегда висела отделанная белой замшей желтая кожаная кобура, скрывавшая неизменный револьвер тридцать восьмого калибра. Револьвер всегда выглядел новеньким. С левой стороны на поясе Трибутино висели ножны, из них торчал длинный, почти в полметра, нож. Отточенный, как бритва, с узким лезвием и плоской рукояткой, нож этот был подарком друга из городка Кампина-Гранде в штате Параиба, где живут настоящие мужчины!

Арруда, Аррудинья, Аррудан —
Старого Антана сыновья...
Сильный это и свободный народ
И господ над собой не признает...

---

[1] Кашаса — крепкий спиртной напиток из сока сахарного тростника.

Опять всплыл в памяти Маргаридо куплет бродячего певца. Усталым взглядом следил он за небом, за тем, как опускается ночь.

Где осот? И где колючки?
Полю радуется глаз!
Добрая у них земля.
Старого Антана сыновья
И на камне урожай соберут зараз...
Арруда, Аррудинья, Аррудан —
Все они на славу землепашцы,
Сильный это и свободный народ
И господ над собой не признает...

С каждой минутой вонь в чулане усиливалась. У Сатиро кружилась голова, тошнота подступала к горлу. Да еще и желудок пуст! Он страшно устал, его бросало в сон, больше всего душило зловоние, от которого не было спасения. Пытался он зажать нос, обернуть голову рубашкой — ничто не помогало.

Часов в одиннадцать ночи из господского дома вышли три тени, освещая себе путь керосиновым фонарем. Один из шедших — полковник, второй — Трибутино, третий — негр Зе Грегорио, крестник полковника, выросший из милости в его доме. Зе всюду сопровождал хозяина, даже когда сеу Жозе Раймундо выезжал ночью в Коивару-да-Сима переспать с женой Неко Дондона.

Быстрыми шагами группа направилась к чулану. Зе шел впереди, нес фонарь. Замыкал шествие полковник.

Братья Арруда, хотя глаза их и слипались от усталости, заметили свет фонаря. Сон слетел мгновенно. Фонарь угрожал. Жди самого худшего.

Старик Балдес разбудил Сатиро. Запах тухлятины ударил в нос.

— Прекрасно! Какое благовоние! — промычал полковник.

В одно мгновение Трибутино и Зе Грегорио навалились на Сатиро, связали его по рукам и ногам, тот и дернуться не успел. Полковник приказал:

— А теперь разрежьте мясо на куски, облейте керосином, и пускай этот ублюдок жрет его! Забил телку — значит, филейный кусочек ему! Кто с моего стола кушает, моего ремня слушает...

— Сеу полковник! Убейте меня, но не издевайтесь...

— Убивать можно настоящих мужчин, а ты, черномазый недоносок, сдохнешь от поноса!

— Будешь жрать? — взревел Трибутино.— Жри сейчас же!

Вонь протухшего мяса, смешанная с чадом от фитиля и запахом керосина, обволакивала Сатиро. И все же ни за что не проглотит он и куска! Вперед выступил Зе Грегорио, раздвинул челюсти узника, а Трибутино концом своего знаменитого ножа попытался засунуть в рот Сатиро омерзительный кусок. Узник из последних сил яростно сопротивлялся.

— Обвяжи ему морду ремнем, мерзавец должен проглотить! — крикнул полковник.

Зе Грегорио снял с себя широченный кожаный ремень с круглыми дырками, обмотал вокруг лица Сатиро и попытался через одну из дырок засунуть в рот несчастному гнилье. Пытка повторилась. И еще раз. И еще раз. И трижды. В перерывах слышались отрывистые приказания Балдеса:

— А теперь, Трибутино, врежь ему еще и плеткой.

Трибутино снял со стены плетку-трехвостку из сыромятных ремней и, размахнувшись, с силой хлестнул Сатиро по спине. Молчун громко застонал. Братья Арруда услышали его стоны, донеслись до них и слова полковника: «Плеткой! Да похлеще!»

У Маргаридо лихорадочно загорелись глаза:

— Жозе, его убивают...

— Убивают...

Маргаридо молниеносно подскочил к двери чулана, распахнул ее. У порога наткнулся на фонарь, сбил его. Все очутились в кромешной темноте. Первым наугад выстрелил Трибутино.

— Кто здесь? — закричал полковник.

— Братья Арруда! — ответил Трибутино.

Раздался еще выстрел. Зе Грегорио взвыл и выбежал из чулана. Маргаридо упал на землю и пополз, извиваясь, как кобра. Полз неслышно, ощупывая рукой все вокруг. Он искал... Он должен найти его. Про себя он молился, обращаясь к падре Си-

серо [1]. Падре, конечно, подскажет ему, где найти нож. Да что падре Сисеро! Сам бог вложил орудие мщения в руки Маргаридо.

Жоаким, Жозе и Маргаридо,
Старого Антана сыновья,
Все они на славу землепашцы,
Сильный это и свободный народ
И господ над собой не признает...

Вот он — с узким лезвием, с плоской рукояткой,— нож наемного убийцы Трибутино. Опять грохнул выстрел.

— Кто помер? Молчун? Или еще кто?

— Нет, не помер! Это тебе, сволочь, помирать пора! — ответил из темноты голос Жозе Арруды. Маргаридо хотел было подползти на голос брата, да Трибутино тоже заметил, откуда донеслись слова, но запоздал: огромное тело Маргаридо взметнулось в прыжке, он искал Трибутино. И нашел его. Вернее, нож Трибутино, подаренный дружком из Кампины-Гранде, нашел своего хозяина. Маргаридо не увидел, а почувствовал, как лезвие погрузилось в живот Трибутино. Снова и снова всаживал Маргаридо клинок. Трибутино, обливаясь кровью, лежал на земле.

— Готов? — спросил Жозе Арруда.

Никто не ответил. Послышался стон, и уж затем кто-то пробормотал:

— Сукин сын...

Старый Балдес сжался на корточках в углу. В руке его был револьвер. Полковник отдавал себе отчет: если сейчас броситься бежать, он рискует жизнью. Два из прозвучавших в темноте выстрелов были сделаны им. Из-за тонкой стенки чулана доносились чьи-то голоса — видно, спешили к нему на помощь. Наверное, позвал кого-то негр Грегорио. Маргаридо прикинул: дальше тянуть нельзя. Он провел рукой по руке Трибутино — конвульсивно содрогавшиеся пальцы бандита сводила смерть, но они все еще сжимали рукоятку револьвера. Маргаридо попытался выдернуть его. Еще раз призвал к себе на помощь падре Сисеро, наскоро дав святому несколько обетов, в том числе — пожертвовать на его алтарь пару алкейрес риса. И, ухватив руку Трибутино, навел револьвер в сторону полковника, но тот опередил.

Грохнул еще выстрел, потянуло порохом. Святой не подвел: Маргаридо нацелился в стрелявшего. Нажал курок. Попал! Кто-то дернулся с места. Маргаридо снова нажал курок. Все стихло. Маргаридо понял, что теперь можно подняться. Оказывается, Жозе лежал рядом — пуля полковника попала ему в бедро.

— Кто еще из наших ранен? — спросил Маргаридо.

— Меня поцарапало,— ответил Жозе.

Сатиро никак не мог прийти в себя: его беспрерывно рвало. Не развязав веревки, Маргаридо взвалил брата на себя. Втроем они еле выползли из чулана. Позади раздавались протяжные стоны, они узнали голос полковника.

Достигнув леса и укрывшись в зарослях, братья услышали конский топот. Погоня. Отряд примерно в сорок вооруженных всадников мчался по дороге, поджигая все на своем пути. Горели пальмовые крыши хижин. Горели поля. Горели куры и свиньи. Горели те, кто хотел обрабатывать эти земли, называя их «ничейными». Гибли те, кто не хотел подчиниться произволу и беззаконию, издавна царившим в этих местах.

Молились женщины. Их стенания неслись к небесам. Надеялись женщины, что святые смягчат сердца людей.

В белом расшитом гамаке, закрепленном на бамбуковых палках, вытянулось тело полковника.

Братья Арруда с женами, с ребятишками опять продирались сквозь чащу. Неприкаянные, бесприютные. Куда им теперь держать путь? Где теперь корчевать, расчищать, пахать?

— Куда направимся, братья? К реке Токантинс? Подальше от этих мест.

— Прощай, моя Сеара, откуда выгнала меня засуха. Прощай, мой Мараньян, отсюда выгнали меня люди.

— Куда?

---

[1] Рамон Батиста Сисеро (1844—1934) — популярный проповедник-мистик, отлученный от официальной церкви, но почитаемый среди крестьян и батраков Северо-Востока Бразилии.

— Пойдем к берегам Токантинса. К Белему [1]. Говорят, там еще много земли. Поживем, пока не нагрянут богатые и сильные.

Арруда, Аррудинья, Аррудан...
Жоаким, Жозе и Маргаридо,
Старого Антана сыновья,
Добрые дети земли...

История Жоана Блаженного

Правда, как плащаница Христова,— без швов.

Антонио Жозе, крестьянин из Сан-Жозе-дас Ментирас

Расскажу я вам историю Жоана Блаженного, так отроду его прозвали. Мать его звали Алмейдой, отца — Зеферино, а мальчику при крещении дали имя Жоан, но остался он без фамилии. Жоаном Алмейда до Зеферино просто именовали его, когда был ребенком и когда юношей стал.

Появился на белый свет он в Ольо-д'Агуа-да-Пасиенсии. Земли эти богаты рощами пальм бабассу, мелкими грызунами кутиа да совсем крохотными клещами. И все тут — на тридцать легуас по путям перегона скота в штат Гояс и на двадцать вплоть до реки Парнаибы — принадлежит одному хозяину. Здесь, на юге, уже кончается территория штата Мараньян и начинается штат Пиауи.

Жоан до Зеферино рос хилым и бледным ребенком, руки — как спички. И подростком выглядел так же, только у печальных глаз белки пожелтели от ежедневных и еженощных молений. Сначала он молился один, потом — с родителями и братьями, затем — с друзьями, а после — с обитателями чуть не всего родного городка. Пришло время, когда к нему стали стекаться на моления из ближайших окрестностей и, наконец, из дальней округи. Секрет в том, что с годами за ним укрепилась слава исцелителя.

За набожность еще в ранней юности прозвали его Беатиньо, Блаженненький. Благочестивый Матери Божьей — титуловал он себя сам, поскольку, по его словам, именно Богородица осчастливила его таинственным даром, ниспослав ему силу духа, напутствуя его. С тех пор отовсюду стекались к нему паломники — богомольцы, больные, юродивые.

— Сеу Беатиньо, осмотри мою болячку — не заживает. Благослови...

Жоан до Зеферино закрывал глаза. Бледность его становилась еще явственнее. На язву он крестом выкладывал истертые и замусоленные четки.

— Иди, сын мой. Верь в Матерь Божью. Бог так хотел, бог так хочет. Да славится имя его. Закроется твоя болячка. Промой ее три раза настоем из кожуры плода кажý. А как пойдет на убыль луна, оседлай коня и поезжай по лугам...

— Сеу Беатиньо, слава Матери Божьей, благослови меня...

— Матерь Божья всех хранит.

Женщины, мужчины, дети с полудня до полуночи толпились у жилища Жоана, надеясь, что святость его придаст им сил, хотя руки Блаженненького от слабости даже крестное знамение сотворить не могли. Одеяние на нем — ветхое, грязное, покрыто пылью исхоженных дорог. На шее — деревянный крест, да еще два крестика висели на руках. Голосок у Жоана тонкий, едва слышный, но людей он завораживал. А глаза с желтыми белками всегда сияли неземным светом, который можно было бы сравнить разве что с сиянием глаз образа покровительницы Латинской Америки святой Розы Лимской в церкви Лорето [2].

Слава Блаженного распространялась все шире, вплоть до бескрайних северных сертанов. Пустошей здесь меньше, чаще встречаются холмистые возвышенности, заросшие пальмовыми рощами, так что и дичи тут хватает. Жители здешних мест не умеют ни читать, ни писать, календаря не знают, время исчисляют по полнолуниям, пальцам и помершим детям.

---

[1] Белем — главный город соседнего с Мараньяном штата Пара́.
[2] Лорето — город в штате Мараньян.

Домик Блаженного оказался уже тесным для деяний проповедника. Решил он поставить часовню. И поставил. В качестве вкладов несли ему крестьяне мешки с рисом, гроздья бананов, бутылки с пальмовым маслом, певчих птиц журити. Все это потом продавалось с церковных торгов, а деньги шли на строительство часовни в честь Матери Божьей. Жоан никогда не именовал ее Девой Марией или Пречистой Приснодевой, только Матерью Божьей, его заступницей и путеводительницей.

Влияние Блаженного росло. Крестьяне шли к нему за советом не только в часы отчаяния или душевной тоски. Теперь уже никто и ничего не делал без его указания. Селение Ольо-д'Агуа-да-Пасиенсиа, которое до сей поры знало лишь одну власть — полицию, ныне подчинялось голоску Жоана до Зеферино.

Облик селения менялся: улучшились дороги, чаще устраивались ярмарки. По пятницам, в день Всеобщего молебствия — Блаженный по собственному разумению установил этот ритуал,— в селение стекались паломники из самых отдаленных уголков сертана. Потекли и денежки — пошли народные гулянья, закрутилась сельская рулетка. Рынки стали многолюдными и богатыми. Все можно было приобрести — сбрую, седла, кожи, зерно, бусы, ленты, зеркала, ножи, пряжки, палочки для курения, свечи, дичь и говядину, шляпы, погремушки с хвоста змей, самодельные притирания и духи, фрукты, спиртное из маниоки, мармелад из кажý, ваксу, самодельные сандалии, бычков зебу... Словом, все, что может понадобиться в хозяйстве!

Селение Ольо-д'Агуа-да-Пасиенсиа находилось в ведении муниципалитета Энкантадо, а Энкантадо был известен как феодальное владение местной партии, единственной, никаких других не существовало. Издавна на всех выборах противников этой партии сводили к нулю, нередко в буквальном смысле слова... Префектом муниципалитета Энкантадо был сын полковника Закариаса Мамуде. Свой пост он получил из рук шурина, а тот в свою очередь из рук тестя, иными словами, от того же полковника Закариаса.

Полковник Закариас Мамуде, с одной стороны, был олицетворением порядка, с другой — воплощением беспорядка. Один из сыновей Закариаса по его же просьбе был усыновлен полковником Жоаном Лино, заправилой господствующей в штате партии. А потому слово полковника Закариаса было законом, и никто не осмеливался ему возразить, о чем бы ни шла речь в муниципалитете. Одним словом, властелин! Ему принадлежали все дома под черепицей, все плодородные земли, а также единственный пассажирский автобус. Кроме того, ему принадлежали судья, полицейский комиссар, писец, викарий, тюремщик, учительницы, почтарь, статистик, члены муниципалитета, швейцар префектуры, кладбищенский привратник.

Весть об исцелителе Жоана, Благочестивом Матери Божьей, встревожила хозяина Эйкантадо. Доносились слухи не только об исцелениях и врачеваниях, но и о том, что, по словам Благочестивого, святой девой он уполномочен передать крестьянам следующее: никто не должен сдавать префекту половину урожая орехов бабассу, равно как и половину урожая с арендованной земли. Да и сам он отказался платить проценты с доходов от церковных праздников и месс. И — самое возмутительное — не захотел делиться с полицейским комиссаром приношениями, получаемыми от прихожан.

Стало известно и другое. Поговаривали, будто Благочестивый старается привлечь на свою сторону избирателей и восстановить в муниципалитете оппозицию, которая здесь перестала существовать с незапамятных времен. Последнего из ее лидеров, неожиданно тут было объявившегося, зверски избили, раздели донага и спустили в лодке вниз по реке.

Короче, полковник Закариас Мамуде решил собственными глазами увидеть, чтó собой представляет новоявленный святой из Ольо-д'Агуа-да-Пасиенсии, куда он и отправился верхом в сопровождении солдат и своих мулов.

Разговор с Благочестивым был совершенно откровенным: исцелитель должен дать обещание, что его заклинания не выйдут за пределы муниципалитета Энкантадо, что полковнику он окажет всемерную политическую поддержку, что впредь будет делиться доходами с полицией.

— Сеу Беатиньо! Уж не хотите ли вы поднять мятеж в сертанах?

— Неправда это, сеу Закариас.

— Ну, а деньги для полиции?

— Все доходы — и от рулетки, и от праздников — это же доброхотные пожертвования прихожан на алтарь Матери Божьей. Бог желал — бог дал. Да славится наш

спаситель! Да славится ваша милость, полковник Закариас! Да славится наша славная полиция!

Полковник Закариас стиснул зубы. За всю свою жизнь он ни разу не слышал возражений. А тут у него на глазах этот похожий на скелет человечишка, облаченный в хламиду, пытается мутить народ!

Полковник предпочел действовать через полицию.

— Комиссар! С сегодняшнего дня прикройте все эти гулянки! Запретите игры! Надо снести часовню! А самого Блаженного отправьте в тюрьму Энкантадо. Пусть проведет там несколько суток.

Сказано четко. И еще четче приказание выполнено. Правда, не обошлось без сопротивления. Восстали двое больных, двое стариков, двое прихожан, певички — в общем, все те, кто пожертвовали все свое самое ценное на строительство знаменитой часовни. Были и выстрелы, но чаще действовали дубинкой.

К вечеру полицейский отряд вернулся в Энкантадо. Блаженный со связанными руками сидел в большой плетеной корзине. Его сопровождал вооруженный конвой из верных комиссару солдат.

Кое-кто в толпе плакал. Другие — ругались. Смиренный голосок Благочестивого вещал из корзины:

— Бог дал — бог взял! Да славится наш спаситель. Матерь Божья, благослови паству твою!

Известие об аресте Жоана до Зеферино распространилось на многие легуас окрест. В столице штата Мараньян партия, которая традиционно выступала против партии, господствовавшей в Энкантадо, созвала совещание. Затем было объявлено о позорных преступлениях, совершаемых в муниципалитете Энкантадо, направленных на то, чтобы «оккупировать сертаны». Официальное сообщение, выделявшееся на газетной полосе жирной рамкой и шрифтом, утверждало, что «Освободитель сертанов подвергся нападению полиции, и в схватке было убито несколько человек, разрушены церкви и осквернены святыни». Газетчики из «Трибуны свободы» выжимали слезу у своих читателей, а надо отметить, что эта газета была почти что Библией для местного населения — от продавцов овощей, располагавшихся у здания суда на Аниле, до перекупщиков рыбы на набережной Кажу. На следующий день набранный жирным шрифтом газетный заголовок вещал: «Благочестивый Матери Божьей — МБ — это Тирадентис [1] из селения Ольо-д'Агуа-да-Пасиенсиа!»

Другой печатный орган, «Истина», меньшего тиража, но не менее читаемый, на протяжении тридцати лет рьяно прислуживавший губернатору, вице-губернатору, полиции и их подпевалам,— и, надо сказать, служивший неустанно! — излагал факты по-иному: «Прокаженный, вообразивший себя пророком, бесчестит римскую католическую церковь! Правительство проявляет бдительность и принимает энергичные меры».

Великомученик Жоан Алмейда до Зеферино, сидя в тюремной камере Энкантадо, смиренно читал молитвы, восхвалял благодать господню и испрашивал благословения Матери Божьей... Тем временем появились новые слухи — их разносили погонщики мулов, вывозившие с полей уже созревший рис. По этим слухам, паломники и богомольцы, дескать, собираются в отряды, намереваясь штурмовать тюрьму, чтобы освободить Благочестивого. Поначалу все это казалось болтовней. Позже стали поступать более серьезные сведения: народ взбудоражен донельзя. Слухи слухами, а действовать надо...

На рассвете лейтенант Барнабе и с ним десять солдат, посланные губернатором, через задние ворота тюрьмы вывели Жоана Благочестивого втайне от толпы его фанатичных поклонников, чтобы перевезти арестованного в тюрьму столицы штата, передать в распоряжение правосудия. А самое важное — изолировать от народа.

Новость о прибытии узника в столицу штата Мараньян, город Сан-Луис, вызвала бурю. В борьбу включилась партия оппозиции. Движение за освобождение Жоана Алмейда до Зеферино возглавил депутат Роберто Ботельо, человек мужественных и решительных действий, хотя и многословный. Он собрал три дюжины не менее горячих единомышленников, завоевавших серебряные и золотые медали в многочислен-

---

[1] Тирадентис (настоящее имя и фамилия — Жоакин Жозе да Силва Шавьер, 1748—1792)— национальный герой Бразилии, возглавивший борьбу за независимость страны от португальской короны.

ных битвах,— и под сенью партийного знамени все направились к зданию полиции. Подняв национальный флаг, они потребовали освобождения Жоана.

Хотя была суббота, но ввиду чрезвычайности ситуации заседание суда назначили без промедления. Присяжным следовало разобраться в том, приложимы ли в данном случае нормы закона о неприкосновенности личности — «habeas corpus»,— что требовала юридическая традиция и подтверждали удачно выбранные цитаты из трудов Руя и Набуко [1]. Результат был ошеломляющим. Справедливость восторжествовала в этот трудный час: из пяти присяжных лишь один выступил против освобождения узника. И не только потому, что он был старейшим и преданнейшим членом правящей партии, а просто аргументы в пользу Блаженного ему показались неубедительными.

На улице шумела манифестация. Возглавлял ее депутат Ботельо — он шел, размахивая документом об освобождении. Колонны двигались к тюрьме.

По улице Солнца — здесь жители Сан-Луиса утром встречают, а вечером провожают дневное светило — во всех окнах торчали лица. Оппозиционеры маршировали размашистым шагом, подняв руки. Они шли освобождать того, кого «полиция бросила за решетку, чтобы и дальше грабить простой народ». Были тут и выкрики против тех, «кто насильственно заставляет крестьян голосовать за полковника Закариаса Мамуде в его заповедных землях Ольо-д'Агуа-да-Пасиенсии».

Глаза депутата Ботельо горели. Он чувствовал себя великим борцом — освободителем Благочестивого Матери Божьей, и кто, как не он, имел право нести на руках по улицам города освобожденного им пророка?! Депутат Ботельо продемонстрировал всенародно свое простодушие и преданность чистым идеалам. Он принесет героя дня в редакцию газеты «Трибуна свободы», где начинались и завершались все гражданские акты оппозиции. В шесть вечера процессия подошла к редакции. Провал врагов был полнейшим! Сыпался град вопросов, но пророк молчал.

Депутат посчитал свою миссию оконченной. Он объявил Беатиньо, что через несколько дней отправит его домой, в Ольо-д'Агуа-да-Пасиенсию, и Беатиньо может быть совершенно спокоен: с документом, врученным ему в столице штата, он может свободно проживать в муниципалитете Энкантадо и творить свои чудеса. Часовня, по заверению депутата, будет восстановлена. Таким образом, победа над полковником Закариасом обеспечена полностью.

Жоана усадили в кресло. В качестве наиболее безопасного места был выбран наборный цех типографии, ибо в окна и двери редакции рвались люди — всем хотелось взглянуть на чудотворца.

Депутат Ботельо не выдержал искушения:

— Сеу Беато, народ хочет слышать ваше слово. Произнесите речь!

Желтоватые глаза Жоана Алмейда до Зеферино стали совсем желтыми от испуга, по лицу разлилась меловая бледность. Он весь как-то преобразился. Народ притих, кое-кому из присутствующих даже захотелось опуститься на колени. Послышался тонкий, слабый голосок, он исходил из некогда белого, а теперь совсем грязного балахона. Глухо щелкнули четки, звякнули цепочки крестов на шее и руках того, к кому с детства благоволила пресвятая Дева и кого теперь посмела преследовать полиция.

— Матерь Божья, благослови народ. И я его благословляю. Бог дал, бог взял! Да будет он славен в веках! Да будет славен сеньор Ботельо! Аминь.

Газетчики кинулись к наборным кассам. Депутат Ботельо немедленно отправился на радио. Толпа потихоньку стала расходиться, ведь следующий день — воскресенье, так что надобно отдохнуть, чтобы лучше служить богу.

В полночь вышел номер газеты «Трибуна свободы», на первой полосе которой красовался депутат Ботельо, поднимавшийся со своей драгоценной ношей — Жоаном Блаженным — по ступеням здания редакции. Бросалось в глаза, что и передовая, и информация о деятельности оппозиции были написаны одним и тем же пером: там и здесь были рассыпаны латинские изречения. Противник в этих статьях был классифицирован как «клоака и сборище мерзких пресмыкающихся».

Солнечное воскресенье. Такие воскресенья бывают лишь в Мараньяне. А точнее, лишь в Сан-Луисе. Весело, легко. Город расположен на острове, со всех сторон его овевают морские бризы. Сияет синевой старинная керамическая плитка, украшающая фасады домов. Море и нежность окружают город.

---

[1] Имеются в виду государственные деятели Бразилии Жоан Руй Барбоза (1849—1923), один из авторов конституции 1891 года, и Жозе Пауло Фигейра Набуко ди Араужо (1796—1863), автор семитомного издания «Свода законов» Бразилии.

Депутат Ботельо пробудился поздно, встал почти к обеду. Борьба предыдущего дня была тяжелой и сильно утомила его. Он проснулся со спокойной совестью и ощущением победы. Вдруг в голову пришла мысль, что им упущено нечто важное. Позабыл... Действительно, позабыл!

— А где же Блаженный? Куда он запропастился?

Депутат немедленно схватил телефонную трубку. Каждый, с кем он говорил — и партийные лидеры, и газетчики,— отвечал одно и то же:

— В последний раз я видел его в наборном цеху, в кресле.

Ботельо выбежал из дома. Он помчался за ключами от редакции, потом опять вернулся на улицу Солнца. Взлетел по ступеням, распахнул дверь. Блаженный по-прежнему сидел на своем месте, с тем же выражением терпения и ожидания на лице, которое его всегда отличало. Сидел в полном одиночестве, окруженный свинцовыми литерами, болванками, старыми журналами и фотографиями обнаженных красоток. Сидел и потихоньку всхлипывал.

— Сеу Беатиньо! Почему же ваша милость не напомнили нам о себе? Представьте, что могут кричать теперь наши противники из правительства штата?

— Бог дал, бог взял, бог так решил! Да славится он в веках! Благословляю вас именем Матери Божьей, да пребудет это благословение с вами вечно! Аминь.

Но вернуться в свое родное селение Ольо-д'Агуа-да-Пасиенсиа Блаженному не было суждено. Полковник Закариас и полиция оказались сильнее всяких судей, они преследовали пророка, гоняя его по всем уголкам Мараньяна. Отныне он не мог творить свои чудеса и возносить молитвы покровительнице. Не мог общаться с простым людом и убеждать его не платить налоги, не платить полиции. Не мог он помешать комиссару присваивать половину всех барышей с азартных игр, с рулетки.

Несколько месяцев спустя он напомнил о себе письмом депутату Ботельо:

«Ваше превосходительство, сеу депутат Ботельо! В ваши руки препровождаю таинства моей церкви и подсчеты ущерба, нанесенного мне полицией. Очень прошу выслать мне три бутылки масла из плодов ньяме для лечения крови. Да святится имя божие. Бог знал, бог желал, бог так решил! Благословляю вас именем Матери Божьей».

Подписано: «Жоан Алмейда до Зеферино, Благочестивый Матери Божьей».

Кровавая слюна

Заскрипели плетеные корзины. Тронулись в путь ослы и мулы. За ними — люди.

Шли они узкими тропами по берегам речушек, пересекали сухие и каменистые плоскогорья. Движимые единственным желанием: уйти от засухи, уйти как можно дальше. Будто у дождей есть постоянное место, где они изливаются!

Люди считали, что их селение Арарипина обречено. Всем надо уходить отсюда. И они ушли, согбенные от труда и зноя, нетвердо держась на ногах от голода, как бы упираясь взглядом в землю — не оступиться бы на камнях и выбоинах.

Впереди брела Ренира. Она шла, открыв всю себя ветру, солнцу, запахам леса, всему, что исходило от далекого и неведомого мира, который ей предстояло открыть. Позади всех, подгоняя животных, семенил Анжелин. Ему совсем мало лет, но он тоже одержим желанием открыть для себя далекое и неизвестное.

Дорога то и дело петляла, ослы упирались, будто раздумывали — стоит ли продолжать путь. За ними останавливалась вся цепочка. Над людьми и животными стояло облако пыли. Все в этих иссушенных землях пахло пылью, даже воздух. Пыль забивала ноздри и уши, оседала на волосах и бровях, осыпала тело познавших горе беженцев.

Жеривалдо вышагивал и спал на ходу. Глядел, ничего не видя, веки смыкались, голова была тяжелой, как после кашасы, и ночи тянулись бесконечно.

Люди и животные двигались безостановочно. Путь их был труден и горек. Так бредут только те, кто испытали беспощадность жизни. Кому выпало на долю то глядеть с надеждой на облака в небе, то безнадежно взирать на пересохшую землю.

Наступила очередная ночь. Стали устраиваться на отдых. С животных сняли груз и сбрую. Потом их почистили, на шеи повеснли колокольчики на ремнях, чтобы не затерялись в чаще. Устроили очаги, собрали сучья, огонь неуверенно вспыхнул

в темноте леса. Поели вареной фасоли, пожевали по крохотному ломтику вяленого мяса с пригоршней маниоковой муки. Всем поровну.

Стрекотали цикады. Где-то вдали хрипло прокричала зловещая птица агуренто, не к добру, как известно. Ночь сомкнулась над путниками.

Ренира быстро прибралась после ужина. Перетащила в одно место огромные котлы, сложила сковородки, собрала остатки риса — до последнего зернышка.

Жеривалдо не находил себе места. Пошел в лес, вернулся, засвистел, да так ловко, что никто не разобрал: птица ли свистит, человек ли мелодию выводит. Падесенсиа позвала Жеривалдо, но говорить ему ничего не стала. Да и о чем говорить? Беженцы не разговаривают между собой. Им не о чем говорить. Все и так ясно.

Ардозино неожиданно запел. Это была старинная народная баллада, в которой рассказывалось о том, как Дева Мария встретила на дороге ангела и вместе с ним отправилась в Каруару на полуночную рождественскую мессу:

Путница Дева Святая,
Цветок всеобщей любви!
Помогите же Деве Марии.
Что верхом на быке зебу
Приехала в Каруару
Спасти от страданий людей.

Но кем был Ардозино, чтобы петь такие песни? Он тут же замолк, едва Ренира бросила на него взгляд. А песня была замечательная! И как прекрасно пел ее Зе Лимейра, который славился своим искусством на всех ярмарках и гуляньях этого края! Его шутки и музыка слышались всюду, где собирались пастухи. Ардозино смолк.

Жеривалдо сидел, уставившись в одну точку. Вдруг он исступленно завопил:

— Умерла ночь! И мы умерли! Мы горим огнем пламенным!

Ренира схватила его за руки, повисла у него на шее, заткнула рот, чтобы парень перестал вопить. Путники и так были изнурены восьмидневным переходом. Но сдавленное хрипенье Жеривалдо казалось им еще страшнее, чем его страшные слова. Всем было ясно, что юноша не пьян, значит, им овладела нечистая сила.

— Жеривалдо заговаривается! — раздался детский голос Жоакима Ассима.

Содрогаясь и извиваясь в конвульсиях, Жеривалдо сдирал с себя одежду, кусал губы. Кровавая слюна, скатываясь по подбородку, еще раз убедила людей в безумии парня. Он ничего не понимал, куда-то рвался. Ренира снова схватила его за руки, повалила на землю, усыпанную пожухлыми листьями тамборила. Сбежавшиеся помогли ей держать тело обезумевшего. Зубы его клацали, самого его трясло. Да, теперь уж сомнений не оставалось: в Жеривалдо вселился дьявол.

Ренира хотела было связать его, но тут же встала и пропела над ним заклинание от нечистой силы:

Вельзевул проклятый! Нечистый огонь!
Отвергаю тебя! Изыди! Изыди!
Именем семи язв, семи грудей,
Семи копий, семи тузов!
Изыди прочь, Сатана!

Жеривалдо наконец уснул. Ночь прошла. Утром с первыми лучами солнца все проснулись от дикого крика. Страшного, безумного, повергающего в ужас:

— Соли! Сахара! Овечьей мочи!

Опять кричал Жеривалдо.

Блестки соли

Еще неделю шли они по земле Мараньяна. Впереди, как бы устанавливая размеренность марша, твердым шагом выступал Падесенсиа. Раз-два-три...— слышится за ним шарканье подошв о выжженную солнцем тропу.

Люди поднимались на плоскогорье к городу Бурити, прозванному в народе Нерушимым. Последними, замыкая людскую цепь, плелись старики Борральо и Гаргальян. Кожа да кости. Руки — холодные в любую жару. По лицу расползались желтые пят-

на — отметины голода. Желтизной отливали даже белки глаз. И холодеющая кровь, и желтизна, застилающая глаза,— все от него, от голода.

Борральо и Гаргальян порядком отстали от колонны и теперь находили дорогу, прислушиваясь к долетавшим до них звукам. Показывала им путь и пыль, вздымавшаяся из-под ног идущих. Потухший взгляд стариков не задерживался ни на чем в этом бескрайнем зеленовато-пепельном море жухлой листвы. Для них, да и не только для них, все было одинаково безжизненно — и трава, и тропа, и земля.

Старики уже едва могли идти сами, трудно им было без посторонней помощи. Маридонио тащил за руку Борральо. Биго помогал Гаргальяну. Который месяц беженцы добирались до Мараньяна, и каждый шаг доставался им ценой огромных усилий.

Вдалеке показалась роща высоченных пальм тукумов. Потом стал различим дымок, змеившийся над хижинами под пальмовыми ветвями. Подойдя ближе, путники увидели, что на пороге жилища, приткнувшегося к стволу дерева пайнейры, усыпанного розовыми цветами, сидит на корточках женщина примерно лет двадцати. В зубах длинная самокрутка из табачных листьев. Полупотухший каменный очаг. Дыра, заменявшая окно, заткнута рваным лоскутным одеялом. Заброшенность. Запустение. Висевшие на стене сковородки и те были похожи на привидения.

— День добрый! Да хранит господь жилище ваше!

— Добро пожаловать, да хранит вас Матерья Божья! — ответила на приветствие Жазмиры сидевшая возле хижины женщина.

Никто не остановился. Никто не хотел задерживаться здесь. Заметив это, женщина рывком вскочила и закричала:

— Люди добрые! Пожалейте меня! Помогите!

Все повернулись на крик. Женщина метнулась к ним, не человек — скорее, тень его, нечто почти бесплотное. Падесенсиа поднял руку:

— Ты о чем говоришь, женщина?

— О сыне. Умер он.

— Где?

— В хижине.

Падесенсиа, Гугутро, Ледия и Расденго вошли внутрь. На полу на старой соломенной циновке лежало тело. Грязные тряпки прикрывали лицо, над покойником уже вились мухи. Ноги с черными ногтями были вытянуты. Хижину пропитал запах тлена и грязи.

Гугутро наклонился и приоткрыл лицо мертвеца: открытые глаза, в белой запекшейся пене губы, еще не высохшие гнойные язвы.

— Как звали его?

— Кризантино.

— От чего он умер?

— От чумы.

Люди переглянулись, не скрывая ужаса и страха.

— А тебя как зовут?

— Фелисидади. Мария да Фелисидади.

Задыхаясь от слез, женщина рассказала:

— У меня был муж. Была мать. Был сын. Муж сбежал. Мать умерла. А теперь вот и сын. Засуха здесь страшнее, чем в Сеарá. Косит всех подряд.

— Так, так...— только и мог вымолвить Падесенсиа, и после короткой паузы распорядился: — Ройте яму, надо же похоронить несчастного.

Заработали мотыги. Черная земля оказалась мягкой и легкой, как пыль. Полетели щепки и камни. Яма становилась длиннее и глубже. Градива, жена Корго, позвала всех. Здесь же Мария да Фелисидади. Все, что происходит вокруг, кажется ей кошмарным сном, невыносимым для глаз и ушей.

Вытащили циновку с Кризантино, обернули ее вокруг тела, опустили в могилу. Гугутро вырвал несколько сухих веток из крыши хижины и бросил их на мертвеца. Потом поджег сухие листья, бросил горстку соли в огонь, и яму засыпали землей.

— Как видишь, сделали все. Пойдем с нами...— сказал Падесенсиа.

Все стояли молча. Прислушивались к тонкому и протяжному, как стон, голосу Жазмиры. Она опустилась у могильного холма и затянула надгробный плач, по здешним верованиям помогающий душам найти путь в царство смерти:

И день, и ночь, и земля, и соль,
И огненный ветер в кустах...

Кризантино, призвал тебя господь,
А коль призвал, ступай...

Люди подхватили:

Благословит твою душу господь,
Вознесешься ты к небесам,
Коли призвал тебя господь,
Кризантино, покойся с миром,
Почил ты в мире! Невинным умер...

Плач был долгим. Отдавался эхом и, возвращаясь к окружавшим могилу, бился об их лица, проникал в душу. Падесенсиа, наконец, приказал:

— Уходим.

Пошли они дальше. Балустре зажег факел и бросил его на крышу хижины. Взмыло пламя, взлетели искры, застонали вспыхнувшие стены. Огонь озарил небо. На пепелище Градива бросила соль, блеснувшую на углях.

Люди пошли дальше. За их спинами ничего не оставалось, кроме пепла. Среди них шла и Мария да Фелисидади, за ней еще тянулся запах тлена.

Вороной

Лаурелия, самая младшая из дочерей дона Эмеренсиано Гротана, увидев новорожденного, попросила отца:

— Назови его Грауной — Вороным.

Жеребенок, только что появившийся из чрева кобылы Кантиги, лежал без движения. Был он иссиня-черным, только на голове едва уловимо проступал рыжеватый оттенок. Такая масть заранее говорит многое о будущей судьбе животного.

Гротан решил, что кличка придумана неплохо. Более светлым или более темным вырастет Грауиа, пока неизвестно, но, как правило, рыжевато-пепельный оттенок с годами убывает, и конь становится как вороново крыло. Вон они — вороны! Плавают в потоках вольного ветра над бескрайними равнинами Кампо-дос-Периса.

Можно было не сомневаться, что Грауна вырастет особой вороной масти. Главное — хороший уход.

Дон Эмеренсиано всегда держал в хозяйстве коня для выводки, такого коня откармливают нежнейшими побегами пальмы бабассу, в его колоде вода только из родника. Такие красавцы хороши под седло, они радуют глаз уже одним своим существованием, заполняют жизнь хозяина. Выезжают на них лишь на торжественные воскресные прогулки или в очень важные деловые поездки. Примером тому был конь Бом-Маридо. Глаз радовался, глядя на него, даже когда он просто стоял в стойле. Великолепный жеребец, давший не менее великолепных потомков! К дону Эмеренсиано он попал еще очень молодым, только-только менялись молочные зубы. Попал в обмен на другого коня — тоже прекрасного, но уж очень строптивого. Борборемой его называли — по имени прежнего владельца. Долго шли споры, сделка затягивалась, пока дон Эмеренсиано не заявил решительнейшим тоном:

— Отдаю за Борборему револьвер тридцать восьмого калибра, фонарь на трех батарейках и любую, на выбор, шкуру из амбара.

В ответ последовало согласие:

— Молоток ударил, сеу Гротан, как на ярмарочных аукционах. Меняемся жеребцами.

Так на фазенде Гротана появился Бом-Маридо, бывший Борборема. Его уже не раз меняли, и каждый хозяин давал ему новую кличку. Звали его и Борболетой, и Гуабирабой — как только не звали!

— Учти, уважаемый, характер у Борборемы строптивый. Мерзкий! Будь осторожен, особенно если попадаешь с солнца в тень от придорожных деревьев!

В конюшню конь вступил недоверчиво, мелкими шажками, поглядывая испуганно на курятник, прилажeнный у ствола огромного дерева сапукаэйры, тень от которого падала на крышу конюшни. По телу коня пятнами расползлись лишаи: то была память о прошлой зиме, о беспрестанно моросящих дождях. Долгое время пробыл он в поле под открытым небом. От сырости и поползли лишаи.

Теперь за коня взялись! Каждый день — мойка с креолином и мылом, потом — вычесывание, чтобы выпал отживший волос. Вычесывать коня надо с силой, но так, чтобы не поранить щеткой. Опять мойка, а после нее — примочки из масла плодов пальмы копаибы, душистого и нежного. Такое масло предпочитают наливать в светильники.

На груди коня — шрам, видно, след копыта сородича, а может, памятная отметина от чего-то другого. А может, рубцы и шрамы — след тяжкой подъяремной жизни, когда приходилось продираться ему сквозь заросли кактусов — ползучих или круглых, как шар, которые в народе называют «голова монаха». Таскал он с утра до ночи овощи с огорода в амбар хозяина, тогда еще не были известны его замечательные качества скакуна.

Как уже было сказано, несколько хозяев было у Бом-Маридо, и каждый из них любил шпоры. Далеко позади остались дни, когда жеребец лишь начинал ходить по кругу на длинном ремне. Потом новая ступень обучения: на каждую его ногу привязывали по две длинные дощечки, конь должен был научиться «выступать», тянуть ноги, повыше задирая их. Дощечки становились все короче, пока шаг не устанавливался. Затем последовало обучение уздой: конь должен был уметь кивать головой. Скоро он научился выделывать любые «па», но особенно удавался ему «звездный шаг»: конь выступал, высоко подняв морду, будто звезды в небе считал. Красивый шаг, хотя сегодня он почти забыт и наездниками не практикуется.

Одним из его хозяев был Аргоило, тот, который дал коню кличку Гуабираба. Горьким пьяницей прослыл Аргоило! Но коня любил и вел с ним задушевные беседы, поверяя все свои секреты, перемежая пьяные стоны и рыдания ударами плетки. Временами хозяин обижался на коня, бросал его и уходил, давая слово больше никогда не возвращаться. Но конечно же, Аргоило возвращался вновь, бросался к коню, оглаживал его, улыбался. Вот какой разговор состоялся между ними, когда они ехали дорогой на Пиндовал:

— Слушай, Гуабираба! Ни на что я больше не гожусь. Даже кашасу пить не могу. Иду я проведать свою жену, а она мне: «Пошел прочь, мерзавец вонючий!» Я ей отвечаю, притом очень вежливо: «Вот уж кто здесь воняет, так это ты, кобыла». А она: «Больше ко мне не ходи, не приму тебя!» Я ей: «Примешь, примешь как миленькая!» А она опять свое: «Никогда, пьянчуга проклятый!» Тогда я взял да подрезал веревки у гамака, свалилась она на землю, запуталась в сетке, возится, как тапир!

Конь слушал рассказ хозяина задумчиво. Как-то Аргоило сказал:

— Гуабираба, придется мне снять с твоего крупа этот кожаный ремень. Ты ведь знаешь, я пью только для того, чтобы отпугивать пчел, а то они вечно жужжат в моей голове и жалят мне нутро.

Снял он с коня ремешок от упряжки, подошел к дереву, привязал ремешок к суку, забрался на коня, накинул петлю на шею и прыгнул. Гуабираба долго стоял под повисшим в воздухе хозяином и ждал. Ждал, когда тот спустится и сядет в седло. Но хозяин все висел между небом и землей, низко уронив голову на грудь. Так продолжалось до следующего дня, пока не прилетели стервятники урубу. Тогда всем стало известно, что по дороге на Пиндовал объявилась мертвечина.

Прошла зима. Теперь Гуабирабу называли Бом-Маридо. Он сильно постарел, понимал, что вот-вот его заменят более молодым соперником. Да и сбруя его уже устарела, вышла из моды. К тому же дон Эмеренсиано очень любил, чтобы во всей округе о его конях шла слава: «У дона Эмеренсиано не конь, а игрушка!», «Мулунжун на ярмарке всякий раз приходит первым».

Дни Бом-Маридо шли к концу. Именно в эту пору и родился Грауна, сын Кантиги, которую дон Эмеренсиано получил уже крытую в оплату почти забытого долга.

Грауна сразу же стал любимцем Лаурелии. Его готовили под седло с самого раннего возраста. Первые месяцы жизни жеребенка проходили среди долгих прогулок и ласк окружающих. Был он сильным и здоровым, и единственно, что беспокоило хозяев, это его несколько раздутое брюхо. Но потом и этот недостаток был исправлен. Лечили его травами, настоями, а также отваром из листа папайи с неочищенным сахаром.

Настало время, и дон Эмеренсиано решил, что Грауну уже пора учить верховым наукам, ставить под седло. Для этого он нанял негра Марсала, лучшего объездчика в здешних местах, и как ни протестовала Лаурелия, не желавшая расставаться со своим любимцем, принялись за учебу.

Грауна начал с самой тяжелой сбруи. Ходил он в ней сперва, далеко расставив ноги, познавая тайны первых уроков. Учили его пока самому простому — широкой, размеренной рыси, ритмичной и ладной. В таком шаге задняя нога выбрасывается одновременно с передней. Неуверенно и медленно вначале, конь уже через несколько уроков шел споро и быстро.

Сбрую сменили, облегчили ее, но только после того, как он приобрел все качества, необходимые для победы над соперником. И стал Грауна скакуном по всем законам и требованиям выездки! Отличали его элегантность в посадке головы и четкость шага. Он чутко отзывался на легчайшее прикосновение, в любых ситуациях сохраняя ровность характера и не доставляя наезднику неприятностей, взбрыкивая или кусаясь. Никогда не сбивался в беге с ритма, не совершал и малейшей ошибки. Длинный и красивый его хвост оставался всегда чуть приподнятым и на ветру стлался словно шлейф.

Грауну готовили так тщательно потому, что хозяин был намерен выставить его на скачках на ярмарке святого Раймундо Мулундунского. Марсал понимал, что его воспитанник обладает «искрой божьей» — так быстро схватывал конь науку. День ото дня он становился все красивее, и всем было ясно, что животное это — редкостный экземпляр.

— Грауна станет нашей гордостью. На будущий год выставлю его на бегах в день святого Раймундо. Посвящу его скачку святому, это он послал мне такого коня. Бом-Маридо пойдет по кругу в последний раз,— так высказался дон Эмеренсиано, когда уверился в безукоризненных достоинствах Грауны.

История же святого Раймундо Мулундунского, или, как чаще его называли, Раймундо Нонато, была такова.

Фазендейро [1] приказывал:

— Раймундо Нонато, иди в поле, ищи стадо.

— Сегодня же праздник, хозяин, господне воскресенье.

— Сказано тебе, отправляйся в поле! Седлай коня и поезжай!

Пастух Раймундо послушался и поехал в поле.

...Да видно, судьба у него была такая, смерть на роду написана. В то воскресенье слышал он голос с небес. Еще вечерняя заря не погасла, как его душа и душа его коня отправились на тот свет: напал на человека и коня обезумевший бык и пригвоздил к стволу дерева карнаубейры. Теперь туда ходят паломники, зажигают свечки, обдирают кусочки коры, считая их чудодейственными, способными принести счастье и продлить жизнь коню.

Раймундо Нонато превратился в святого, а уж потом к его имени прибавилось «Мулундунский». Однако он был святым не из тех, что считают за удовольствие покровительствовать и защищать людей, и без того защищаемых небесами и властями. Нет! Его чудесные свойства распространялись лишь на коней, ибо его единственный друг — конь — вместе с хозяином переступил роковую черту жизни. Святой Раймундо Мулундунский не был тем святым Раймундо, что удобно устроился в церковных алтарях, украшенный алыми мантиями, золотым шитьем. Это был пастух Раймундо из фазенды Варжем-Гранди, который лунными ночами, пригнув голову к гриве своего коня, носится по полям. Продираясь сквозь заросли колючек, кустарников и деревьев по отлогим, но каменистым холмам гряды Мулундун собирает пастух отставших телят, усмиряет взбесившихся быков, успокаивает тревожных маток. Никто из святых не творил столько нужных чудес, сколько Раймундо Нонато! Поэтому в день его гибели стекались по дорогам в Мулундун кони, излеченные с помощью целебной коры или готовые к участию в скачках его имени. Поднимая пыль, шли они одной колонной. Единственные приношения, которые принимал этот святой, были веселый галоп, сияние вышитых седел и туго натянутая узда.

Дон Эмеренсиано тоже поклонялся святому Раймундо Мулундунскому. Так что не мог он не выставить своего коня на празднике в честь святого пастуха. Каким же должен быть конь на таком празднике? Искрящимся, горячим, под нарядным потником из бараньей шкуры, в изящной сбруе. Такому коню не нужны шпоры — достаточно лишь пощекотать бока! На правой руке всадника висит тонкий хлыст с шариками и вплетенными в косичку ленточками, но хлыст этот — тоже украшение. Он нужен лишь для того, чтобы занять, как положено, руку всадника.

---

[1] Помещик.

Все шло к тому, что выезд Грауны будет удачным. Марсал, во всяком случае, считал коня готовым. Дело оставалось за последними тренировками, и никто лучше самого дона Эмеренсиано не мог этого сделать.

Гротан сам занялся жеребцом, подчиняя своим привычкам горячего, но столь разумного коня. Теперь уже Грауна стал совсем вороным, с чистым блестящим лбом, с длинной, красиво лежащей гривой.

За два месяца до скачек коня следовало подержать в конюшне и усиленно подкормить: две охапки нежных ростков бабассу на день, свежие молочные початки маиса, рисовый обмолот, траву, скошенную в сырой луговине — место это было оставлено специально для откорма Грауны. Ласковые руки всех членов семейства то и дело скребли и мыли его, но первой среди всех была, конечно, Лаурелия, друг Грауны и его крестная мать. Грауна позволял девушке проделывать над собой все что угодно, допускал любые шутки — даже садиться без седла. Более того, позволял бросать себе на спину потник наизнанку или нагрудник, когда шею царапали пряжки. Он все терпел!

До праздника оставались считанные дни. Грауна красовался в новой сбруе, под вышитым кожаным седлом, пряжки все позолочены, стремена посеребрены, шпоры — особого кружевного узора, вместо потника — расшитое покрывало, узда — английская. Челка и грива заплетены в мелкие косички. Все с нетерпением ждали скачек, представляя, как будет хорош Грауна на выводке, как он вылетит впереди всех и примчится к церкви своего покровителя Раймундо Нонато, а вокруг будет шуметь толпа — ведь соберутся любители и паломники со всей округи; забурлит праздник, зажгутся свечи, откроются бары, полетят пробки из бутылок, появятся первые выпивохи. А надо всем этим будет плыть запах горящих восковых свечей и перезвон колоколов.

У входа в церковь — груды приношений святому. Тут плоды земли, заработанные пóтом и кровью; между мешками и корзинами мелькают черные сутаны святых отцов. И вот тогда-то по заведенному обычаю дон Эмеренсиано должен подскакать к церкви, сойти с коня, взбежать на ступени и трижды выстрелить в воздух в честь святого Раймундо Нонато Мулундунского. Так отблагодарит он за чудесного своего коня!

Грауну продолжали холить. Но за неделю до праздника Лаурелия вдруг погрустнела и начала худеть. Жара стояла страшная, к тому же в это время года выжигают старую траву, и горячий ветер днем и ночью не давал покоя жителям фазенды.

Сначала никто не придал значения состоянию Лаурелии, полагая, что на нее действует зной. А девушка таяла на глазах, отказывалась от еды, стонала, ни с кем не разговаривала, много спала. Потом у нее открылась рвота. Дон Эмеренсиано ни о чем, кроме здоровья дочери, не мог думать.

Девушке не помогали ни домашние компрессы из муки маниоки, ни аптечные таблетки. Стало ясно, что необходима помощь знахаря Мануэла Пинжэ, славившегося своим искусством заклинать злых духов.

Старик внимательно осмотрел Лаурелию и пришел к выводу, что ее сглазили. Диагноз он поставил после того, как вскипятил у головы больной воду из родника святого Кристована — и вода стала мутной. К тому же, не успел он тронуть лоб девушки листьями мяты и лилового пиона, как они завяли. Попытался Мануэл Пинжэ пользовать больную листьями дерева жаки — безрезультатно. Да и слуги сказали колдуну, что совсем недавно под окнами пела птица фрио-фрио. Оглядел знахарь росшие на клумбе цветы — гладиолусы его не порадовали своим цветением. Так что он окончательно утвердился в своих выводах.

Дон Эмеренсиано рассказал, что у них все готово к празднику святого Раймундо, но если дочь серьезно больна, то ей, конечно, не придется на нем присутствовать. А сколько лет она этого дожидалась!

— Я хочу видеть коня,— сказал Мануэл Пинжэ после долгих размышлений.

Он вошел в конюшню и увидел огромного и прекрасного вороного скакуна. Его выпустили в загон, и он носился с громким ржанием, готовый к любым состязаниям. Знахарь сказал:

— Сеу Эмеренсиано! Святой Раймундо хочет себе этого коня! Я вижу, что в конюшне засел дьявол! Если конь не сдохнет, то умрет дона Лаурелия...

Как гром небесный обрушилась эта весть на Эмеренсиано и всех его домашних!

— Господи, спаси и помилуй! Сеу Мануэл, да как же такое возможно? Да что же это за напасть такая на мой дом?

— Да, сеу Эмеренсиано! Все именно так, как я вам говорю! Нигде и никогда в наших местах не видели такого коня. Конь напускает порчу на девушку. Либо дочь, либо конь. И нет иного выхода! Кончать коня надо сей же час, потому как назначен крестный ход в честь святого Раймундо.

Дон Эмеренсиано пошел в сарай. Взял винтовку и направился к конюшне. Шаг его был твердым. Он посмотрел в глаза Грауне — они были красными.

— Грауна! — заговорил дон Эмеренсиано.— Святой Раймундо призывает к себе либо тебя, либо дочь мою. Давай вместе с тобой спасем Лаурелию.

Но выстрела не последовало. У Эмеренсиано свело руки, они стали будто железными, пальцы набрякли и не сгибались. Грауна заржал. Время, когда его с особой заботой и лаской холили и кормили, дало о себе знать, силы он набрался необыкновенной. Конь грудью распахнул ворота конюшни, вырвался на свободу, перепугав на дворе кур и свиней. Он ржал, бил копытами, метался.

— В него вселились демоны! — кричал Мануэл Пинжэ.— Их трое, этих дьяволов!

Эмеренсиано не двигался, он словно окаменел. Встала с постели Лаурелия, пришла уговаривать коня, но он шарахнулся и от нее.

Мануэл Пинжэ заклинал:

— Семь мечей святого Раймундо да опустятся на тебя на забытых дорогах!

Грауна замер. Потом взметнулся на дыбы. Был он огромен и прекрасен. В последний раз заржал Грауна — Вороной. Почувствовал, как у него выросли крылья и понесли его к облакам смерти.

В этот час в саду раскрылись цветы шафрана. Кроваво-красными они были. Луна уронила слезу. Слезу тоже кровавую.

Муниципальный советник

Закон жесток для тех, кто мягок духом.

Из высказываний Зе ди Ноки, полицейского комиссара из Шикейраны, поселка золотоискателей

Мужчина — природы король,
Женщина — красоты царица,
Лев — зверей повелитель.
Говорю я о том потому,
Что ответа у всех прошу:
А осла куда записать велите?

Маноэл, Народный Сказитель из Арайозеса, что на реке Парнаиба

1

Жоан Бертолдо, советник муниципальной палаты, только проснулся, а в глазах его уже сверкала решимость. Дело, которое он собирался завершить сегодня, оправдывало всю его незадавшуюся жизнь. Недаром дона Мария Жозе, на протяжении многих лет приятельница Жоана Бертолдо, обладавшая к тому же колдовскими чарами, под барабанный бой изгонявшая всякую нечисть и, кстати, страшно этим гордившаяся, предсказывала своему другу большое будущее:

— Мой Жоан, скажи-ка мне,
Почему не на коне?
— Под седлом его оставил,
Пусть в тени передохнет...

Итак, перед вами — муниципальный советник Вай-Кем-Кера [1], городка, ставшего ему родным, более того — домашним очагом, ареной его деятельности, именно здесь ему предстояло исполнить труднейшую обязанность: участвовать в выработке законоположения.

Жоану Бертолдо было всего лет пятьдесят, но кожа на лице его уже пожелтела, хотя фигура еще сохраняла нередко свойственную холостякам стройность, чему

[1] Вай-Кем-Кер — буквально «приходи кто хочешь».

способствовало пристрастие к отварам из мяты, яланы и урукату [1], употреблявшимися им для лечения «конвульсий при кашле», как он выражался. С детства Бертолдо твердо усвоил, что сначала надо лечить себя, а уж потом помогать окружающим.

Прежде чем приступить к несвойственным ему высоким обязанностям, советник намеревался купить обнову: белый костюм-тройку, отливающую блеском, с жестким крахмальным воротничком сорочку на восьми костяных пуговицах, скорее похожих на мишени. Однако планы его нарушило экстренное заседание палаты — назревал политический кризис. Его вызвали на обсуждение вопроса прямо из церкви, где он присутствовал на мессе, так что ему не хватило времени сменить перешитую из старого куцего пиджака куртку, в которую он обычно облачался по воскресеньям, на достойный нынешнего собрания костюм.

И все равно Жоан Бертолдо чувствовал глубокое удовлетворение. Благородная причина экстренного созыва палаты оправдывала все жертвы и неудобства. Теперь-то общественность городка Вай-Кем-Кер не останется без защиты, теперь-то она получит закон, который охранит ее в будущем от беспорядков. Это им, Жоаном Бертолдо, уже было заявлено лидеру правящей партии, что он, Жоан Бертолдо, представляет силы в непокорной оппозиции и что он, Жоан Бертолдо, в муниципальной палате будет действовать совершенно независимо, более независимо, чем кто-либо другой, и что прислушиваться он намерен лишь к собственной кристально чистой совести.

— А партия, сеу Бертолдо? А интересы народа? — спросил муниципального советника полковник Эузебио, который собственными руками вносил имя Жоана Бертолдо в список кандидатов на выборах.

— Сеу Эузебио! Я никому ничего не должен! Ни партии, ни народу! — ответил муниципальный советник.— Я сам принимаю свои решения. Вы прекрасно знаете, что я не был избран ни партией, ни народом. Я — независимый. Буду голосовать так, как подскажет мне моя совесть.

— Нет, сеу Бертолдо, вы были избраны партией! — возразил полковник.

— При всем моем уважении — и вполне заслуженном — к вашей милости, я уже раз и навсегда сказал: на выборах ни вы, ни ваша партия, ни ваши избиратели меня не поддерживали. Вы же прекрасно знаете, сеньор полковник, что я здесь только потому, что мы с Керенсиано забрали урну с бюллетенями. Вот потому я ни от кого и не завишу. В палате никто, кроме меня, не может выступать столь свободно. Вот так-то, сеу Эузебио!

2

В муниципалитете Курурука, входящем в огромный мир, который называется Мараньяном, демократия действовала по всей форме. Здесь уважали и гарантировали право свободных высказываний и даже дискуссий. Оппозиция существовала с давних пор и пользовалась многими льготами, за одним исключением — ее представителей не допускали к власти. Традиции этой следовали из поколения в поколение уже более века. Однако оппозиция также придерживалась собственных традиций и скрупулезно выполняла свою основную и славную функцию: всегда и при всех обстоятельствах осуждать правителей, что бы те ни делали. Более того, считалась поистине государственной изменой не только попытка, но даже мысль кого-либо из оппозиционеров выступить — хоть бы раз — в качестве представителя официальных властей.

— Единство и последовательность! В рядах оппозиции — до конца жизни! На земле и под водой — всегда против! — таков был воинственный клич оппозиции.

По данному вопросу у Жоана Бертолдо не возникало никаких колебаний или возражений. Он всегда был «против», еще с той далекой поры, когда впервые ступил на улицы городка Вай-Кем-Кер, удрав из дома своего крестного. Здесь он сменил свое имя, обзавелся собственным очагом. С течением времени Жоан Бертолдо полюбил городок, его широкие, обсаженные деревьями улицы, его дома, их обитателей. Но мысль о том, что здесь он может стать муниципальным советником, ему и в голову не приходила. Правда, ему не нравился титул «муниципальный советник», он предпочел бы, чтоб его называли защитником традиций, а еще лучше — камаристом, от старинного слова «камара» — палата, где в старину решались все дела. Старики до сих пор говорили именно так.

[1] Тропические растения, обладающие лекарственными свойствами, в частности употребляются как слабительное.

Все началось с того памятного дня, с событий в квартале Пиедади, оттуда протянулась ниточка ко дню сегодняшнему, когда его срочно вызвали, чтобы он высказал свое суждение и проголосовал.

А воскресенье занималось такое светлое, солнечное, какими бывают воскресенья только в Мараньяне, и нигде более.

Вызваны были все советники муниципальной палаты. Голосование предполагалось проводить открытым, настолько важным был вопрос, о котором шла речь. Вначале — заседание, потом — выступления ораторов, а выступления, естественно, могли затянуться. Скамьи на галерее, где обычно располагалась публика, были забиты народом. На галерее было три ряда скамей, и в обычные дни в каждом ряду умещалось по восемь человек. Сегодня же люди теснились, как плоды жаки в тесной корзине! Все взбудоражены донельзя.

Самым удивительным было другое. Впервые в городке Вай-Кем-Кер власти и оппозиция выступали в неслыханном до сей поры единстве! Их сплотила единая мысль и единая воля — победить в борьбе за великое дело! Были забыты и личные, и межпартийные склоки.

Как тут не вспомнить дону Марию Жозе, ту самую, с барабаном для заклинаний, которая, ночами вглядываясь в зачарованные дали, предсказывала Жоану Бертолдо сказочное будущее:

— Мой Жоан, скажи-ка мне,
Почему не на коне?
— Под седлом его оставил...

Председатель муниципальной палаты, торжественный и энергичный, провозгласил:

— Приступаем к голосованию. Ваше слово, сеньор Жоан Бертолдо!

— Я против ослов!

3

Жоан Бертолдо прибыл в городок Вай-Кем-Кер в такое же светлое и голубое воскресенье. Никто до сих пор не знает, откуда он пришел, никому он не поверял, какими дорогами скитался, где устраивался на ночлег.

— Я издалека, оттуда, с гор...— Вот и все.

Он и вправду не мог добавить ничего более, ибо совсем еще ребенком был отдан крестному Элиасу, проживавшему на задворках поселка золотоискателей в Шикейране. Воспоминания о матери у Бертолдо были довольно смутными. Видел он ее всего однажды, в доме крестного, встреча была мимолетной и не совсем удачной. Жоану очень хотелось иметь братишку, поэтому первый его вопрос к матери, высказанный на детский манер, прозвучал приблизительно так:

— Мама, а до того, как я родился, ты уже была женщиной?

В ответ послышался яростный вопль крестного:

— Видишь, кума, каким ослом растет твой сынок! Ну не сукин ли сын! Недоносок!

— Что вы, кум! Я его точно положенный срок относила!

С тех пор ребенок никогда не спрашивал, есть ли у него братья или нет. Да и некогда было спрашивать: мать вскоре умчалась куда-то и с тех пор не возвращалась. Никто не знал, где ее носит.

— Бог тебя благослови! Слушайся крестного! Он тебе — и мать, и отец, и наставник!

Что же осталось в воспоминаниях о доме крестного?

Круглая плоская деревяшка на длинной ручке — всегда она висела на террасе в углу на длинном железном гвозде. Этой деревяшкой били детей по рукам. Детей у кума уже было двенадцать, да еще ожидалось прибавление.

Кто бы к мальчику ни обращался: крестный или крестная, управляющий или батрак, слуги или служанки — все не находили других слов, кроме как «осел, дурачина, простофиля, растяпа, олух, болван, слюнтяй, бестолочь, оболтус...». Только это и слышал от взрослых Жоан Бертолдо. И всегдашний свист плетки-трехвостки из сыромятных ремней. Сегодня влетело, завтра, может, пронесет мимо? Нет, опять влетело! А к вечеру — усталость, но такая, что все тело кажется растекающейся кашицей.

— Принеси воды, налей кувшины, вымой лошадей, загони кур, выгони уток, последи...

— Кш-ш, утки!

А издали окрик крестного:

— Ну куда, дурак, уток гонишь? Гони их посуху!

Жоан опять надрывается:

— Кш-ш, утки, посуху!

И опять слышит:

— Ну и осел народился от той кобылы! Сказано ведь — уток посуху гнать, а он их опять норовит в пруд загнать!

А Жоан и голову потерял, ничего не понимает:

— Кш-ш, утки, посуху! Посуху!

— Родила мать твоя недотепу на мою голову! — Крестный уже замахивается, чтобы влепить мальчику очередную затрещину.

Жоан Бертолдо не понимал, почему все, что бы он ни делал, было не так? Ему приказывали, он стремился выполнять в точности, но все получалось шиворот-навыворот! Возился ли он с утками, коровами, быками, брал в руку камень или палку, всегда он попадал впросак. Сынишка крестного Тото все делал хуже, но тумаки доставались только Жоану Бертолдо.

Запомнил он случай, тоже произошедший на фазенде крестного. У хозяина была кобылка по кличке Куропатка. Пастухи потихоньку грешили с ней, хотя знали, что кобылка — любимица старика. Единственным, кто никогда не трогал лошадку, был Жоан Бертолдо, тщедушный и пугливый. И надо же было случиться, чтобы в тот распроклятый день, вернее, вечер, когда он, как обычно, мыл лошадь, а мысли его блуждали далеко, вдруг разгорелось желание... Черт попутал... И тут же, как назло, услышал крестного: «Вот почему лошадь не скачет! Подонок! Ублюдок!» Жоан Бертолдо с трудом выдавил:

— Я ни при чем... она... сама... клянусь...

Не успел он договорить, как по его спине и ногам заходила плетка.

Так прошло детство Жоана Бертолдо, и юность так же. Были в его жизни дни получше, были дни похуже, пока не произошел случай, приведший к трагической развязке: он был изгнан из фазенды. Старик забыл, что крестил он мальчика, забыл обещания, что давал его матери. Осталась лишь ненависть. Эта ненависть преследовала Жоана Бертолдо всю жизнь. Как клеймо, бросающееся в глаза, как ожог, вызывающий страшную боль — боль в сердце, не только на коже.

В жизни Жоана случались встречи с женщинами, но эти встречи проходили бесследно, не затрагивая его глубоко. И случались-то они потому, что не могли не случаться. А может быть, и потому, что на фазенде не было другой жизни. Пустота и пресыщение.

Долорес, племянница и воспитанница хозяина, сначала попросила Жоана Бертолдо собрать ей в поле цветов в пять лепестков, чтобы украсить алтарь святой покровительницы. Потом попросила нарвать таких же ароматных цветов для себя — захотелось украсить волосы. А потом попросила подобрать веточку розмарина, и еще веточку, и еще цветов, и других цветов, и еще больше цветов...

— Отгадай, каким цветком от меня пахнет сегодня? — кокетливо спрашивала Долорес, повернув к Жоану маленькое ушко.

Грустно среди зимы на тростниковых плантациях. Дождь льет и льет, людям деваться некуда, зато радуются утки и гуси, плещутся в лужах и озерцах, в канавах и канавках, по ночам слышна дробь барабанов, это люди пытаются убить скуку. И опять запахи, ароматы...

— Каким цветком от меня пахнет?

— Розмарином, королевской красавицей...

Где теперь Долорес, от которой так нежно пахло цветами?

Крестный, у которого был вездесущий глаз, открыл их тайну. Запершись в комнате, крестная и крестный сурово допрашивали девушку:

— И кто же тебя пузом благословил?

— Он, крестный, он самый!

— Этот недоумок! Этот кобылий выкидыш!

— Прости меня, крестный, он самый и есть...

Старый Элиас, у которого глаза от ярости так налились кровью, что казалось,

вот-вот лопнут, неистовствовал. Никогда еще он не был в таком гневе! И злоба его обрушилась, конечно же, на крестника. Не мог же он наброситься на несчастную Долорес, все-таки она была его кровной племянницей. Девушку Элиас простил. Жоану он задал лишь один вопрос:

— Это ты?

— Я жениться на ней хочу, крестный. Дело за свадьбой.

— Вон! Женись на суке подзаборной, а здесь ты даже на Куропатке не женишься!

Ничего не оставалось Жоану Бертолдо, как только пуститься в свое первое путешествие. Он был даже счастлив, что все так обернулось. Был благодарен Долорес за полученную свободу, которой так жаждал, но не знал, как ее заполучить. Перед ним открылись ворота в будущее. Сколько же лет он мечтал об этом дне!

Он шел по дороге. Вперед и вперед, как можно дальше от фазенды. Подгоняла его мысль уйти так далеко, чтобы скрыться от всех прожитых лет. Шагал он легко, даже голова кружилась от счастья, хотя и не ведал, куда приведет его тропа. Шагал беззаботно, не задумываясь. К концу дня перебрался через речку Келус, и на тяжелой мраморной доске, у которой обычно привязывали коней, он мог бы, но не сумел прочесть слова:

С фазенды кабокло бежал,
Надеясь, что жизнь впереди,
Но камень этот
Напомнит ему,
Что жизнь —
Это миг один.

Так фазендейро Элиас угрожал тем, кто не выдерживал рабского труда на его фазенде и пускался в поиски лучшей доли на стороне.

Вскоре Жоан Бертолдо услышал конский топот и голоса. Затем донесся приказ остановиться. Одного из всадников он узнал сразу — управляющий Анастасио. Другие были головорезы Элиаса, по его приказу вершившие суд и расправу.

— Не спеши, сопляк. Мы тебе подарочек от полковника привезли.

— Чего вам надо, ребята? Что крестный приказал?

— Сейчас узнаешь, птичка певчая,— отвечали посланные, спешившись и привязывая коней.

— Чего вам?

— Не торопись, сейчас узнаешь.

— Крестный же простил меня! Анастасио, чего вы от меня хотите?

— Все тебе расскажу по порядку, ублюдок! Мы тебе покажем, где Черная река протекает! Ха, удрать он собрался!

— Ребята! Сеньоры! Бросьте шутить. Разве можно просто так травить человека? Чего вам от меня надо?

Вперед выступил Анастасио, похожий на стервятника, готового броситься на добычу. Голос его прозвучал сухо:

— Сеу Элиас приказал оскопить тебя.

Ясно... Сколько лет прошло, а до сих пор в ушах муниципального советника звучит этот страшный голос. Дальше все произошло в считанные секунды. Откуда только взялись силы, чтобы вырваться из рук головорезов, уйти из-под нацеленного ножа. Жоан бросился в лесную чащу, оставляя позади себя погоню. Спасли его заросли колючих кустарников, окружавших пальмовую рощу. Помогла наступившая ночь. Еще слышались крики, но он уже был вне опасности. Вот почему Жоан Бертолдо так верил в колдовские намеки доны Марии Жозе! Только ему был понятен смысл ее предсказаний о коне:

— Мой Жоан, скажи-ка мне,
Почему не на коне?
— Под седлом его оставил...

Можно считать, что в тот день он родился вновь. Дорога, на которую он в конце концов вышел, привела его в городок Вай-Кем-Кер. А вдогонку ему неслся крик Анастасио:

— Не уйдешь от нас, Жоан!

Стать скопцом? Ну нет, не выйдет!

4

Пост муниципального советника принесла Жоану Бертолдо избирательная урна в квартале Пиедади. К законодательной деятельности привела его случайная кривая — если уж говорить по правде, по прямой он никогда бы не пробился к столь высокому посту.

Все знали, что в списки кандидатов он был внесен совершенно случайно, поскольку, согласно закону, требовалось указать определенное количество кандидатов и не хватало одного баллотирующегося. Полуолух, полунедотепа, Жоан Бертолдо представлял для местных политиканов необходимую кандидатуру. К тому времени он уже выбился в мелкие торговцы, был и владельцем лавчонки, и единственным ее приказчиком. Вид у него всегда был достойным и даже несколько торжественным. К тому же всегда он находился в оппозиции ко всему и ко всем. Так уж повелось с того дня, когда он, бедный и одинокий, унылый и измученный, затравленный и изнемогающий от погони, добрел до этого городка в поисках убежища, оставив за собой многие и многие легуас пути.

Городок Вай-Кем-Кер был ниспослан Жоану Бертолдо самим провидением. Начал он свою жизнь в городке с того, что носил воду аптекарю Эуженио — в те годы, когда заведение сеу Эуженио процветало. Тут Жоан научился делать компрессы, а после смерти патрона сам стал готовить успокоительные таблетки и слабительные порошки. Однако главным его увлечением стала алхимия составления зелья против кашля и сопровождающих кашель судорог.

Жизнь, которую вел Бертолдо, была примерной, образцовой. Он даже завоевал уважение и симпатию горожан, и во многом этому способствовали его одиночество и мягкость обращения. Каждый был ему другом. Жоан Бертолдо горячо полюбил городок, который так по-отечески отнесся к несчастному изгнаннику. По его мнению, только в Вай-Кем-Кере было «все как надо».

Предложение занести его имя в список кандидатов на предстоявших выборах было, без сомнения, компенсацией за все мытарства, о которой Бертолдо не мог и мечтать.

В момент, когда распределялись места в комиссиях по проведению выборов, Жоан Бертолдо, у которого не было своего участка, получил достойный, но труднейший пост. Ему поручили ведение процедуры выборов и подсчет голосов в квартале Пиедади, неприступном бастионе сеу Керенсиано Арруды, более тридцати лет бессменного члена муниципального совета; его деятельность прерывалась лишь в годы диктатуры, хотя он и бурно протестовал.

Функции Жоана Бертолдо в ходе выборов были сугубо символическими: от него требовалось лишь присутствовать. Сеу Керенсиано был полновластным властелином всех избирательных голосов Пиедади. Тут он родился, тут он жил, тут никто никогда не слышал хотя бы об одном его противнике. Престиж сеу Керенсиано объяснялся просто, если учесть, что в своем квартале он был и духовником, и судьей, и лекарем, и акушером. О своих избирателях сеу Керенсиано заботился с особым тщанием: в дни выборов, чтобы никого не беспокоить, он сам подписывал бюллетени, сам закладывал их в конверты, сам заклеивал и сам опускал в опечатанную урну. Короче, сеу Керенсиано совершал все то, что положено избирателю совершать при исполнении своего высокого гражданского долга. Трудился сеу Керенсиано самоотверженно, и практика его была долгой и плодотворной. Так что в проблемах политики, как всем было известно, сеу Керенсиано был докой.

Жоан Бертолдо не знал всех этих подробностей. В день выборов он явился на участок чуть свет, даже не выпив утреннюю чашечку кофе и не съев кусок шоколадного бисквита. Он горел желанием помочь сеу Керенсиано, не понимая еще, что посягает на нечто исключительно личное.

— Не утомляйтесь, сеу Керенсиано. Отдохните. Пусть народ сам голосует!

— У меня все происходит законно! — отвечал сеу Керенсиано.— Местные жители принадлежат мне, и я должен о них заботиться. Уж лучше вам, сеу Бертолдо, убраться отсюда и не мешать ходу выборов!

Сеу Керенсиано не мог допустить и мысли, что кто-то будет ему помогать при проведении столь законно осуществляемых им выборов!

— Послушайте, сеу Керенсиано! — настаивал Жоан Бертолдо.— Мы с вами при-

надлежим к разным партиям. Я не могу допустить, чтобы мои сторонники не исполнили своего гражданского долга. Давайте поделим бюллетени пополам: вы подписываете за своих, я — за своих.

— Вот что, сеу Бертолдо! Тридцать лет ни один оппозиционер не подавал здесь своего голоса! В Пиедади голосую я! И только я! Так здесь всегда проходили и будут проходить выборы.

— Но это же несправедливо! — упорствовал Жоан Бертолдо.

Спор между ними разгорелся в присутствии многих лиц, все с интересом следили за развитием бурной дискуссии. Уже послышалось крепкое словечко; жители радовались, что, не в пример прошлым годам, нынешние выборы обещали быть забавными. Наступило утро, а спор не утихал.

— Дайте возможность людям проголосовать, сеу Керенсиано! И пусть нас обоих изберут в муниципальную палату,— предложил наконец Жоан Бертолдо. Но и тут возникли неожиданные затруднения.

— Не нужна мне твоя бумажка,— говорил один из избирателей, возвращая бюллетень.

— Да я и имя-то свое не сумею написать,— мямлил другой.

Выяснилось, что никто из окружающих даже не представляет себе, как на практике осуществляется процедура выборов.

— Пригласите сюда людей, сеу Керенсиано! Ведь скоро ночь наступит, а у нас урна пуста!

— Сеу Бертолдо! Ваша милость нарушает ход выборов, которые в Пиедади всегда шли спокойно, в полном порядке. Не надоедайте мне, а то и я разозлиться могу!

— А вот это уже лишнее! — парировал Жоан Бертолдо.— Давайте все же договоримся. Сколько у нас избирателей?

— Двести сорок.

— И все эти голоса пойдут вам, сеу Керенсиано?

— Но ведь они — мои!

— Отдайте мне сто голосов!

— Опять вы за свое! Толкую вам, что у нас оппозиция никогда не получала ни одного бюллетеня! И что ты пристал ко мне, клизма несчастная?

— Я тре́бую уважения, сеу Керенсиано! И имею на это право! Дайте людям свободно выразить свою волю!

Завязалась настоящая баталия. Первым напал сеу Керенсиано, но Жоан Бертолдо изловчился, схватил урну и пригоршню бюллетеней.

— Бросай в окно! Бросай в окно! — кричали с улицы.

Бертолдо занял оборону.

— Я не уйду отсюда, сеу Керенсиано, пока народ не проголосует!

— Народ поддерживает меня, пластырь липучий!

— Предоставьте людям право голосовать!

Конфликт разрастался. Сторонники дона Керенсиано прижали Жоана Бертолдо к стене, требуя урну. «Отдай!» — «Не отдам!» — «Голосование считается аннулированным!» — «Здесь без меня никто ничего не аннулирует!» — «Успокойтесь, сеу Керенсиано!» — «Ну, давай договоримся!» — «Вот это другое дело!»

— Хватит тебе пятидесяти голосов?

— Нет, сеу Керенсиано, так дела не делаются! Слишком мало!

— Мало?! От себя отрываю! — взревел Керенсиано.

Наконец, в шесть часов вечера договор был заключен. Бертолдо получил восемьдесят бюллетеней для своей столь горячо защищаемой оппозиционной партии. Отвоевал он таки право жителя Пиедади выразить свою волю. Жоан Бертолдо погрузился в работу: подписывал за избирателей бюллетени, заклеивал их в конверты, опускал в урну, заполнял протоколы, подписывал документы и тому подобное. Все, как делал сеньор Керенсиано.

Невдалеке, в тени развесистого дерева куиá, расположились избиратели, потягивая прохладительные напитки. Противники повеселели. Борьба утихла. Кинкас Кинзейро решил своей гармоникой приветствовать наступивший мир. Зазвучал байон [1],

[1] Народная танцевальная мелодия.

столь популярный в горах Жоан-ду-Вале и на базарах Педрейрас, что разбросаны по берегам реки Меарим:

Можешь бить кого угодно,
Но не задень моей любимой...

— Велик наш Мараньян, открыт он для всех,— кричал счастливый Зузон.

Выборы закончились естественным порядком, а Бертолдо получил от судьбы такой подарок, о каком не мог и мечтать: он стал муниципальным советником, камаристом! Теперь он мог независимо от всех и полагаясь только на свою кристальную совесть защищать добрые традиции и доброе имя города.

5

После Жоана Бертолдо аптека перешла в руки Шикиньо. Вот уже два года как Шикиньо ведет сложные опыты. В августе он собрал опавшие листья журубебы, славящейся своими целебными свойствами. Почему именно в августе? Да потому, что в этом месяце полная луна крупнее, чем во все остальные, приливы выше и продолжительнее. К журубебе аптекарь добавлял корни другой, не менее ценной травы — мата-пасто. Составной частью входил также высушенный и измельченный хвост зверька куати и еще многое другое. Дело в том, что аптекарь самозабвенно пытался изобрести эликсир, который сохранял бы в мужчинах юношеский пыл и любовное вожделение, несмотря на возраст. Шикиньо назвал свое будущее творение «цветком молодости». Название это пришло ему в голову на празднике бумба-меу-бой. Уже наступил рассвет, и Николау на прощание прошелся по струнам гитары, погремел маракой и затянул:

Прощай, смуглянка, мне пора,
Я ухожу! Не жди меня!
Как цветок молодости, я
Не увяну никогда.

С того дня и ищет Шикиньо свой «цветок молодости». Нашел аптекарь и на ком проводить опыты, чтобы выяснить эффективность эликсира. Осел Пишилау был настолько стар, что не годился для работы, даже воду с реки возить не мог. Зубы у Пишилау выпали, шерсть вылезла, на спине появились лишаи и болячки, с морды текла слюна. Большую часть времени осел спал.

Шикиньо перевел осла в конюшню и каждую ночь не без труда — осел упорно сопротивлялся — вливал в глотку животного по два литра изготовленного им эликсира.

Не говоря никому ни слова, аптекарь внимательно наблюдал за одром. Через некоторое время стало ясно, что животное набирает силы, проявляет активность. Оно уже не пребывало, как прежде, в постоянной спячке, уткнувшись в угол, а начало оживленно бегать по загону. Аптекарю пришлось укреплять расшатанную ослом изгородь. Жена Шикиньо, не догадывавшаяся о научно-исследовательской деятельности своего супруга, тоже стала замечать, что с ослом творится что-то неладное:

— Дьявол вселился в осла!

Шикиньо был счастлив. Выходит, прав он был в своих догадках относительно свойств травы мата-пасто, недаром проводил он опыты. Как-то воскресным утром Шикиньо окончательно убедился в том, что достиг успеха. Еще на заре, при первых петухах, он почувствовал: сегодня его ждет нечто необычное. Накануне ночью инстинкт первооткрывателя подсказал ему, что эксперимент завершен. Чтобы триумф был полным, аптекарь влил в последнюю дозу изобретенного им отвара еще несколько капель концентрированного сока плода мамоиа.

Рассвет едва забрезжил, когда Шикиньо услышал, как застонали колья в изгороди, окружавшей загон у конюшни. Сначала тихо и медленно, потом со все нарастающей силой забор загрохотал, полетели щепки под яростным напором ослиных копыт. Пишилау опрокинул все барьеры старости, не подчинившись ее естественным законам. Разнеся изгородь и разорвав диким ревом тишину наступавшего утра, осел с легкостью кота перемахнул каменную ограду возле дома аптекаря и вылетел на улицу.

Подробности событий аптекарь собирал потом, а сейчас для него было важно одно: он добился! С помощью своего замечательного настоя, где все было строго дозировано и опробовано, Шикиньо мог теперь в каждом мужчине возжигать пламень вожделения. Гений! Гений Шикиньо!

Пишилау овладел городом. Он носился по улицам, которые для его помолодевших ног оказались слишком узкими и короткими. Он утолял свою похоть где придется и опять с ревом мчался дальше, сметая все на своем пути. Чутье подсказывало ослу, где взаперти находятся его подружки. И вот он уже вторгается в дом сеу Ананиаса. Потом в конюшню Зеферино, а далее — к Жоану, Жозе, Педро... Осла не останавливали ни палки, ни камни.

— Бес! Бес вселился! — кричала дона Мария Эулалия, увидев промчавшегося мимо Пишилау.

Город проснулся. Несмотря на ранний час, жители, вооружившись кольями и дубинками, высыпали к воротам своих домов, надеясь защитить свою живность, а также нормы общественной морали от буйного осла. Детей благоразумно заперли в комнатах, чтобы они не заметили того, что увидели глаза взрослых. Но самое жуткое было впереди! В своем безумии осел ринулся к святой церкви и через открытую дверь проник в один из ее приделов. Здесь его и словили, после чего водворили в загон при здании префектуры, куда приводили украденных или потерявшихся животных.

Жоан Бертолдо был глубоко потрясен случившимся. Вопреки своей скромности, действуя лишь из соображений защиты общественной морали, он обратился к лидеру своей партии и просил созвать чрезвычайное заседание муниципальной палаты. Он просил провести заседание немедленно. Сегодня же! В воскресенье! Он хотел принять самые энергичные меры против повторения подобного рода эксцессов! Надо было смывать грязное пятно, павшее на облик города — от церковной башни до притона Зеки.

Идею подхватили. Об этом тогда же стало известно аптекарю Шикиньо, который был изобличен как тайный автор эликсира, взбесившего плоть старого осла.

— Это зелье сеу Шикиньо, аптекаря! Это он напоил осла!

Муниципальный совет города Вай-Кем-Кер был созван по единодушному требованию обывателей. Представители властей горели благородным желанием исполнить свой долг и внушить согражданам мысль о необходимости уважать свой город. Всегда. Уважать должны все — и животные и люди.

Жоана Бертолдо распирало от самодовольства. Более чем когда-либо он благодарил то славное воскресенье, когда решил самолично голосовать и вырвал урну у сеу Керенсиано. Идея данного заседания принадлежала ему, и только ему, хотя для претворения ее в действие пришлось-таки провести сложнейшие маневры и переговоры.

В зале палаты раздавались возгласы:

— Закон!

— Закон!

— Требуем принять новый закон!

Торжественно восседали муниципальные советники, от сеу Керенсиано до Жоана Бертолдо — все патриоты любимого города. Для его спасения они согласны были даже пыль на улицах подметать.

— Ставим на голосование проект закона, представленного муниципальным советником Жоаном Бертолдо, о запрещении держать ослов в пределах городской черты. Впредь и навсегда!

Слова председателя звучали сурово и торжественно.

— Все согласны?

— Согласны все.

В глазах Жоана Бертолдо отраженно вспыхнуло воспоминание о его появлении в городе, о дорогах, пройденных им. Провидение послало ему возможность отблагодарить приютивший его Вай-Кем-Кер. Закон об ослах навсегда сольется в памяти горожан с его именем и будет историческим примером бескорыстного служения народу.

— Мой Жоан, скажи-ка мне,
Почему не на коне?
— Под седлом его оставил,
Пусть в тени передохнет...

■

ОЛИВ СИНИОР

Рассказы

■

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Баллада

I

Учитель задал мне сочинение «Самый замечательный человек в моей жизни», и я написала три страницы о мисс Рилле, и учитель порвал и сказал, что мисс Рилла недостойна, чтобы о ней писали сочинения, и мне сразу сделалось так же плохо, как в тот день, когда мисс Рилла умерла и покинула меня.

Когда мисс Рилла умерла, мне захотелось сочинить о ней балладу, как в старые дни про знаменитых людей. Не спрашивай меня почему, только когда мы в школе поем баллады, мне становится грустно и я вспоминаю мисс Риллу. Но я не умею петь и играть на гитаре, и никто вокруг ни на чем не играет с тех пор, как пропал мальчик Блюз, и вообще дело такое большое и серьезное, что маленькой балладой не обойдешься. Поэтому я просто расскажу тебе про мисс Риллу и папашу Д, мальчика Блюза и про меня, хотя это на самом деле только про мисс Риллу. А когда мы дойдем до печального, у нас будет что-нибудь вроде припева, потому что так всегда бывает, когда поют баллады, только я еще не выдумала этот припев.

Мисс Рилла умерла на грузовике, который вез ее на базар, и тело ее привезли назад, но я его не видела, потому что, когда ее зарывали в спрингвилльскую землю, я целый день у реки плакала и не плакала, смеялась и не смеялась.

О боже. Мисс Рилла больше не смеется поблизости, и как будто весь смех на земле прекратился, и все говорят о ней хорошо. Да-да, все говорят о ней, как будто никто ни разу не говорил гадостей, и мальчик Блюз сказал бы, если бы был здесь: «Господи, как это грустно». Так говорил мальчик Блюз, но вообще он говорил мало, потому что все время играл музыку на дудке, которую вырезал сам, и его музыка была высокая, бледная и тонкая, как он сам, а совсем не то, что передают по радио у масса Керли.

Чтобы показать вам, как мало говорил мальчик Блюз: в тот вечер, когда Джо Амос вернулся из города с новостью, что мисс Рилла умерла в грузовике, каждый мужчина в Спрингвилле нашел что сказать. Но не мальчик Блюз. Он вообще ничего не сказал. Мальчик Блюз просто сунул свою дудку в карман и ушел, только я не знала, насовсем или не насовсем, пока его мать в воскресенье не приехала из своей Лапландии и не спросила, видел его кто-нибудь и где он. А когда я сказала, не знаю, она злобно так посмотрела, потому что я всегда водилась с мальчиком Блюзом, но ничего такого меж нами не было, что бы там ни болтали, поэтому я не сказала ей больше ни слова. И никто до сих пор его не видал, хотя у меня сильное чувство, что он ушел в Кингстон, чтобы выступить по радио в «Шоу талантов», и если он когда-нибудь вернется сюда, он будет совсем-совсем другой.

Значит, мальчик Блюз вроде бы ушел из моей души, но только не мисс Рилла. Мальчик Блюз ушел из моей души потому, что я не могу удержать в памяти его музы-

© Longman Group Limited. 1986.

ОЛИВ СИНИОР — OLIVE SENIOR

Молодая ямайская писательница. Ее первый сборник рассказов «Летняя молния» вышел в Лондоне в 1986 г. Из него взяты публикуемые рассказы («Summer Lightning». London-Harlow, Longman Group, 1986).

ку. Но каждый раз, когда мне от чего-нибудь по-настоящему хорошо, я смеюсь громко-громко, и иногда я вслушиваюсь в свой смех и он совсем такой, как будто смеется сама мисс Рилла.

Третьего дня это даже заметила моя ма и сказала:

— Прекрати этот мерзкий смех, Ленора, потому что ты начинаешь смеяться как Рилла Данвил.— Только когда она кончила говорить, я уже не смеялась, а плакала, но так, чтобы она не увидела.

Моя ма никогда не плакала по мисс Рилле. Моя ма никогда ни по ком не плакала. И у нее всегда было наготове злое слово про мисс Риллу и мальчика Блюза — единственных людей на свете, которых я люблю.

Только послушай, что она говорила о мальчике Блюзе, когда он проходил по дороге:

— Гляди, вон идет твой безмозглый бездельник. Скажи на милость, где это слыхано, чтобы взрослый человек дудел целый день в дурацкий обрезок бамбука? Но чего еще ожидать от людей из Лапландии? Позвольте заметить, что ничего хорошего еще не выходило из этого отсталого места, и это святая, истинная правда. Там живут одни ниггеры короманти, вроде этого парня Зэки, который украл козу у масса Керли, и вообще все они пижоны и пьяницы. И твой музыкальный приятель тоже такой. А может, он твой внебрачный двоюродный — была же у брата твоего отца женщина короманти на стороне, и, конечно, голос крови и все такое, но все же я не пойму, зачем ты путаешься с этим барахлом, потому что все изо всех сил стараются воспитать тебя в хорошей христианской семье с приличными детьми. Что ни делай, рыбак рыбака видит издалека: и все знают, что твоя родословная не такая знаменитая, так что, если тебя тянет к тому классу людей, будешь ням-ням с собаками. Можешь говорить, что ты дочь своего отца, и пусть он управляется с тобой, а я больше не намерена.

Когда моя ма так разоряется, я сижу тихо-тихо, пока она не забудет, о чем кричит, потому что, если я подам голос, она живо залепит мне пару очень-очень горячих. Я зову ее «моя ма», хотя на самом деле она мне совсем не мать. Она мать Элси, и Джорджа, и Рейни, и Маршалла, и Пити, и Дульси, и Гэбриэла, но их па, масс Джордж,— мой па тоже, только он заимел меня от леди-подруги, которую одно время содержал в Морнингсайде. У нее были другие дети еще до того, как я родилась, поэтому моя ма взяла меня, когда я была маленькая, и воспитала в своем доме, потому что, она говорит, ей будет неловко перед сестрами по церкви, если я буду бегать по городу как незаконная. Вообще-то она не такая плохая, хотя иногда умеет сказать по-настоящему обидно, и я знаю, что она не любит меня, как своих детей, зато мисс Рилла меня любит, потому что у нее нет детей, чтобы любить.

Поэтому каждый раз, когда моя ма бранится и готовит затрещины, я жду минутки, когда ее что-нибудь отвлечет, и тогда убегаю на двор мисс Риллы, где, я знаю, под джакарандой меня ждет мальчик Блюз, и мисс Рилла сидит в качалке и ест сладости, она их сама печет в печке, которую для нее за домом поставил папаша Д, и я такая счастливая, потому что меня ждут два моих человека в мире.

Но, боже, иногда моя ма так плохо говорила о людях, особенно о мисс Рилле. Скажем, мисс Рилла проходит мимо в нарядном красном платье, с новым платочком на голове, в больших качающихся золотых серьгах и в лучших ботинках папаши Д, и, по-моему, она выглядит на миллион фунтов стерлингов и как сама миссис королева.

— Эй, мисс Гретт, как поживаете? — Она улыбается и машет платочком моей ма, которая развешивает белье на веревке.

— С божьей помощью, дорогая моя, с божьей помощью, детка,— сладким-сладким голосом отвечает моя ма, и прищепка для белья, которую она держала зубами, падает на землю.— Черт! С чего это вы сегодня такая красивая, дорогая моя?

— А, все равно здоровья нет — и еще я буду хандрить? — говорит мисс Рилла, обмахивается веером и утирает пот, потому что день действительно жаркий.

Я слушаю их из-за угла дома, и я знаю, что они глядят друг другу в глаза, а потом вдруг быстро-быстро отвернутся, и я услышу одно молчание.

И тогда мисс Рилла говорит медленно так:

— М-да, надо сбегать в лавку масса Керли дотемна и купить керосина, потому что папаша Д никогда не принесет из города ни капли.

— Не буду задерживать вас, моя дорогая. Вообще-то кое-кому из нас не так повезло, чтобы кто-нибудь приносил им из города хоть что-нибудь, хе-хе,— говорит моя ма.— Счастливого вам пути, моя дорогая.

Все это она говорит сладким-сладким голосом, и она глядит, как мисс Рилла мед-

ленно так идет по дороге, потому что ей нелегко таскать свою толщину, а булыжники под ногами ужасно неровные.

Как только моя ма видит, что мисс Рилла ушла далеко и не может услышать, она живо бежит в дом и вытаскивает наружу мою большую сестру Дульси и Эстреллу, которая иногда нам стирает.

— Эй, Дульси, Эстрелла, скорей, дети мои, поглядите на это пугало! — И все, кто есть в доме, высыпают наружу и вытягивают шеи, чтобы взглянуть на дорогу.

— Хи-хи, мамаша-девица сегодня красуется перед папашей,— говорит Дульси.

— У нее правда цветущий вид, я ей так и сказала, я сама бы имела цветущий вид, если бы у меня хватило бесстыдства так нарумяниться,— говорит моя ма.

— Поглядите, какие у нее серьги, точно колеса. Какой дурак поверит, что они золотые?

— Бедный папаша Д, она опять в его лучших ботинках,— говорит Эстрелла, как будто это ее ботинки.— Господи, осел сказал: в мире нет справедливости, и был прав, потому что, глядите, этот мужчина сбивает ноги в кровь, до костей только для того, чтобы эта женщина уродовала его лучшие ботинки о булыжник, потому что желает пошиковать.

И еще они говорят множество разных вещей, и так бывает каждый раз, когда мисс Рилла выходит со своего двора.

О господи! Нет больше смеха. Нет больше золотых серег. Нет больше вкусной гисады, которой мисс Рилла утешала меня, когда моя ма меня поколотит. Ничего больше нет хорошего.

II

— Эй ты, ребятенок с рыжей головой, чего ты плачешь? Иди сюда,— позвала мисс Рилла, когда я шла мимо дома, в который она переселилась из Ред-Граунда.— Иди сюда, вижу, вижу, ты из Гейлов. Чего ты плачешь?

О боже, мисс Рилла живая, живей, чем вся моя жизнь, сидит в качалке, которую сделал ей папаша Д и которая совсем рассохлась, и она задает вопросы, и я вижу, что отвечать не нужно, потому что она своим передником уже утирает мне слезы, и вот она их утерла, и я могу хорошенько ее рассмотреть. Я подумала, что мисс Рилла — цыганка, хотя я отродясь не видала цыган, но именно так она выглядела. Ей-богу! И мои слезы высохли быстро-быстро, потому что она ушла в дом, и я изумилась, что такая крупная женщина может ходить так легко, и она вышла с полной тарелкой гисады, вкусной, сочной, горячей, и я тотчас думать забыла о слезах и о том, что меня побили.

— От вкусного настроение всегда улучшается. Ничего, детка, до свадьбы заживет. Но смотри, чтоб ты уже не вышла замуж, потому что по вечерам я вижу тебя с мальчиком, который всегда играет приятную музыку, и вы оба такие симпатичные, проходите мимо вечером и думаете, я вас не вижу.

Тут мисс Рилла смеется и смеется, как смеется, когда кого-нибудь поддразнивает, и в первый раз, когда я вижу ее, она без вставных зубов, и от большого-большого смеха рот ее широко открыт, точно заглавное О.

До мисс Риллы я никогда не слышала, чтобы женщина смеялась по-настоящему, я думала, что одни мужчины умеют смеяться так глубоко, животом.

Мисс Рилла пекла сладости, раскладывала их в стеклянном ящике и продавала школьникам и взрослым, которые ходили мимо ее дома. Но больше всего сладостей она отвозила в Кингстон и продавала на тротуаре. Она ездила в Кингстон с остальными торговками на грузовике масса Керли, который водил папаша Д. Люди говорили, что на самом деле ей не то чтобы нужны деньги, а просто она не слишком доверяет папаше Д и не выпускает его из виду, а другие люди говорили, что все совсем наоборот, но это не мое дело.

В общем, на том самом грузовике мисс Рилла и умерла. По словам Дорис-Большой-Рот у нее просто отказало сердце. Это Дорис-Большой-Рот рассказала всю историю моей ма, а моя ма все время ее перебивала-перебивала, а мне хотелось услышать про мисс Риллу.

— Мы ждали на самом солнцепеке, понимаете, мисс Гретт, да мэм,— говорила Дорис-Большой-Рот.— Сифасу пришлось сходить за Силачом в Мей-Пен. Силач пришел и отвез всех нас в город. Папаша Д хотел повернуть грузовик назад и ехать прямо до-

мой, но за это время вся наша еда испортилась бы на солнцепеке, понимаете, не то, что люди такие черствые, но мы же на это живем и кормим детишек, поэтому нам надо было скорей в город.

Так что, когда папаша Д высказал свое возражение, мы все огорчились, что ничем не можем ему помочь. Он заплакал и сказал, что в городе полиция заберет тело его жены и не отдаст, а он обещал похоронить ее в саду под джакарандой, чтобы она и мертвая могла слышать, как шумят ветки. У некоторых бывают причуды, вы же знаете, мэм...

По правде говоря, нам очень не хотелось, чтобы на грузовике было мертвое тело, но выглядела она совсем не так плохо, а как будто спит и спит, и как мы поняли, что она мертвая, это потому, что она навалилась на Дженни на скамейке, и Дженни говорит: «Эй, мисс Рилла, дайте мне вздохнуть, вы такая тяжелая, а я не мужчина и не могу выдержать, а всем нам надо чуть-чуть подремать, пока мы доедем до города».

Тут Дженни на скамейке попробовала высвободиться, но она навалилась ей на спину, словно мертвый груз, и тогда Джеини дотронулась до нее и заметила, что она холодная-холодная, поэтому она стала будить ее, она так звала и кричала, что разбудила всех в кузове, кроме мисс Риллы, и тогда Дженни запричитала: «Боже милостивый, кажется, мисс Рилла умерла, умерла прямо на мне» — и все принялись звать Иисуса, и мы окончательно уразумели, что она действительно умерла, поэтому мы постучали в окошко, чтобы папаша Д остановил грузовик, и он наконец понял, что что-то случилось, и остановил грузовик, и высунулся, и закричал: «Что там у вас всех происходит, а?»

И у нас не хватило духа сказать ему, что мисс Рилла умерла, поэтому мы сказали: «Папаша Д, что-то нам кажется, что мисс Рилла нехорошо себя чувствует» — и он сказал «угу», и влез в кузов, и дотронулся до ее руки и лица и потом до ее сердца, и тихо так проговорил: «Мисс Рилла, мисс Рилла», потому что когда он дотронулся до ее сердца, он увидел, что оно нисколько не бьется, и он оглянулся на нас, а все мы стояли за кузовом, и глядели на него снизу вверх, и молчали, а он нам сказал только: «Почему же вы не сказали, что она умерла?» — и никто не знал, что ему ответить.

И вот он сидит и держит ее за руку, и все тихо-тихо, как смерть, и мы даже не замечаем, что уже совсем рассвело, и мы кашляем, и переминаемся с ноги на ногу, и отгоняем москитов, и молчим, и не знаем, что делать, пока, наконец, Сифас не прочищает горло и говорит: «Папаша Д, мы знаем, как тебе тяжело, мы горюем вместе с тобой, но мы не можем стоять здесь целый день, и вот-вот наступит жара».

Это он чтобы папаша Д что-нибудь сделал, но тот только молчит, и уже теперь все мы на дороге начинаем спорить, и наконец — вы же знаете, Сифас за словом в карман не лезет,— наконец Сифас говорит: «Послушайте, папаша Д сейчас не в состоянии нас везти, и поскольку никто из нас не может вести грузовик, нам надо найти кого-то, кто может. Не то что я не умею водить машину, вы знаете, я вожу хорошо-хорошо, но этот ворюга из Мей-Пена провалил меня на экзамене, потому что я дал ему только четыре шиллинга, старая собака, и я не хочу неприятностей с полицией».

И мы опять начинаем спорить, но теперь папаша Д уже плачет и говорит, что нам надо вернуться в Спрингвилл, и мы говорим, что нельзя, потому что все наши средства к существованию на этом грузовике, и поэтому пусть Сифас сходит за Силачом, и Силач придет и отвезет нас. И мы говорим, чтобы папаша Д лучше сел впереди с Силачом, потому что Силач плохо знает город и там ему надо будет указывать. И вот нам удается усадить его в кабину, потому что он все время точно во сне, и мисс Рилла выглядит так, как будто еще не проснулась, хотя все теперь садятся от нее подальше. И Сифас говорит: «Пришло время скорби, и Библия учит уважать усопших, аминь. Но я думаю, мы поступили правильно, и господь еще нам улыбнется, потому что он понимает, что мы бедные люди и должны зарабатывать на пропитание, а если мы ничего не продадим сегодня, нам нечего будет есть завтра. Но я думаю, мы не должны говорить никому в городе, что у нас на грузовике покойница вместе с едой, потому что в Кингстоне люди очень глупые и подозрительные, и они никогда больше не будут покупать еду из Спрингвилла. Поэтому, как только мы приедем, поскорей уносите еду и оставьте мисс Риллу и папашу Д, а Силач за ними присмотрит.

Силач потом рассказал мне, что, когда мы приехали в город, папаша Д по-прежнему плохо соображал и не понимал, что делать, но Силач отыскал констебля, которого знал с давних времен — это сын Джейн Саутвелл из Ред-Граунда, она его родила с Адамсом из Монтего-Бей, и получился хороший-хороший парень, работает во вспомогательной полиции,— так вот, Силач позвал его и рассказал, что у нас мертвое тело на

грузовике, и констебль не поверил, он заглянул вовнутрь и увидел сам, он какое-то время смотрел, а потом сказал, что, согласно тому, что положено, будет лучше, если Силач отвезет тело в морг, потому что, если узнает полиция, неприятностей не оберешься. Папаша Д попытался спорить, но в конце концов они так и сделали.

Как бы то ни было, я слыхал, что у них все равно была масса препирательств с полицией и папаше Д пришлось выложить кучу денег, чтобы тело набальзамировали и привезли домой в особой большой черной машине, очень красивой. Сама я не видела, но Дженни сказала, что кингстонский человек, который бальзамирует, сделал ее лицо очень красивым и у нее были хорошие похороны, но я не могла пойти, потому что моя младшая, Эда, опять разболелась и прокашляла целую ночь... И вот что я вам скажу, мисс Гретт, с тех пор, как это случилось, папаша Д сам не свой. Отродясь не видела, чтобы мужчина так тяжело переживал смерть, а если вспомнить, кто она была... В общем, как говорится, о мертвых ничего плохого, да у меня и нет ничего лично против нее, вы же понимаете, потому что она всегда по-настоящему хорошо относилась к ребятишкам. Но папаша Д с похорон сидит на той самой качалке, на которой сидела она, и как будто не видит, что прямо перед его глазами. Такое чувство, что он все время смотрит вовнутрь себя. Но, мэм, на его месте я бы совсем не стала глядеть себе в душу, потому что испугалась бы, чего там увижу. Как говорится, что было, то прошло, и вода под мостом и так далее, но ведь господь учит: за грехи обязательно будет возмездие. Не все же умирают на грузовике по пути в город, мисс Гретт, это не христианская смерть, совсем, совсем. Я не хочу говорить ничего плохого о мертвых и ничего такого не имею против мисс Риллы, и все же ни один из них двоих не может ожидать приличной смерти после всего, что у них на совести, и я не удивлюсь, если ей нелегко лежится в земле. Честно говоря, я надеюсь, ей устроят хорошие поминки с бочками рома и молитвами, потому что, если ее тень вернется, она тут точно натворит дел, вспомните, иногда она смахивала на ведьму, а все знают, что вытворяет тень ведьмы.

Конечно, я бы весь день проторчала у вас, но у Эды до сих пор жуткий грипп, и еще я слышала, что масс Керли никак не может найти человека водить грузовик, и если бы по дороге прошел другой грузовик, я бы предпочла влезть на него. Папаша Д сгорел и теперь ни на что не годится, дорогая мэм... В общем жаль, что нам никак не удается всласть поболтать, но я пошла, и, как говорится, таракану незачем быть на насесте, но уж очень это тяжелое дело, что случилось с папашей Д.

Нет больше смеха. Мисс Рилла больше не привезет мне с базара гребешок или ленту. Остался один папаша Д, и я спешу пройти мимо ее дома и не говорю ни слова. Но и не нужно. Папаша Д никого не видит, и он не видит меня.

III

Кажется, меня занесло не туда, и я только порчу свою балладу, я же совсем не так хотела ее рассказать. Как умирает мисс Рилла — это конец, а всякая история должна начинаться с начала. Только, говоря по правде, сейчас я не очень-то отличаю начало от конца, потому что до сих пор тоскую по моей милой подруге мисс Рилле, которая умерла и покинула меня. А я еще должна в этом году сдавать экзамен на стипендию в среднюю школу, но учитель взял и сказал моей ма, что я совсем не учусь, он сказал, это грех, потому что я способная девочка, особенно по английскому языку, и могу стать учительницей, или фельдшерицей, или кем-нибудь вроде того. И моя ма побила меня за то, что я не учусь, и она сказала, что не понимает, как я могу отставать в школе теперь, когда меня не отвлекают от занятий ни мисс Рилла, ни мальчик Блюз и вообще никто больше не морочит мне голову.

По правде говоря, я не думаю, что моя ма огорчится, если я провалюсь на экзамене, потому что ей не очень нравится, что в школе я способная и учитель всегда меня хвалит, а все ее собственные дети не такие способные. Я думаю, ее сердит, что я внебрачная дочь моего отца, а получилась способная. И хотя она слушает учителя и бьет меня, когда я плохо учусь, и говорит учителю, что сделает для меня все, хотя я не ее дочь, у нас во дворе, когда сердится, она говорит:

— Не вбивай себе в голову, что ты сдашь экзамен и пойдешь учиться в среднюю школу, это нахальство, потому что никто из моих законных детей до сих пор не учится в средней школе, и с чего ты взяла, что ты лучше их, я знаю, это учитель вдалбливает

тебе, что ты такая способная, и ты совершенно зазналась. Учителю ты нравишься только потому, что ты темнее, чем мои дети, и потому, что ты рыжая, а не черная, как он сам, и еще все говорят, что настало время черного человека и все они помогают друг другу, а мои дети слишком хорошего цвета и им не подходят. Поэтому он никогда их не поощряет и обязательно проваливает на каждом экзамене, потому что кожа у них хорошего цвета, а волосы прямее, чем у китайца, и все знают, что эта страна в наши дни идет к чертям, потому что в среднюю школу подталкивают самых черных детей. Кто когда мог выучить обезьяну, а? Что ж, раз так, то мне плевать, что мои дети не учатся, потому что никто порядочный больше не ходит в их среднюю школу. А этот твой учитель пусть больше не валяет дурака. Нечего ему вбивать тебе в голову всякие глупости, потому что я взяла тебя совсем маленькую, и воспитала тебя в хорошей христианской семье, и тратила деньги, чтобы тебя накормить и одеть и чтобы у тебя для школы была книга, и карандаш, и грифельная доска, как у моих собственных детей, и я всегда относилась к тебе точно так же, как к ним, и делала это от всего сердца, потому что в Библии сказано: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им» — и пусть учитель не дурит тебе голову...

Вот так она ворчит, и ворчит, и грохает утюгом о жаровню с углями, и хватает другой утюг, обтирает его о банановую кожуру и шмякает на белье. Какое-то время она не говорит ни слова, и я пытаюсь улизнуть тихонько так, но она замечает и принимается за свое:

— Куда это ты направляешься, когда я с тобой разговариваю, ты, маленькая безвоспитанная дрянь? Погоди! Не хочешь ли ты сказать, что ты собралась к своим друзьям?

И она опять грохает утюгом, и хмурится, и гладит белье, и каждое движение у нее резкое, видно, что сердится. Не как мисс Рилла, которая все делает так же медленно, как медленно ходит по улице. Но моя ма шмякает утюг на белье как сумасшедшая и не переставая говорит:

— У меня нет денег, чтобы послать в среднюю школу моих собственных детей, и я не знаю, у кого, по-твоему, есть деньги, чтобы послать тебя, и вообще ты должна уже понимать, что твое место здесь, в этом дворе, ты должна заботиться о твоем отце и обо мне, когда мы состаримся, потому что мои законные дети не будут торчать здесь вечно. Нет, сэр. Все они поедут в город, и там их ждет хорошая работа, потому что у них хороший цвет кожи, и все знают, что в Кингстоне в больших офисах и магазинах не берут на работу курчавых. Поэтому мой тебе совет: выучись шитью и всякому такому, чтобы ты могла остаться здесь, и заботиться о нас, и зарабатывать себе на жизнь. Жаль, что голова у тебя такая курчавая, а что рыжая — это даже неплохо при твоем цвете кожи, но ни один порядочный человек не женится на тебе, потому что никому не нужны курчавые детки. Люди ищут жену хорошего цвета, чтобы просветлить кожу, так что учись шитью и забудь про книжки.

Моя ма не такая плохая, даже когда говорит по-настоящему обидно, она говорит как будто не мне, а белью, которое гладит, или жаровне, в которой шурует, или всему, чем она занимается. И даже хотя она мне не родная мать, она и правда взяла меня маленькую и вырастила, и я ей благодарна, только иногда, когда она говорит обо мне, я чувствую, будто я слишком маленькая и не могу понять, кого слушать — ее или учителя, потому что учитель и жена учителя говорят:

— Ленора, ты хорошая девочка, если только ты постараешься, ты получишь стипендию и сможешь пойти в среднюю школу и даже в учительский колледж, и мы все будем тобой гордиться, но в прошлом году ты совсем не занималась... Ленора, разве ты не хочешь стать учительницей, разве ты не хочешь стать фельдшерицей?..

И я запутываюсь, я запутываюсь, потому что один ум во мне говорит, что я должна учиться и сдать экзамен, чтобы попасть в среднюю школу, и красиво говорить, и носить нарядное платье и туфли на высоких каблуках, как мисс Мартин, учительница, и как жена учителя, которая тоже учительница, и я думаю, если все это мне удастся, Дульси спятит от огорчения, потому что она всегда выше меня на голову, и я донашиваю ее старое платье, и она всем говорит, что я хожу в обносках, а сама тупая и ничего никогда не сдаст, и хотя она старше меня, учитель посадил нас в один класс, а если я стану учительницей, парикмахер выпрямит мне волосы, как жене учителя. Но я запутываюсь, потому что другой голос говорит, что моя ма будет сердиться и не станет меня поощрять, даже если я получу стипендию, а па сказал, что это не его дело. И она может отправить меня назад к моей матери, которую я даже не знаю и у кото-

рой, я слышала, появилось много детей после меня, и она ни разу не прислала мне гостинца и не зашла посмотреть, как я расту. Так что, может, мне надо выучиться шитью или пойти служить на почту и остаться здесь, чтобы заботиться о па и моей ма, когда они состарятся, потому что, даже если я попаду в среднюю школу и стану учиться, все равно у всех людей в банке светлая кожа и хорошие волосы, так что, если я не захочу быть учительницей, я не знаю, где я найду работу.

О господи, я запутываюсь, я запутываюсь. И мисс Рилла больше не скажет, что делать. И мальчик Блюз не будет играть музыку. И никто ничего мне не скажет.

IV

Как в тот раз, когда я была маленькая и спросила мою ма, откуда берутся дети, и моя ма с размаху огрела меня по голове кокосовой щеткой, которой чистила пол, а я стояла на коленях рядом и натирала, так огрела, что я упала, а она говорит:

— Боже милостивый, что с этим ребенком, а? Можно подумать, она такая взрослая. Чего ты лезешь в дела старших? Дети — это дело больших, а ты маленькая, поэтому не будь дурой и не задавай нахальных вопросов. Кто это тебе только вбил в голову? О Иегосифат! Ничего подобного отродясь не видела и не слышала. У меня большие дочери, и они никогда не осмелятся подойти и спросить о подобном, так что, детка, дождись своей очереди, а если ты уже такая взрослая женщина, что в своем возрасте задаешь вопросы, то я глазом моргнуть не успею, как ты попробуешь, что узнала,— и трах! — в этом доме появится еще один незаконный.

А я знала девочку чуть старше меня, которая родила ребенка, хотя он умер, а другая девочка в школе нарассказала такого, что я не поверила, и я не понимаю, почему моя ма так расходилась, когда я спросила ее о таком пустяке. И я решила спросить мисс Риллу, потому что знала, она не рассердится и не огреет меня, но что вышло! Она сидела в качалке и лущила горох, а я ей помогала, так вот ее глаза долго глядели куда-то далеко-далеко, как будто она обдумывает и обдумывает, а руки перестали лущить горох, и она вроде бы даже вздохнула и проговорила:

— Знаешь, Ленора, детка, я не могу тебе рассказать приятными словами, потому что я их не знаю, и, по-моему, ты еще слишком маленькая, чтобы знать, но раз ты спрашиваешь, то мужчина сажает семя в живот женщине, и оно зреет, и через девять месяцев ты зачинаешь и рожаешь ребенка. Но послушай, детка, больше я тебе ничего не скажу, потому что тебе пока нельзя думать о ребенке, ты должна хорошо учиться и стать учительницей, а когда ты станешь большая, ты встретишь приятного учителя или агронома с хорошей правительственной работой, и ты выйдешь замуж, и он сделает все, чтобы у тебя был ребенок. А сейчас выбрось это из головы, пока не получишь образования, не интересуйся мужчинами, от них одни неприятности...

Она продолжает лущить горох, и когда она не смеется, ее глаза большие и блестящие как плоды акки, только грустные-грустные, как у Марии, матери Христа, на картинке. А лицо ее сильное, сильнее, чем любое лицо, какое я видела, и мы лущим горох, пока не становится тихо, как смерть.

— Мисс Рилла, как же получилось, что вы и папаша Д живете вместе все это время, а детей у вас нет?

Снова становится тихо, и рука ее замирает.

— Эх, детка, некоторые вещи толком нельзя объяснить... Господь решил, чтобы у некоторых не было детей, потому что и так на свете слишком много детишек мучится, не хватает еды, чтобы их прокормить, но только это не ты решаешь, а бог, а тебе приходится покориться...

Я хотела еще спросить, но побоялась, потому что мисс Рилла смотрела на меня так печально, как никогда раньше.

Но я слышала, что они болтают, слышала, что женщины болтают в доме моей ма или на речке, где стирают белье, они болтают, что она вроде мула, потому что бесплодная, и что господь постановил, чтобы все женщины имели детей, а если у женщины нет детей, она не лучше мула, потому что на ней господне проклятие, и потом они болтают о Злодействе мисс Риллы и обзывают ее блудницей.

Так что, когда мисс Рилла сказала, почему у нее нет детей, я все равно не все поняла, хотя верю, что это бог не дал ей детей, потому что на свете и так слишком мно-

го голодных, а я знаю, что у моей законной матери до меня была целая куча детей, но кормить ей их было нечем, и она раздавала их, и, может, господь велел ей родить меня, чтобы ухаживать за моей ма и па, когда они состарятся, но я точно не знаю.

Ну, я слышала о Злодействе мисс Риллы, они болтали при мне во дворе, и я слышала, еще когда была совсем маленькая. И только два года назад, когда стала уже большая, я познакомилась с мисс Риллой, потому что она до этого жила с папашей Д в другом районе, пока папаша Д не решил построить дом рядом с нами, так что мы стали соседями. Но дело, которое произошло, было задолго до того, как я родилась, я слыхала о нем так много, что до сих пор не верю, что это случилось поблизости, и мисс Рилла, о которой они болтают, это какая-то другая мисс Рилла, а не леди, которую я хорошо знаю, потому что никогда не видела, чтобы мисс Рилла делала что-то плохое, а все говорят, что другая мисс Рилла сделала страшное-страшное злодейство, а в Библии сказано, что за такое дело человек будет вечно гореть в адском огне. Так они говорят.

Но даже хотя она умерла, я не могу поверить, что мисс Рилла в каком-нибудь адском огне. Я знаю, она в раю, и пусть моя ма говорит, что она главная грешница на Ямайке, смотрите, она даже никогда не ходила в церковь. Но, по моему мнению, она вознеслась прямо в рай и сейчас там со святым Петром и живет в маленьком домике с качалкой на веранде, совсем как здесь на земле, потому что у нее было так красиво и она очень любила свой дом. И она по-прежнему делает гисаду, и пироги с мускатным орехом, и уанглу, и леденцы, и вокруг нее все райские дети, и она их поддразнивает и рассказывает им истории, и они все время смеются. И даже взрослые люди там ей друзья, потому что в раю никто ни о ком не говорит гадости. И вот вокруг мисс Риллы в раю все смеются, а из-за того, что она такая красивая, а когда приоденется, совсем как миссис королева, они просят ее надеть красное платье, чтобы в раю было веселее, хотя там вроде бы все должны носить белое. И когда святой Петр видит мисс Риллу в красном платье и со стеклянным ящиком, полным сладостей, он говорит, это то, что нам нужно в раю, и зовет печника, чтобы он сложил ей из кирпичей печь, точно такую, как сделал папаша Д, и она там печет гисаду, и пироги с мускатным орехом, и уанглу, и леденцы, и все сладости, какие бывают в раю.

И поэтому я не понимаю, зачем на девятый день они устроили ей такие большие поминки, где все пили ром и говорили, зарыть бы ее поглубже, а то ее тень вернется в виде теленка и будет за тобой ходить, а от такого теленка поди избавься. Тьфу! У мисс Риллы в раю только и есть забот, что думать о нашем районе, где все так о ней злословят и нет никого, кого стоит особо преследовать.

Так я иногда думаю, но, говоря по правде, я не уверена, потому что вроде бы как ревную мисс Риллу к другим детям, с которыми она там веселится, и иногда я тоже хочу умереть, чтобы быть с ней. А иногда я не так уверена, что она в раю, потому что время от времени вспоминаю, что она никогда не ходила в церковь. Я знаю одно: нет больше сладостей, нет больше мисс Риллы, нет больше смеха.

V

Точно так же она исчезла в тот день после убийства, и никто не мог ее отыскать, никто, хотя люди подняли вверх дном всю окрестность. И полиция обходила дома, собирала показания, делала измерения и записывала все в книжку, но и полиция не могла отыскать ее, а они хотели задать ей разные вопросы, и все кругом были возбуждены, потому что ничего подобного до того не случалось, и люди говорили, что теперь у района будет дурная слава, и даже люди в Кингстоне узнали об этом из «Глинера», и все вокруг говорили, что мисс Рилла от рождения причиняет зло.

Люди спорили, что бы они делали на ее месте, и некоторые говорили, что не винят ее за то, что она убежала, потому что на ее месте они сами бы устыдились и убежали, а другие люди говорили, что лучшее, что она может сделать, это пойти и повеситься или утопиться в уборной. Говорили еще, что, если она когда-нибудь вернется в район, ее побьют камнями насмерть, потому что в Библии так поступали с подобными людьми. А моя ма сказала, не важно, куда убежала мисс Рилла, в горы или долины, господне правосудие найдет ее и покарает, потому что бог — справедливый бог, он повсюду, и куда бы ни прятались грешники, он найдет их и покарает живых и мертвых, хитрых и тупоумных. И они искали и искали мисс Риллу, пока волнение не улег-

лось. Па говорит, что спрингвилльцам довольно скоро надоело искать мисс Риллу, потому что люди стали приезжать на машинах взглянуть на место, где произошло это дело, а такого не было никогда, и они никогда в жизни не видели столько машин, и все тамошние мальчишки по полдня рассматривали машины и забыли о мисс Рилле. А Агнес Доусон — она тогда была совсем ребенком — хотела сбежать с мужчиной, который приезжал на машине, но когда машина отъехала одну милю, она стала раскаляться, и из мотора повалил пар, и Агнес испугалась, и выпрыгнула, и помчалась домой, потому что отродясь не бывала в машине и решила, что она взорвется. Па говорит, что больше всех были довольны лавочники, потому что все, как, например, масс Керли, никогда в жизни не продавали столько рому, и вся их орава разбогатела на несчастье мисс Риллы.

В общем, однажды недели через две мисс Рилла неожиданно появилась сама и сдалась капралу на площади. Этот капрал был из вспомогательных, и единственно, чем он занимался до этого, было, когда уведут козу, а, кроме Головастика Джима, никто не воровал коз. Поэтому каждый раз, когда у кого-нибудь пропадала коза, капралу ничего не надо было делать, а только ждать, чтобы Головастик Джим пришел в Спрингвилл на площадь, и тогда он забирал его и уводил.

Так вот, когда мисс Рилла сдалась ему, он не мог понять, что ему делать. Потом он вдруг сообразил, кто она, и скорее потащил к себе в дом, и закрыл дверь, и сказал: «Выпейте лимонаду, мисс Рилла» — и вообще обращался с ней как с королевой.

Потом он совсем запутался, и побежал в спальню, и хотел надеть портупею, которая висела на спинке кровати. Потом он испугался, что она ушла, и бросился в гостиную, а она там сидит спокойно, и он опять побежал в спальню, снял портупею и надел синие саржевые брюки с голубым кантом. Потом он бросился проверить, на месте ли она, и потом надел портупею и черные ботинки. Потом он снял ботинки, наваксил их и начистил щеткой. И все это время он думал, какие будут неприятности, если люди увидят ее у него, поэтому он решил побыстрее взять машину и увезти ее из района. Он прошел мимо мисс Риллы на цыпочках и прижимал палец к губам, чтобы она вела себя тихо, и потом он прокрался в лавку масса Керли, и нанял машину, и сказал массу Керли, что жена его заболела и он отвезет ее к доктору. Все это время жена его расхаживала здоровее быть не может, но масс Керли этого не знал. И вот он взял машину, подъехал к дому, поскорей усадил мисс Риллу на заднее сиденье, и они уехали. А когда он привез ее в полицейский участок, они ее допросили и предупредили, чтобы она не убегала еще раз, потому что она — важный свидетель.

К этому времени по Спрингвиллу быстро-быстро пробежала весть, что она сдалась и капрал отвез ее в полицейский участок. И каждый мужчина, женщина и ребенок на много миль вокруг собрались на площади, и они злобствовали, кричали, и возмущались, и ждали возвращения мисс Риллы. И па, от которого я все это слышала, говорит, что, когда наконец машина подъехала и дверца открылась, забавное дело, ни одна живая душа в толпе не пошевелилась и не сказала ни слова, потому что лицо у нее было такое страшное, что все испугались, и когда она вылезала из машины, все только вытягивали шею, и глазели, и поднимали детей поглазеть, и давили друг другу ноги, но никто не сделал ни шага. Как будто перед ними была невидимая черта, так что капрал без хлопот отвел мисс Риллу домой и закрыл дверь, и еще пять минут никто не двигался с места и не произносил ни слова, а после все потихоньку так разошлись, точно их там никогда не бывало. Па говорит, он там стоял, и у него было такое чувство, что ее заколдовал заклинатель, так что никто не осмелился тронуть ее пальцем.

И она тихо просидела в своем доме с того дня, как приехала, и до суда, и Дылда получил пожизненную тюрьму, его не повесили потому, что па говорит, это было преступление от страсти, и никто не видел, чтобы она все это время выходила из дома, хотя все постоянно смотрели. И к ней ходил один папаша Д, и он носил ей еду, и все ужасно удивлялись и обсуждали, потому что папаша Д — большой человек, порядочный человек в районе, и никто не предполагал, что он вообще знает мисс Риллу, и все говорили, что папаша Д не имеет права путаться с такой блудницей, а некоторые объясняли, что от путешествий за границей у него голова не совсем в порядке. Но поскольку у папаши Д были деньги, и душа самая независимая, и еще шептали, что он дружит с самым могущественным заклинателем на Ямайке, то все обращались с ним по-прежнему уважительно и не говорили ему в глаза ничего ни про него, ни про мисс Риллу.

Бедная мисс Рилла. «Ах, моя детка, бедный папаша Д. Мне совсем, совсем не нужны эти вазы с цветами. На моем пороге цветет любовь». Так говорила мне мисс Рилла.

VI

И это была правда, потому что никогда в жизни я не видела, чтобы люди жили друг с другом так ласково, как мисс Рилла и папаша Д. Да, сэр. Моя ма и па жили совсем, совсем не так. Я ни разу не видела, чтобы па приносил моей ма из города какую-нибудь приятную вещицу, сколько бы коз он ни продал, и я ни разу не слышала, чтобы моя ма смеялась, как мисс Рилла, когда папаша Д поддразнивает ее. Иногда моя ма и па пугают меня так, что сердце уходит в пятки, потому что, хотя мне не следовало бы об этом болтать, они, бывает, дерутся без дураков и лупят друг друга почем зря.

Па не боится моей ма, она тоже его не боится, потому что рядом с ним она крупная, рослая женщина, и однажды па швырнул в нее вазу, которую ее племянница прислала моей ма из Америки, и разбил окно, так что ты до сих пор можешь видеть, что окно заделано картонкой, потому что моя ма сказала, что не вставит стекло, и пусть все мы потонем, когда настанут дожди, и картонка размокнет, и каждый раз, когда она при па поминает окно, он выходит из себя и начинается новая драка.

А в другой раз па продал в Мей-Пене сколько-то коз, а на обратном пути зашел в лавочку масса Керли и опрокинул несколько стаканчиков, и не успели мы оглянуться, как он уже тащится по дороге и так орет, что слышно за углом у мистера Рамзи. И от этого моя ма начинает беситься, она молится и ругается одновременно и тоже ужасно орет. Моя ма еще понятия не имеет, что па забрал свой револьвер, который он оставлял у масса Керли, и что масс Керли только что дешево-дешево продал ему груду патронов, которые купил у вспомогательного констебля.

И я не знаю, с чего па так разгулялся, но около дома он зарядил свой револьвер и начал палить. М-да! Дульси так перепугалась, что уронила на землю таз с бельем, которое развешивала во дворе, и сломя голову ринулась в дом. И моя ма тоже так всполошилась, даже не заметила, что белье на земле, она запричитала, чтобы мы обе шли в дом, и скорей заперла дверь, и придвинула к ней диван и все стулья, наподобие баррикады, и в доме только мы втроем, и мне так страшно! И я вижу, моей ма тоже страшно, потому что лицо у нее красное, и пот льет с нее ручьем, как с мула, и косынка свалилась, и она этого не замечает, она громоздит стул на стул и заклинает:

— Отче наш, взгляни на твоих невинных деток Дульси и Ленору, твоих бесценных овечек, они еще такие маленькие, что не успели умножить грех в твоем мире, и на меня, слугу твою, я всегда верно служу тебе и даю на церковь, взгляни сюда, этот пьяный сукин сын хочет убить нас всех. Господи, не дай ему застрелить нас, потому что я твоя верная и послушная слуга Гретта Гейл, аминь.

Она хватает обеих нас и тащит в дальнюю комнату, а мы с Дульси такие напуганные, что прижимаемся друг к другу, и плачем, и тычемся головой в юбку моей ма, а моя ма не обращает на нас внимания, потому что изо всех сил молится и ругается. Никогда в жизни я так не пугалась, как когда па стрелял в дом, и мы слышали, как от пуль трещит дранка, но по большей части он стрелял по банановым листьям вокруг дома, и звук был такой, словно раздирается старая тряпка, и еще один раз он попал в цинковый навес над баком. Я не думаю, что па собирался нас застрелить, потому что, когда он стреляет в птиц, он приносит домой птиц больше всех, и все знают, что он лучший охотник на птиц в приходе.

А моя ма все стоит на коленях и молится, чтобы господь сошел и спас своих бедных, невинных детей и наслал горе и чуму на пьяницу, который во дворе, потому что бог ненавидит пьянство как гнусный грех, и он, то есть па, мерзок богу. И это счастье, что па такой пьяный и не может попасть в цель, иначе бы я теперь тебе этого не рассказывала. И все время па ругается как сумасшедший, и страшно шумит, и кричит, что убьет всех нас, потому что мы жернов на его шее и выводок дармоедов и много всякого такого.

Мы с Дульси по-прежнему держимся друг за друга и прижимаемся к моей ма, а она по-прежнему молится истошным голосом, как будто хочет заглушить крики и стрельбу па. Это продолжается очень долго, и каждый раз, когда па затихает, мы знаем, что он готовится к новому выстрелу, а это у него получается не быстро, но вот БАМ — и пуля врезается в банановый лист, и от этого моя ма молится на крик, как будто бог не услышит, если она не кричит.

Постепенно мы слышим, что и другие люди кричат на па, но мы понимаем, что люди стараются держаться подальше, но вот слышен голос двоюродного Дольфи, он угова-

ривает па прекратить стрельбу и пойти с ним выпить еще по стаканчику, а па по-прежнему ругается и стреляет в дом.

Неожиданно кругом становится тихо, и даже моя ма умолкает, и тут целая толпа людей стучит нам в дверь и кричит, чтобы мы выходили, потому что па бросил револьвер и ушел. Моя ма сдвигает в сторону баррикаду, и мы выходим и видим множество народу, а па нет, и люди говорят, что он ушел с двоюродным Дольфи, который пообещал поставить ему вышивку. И моя ма опять сердится и проклинает двоюродного Дольфи за то, что он сбивает ее мужа с пути истинного, и заставляет тратить деньги на ром, когда дети его голодают, и превращает его жену в нервную развалину и районное пугало. Но все вокруг знают, как моя ма заводится, и никто не обращает внимания, и, наконец, она утихомиривается и принимается развешивать белье.

Па вернулся домой поздно-поздно и такой пьяный, что его принесли, а моя ма не впустила его в дом, так что его положили под большим манговым деревом и сунули ему под голову джутовый мешок вместо подушки, а утром выпала роса, и он сильно простудился, и моя ма не говорила с ним целый месяц, и каждый раз, когда он закашляется, она с такой легкой-легкой улыбкой затягивает какой-нибудь церковный гимн и не обращает на него внимания долго-долго, пока они не начали снова разговаривать и ссориться как обычно.

Но так жили не только моя ма и па, а все, потому что множество раз какая-нибудь из сестер ма по церкви приходила в наш дом с вещичками, и плакала, и жаловалась, что муж побил ее и она больше не может с ним жить, и они запирались в комнате, и молились, и читали Библию, а назавтра она уже казалась лишней, и потом сама уходила на свой двор, или ее муж приходил за ней, но все равно было видно, что им не жить в мире.

И все, кого я знаю на свете, все время ссорятся. То две девушки подерутся из-за парня и порвут друг на друге платья, какой позор, или мальчишки в школе подерутся из-за стеклянных шариков, или двое взрослых мужчин подерутся из-за женщины. Господи, это же злое дело...

Из всех, кого я знаю, только учитель и жена учителя живут хорошо, никогда не видела, чтобы они дрались, но они какие-то накрахмаленные и не ласковые друг с другом, как мисс Рилла и папаша Д.

Господи, как мисс Рилла любила поддразнивать папашу Д! Скажем, когда папаша Д не работает, он в гостиной сидит в подштанниках и мериносовой рубахе и читает «Глинер», а мисс Рилла занимается уборкой.

И она ему говорит:

— Эй, папаша Д, старый черный уродище в старом грязном белье, а ну, убирайся из моей чистой гостиной.

Когда в первый раз я услышала, что она такое говорит папаше Д, у меня сердце ушло в пятки, потому что, хотя все знают, что папаша Д человек тихий, он человек нелегкий, и я думала, что сейчас же начнется война, но он спокойно выслушал ее болтовню, а она еще извернулась и шлепнула его тряпкой, которой вытирала пыль, и тогда он поднял голову от газеты и попробовал схватить ее, но она быстренько отскочила и засмеялась, и он запустил в нее ромашкой из вазы, но не попал, потому что она отплясывала в дальней стороне комнаты, и прежде чем она в него чем запустит, папаша Д убежал в спальню и закрыл дверь. А мисс Рилла стала стучать в дверь обоими кулаками, и она смеялась, пока не заметила меня, и она тотчас сказала мне:

— Послушай, Ленора, сбегай к массу Керли, будь другом, принеси мне керосинчика.

И я беру деньги и ухожу, но я знаю, керосина ей не нужно, у нее две полные лампы, но когда они с папашей Д начинают возиться, она всегда меня отсылает, как будто я им мешаю, а мне бы только поглядеть, какие они счастливые, от этого я сама счастливая. Иногда я по нескольку дней не захожу к ней, потому что чувствую, что, когда папаша Д дома, мисс Рилла не хочет меня видеть.

Но вот я прохожу мимо, и она меня замечает и зовет:

— Эй, рыжая девочка, ты что, разлюбила мою гисаду, а? Тебе в ней попался таракан или, может, ты нашла другую мисс Риллу? — И я снова счастливая, потому что я не умею сердиться на мисс Риллу.

Должна вам сказать, что иногда мисс Рилла обращалась с папашей Д, как ра-

бовладелец с рабом, с тем самым папашей Д, которого все боятся. Она сидела на веранде в качалке, и покачивалась, и смеялась, а папаша Д на солнцепеке сажал для нее цветы или выкладывал камешками узоры на клумбе. Да-да. И все это время она над ним подшучивала, а те, кто шел мимо, старались пройти поскорее, потому что не хотели, чтобы папаша Д видел, что они видели, как он делает женскую работу. А папаша Д — человек тихий, редко скажет больше двух слов, но все равно видно, что он работает в удовольствие, даже напевает, а покончив с работой, он идет в дом, и там его ждет кувшин лимонада и большой ломоть кукурузного хлеба, и когда он его съест и напьется, он кладет голову ей на колени, и она чешет ему голову, и поет «Китч», и поддразнивает его, и смеется. Вообразить нельзя, чтобы моя ма так сидела с па. Ну, тут началась бы драка! И кроме того, моя ма говорит, что «Китч» — неприличная песня и чтобы мы ее не пели, она сердится, даже когда мы напеваем ее без слов, хотя я не могу понять, откуда она узнала слова.

А я ужасно люблю видеть мисс Риллу и папашу Д вместе, потому что они оба такие счастливые, и все в их доме так уютно, и папаша Д покупает мисс Рилле множество фарфоровой и стеклянной посуды, и он подарил ей на кровать очень красивое покрывало, которое, говорят, стоит кучу денег, и еще он построил ей печь и купил швейную машину, хотя она не умеет шить, и радио, как у масса Керли, только у него оно старое и не всегда работает.

Дом мисс Риллы — самый красивый в районе, хотя моя ма всегда говорит, что полы у нее плохо натерты. Но это неправда, потому что я всегда помогала мисс Рилле с полами, у нее же больное сердце, и доктор запретил ей тяжелую работу.

И многие в районе злятся, что́ у мисс Риллы столько прекрасных вещей, один раз она выстирала свое покрывало и повесила его на веревке сушиться, и все, кто шел мимо, останавливались посмотреть, а некоторые осмеливались подойти и пощупать пальцами, и все восхищались, а когда отходили подальше, говорили, что у мисс Риллы сплошные причуды и она задирает нос.

Примерно в это же время моя ма пыталась обратить Дорис-Большой-Рот и рассказывала ей, что бог посылает своим детям блага, а дурным людям — страдания, и Дорис сказал:

— Значит, мисс Рилла — главное божье дитя в районе, потому что посмотри, как она живет.

И моя ма так рассердилась, что захлопнула Библию и заявила Дорис-Большой-Рот, что она из тупоголовых ниггеров, и в мыслях и на языке у нее сплошные мерзости, и она богохульствует и не увидит спасения.

А Дорис-Большой-Рот сказала:

— Еще бы, я же говорю правду, и вам это не нравится.

И моя ма сказала, что не будет больше обращать эту грешницу и бог ей судья. И Дорис-Большой-Рот сказала: прекрасно, ей нечего делать с такой религией, которая запрещает разглаживать волосы и носить короткое платье, потому что из-за этого кингстонские девушки в коротких платьях приезжают в Спрингвилл и забирают себе всех мужчин. Короче говоря, моя ма так рассердилась, что перестала разговаривать с Дорис, и они обе держали друг на друга зло, и все из-за вещéй мисс Риллы.

Я всегда думала, что, может, мисс Рилла и папаша Д так счастливы потому, что папаша Д покупает ей много красивых вещей. Я не знаю, так ли это на самом деле, потому что множество раз моя ма и па ссорятся из-за того, что моя ма хочет, чтобы па купил что-то красивое в дом, а па говорит, что у него нет таких денег и что она хочет, чтобы он из камня добыл кровь. И моя ма все время сердится, потому что у нее нет швейной машины, и радио, и тому подобного. А мне иногда кажется, что папаша Д покупает такие вещи мисс Рилле, потому что любит ее и хочет дарить ей приятное и красивое.

Но мисс Рилла мне рассказала, что вначале она жаловала папашу Д только потому, что он обещал построить ей красивый бетонный дом вместо того, где она жила и в котором крыша течет и вот-вот обрушится на голову. Она сказала, что, когда он начал ухаживать за ней, то если бы он не был состоятельным человеком, она бы на него не посмотрела, потому что, богу известно, папаша Д черный и страшный, как грех. Но как бы там ни было, сказала она, он не какой-нибудь сорвиголова или мальчик-попрыгунчик, а солидный человек, и бывал за границей, и умеет хорошо говорить и ласково обращаться с женщинами, и он приносил ей горы разных приятных вещиц из города. И хотя сначала она его не поощряла, она его и не отвергала,

потому что, хотя он и некрасивый, он не какое-нибудь пустое место и к тому же всегда нарядно одет.

И он ей однажды сказал:

— Мисс Рилла, я объездил все семь морей, и мне пора вести оседлую жизнь, потому что я хочу умереть, где родился, и я хочу сына, который продолжит мою фамилию. Но девчонки вокруг чересчур легкомысленные. В моем дворе должна быть настоящая женщина, которая умеет позаботиться о мужчине. Мисс Рилла, я знаю, что вы не ангел, но я человек бывалый, ибо я путешествовал и много видел, и вздор, который пугает местных бездельников, меня не пугает. И хотя у вас нет опыта, какой путешествия дают человеку, вы, мисс Рилла, все равно понимаете жизнь, и оба мы одинаково просто смотрим на вещи, а это чего-нибудь стоит.

И мисс Рилла сказала, что поначалу ей просто нравилось его слушать, потому что он говорил по-настоящему красиво, хотя не был ни учитель, ни пастор, а из всех людей только они в ее жизни говорили красиво. И он подарил ей множество нарядных золотых серег, которые он привез из Панамы, и она до сих поры иногда их носит.

Она говорит, что к тому времени, когда папаша Д начал за ней ухаживать, она ужасно устала от мужчин, потому что от них одни неприятности. Она говорит, что тогда ее жизнь была такая, точно все неприятности мира обрушились ей на голову.

— Ленора,— говорила она мне,— господь совсем-совсем отверг меня. Боже, когда ты в беде, ты по-настоящему понимаешь, кто тебе друг. Потому что тогда меня бросил каждый мужчина, которого я считала своим другом, и не к кому было пойти и не с кем поговорить, и это те самые люди, которые сегодня приходят и щупают пальцами мое покрывало на веревке. Единственный друг, который тогда у меня оказался в мире, был папаша Д. Тот самый папаша Д, которого ты здесь видишь сегодня. Он заботился обо мне, словно я была его родное дитя, и когда мое сердце разрывалось от горя, он утешал меня, и от этой сердечной боли я поняла, что этот человек — мой единственный верный друг на свете. Вот так любовь расцвела для меня, Ленора, любовь расцвела прямо на моем пороге. Папаша Д страшный, как грех,— а? — зато у него золотое сердце, и он очень смелый! Он неустрашимый, как Даниил во рву львином, и ни капельки не боится невежд, которые про него сплетничают. Да, сэр. Если они его побеспокоят, папаша Д скомкает их, как промокашку. Он никого не боится. И вот, детка, я пятнадцать лет живу с папашей Д, и он ни разу не поднял на меня руку и не сказал мне грубого слова. Знаешь, детка, в тот день, когда папаша Д пришел ко мне в моей скорби, я почувствовала, словно любовь осветила весь мир.

VII

Все равно люди говорили всякие ужасы про мисс Риллу, даже когда она жила с папашей Д, и он построил ей красивый домик, и купил красивые вставные зубы, и тратил кучу денег на докторов, потому что здоровье у нее было неважное. Я ничего плохого не знаю, не видела. По-моему, это люди так говорят потому, что мисс Рилла такая свободная, легкая и счастливая и любит смеяться и поддразнивать, а все вокруг понурые и несчастные, за это они ее так и ненавидят.

Вот, например, в нашем районе болтают и возмутительно врут про мисс Риллу и мальчика Блюза, который был моим другом, пока жил здесь. Мальчик Блюз! Он был моим другом, потому что никогда не смеялся над моей рыжей головой и играл такую приятную музыку, что я была готова пойти за ним на край света. Мальчик Блюз говорил мало, он единственный из знакомых, с кем можно пройти пять миль от Спрингвилла до Чарлстауна, и он за все время не скажет ни слова. Иногда казалось, что он вдруг онемел. Мальчик Блюз такой высокий и тихий, и я люблю его как родного брата.

Это я познакомила мисс Риллу с мальчиком Блюзом, потому что с самых малых лет я повсюду ходила за ним и его музыкой. А когда мисс Рилла переселилась в Спрингвилл и я стала прибегать к ней в дом, мальчик Блюз, проходя мимо, обязательно останавливался, садился в тени джакаранды и играл музыку.

Когда он первый раз так остановился, она быстро-быстро сбегала в дом и надела верхние зубы, которые она не носит все время, потому что они натирают. И теперь каждый раз, когда мальчик Блюз появлялся, она надевала нарядное платье.

Однажды она объяснила мальчику Блюзу, что доктор сказал, что у нее больное сердце и ей недолго осталось жить, но у нее сердце по-прежнему бух-бух с той же скоростью, и она захотела, чтобы мальчик Блюз послушал, как сильно бьется сердце, хотя доктор говорит, что это плохо, и мальчик Блюз вроде бы смутился и не хотел слушать ее сердце, и мисс Рилла просто схватила его руку и приложила к своему сердцу и тут же расхохоталась, чтобы он понял, что это шутка, и мальчик Блюз пришел в себя, и мы все смеялись.

Она выделывала множество подобных штук, и сначала мальчик Блюз смущался, он не понимал, что мисс Рилла — шутливая леди, но когда он познакомился с ней получше, он стал первым ее поддразнивать и говорил: «Алло, мисс Рилла, как ваше сердце сегодня, по-прежнему бух-бух?» — и она заставляла его положить руку на сердце, и мы втроем подолгу смеялись.

А один раз папаша Д был в отлучке, он перевозил сахарный тростник с плантации в Уэстморленде, и мисс Рилла сказала мальчику Блюзу, что у нее в спальне свалилась полка и она просит его повесить ее на место, потому что папаша Д занят, и она позвала мальчика Блюза в дом.

Я хотела пойти вместе с ними, но мисс Рилла сказала:

— Ленора, милая, у меня сушится кассава, посмотри, чтобы ее не склевали куры, и еще сегодня мимо нас поедет мистер Бэзил, а мне нужно, чтобы он отвез записку в город, очень тебя прошу, побудь здесь, милая, и последи за кассавой, а когда поедет мистер Бэзил, махни ему рукой. И еще, Леонора, если кто придет, крикни мне, потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь заходил в дом, у меня там неприбрано, я не могу сегодня устроить уборку из-за больного сердца.

Хотя мне скучно одной, для мисс Риллы я сделаю что угодно, и я сижу под джакарандой и целый день отгоняю кур от кассавы. Но грузовик мистера Бэзила не проезжает, и никто не проходит мимо, кроме маленьких ребятишек, и я устаю, потому что мне не с кем поговорить, и я не знаю, что так долго задерживает мисс Риллу и мальчика Блюза, и чудно́, что он подвешивает полку, а я не слышу, как стучит молоток.

Тем более что уже смеркается, и моя ма оторвет мне голову, если я приду домой после темна, и я не могу дольше ждать, и иду к двери веранды, и зову мисс Риллу, а в доме темно, и я ничего не вижу, а мисс Рилла откликается из спальни:

— Иду, милая!

Вскоре она выходит, и я замечаю, что на ней нет косынки, и это удивительно, потому что я никогда еще не видала ее без косынки, и мне приходит в голову, что мисс Рилла и мальчик Блюз меня обманывали и занимались этим самым. Но потом я думаю, этого быть не может, потому что еще светлый день, а чтобы пойти с мужчиной, все женщины ждут темноты, кроме Доринды, которая занимается этим самым в сахарном тростнике среди бела дня, но она не в счет.

И я даже чувствую себя гнусной за то, что такое подумала, и тут мисс Рилла говорит:

— Ленора, войди, посмотри, как хорошо мальчик Блюз повесил полку.— И я вхожу в спальню, и полка выглядит как всегда, хотя я не видела, когда она упала, а все хорошенькие вещицы с полки лежат на кровати, и я говорю, да, мальчик Блюз повесил ее хорошо, и спрашиваю:

— А где мальчик Блюз?

И она отвечает:

— Сейчас придет.— И я не знаю, что сказать, и выхожу во двор, и мальчик Блюз сидит на заднем крыльце, и что-то подсказывает мне не задавать вопросов и вообще ничего не говорить, и я беру большое спелое манго, которое дала мне мисс Рилла, и иду домой, и ем его, и стараюсь понять, что произошло.

После этого дня я не видела мальчика Блюза примерно неделю, но раз вечером я сидела с мисс Риллой, и она молчала, и я услышала, как музыка мальчика Блюза спускается с холма, и я думаю, мисс Рилла тоже услышала, потому что она сбегала в дом, и надела зубы, и вернулась, и сделала вид, что только теперь услышала мальчика Блюза, и я заметила, что она рада.

Все это было незадолго до того, как мисс Рилла умерла на грузовике, больное сердце убило ее, она говорила правду, и мне особенно больно, потому что в последние дни мне с ней было не так легко и приятно, как раньше, и даже мальчик Блюз вроде бы от меня отдалился.

Люди говорили, что, когда папаши Д нет дома, они много раз видели, как мальчик Блюз заходит туда, и когда я спросила, почему он не зовет меня, он сказал:

— Ленора, ты чересчур прыткая для твоего возраста, тебе непременно надо вмешиваться в дела взрослых.

Я спросила мальчика Блюза, с каких это пор он взрослый, и он приказал мне заткнуться, и я заплакала, потому что мальчик Блюз никогда так со мной не разговаривал. И он попросил меня не обижаться, дело в том, что мисс Рилла любит, чтобы он заходил к ней один и играл особенную музыку, только для нее, и мисс Рилла вкусно его угощает, и мне незачем дуться. Он сказал, что мисс Рилла поощряет его музыку и говорит, что он должен выступить по радио в «Шоу талантов», потому что он лучше всех, кого она слышала, и она одолжит ему денег на поездку в Кингстон.

Но я все равно сержусь и говорю:

— Ты был моим другом до того, как познакомился с мисс Риллой, а теперь ты любишь ее больше, чем меня.

И он говорит:

— Но мисс Рилла — и твой друг.

И я говорю:

— Да, но теперь вы с ней больше друзья, чем со мной.

Он опять сердится, и начинает играть на дудке, и не глядит на меня. И очень скоро после этого мисс Рилла умерла, и с того вечера я никогда больше не видела мальчика Блюза.

VIII

Учитель всегда говорил мне:

— Ленора, ты любишь вмешиваться не в свои дела, поэтому ты невнимательно читаешь учебник. Почему ты хочешь все знать и ко всем пристаешь с расспросами? Ты же не репортер из «Глинера».

Но у взрослых привычка ничего не говорить детям, и если они шушукаются промеж собой, стоит тебе подойти поближе, как они умолкают и говорят о другом или отсылают тебя на ручей за водой или в лавку за чем-нибудь, чего им не нужно, только чтобы отделаться от тебя. За столько лет я сообразила, что разговоры взрослых — самые интересные разговоры в мире, и хотя я многого не понимаю из того, что они говорят, я все равно многое узнаю, так что теперь, когда они разговаривают, я стараюсь быть незаметной, чтобы меня не отослали, или просто прячусь за угол и подслушиваю. Таким образом я узнала всякое разное про мисс Риллу, хотя никто не догадывается, что я слышала.

Теперь я перехожу к самой грустной части истории, вот что тогда приключилось.

Одно время мисс Рилла жила с парнем по кличке Пижон, его так прозвали за то, что он страшно любил пижонить. Когда-то он ездил в Америку работать на ферме и вернулся с кучей тряпок, танцевальной походкой и джазовыми разговорами и без конца пижонил.

Этот Пижон ездил в Америку, но работать на ферме ему не понравилось, и он вернулся, и многие говорили, что ему вообще не нравится работать, и он шел на работу только под рождество, когда ему было нужно много денег.

Итак, Пижон стал жить с мисс Риллой, и это было после того, как ее предыдущий приятель Кит, который был чистокровный китаец, сбежал к своей жене и детям, потому что мисс Рилла обожгла его кочергой, и он ударил ее, а она рассердилась, и схватила топор, и была готова разрубить его на куски, но он был меньше и бегал быстрее, и, кроме того, когда она выходила из себя, то задыхалась.

Кит так перепугался, что прибежал назад к своей жене, которая была слабая, маленькая женщина и боялась поднять на него палец и даже слово сказать поперек. Как только Кит сбежал, Пижон стал жить с мисс Риллой на Ред-Граунд в доме, который ей оставила ее мать, а люди говорят, что началось у нее с Пижоном задолго до бегства Кита, но я не знаю, верно это или нет, потому что тогда я еще не родилась.

Люди сердились, что мисс Рилла спуталась с Пижоном, потому что, видите ли, он совсем юный, а она дрянь и за ней с малолетства дурная слава за то, что она заигрывает с женатыми мужчинами. Не знаю, верно это или нет, но я слышала, как

Дорис-Большой-Рот говорила, что множество девушек в районе сердилось, потому что Пижон был красивый, и так хорошо одевался, и так хорошо танцевал, и все они увивались вокруг него, а он взял и ушел к мисс Рилле.

Пижон был настоящий кавалер, потому что не работал и все время торчал в лавке у масса Керли, играл в домино, танцевал и пижонил. Одни говорят, что пьяный он делался злобным, а другие говорят, что и не пьяный он был злобным. И если кто-нибудь ему не нравился, он быстро-быстро вытаскивал нож. Однажды он выпил так много белого, что разнес почти всю лавку масса Керли, и его не посадили в тюрьму только потому, что мисс Рилла заплатила за убытки. Все говорят, что из-за этого мальчишки мисс Рилла совсем одурела.

Пижон жил с мисс Риллой года два, и это мисс Рилле приходилось продавать кофе и какао, чтобы у них были какие-то деньги. Но все это время он щеголял в хорошенькой курточке, саржевых брюках и блестящих-блестящих ботинках, он только гулял по улице, и катал в кармане игральные кости, и ждал вечера, чтобы поиграть в домино.

И еще в том районе жил парень по кличке Дылда. Дылда помогал па на нашем участке, и моя ма всегда говорила, что Дылда своими руками помог па построить тот самый дом, в котором мы живем, и что он хороший христианский мальчик, таракана не обидит, не пьет и не играет в домино, как всякая дрянь, которая собирается на площади в лавке масса Керли, и он низвергнулся в бездну греха лишь потому, что попал в объятья этой Иезавели.

Моя ма всегда говорит:

— Людской закон — кривой закон, потому что карает невинных, а виновных отпускает на свободу. Бог мне судья, эта женщина, которая расхаживает по хорошей государственной дороге и бесстыдно дышит бесплатным господним воздухом — величайшая преступница во всем мире, это ей место за решеткой, а не Дылде. Дылда должен быть вольный, как птичка.

— Бог — справедливый бог,— всегда говорит моя ма.— И что человек напакостит на земле, бог очистит, когда придет Великое Возрождение, а если нет, то когда бог сам возвратится на грешную землю, чтобы судить живых и мертвых, хитрых и тупоумных. И когда протрубит труба, бедный мальчик Дылда, который страдал все эти годы, получит полное вознаграждение, и когда Бог очистит его от грехов, он займет законное место в небесном воинстве, а чертова Рилла и Пижон будут гореть в вечном огне.

Это любимые слова моей ма, и она говорит их каждый раз, когда речь заходит об этом.

Но все дело в том, что до дня, когда случилась беда, ни единая душа не подозревала, что Дылда околачивается возле мисс Риллы, хотя я понять не могу, как это возможно в таком районе, где чихнешь — и то все на свете услышат.

Наверное, дело в том, что все там считали Дылду маленьким мальчиком и всерьез не обращали на него внимания, потому что думали, что такой тихий, порядочный парень не может попасть в беду.

Он жил неподалеку от мисс Риллы и иногда колол ей дрова или бегал в лавку и так далее, и никто не подозревал, что между ними что-то могло быть и к тому же долгое время. Но все равно люди знали, что Пижон не любит Дылду, и Дылда его обходил подальше, и все говорили, что Пижон — пьяница и дрянь и поэтому он не любит Дылду, который чистый, христианский мальчик.

В тот год все на рождество получили правительственное задание расширить дорогу. По правде говоря, работа на рождество — не такая уж работа, скорее она сплошные шутки и смех, мужчины продвигаются с песнями, а женщины под ближайшим деревом ставят здоровенный котел, и когда солнце начинает палить вовсю, настает перерыв для еды и новых шуток. Дылда и Пижон работали в одной бригаде, и когда Дылда приближался, Пижон начинал беситься, хотя Дылда не произносил ни слова. А Пижон каждый день говорил Дылде какую-нибудь гадость, но Дылда глянет на него и молчит. И все продолжалось в таком духе до того дня, когда Пижон и мисс Рилла, наверное, поссорились, потому что Пижон вышел на работу и не пижонит и к тому же злобный, как никогда.

Не успели люди моргнуть, как вдруг сюда направляется мисс Рилла, и на лице ее ненависть, и она по дороге проклинает Пижона. Все побросали работу и ждут, что будет. Мисс Рилла проклинает Пижона за то, что он дрянь и вытащил деньги из-под

ее матраса, а Пижон проклинает ее всеми словами, и начинается громкая перепалка. Пижон расходится и кричит что-то вроде того, что лучше взять деньги ему, чем ей отдать их своему кавалеру Дылде.

Дылде? Все на дороге чуть не упали.

И все оглянулись на Дылду, а он стоит и молчит, и никто не знает, верить или не верить, пока мисс Рилла не говорит:

— Да, лучше отдать их Дылде, потому что он мужчина лучше тебя.

Господи, что было! Пижон взбесился в один миг и набросился на Дылду и стал махать пальцем прямо перед его носом. Не успели люди моргнуть, как Дылда выходит из себя и старается схватить Пижона за руку. Тут все испугались и не знают, что делать, и вдруг Пижон толкает Дылду.

Так вот, никто из тех, кто там был в тот день, не может путем рассказать, как и что приключилось, потому что все видели только, как у Дылды в руках сверкнуло мачете и рассекло, рассекло Пижона. Женщины закричали, а мужчины хотели схватить Дылду, но он был как сумасшедший и рассекал Пижона, даже когда тот упал на землю, и кровь потекла прямо на солнцепек. О боже! В нашем районе ничего подобного сроду не было.

Все растерялись, а один мальчишка побежал за капралом. Когда примчался капрал, люди уже утихомирили Дылду и кто-то связал его веревкой, а когда они осмотрели Пижона, он был совсем мертвый.

Па говорит, что Дылда стоял связанный, и не шевелился, и молчал, точно онемел, и так он стоял, пока из Мей-Пена не приехала полицейская машина и его увезли. Тут люди очухались, и унесли Пижона, и смыли водой кровь с дороги, и никто нигде не мог найти мисс Риллу, и только кто-то вспомнил, что, когда Дылда убивал Пижона, она побежала, побежала по дороге, совсем одна.

Что ж, это было время великой печали и смятения, потому что все по-настоящему любили Дылду и во время суда почти что весь Ред-Граунд и Спрингвилл сидели в зале и слушали или давали показания. Дылду не отправили на виселицу, ему дали пожизненную каторгу. И когда люди услышали приговор, женщины тут же в суде зарыдали в голос, и мисс Риллу пришлось выводить под охраной полиции, потому что ее разорвали бы на куски. И вот поэтому моя ма ненавидит мисс Риллу и не плакала на ее похоронах. Бедная мисс Рилла.

Я ничего не понимаю про убийство и все такое, и когда они говорят о давнишних делах, то это совсем не та мисс Рилла, которую я хорошо знала. И я не понимаю, почему люди должны всю жизнь страдать за грехи, как утверждает моя ма. Нет прощения без покаяния, а мисс Рилла умерла на грузовике так быстро, что, я уверена, у нее не было времени поговорить с богом. А если нет прощения, значит, мисс Рилла горит в адском огне. Но я уже вам говорила, я в это нисколько не верю, я верю, что мисс Рилла так много смеется, что святой Петр взял ее к себе, чтобы в раю стало повеселее.

И я говорю вам, иногда, когда моя ма принимается за свое, а учитель ко мне придирается, и все глаголы и времена путаются в моей голове, я чувствую, что этого мне не выдержать. Наплевать, что я не стану учительницей с глаженными волосами и в новом платье. Я думаю, лучше быть человеком, который умеет смеяться, и заставляет других смеяться, и делает их счастливыми. И иногда я становлюсь на колени и молю бога, чтобы он сошел и забрал меня с собой, потому что я своими глазами хочу видеть, где нынче мисс Рилла.

Страна кривого Бога

Она услышала новость по маленькому транзистору, который внучка прислала из Штатов. Она прожила слишком долго, и чувства ее иссякли, и теперь она лишь убедилась в правдивости слухов, клочьями и обрывками долетавших до нее в прошлом году: ее внук — вор, убийца, наемный убийца, насильник, каторжник, беглый каторжник, и теперь, когда ему девятнадцать, за голову его назначено вознаграждение.

С того дня, как первые обрывки слухов прилетели из города, она точно знала: все, что о нем говорят,— правда, хотя из гордости вслух сомневалась. Она твердо верила, что каждое злое дело и злой помысел всех поколений нашли окончательное воплo-

щение в этом мальчишке. С самого начала, когда он только сбежал из дому, она холодно обдумала каждого члена семьи, пытаясь понять, не скрыто ли в ее роду зло, которое предвещало бы такой конец, и не обнаруживала ничего, что вело бы к столь решительному и жестокому завершению. Они выносили смерть, голод, землетрясение, ураган, тиф, холеру, туберкулез, малярию, пожар, дифтерит и путешествия в поисках работы в дальние опасные края. Но что бы они ни делали, ма Белл видела в них лишь жертв, борющихся с силами Бога, который порою бывает глухой и слепой.

Все же ма Белл находила в Боге неизменное утешение. С тех пор как сбежал последний внук — насильник, вор, убийца, наемный убийца,— у ма Белл появилась привычка напрямик разговаривать с Богом. Он был всюду. Она провела столь большую часть своей жизни в его утешительном обществе, что разговор с Богом шел сам собой, ибо она хорошо знала, что́ он ей скажет. Она вела с ним беседы, не сообщая, где она — в доме, на дворе или на улице, по которой она с трудом ковыляла к храму Христа-Спасителя, где собирались пятидесятники. С тех пор как шесть десятилетий назад, шестнадцати лет от роду, она родила своего первого, ма Белл всю жизнь с утра до ночи общалась с детьми и ныне не находила ничего неподобающего в точно таком же общении с Богом, ибо он не слушался, как они, и так же испытывал ее терпение. И теперь она обратилась к нему с тем, что больше всего ее беспокоило:

— Хотеть стать лучше, чем ты есть, это грех, а? Коль это грех, значит, мы согрешили. Но не более того. Я знаю, ты пристанешь ко мне первой. Не очень старайся. Если, когда я была торговкой, я мало тебе давала, то потому, что самой мне были нужны деньги, Господи. Полон двор ребятишек, всем нужны ботинки, и книги, и одежда, чтобы они могли учиться и смотреть людям в глаза. Ты что, не видишь, что я права? Погляди, какие они выросли. И ты не доволен? Позволил им забыть меня. И даже себя. Они не пишут. Я померла бы с голоду, если б рассчитывала на них. Когда-когда пришлют в письме два-три доллара. Но, Господи, разве до сих пор мне говорили, что кто-то из них в тюрьме? Что кто-то из них вор? Что кто-то из них убийца? А? Отвечай, потому что ты знаешь еще больше, чем я слыхала. Ничего особенного, я брала детей и воспитывала, пока их мама и папа не устроятся за границей, а иногда, когда они устраивались, то забывали, что мы, бедные, по-прежнему тут барахтаемся. И все-таки ты не думаешь, что иногда тебе следовало бы быть построже? А теперь отвечай правду.

— Ма Б, ма Б, ты слышала новости? — Из-за двери раздался торопливый, встревоженный голос.

— Заходи, Джекоб. Что ты так разволновался? Это вредно для давления.

— Ма Б, ты слышала радио? Ты слышала новости про Джекко? Ма Б, две тысячи долларов вознаграждения.

Джекоб был племянником ма Белл, но поскольку за семьдесят один год жизни он не усвоил ее спокойствия, она обращалась с ним как с мальчишкой. Теперь она терпеливо сказала:

— Слышала, Джекоб. Полиция сейчас вовсю разыскивает Джекко. Чего ты от меня хочешь?

— Но, ма Б, ты не видишь, что сейчас будет?

— Что, Джекоб Сойерс?

— Если он в бегах, куда, по-твоему, он придет первым делом?

— Если ты решил, что сюда, значит, ты больший дурак, чем я думала.

— Ты хочешь сказать, что не ты вырастила его?

— Джекоб Сойерс, ты знаешь, что я не слышала от Джекко ни одного живого слова с восемнадцатого декабря позапрошлого года, когда он стащил мои кофейные деньги и смотался. Так он отблагодарил бабку, которая нянчилась с ним с самого его дня рождения. Кровь в нем была дурная с самого начала. Я била и била его — и никакого проку. Никогда не видела такого упрямого. Ты мог лупить Джекко с утра до ночи, и ни слезинки не капнет. Такие уж времена, что растут упрямые дети. Дурная кровь в нем не от моей семьи, тут нечего говорить. Он не осмелится прийти сюда. В нашей семье преступников не водилось. Даже воров. А я могу перебрать пять поколений до моей матери, Айрис Джестины Хауэлл, она родилась в 1884-м, в том же году, что Бустаманте, и до ее матери, Миртеллы Докин Натан, она родилась в 1863-м, и до ее матери, Лусильды, она родилась рабыней и в 1838-м получила освобождение от королевы Виктории вместе со всеми прочими рабами. И с твоей стороны — мой законный муж, Натаниэль Джекоб Сойерс, и его отец, Исайя Сойерс, и отец отца, Лемониус Сойерс, который уехал в Колон в 1849-м. Все поколения. Ни одного грабителя. Ни одного вора.

Никто ради денег не поднимал на людей револьвер или какое другое оружие. Да. Заметь, я не поощряла сына, когда он начал ухаживать за картеровской девчонкой, потому что все вокруг знают, это не та семья, которая может смотреть людям в глаза, почему — объяснять не приходится. Скверное дело. Да, Джекоб, никогда еще на земле не было поколения как теперешнее. Поистине змеиное поколение. Бог все видит и знает, и придет день, придет день, Джекоб. Но с чего это они такие? Мы никому ничего плохого не сделали, а вырастили детей, и не успели они подрасти, как превратились в зверей.

— Ах, ма Б, зло, зло, зло пришло в нашу страну.

— Аминь.

— И это предсказано, ма Б. Как говорится в Книге Иова, глава тридцатая, стих двенадцатый: «С правого боку встает это исчадие; сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне».

— Ах, Джекоб, святая истина.

— Но, ма Б, если он придет сюда. Что ты будешь делать?

— Не смущай мою душу, Джекоб Сойерс. У мальчишки тут повсюду дружки, с которыми он сбежал. Пусть он к ним и идет.

Ма Белл произносила слова, а сама чувствовала, как ниточка, связывавшая ее с внуком, напрягается, сжимает сердце. И от трепета предзакатных тучек, которые сходились, таяли и исчезали, от урчания древесной лягушки, от мерцания светлячка сердце ее уходило в пятки, и в душе воцарялось предчувствие, что весь мир вот-вот завернет за страшный угол и собьется с пути.

Мальчишка появился перед рассветом, когда она почти перестала ждать. За его голову назначено вознаграждение, размышляла она, стало быть если он не придет сегодня, то скорее всего ие придет никогда. Услышав царапанье в дверь, ма Белл обрадовалась, что, несмотря ни на что, зов крови остался таким могучим, хотя она и страшилась открыть дверь незнакомому человеку. Ибо он был незнакомым человеком. Она побоялась поднести к двери лампу, чтобы не привлекать внимания соседей, и в бледном лунном сиянии она увидела заросшего бородой незнакомого человека с лицом, каким можно пугать детей. Она не узнала в нем ничего родного, и на миг ее даже взяла опаска, что это и в самом деле незнакомый человек с дурными намерениями. Но по тому, как он привычно прошел в дом, она поняла, что это он.

— Значит. ты пришел?

— А чего ты ждала?

— У тебя нет друга?

— Друг — собака.

— С кем-то ты убежал отсюда.

— Слушай, старуха, до того времени как до луны.

Даже голос его изменился, он повзрослел, огрубел, больше того, в нем слышалась старческая усталость и раздражительность. Она не знала, чего ей ждать, и теперь уже не понимала, зачем ей было нужно, чтобы мальчишка пришел сюда. Но она была убеждена, что, хотя за его голову назначена сумма, о которой она не могла и мечтать, она все же его бабка, и он обязан проявить уважение, даже душевность. Не холодное отчуждение.

Он прошел за ней в пристроенную к дому кухню и аккуратно закрыл дверь на задвижку. Из-под золы в очаге она выгребла клубень печеного ямса, со сковородки на плите сняла кусок жареной рыбы и положила его на ямс. Ма Белл заранее знала: в каком бы часу он ни пришел, он будет голодный. Он пожирал еду, как изголодавшийся человек, а она из помятого термоса налила ему кружку сладкого бисси.

— У тебя что, нет рома?

— Рома? Послушай, мальчик. Может, где-то ты самый грозный кулачный боец и заклинатель всех духов, в моем доме ты до сих пор мальчик. Знай свое место. Ром у меня для взрослых.

Не ответив, даже не взглянув на нее, он равнодушно потянулся к тощему кухонному буфету и вынул бутылку белого рома, который, он знал, она держала как средство против простуды и лихорадки и пила, вымокнув под дождем. Он глотнул рома прямо из горлышка, поставил бутылку на стол и доел ямс.

Ма Белл содрогиулась. Никогда никто в ее доме не выказывал такой невоспитанности, ибо если дети, которых она выращивала, ие усваивали ничего другого, то хорошие манеры она вдалбливала им в голову от рождеиия.

— Мне нужны деньги.

«О Боже, Боже,— сказала она про себя.— И это в нашей семье? До чего мы дошли, Господи! Спаси меня и избавь от чужих детей, чьи уста глаголят тщету и чья правая рука — правая рука лжи».

— Зачем тебе деньги? Теперь никто тебе не поможет. Кроме Христа.

Он цыкнул зубом.

— Мне надо уехать.

— Уехать? Куда?

— Куда, ты думаешь? Я же не в отпуске.

— И далеко ты собрался?

— Не беспокойся. У меня есть паспорт.

— Что? Ты хочешь за границу?

— Куда еще? Что, у меня за границей ни матери, ни отца?

— Господи Иисусе! Джекко, ты не поедешь туда и не опозоришь их. Нет. Они изо всех сил бьются, чтобы смотреть людям в глаза. Да если бы у меня и были деньги, я бы тебе не дала, чтобы ты не опозорил родителей и всю нашу семью.

— А-а. Значит, я — не семья? Они меня не опозорили? Они меня не опозорили, когда бросили здесь, а сами уехали? Вспомни, сколько я ждал, чтобы они прислали за мной, и вечно слышал: в будущем году, в будущем году. А будущий год никогда не наступал, потому что каждый год они делали нового ребенка. Они не могли позволить себе послать за мной. Что ж, уже давно я решил получить мой будущий год в этом году. Больше я ждать не могу.

— Нет, Джекко. Ишь ты какой! Скверну свою оставь при себе. Сдайся и прими наказание. Не заставляй страдать других.

— Ты хочешь похоронить, похоронить меня заживо. Ты достаточно прожужжала мне уши и достаточно лупила меня, когда я был маленьким. Болтовни с меня хватит. Давай деньги — за ними я и пришел.

— Откуда у такой старухи деньги?

— Кому это ты говоришь? У тебя целый выводок за границей. Ты всегда хвалилась. И не такие бедные, как мы тут.

Вдруг ей стало страшно, она не столько слушала, что он говорит, сколько пыталась сообразить, мог ли Джекко, когда жил у нее, разнюхать то, чего не знал никто,— где она хранила деньги. Ибо у ма Белл были деньги, она копила их с определенной целью. Сюда шел каждый цент, который она могла урвать из своих скудных расходов. Она берегла эти деньги единственно для того, чтобы на похоронах у нее был самый красивый гроб, какой только водится у гробовщика — настоящего городского гробовщика, а не у брата Берти, который зарывал всех местных в простых кедровых гробах. С гробом ма Белл должна была управиться своими силами; она не верила, что кто-то в семье пойдет на такие расходы, особенно без ее присмотра. Ма Белл задумалась о красивом гробе уже в старости, когда поняла, что ни одно из других ее тайных желаний не осуществится. Ма Белл говорила Богу: «Что, бедные люди такими приходят в мир и такими должны уходить? Я так не уйду, и мне все равно, что ты об этом думаешь».

Она мечтала оставить этот мир и войти в следующий в той роскоши, какой не видала при жизни, иногда она даже сердилась на медленность, с которой копились деньги, ибо ей не терпелось лечь в великолепие белого атласа и полированного дерева, в гроб с серебряными ручками и такой тяжелый, что поднять его сможет разве что дюжина мужчин. Ма Б надеялась, что похоронных дел мастер так украсит ее лицо, что живущие на несколько миль в окрестности будут ахать и охать, проходя мимо гроба. Поэтому-то она и испугалась, когда мальчишка заговорил о деньгах, ибо она скорее бы умерла, чем рассталась с ними.

Ма Белл хранила эти деньги в длинной скрученной тряпке, которой обвязывалась вокруг пояса. Кроме того, в этой тряпке была тонкая бумажка, на которой корявым почерком давались подробнейшие указания по устройству похорон. Как все старые женщины, ма Белл нацепляла на себя такой набор старых обносков, веревок и тряпок, что никому не пришло бы в голову, что в ее одежде есть тайник.

Покончив с едой, мальчишка откинулся на спинку единственного крепкого стула. Ма Белл старалась прочесть на его лице, что он один из самых страшных преступников в стране, но не видела в нем ничего, что выделяло бы его из множества сверстников, разве что самоуверенность и такая жесткость во взгляде, что даже родная бабка

отводила глаза. От его властности ее колотил озноб. При тусклом мерцании лампы ее вдруг поразила мысль, что маленький мальчишка так вырос, что заполнил собой всю кухню, оставив ей, съежившейся, невесомой, жалкие щели пространства.

— Деньги,— повторил он.

Не ответив ни слова, ма Белл резко поднялась, протиснулась мимо него в комнату, где спала, и вернулась с жестянкой из-под какао, доверху набитой бумажками. Содержимое она высыпала на стол. Монеты покатились на пол, а бумажки оказались старыми конвертами и листками, в которые были завернуты мелкие суммы, предназначавшиеся для различных нужд.

— Возьми это все, милый. Три доллара я скопила для доктора, я ему должна. Два доллара, чтобы в субботу купить суповую кость у Дэниэла. Один доллар восемнадцать центов на церковь, о Боже, ты их не возьмешь, это Господни деньги. Эти пять долларов я только что получила за курицу от Джестины Доусон.

Медленно разворачивая деньги, она говорила с собой, ибо мальчишка молчал и тревожно смотрел, много ли наберется. Она уловила его тревогу и на мгновение почувствовала свою власть над ним. Он поднял из-под стола упавшие монеты, несмотря на ее протесты, забрал церковные деньги и подытожил:

— Двадцать восемь долларов два цента. М-да. По-твоему, далеко я на них уеду? И я ни к кому не могу пойти за деньгами, когда кругом вавилонское столпотворение. Короче, гони настоящие деньги!

— Джекко. Сколько я могу это терпеть? Родной ты или не родной, я так заору «караул!», что на десять миль вокруг все услышат.

— Ага. Я бы хотел, чтобы ты поорала разок за все разы, что ты заставляла орать меня. Ваше поколение только это и умеет. Лупить и наказывать.

— Джекко, ты далеко отошел от путей Господних. У меня сердце кровью обливается от того, чем ты стал. Но еще не поздно раскаяться и сдаться. Страшный суд для тебя должен начаться в доме Господа.

Мальчишка глумливо фыркнул:

— Ничего не переменилось, а? Те же старые бредни о Боге и страшном суде. Прямо беда со старичьем. Все старичье помешалось на суде и будущей жизни. А я с первого утра ученья понял, что в этой стране твой Бог — кривой Бог. Он глядит одним своим здоровым глазом только на тех, у кого все уже есть, и подваливает им сверху. Ему наплевать на всякую немощь и рвань, на старичье. Бог с неба смеется над такими, как ты: хе-хе-хе. Потому что ты, нищая и никому не нужная, вообразила, что можешь разговаривать с такими, как он, высокими и могучими. Хе-хе-хе.

— Джекко.

— Бог когда-нибудь помогал кому из твоих соседей?

— Множество раз.

— Да? Тогда лучше молись, чтобы он помог тебе вспомнить, куда ты девала деньги. Может, ты хочешь, чтоб я их сам поискал?

— Джекко. Нет. Не мучай свою старую бабку.

Не обращая на нее внимания, он начал медленно, методично обыскивать дом. Искать было, в сущности, негде, так как кроме кухни у ма Белл было всего две комнаты. Мальчишка заглянул в каждую кастрюлю, каждую вазу, на каждую полку, выбросил все из стола, скинул из-под крыши деревянные ящики, картонные коробки и обшарпанные чемоданы. Он стянул с кровати матрас, поднял все плохо прибитые половицы, которые помнил с детства, и вытряхнул на веранде банки из-под сыра, в которых росли полуживые цветы. Он вынул фотоснимки из рамок, взял Библию за переплет и потряс над полом и, к бесконечному стыду ма Белл, перерыл ее туго накрахмаленное и выглаженное исподнее. Он двигался ловко и безмолвно, перенося керосиновую лампу с места на место. Ма Белл ходила за ним как во сне. Ей в голову не приходило улизнуть, закричать соседям или просить пощады. Внезапно она ощутила себя очень старой, в ушах ее застучали тяжелые удары пульса, и все на свете услышалось и увиделось точно издалека. Она чувствовала, что нить вокруг сердца сжимается и сжимается, ей не хватало воздуха. Ма Белл следовала за внуком по пути разрушения, как будто он уже лишил ее разумения, речи, воли, телесной силы.

Когда мальчишка закончил обыск, они вновь оказались на кухне, словно у ночи была своя логика, которая неумолимо замкнула круг.

— О'кей, ма Б. Даю тебе шанс. Я не спешу убивать таких, как ты. Я даже не хочу

делать тебе больно. Но сейчас трудные времена, и если ты не отдашь мне деньги, я чикаться с тобой не буду. Я их найду и возьму.

— У меня нет денег, сынок,— слабым голосом выговорила ма Белл.

— Вздор. Не прикидывайся. Я знаю старух. Твои деньги спрятаны на тебе.

— У меня нет денег, Джекко. Не позорь меня.

— Ма Б, в последний раз: давай деньги. Ты скоро помрешь, и деньги останутся, сама знаешь. Зачем тебе деньги? Отдай их сейчас. У меня вся жизнь впереди. Ладно, давай!

Ма Б ничего не ответила и закрыла глаза.

«Господи, молю тебя, Господи, не допусти, чтобы то, что он говорит о тебе, было правдой. Что ты — кривой Бог. Я же знаю, это не так. Покажи ему свою силу. Что бы он ни говорил, не позволь ему взять мои похоронные деньги. В них все мое будущее. О Господи, избави меня от пут».

Она открыла глаза и без удивления увидела, что мальчишка навел на нее револьвер.

— Не дури. Если ты застрелишь меня, Джекко, живым отсюда ты не уйдешь. Твой выстрел услышат все.

— Это моя забота. Я уверен, что даже Бог не услышит тебя. Это страна кривого Бога. И он не видит ни тебя, ни меня. Ма Б, я даю тебе еще один шанс. Отдай деньги. Я не собираюсь с тобой драться. Я знаю, они у тебя, и если я не получу их от живой, я возьму их у мертвой.

«Господи, я знаю, по-твоему, это суета. Но я никак не хочу уйти в следующий мир такой же нищей и голой, какой пришла в этот мир. Боже, молю тебя, что бы ни случилось, не дай ему найти мои похоронные деньги. Боже, он же — родная кровь. Ведь он не убьет меня, Боже, а?»

Ма Белл молилась и молилась, мальчишка аккуратно прицелился.

Аскот

— Этот Аскот пойдет далеко,— говорила мама,— помяните мое слово.

— Угу. Так далеко, что кончит в тюрьме,— говорил папа. Стоило в эти дни помянуть Аскота при папе, как у папы на лбу вздувалась жила и было видно, что он готов лопнуть от злости.

— Да господи, Джекки, с мальчиком будет полный порядок, не надо о нем так,— говорила мама.

— Мальчишка — настоящий преступник. И не морочь мне голову. Сама гляди, к родной семье он относится как к прокаженным. Он своих презирает. Ты хочешь, чтобы так относились к тебе твои дети? То-то и оно, женщина! Ты всегда была большущая дура.— С этими словами папа нахлобучивал шляпу и уходил.

Так вот. По-моему, папа не может прийти в себя с того дня, когда приезжал Аскот. Этот Аскот — высокий рыжий парень родом отсюда. Маме и всем остальным женщинам Аскот нравился: он вроде побочный сын мисс Клемми, потому что у него светлая кожа и прямой нос, и хотя волосы не такие хорошие, они и не такие плохие. Никто не знает, кто отец Аскота, но только не дагомеец, с которым мисс Клемми живет все годы,— стоит взглянуть, каков из себя дагомеец!

В общем, этот Аскот длинный как фитиль, и лицом ничего, только рот до ушей, так что, когда он улыбается, видны десны, но все женщины тают, когда он улыбается, и говорят, что он пойдет далеко.

Зато мужчины знают, что Аскот — бездельник и еще что у него самая большая нога, какую кто видел. Особенно папа.

Как-то у папы стали пропадать из кладовки разные вещи. Ну, когда папа не видит, мы, дети, малость приворовываем, возьмем пару спелых бананов или еще какую-нибудь чепуху, ничего особенного. Папа всегда замечал пропажу и обвинял нас, а мы врали, только никто не умел врать по-настоящему, потому что мама выбила из нас все вранье, и папа сразу же находил виновника, и никто к этому не относился всерьез. Папа всегда говорил, что для своих детей ничего не жалеет, но тут дело в принципе, и он не желает подрыва собственного авторитета и все такое.

Ну, в общем, однажды из кладовки стала исчезать масса нужных вещей — но-

венькое мачете, несколько здоровенных клубней ямса, джутовый мешок и, наконец, огромная гроздь бананов, которую папа повесил созревать к церковному празднику урожая. Так вот, сэр, мы, дети, бегали в кладовку и все глазели на эту гроздь бананов, но никто не осмеливался дотронуться до нее пальцем, потому что это была самая прекрасная вещь, которую мы видели в жизни.

Значит, утром в субботу, перед праздником урожая, в доме поднялся страшный тамтарарам. Папа зашел в кладовку и увидел на месте огромной грозди бананов самую что ни на есть пустоту. Боже! Слышали бы вы, какой шум он поднял. Потом он утихомирился и долго стоял и глядел в землю, грустный, и мы решили, он грустный потому, что это была лучшая гроздь бананов, какая у него когда-либо вырастала. Но в конце концов он сказал:

— Ясно. Это сделал Аскот. Это ясно как день. У одного Аскота ножища такого размера.— И правда, мы все посмотрели на след от ноги на земле и поняли: это Аскот.

Папа предупредил, чтобы мы молчали, закрыл дверь кладовки и послал за Аскотом, а нам велел сидеть на веранде, словно бы ничего не случилось. И вот Аскот приходит и улыбается, как обычно, и ждет, что его накормят, а папа ему говорит:

— Пойдем, Аскот, мой мальчик, чего ждать праздника урожая, мы можем нямням бананы сегодня.

Стоило папе сказать про бананы, как Аскот уже не улыбается от уха до уха и переспрашивает, точно оглох:

— Что, масс Джекки? — И мы все начинаем хихикать, потому что он заикается, как ненормальный, и папа говорит:

— Да, мальчик, закатим праздник сегодня.— И мы все направляемся к кладовке, и папа распахивает дверь, и первое, что все видят, это пустой, как ночь, крюк, на котором висели бананы.

— О боже, куда подевались бананы, я их берег для праздника урожая? — восклицает папа.— Аскот, смотри, мои бананы пропали!

— Что, масс Джекки? — повторяет Аскот, но видно, что он растерялся.— Сами собой не пропали, это злой дух приходил и унес.

Папа постоял чуть-чуть, точно обдумывал что-то, и заключил:

— Аскот, мой мальчик, давай поиграем в полицию и поищем следы.

Тут папа смотрит на землю и делает вид, что впервые видит след от ноги, и говорит:

— Погляди сюда, Аскот, мой мальчик.— А Аскот уже краснеет и бледнеет, точно ему наступили на хвост. Папа говорит:— Но погоди, Аскот. Поставь-ка сюда свою ногу.

И тут Аскот вопит:

— Го-о-осподи, масс Джекки, это не я, сэр!

— Не ты? — говорит папа. — Тогда поставь сюда свою ногу, ты, мерзкий ворюга,— и хочет схватить Аскота. Но Аскот тотчас отскакивает и улетает, как молния. И папа божится, что с этого дня он не желает знать Аскота и умывает руки.

Аскот довольно долго держался подальше от нашего дома и при появлении папы нырял в кусты, потому что папа расхаживал по соседям и грозил, что застрелит Аскота за бананы, хотя, если подумать, ясно, что папа забавлялся, рассказывая всем, как напугал Аскота. И что сами бананы, в конце концов, не так уж его волнуют. Что до Аскота, стыда он не знал и мало-помалу стал опять околачиваться возле нашей кухни, когда папы не было дома, и мама его кормила, и Аскот стал появляться у нас почти так же часто, как и до этого.

Тут в одно воскресенье из Мей-Пена приезжает мой старший брат Кенни, и когда папа не видит, Аскот подходит к нему и просится на работу в садовники. И поскольку Кенни не знал про бананы — наверное, он был единственный, кому папа забыл рассказать,— Кенни говорит ему: ладно. И хоть папа предупреждает Кенни, что он наживет себе неприятности, мама говорит, что в душе Аскот — хороший, порядочный парень и ему нужно дать возможность, так что перед самым отъездом Кенни появляется Аскот с узелком — и что бы вы думали? — садится рядом с Кенни в машину.

— Сколько б ты ни горбил и сколько б денег ни заработал, ботинок тебе не купить, таких здоровенных не шьют,— вот что сказал папа Аскоту на прощанье.

Как папа предсказывал, Аскот недолго пробыл у Кенни, да, сэр. Не успел Аскот уехать, мы получаем письмо от Кенни, что он отсылает Аскота домой, потому что Аскот не желает ничего делать в саду, и целыми днями норовит усесться за руль, и

гудит, и делает вид, что ведет машину. Письмо пришло, скажем, сегодня, а назавтра мы получаем второе письмо: «Аскот забрал свои вещички и кое-что из чужих, и, может быть, он на пути домой, и скатертью дорога». Но домой Аскот совсем не приехал, и мисс Клемми сходит с ума и боится, что он в беде, но вот ей передают, что Аскот в Кингстоне и учится на шофера.

Значит, проходит около года, и вдруг объявляется Аскот собственной персоной. На нем рубашка с галстуком и брюки, коротковатые, но это даже лучше, потому что виднее ботинки. У Аскота ботинки! Шикарные ботинки, самая большая пара в мире. Такая большая, что люди сбегаются за много миль посмотреть, потому что аскотова нога в ботинке — восьмое чудо света. Аскот рассказывает, что водит машину в Кингстоне, но мало кто ему верит. Но заметьте, сэр, еще когда Аскот был маленький, он говорил мне, что мечта его жизни — носить белый костюм и водить большую белую машину.

Итак, Аскот остается на какое-то время здесь и ничего не делает, даже не слишком расточает улыбки, прямо скажем, Аскот притих. А в один прекрасный день он объявляет, что у него паспорт и он едет работать на ферме в Штаты, и наутро он уезжает снова в своих шикарных коричневых ботинках.

На этот раз Аскот вроде бы совсем помер, потому что никто о нем ничего не слышал, пока правительство не прислало к мисс Клемми человека выяснить, что знает она, ибо он сразу сбежал с фермы во Флориде и исчез. Бедная мисс Клемми так перепугалась, что все время плакала, потому что человек сказал, что Аскот нарушил закон и его посадят в тюрьму. И по-прежнему от Аскота ни слова, и все считают, что он умер или в тюрьме, кроме папы, папа говорит, что у кошки, которая воплощение дьявола, девять жизней, и Аскот точно такой. Проходит года три, и мисс Клемми получает письмо из Соединенных Штатов. Она просит меня прочесть, и в нем говорится:

«Дорогая ма я здесь Нью-Йорк большой город и тут много машин у меня будет машина Твой любящий сын Аскот».

И вложен один доллар, и никакого обратного адреса. Проходит еще года два, и мисс Клемми получает второе письмо из США и просит меня прочесть. Оно от Аскота, он пишет:

«Дорогая мама вот я здесь в Коннектикуте. Коннектикут большой штат. Я два года вожу машину но она не белая твой любящий сын Аскот».

И вложено два доллара. Потом еще через год она получает третье письмо, в нем говорится:

«Дорогая мамочка Чикаго большой город Я вожу белую машину для белого человека но он дает мне только черную форму поэтому я могу уехать Твой любящий сын Аскот».

И вложено уже три доллара.

— Хе-хе,— говорит папа мисс Клемми,— к пятидесятому письму ты разбогатеешь.

Но мисс Клемми не смешно, она говорит, что уверена, Аскот живет дурной жизнью. И это было последнее письмо от Аскота.

Проходит столько времени, что все мы почти забыли про Аскота. Как-то папа подзаработал на бананах, и я поехала в город и привезла хорошего мяса, а папа нарыл свежего ямса, и назавтра мы готовим обед, как у белых. Папа сидит на веранде, умирает от ароматов и погоняет нас с мамой. Вдруг как из-под земли у ворот появляется большая белая машина и заворачивает к нам во двор.

— Эге, кто бы это мог быть? — говорит папа, и мы все спешим на веранду. И мы видим, как передняя дверь открывается и оттуда высовываются две здоровенные ноги.

— Боже милостивый, это же Аскот,— говорит мама,— такие ноги только у Аскота.

— Какой Аскот? — говорит папа.— Где Аскот возьмет машину?

О, чудо! Аскот! Аскот в белом с головы до ног, и хотя он куда толще, скалит зубы он как всегда. И из машины еще вылезает женщина, иностранка, сразу видно по платью и цвету волос, хотя потом я божилась, что это парик.

М-да, Аскот бегом подбегает к моей маме, обнимает ее, и целует, и ревет:

— Тетя Эсси, тетя Эсси...

— С каких это пор мисс Эсси стала тебе «тетей Эсси»? — говорит папа, но Аскот вопит «дядя Джекки», и бросается на него, и обнимает, а папа делается багровый от ярости. «Сестра Лили» — это уже я, и я не успела опомниться, как он обнимает меня.

Папа стоит, разинув рот, точно увидел привидение, но Аскот так увлечен, что ничего не замечает.

— А это моя жена Антия,— говорит он, и леди говорит нам «хелло» густым американским голосом.

— Значит, это и вправду ты, Аскот,— говорит мама и вот-вот расплачется.

— Да, тетя Эсси, я так рад тебя видеть,— говорит Аскот, у него тоже американский голос, такой густой, что можно резать ножом.

— Сестра Лили,— говорит он и берет меня за руку,— можно тебя на минутку? — И он утаскивает меня в гостиную.— Сестра Лили, ты всегда была мне другом, верно?— И я говорю «верно».— О'кей, сделай вид, что ты мне правда сестра, а этой мой дом, порядок? — Я понятия не имею, что собирается изображать Аскот, но мне лестно, и я отвечаю «о'кей», и зову маму, и говорю ей. Конечно, она тоже ничего не понимает, и я, чтобы не сглазить, цепляю средний палец за указательный.

Когда я возвращаюсь на веранду, Аскот ведет себя как человек из сплошной энергии, совсем не тот Аскот, который уезжал отсюда. Он все время расхаживает, и говорит, и размахивает руками. Неожиданно он обращается к своей жене:

— Пойдем, я покажу тебе дом, в котором родился.— И тотчас он ведет ее по всему дому, как будто он его собственный. Мама стоит, разинув рот, а папа, наоборот, стиснул зубы, и жила на его лбу ужасно бьется. Потом Аскот выводит жену во двор, и машет рукой, и рассказывает:— А это все моя собственность, а это моя кокосовая пальма,— ты когда-нибудь видела кокосовые пальмы с кокосами? — а в этой бочке меня мыли в детстве, а это наш бак для воды, я помогал его ставить.

Представляете, какой цирк! Ну, все это достаточно скверно, но не успеваем мы моргнуть, как он подходит к папиному шоколадному дереву и говорит:

— А это шоколадное дерево, из которого тебе делают шоколадки, и наверняка ты никогда такого не видела.— И он хватает папино мачете, срубает стручок, надрезает и собирается вылущивать бобы.

Папа хочет подняться, но мама говорит «Джекки», и он опускается назад на стул, побежденный. Тут Аскот с женой возвращаются на веранду и усаживаются, и Аскот задирает ногу на перила. Он снова болтает, но папа не раскрывает рта, поэтому разговор поддерживаем мы с мамой. Аскот говорит, что водит собственную большую белую машину и работает в гараже, но он там уже из боссов, и он страшно рад, что привез жену и показал ей родной дом, в котором провел счастливое детство. Еще он говорит, что они остановились в гостинице в Кингстоне и должны вечером туда вернуться, а машину, на которой приехали, он взял напрокат. Это была одна новость, а другую мы услышали, когда я решилась и спросила жену, чем она занимается, и она объявила, что она вообще учительница, но сейчас заканчивает магистерскую диссертацию. Магистерскую? У Аскота жена магистр, а сам он трех классов не кончил. О Господи. Мы онемели.

Аскот все болтает и болтает, а мы делаемся все голоднее и голоднее, а еда пахнет все лучше и лучше, и совсем непохоже, что они собираются уезжать, поэтому мама говорит своим самым вежливым голосом:

— Не хотите ли покушать с нами? — И я понимаю, что она хочет показать жене Аскота, которая магистр, что у нас в доме хорошая еда.

— Да, спасибо, тетя Эсси, давненько я не пробовал твоей готовки,— говорит Аскот и кладет ногу на ногу. Папа посылает маме убийственный взгляд, но, слава богу, они его не замечают. Мама тоже ничего не замечает, так она рада угостить хоть какого-нибудь магистра, потому что самый образованный человек, какого она видела,— это правительственный лектор, и тот не в счет, потому что знает одно сельское хозяйство. Итак, мы выставляем на стол все, что сготовили, мама достает лучшие тарелки и посылает к мисс Мельде за стаканчиками, которые она только что получила от невестки из Штатов, и все садятся за еду — все, кроме папы, который говорит, что не голоден и не хочет есть, и мы понимаем, что, когда он так сердится, с ним лучше не спорить.

Вот сэр. Я не могу описать, как жрал Аскот, во всяком случае, когда он кончил, на столе было хоть шаром покати. Когда они поели, мама говорит:

— Слушай Аскот я думаю, тебе хочется повидать Клемми,— и Аскот отвечает:

— Клемми — ах да.— Словно он только что вспомнил о ней, и он вскакивает и говорит: — Сейчас вернусь,— и отправляется в машине к мисс Клемми. Честное слово, я в жизни не видывала такого пижонства, потому что мисс Клемли живет за углом, и

когда что понадобится, мы высовываемся из кухонного окна и кричим ей. Но Аскот укатил на машине и пропадал много времени, наверное, чтобы его жена решила, что мисс Клемми живет далеко.

Аскот появляется этак через полчаса, и в машине его мисс Клемми, и дагомеец, и все их детишки в лучших одеждах.

— Это Клемми и дагомеец,— говорит Аскот жене, и дагомеец приподнимает шляпу, а мисс Клемми, ей-богу, не вру, делает книксен.

— О, так вы живете поблизости,— говорит жена мисс Клемми.

— Да, мэм, сразу за углом.

— И это все ваши детки?

— Да, мэм, Аскот мой старший, но от другого отца.

Жена смотрит на Аскота так, словно хочет убить, ясно, ей в голову не приходило, что это его мать.

— Но я почти вырос у тети Эсси,— быстро говорит Аскот, но все равно видно, как он покраснел.

— Клемми!— Моя мама зовет ее в дом.— Послушай, Клемми,— говорит она,— это твоя невестка, почему ты зовешь ее «мэм»? Что она ни скажет, ты ей «да, мэм, нет, мэм». Перестань сейчас же. Ты меня слышишь?

— Да, мэм,— отвечает мисс Клемми, и пока я в гостиной убираю со стола, я слышу, как мисс Клемми на все, что скажет ее невестка, отвечает: «да, мэм, нет, мэм».

Мисс Клемми разговаривает с Аскотом как с незнакомым человеком, а дагомеец сидит на скамейке возле веранды, точно боится приблизиться к леди. Детишки начинают играть у машины, и когда они дергают за ручку двери, Аскот покрикивает на них, так что мама не выдерживает и говорит:

— Ай, Аскот, как ты обращаешься со своими младшими братьями?

— Полубратьями,— поправляет Аскот.

Ну, дела чем дальше, тем хуже. Аскот явно ужасно злится на Клемми, а жена и дагомеец явно ужасно злятся на Аскота. В конце концов Аскот говорит:

— Давайте я отвезу вас всех домой, потому что мне сегодня возвращаться в Кингстон.

Дагомеец с каменным лицом говорит, что предпочитает пройтись, и мисс Клемми с детьми садится в машину без него, и хотя она вот-вот расплачется, все равно видно, как она гордится, что сын везет ее на машине. Они выезжают со двора, и слышно только, как Аскот кричит, чтобы они не лезли грязными ногами на сиденье.

Когда Аскот приезжает назад, он опять улыбается от уха до уха, но чувствуется, что всем неловко и все ждут, чтоб он поскорей уехал. Так что он наконец вскакивает и начинает всех целовать на прощанье, только, когда он протягивает руку папе, папа руки ему не подает, хотя жмет руку жене и учтиво с ней разговаривает, а потом говорит нам, какая она милая, воспитанная женщина и какой позор, что она спуталась с таким преступником, как Аскот. Еле-еле мы дождались, чтобы Аскот с женой отъехали, причем он все время громко гудит в гудок и машет рукой.

Одна мама машет ему в ответ, машина уже скрылась из виду, а она все машет и улыбается.

— Ну и Аскот,— вздыхает она,— только подумать. И жена магистр. Вы же знаете, я всегда говорила, что он пойдет далеко.

— Только пусть от нас он будет подальше! — кричит папа и уходит.

Назавтра весь наш район знает, что у мисс Клемми невестка — магистр и что Аскот процветает, берет напрокат большие машины и останавливается в гостинице в Кингстоне. Кроме меня, мисс Клемми никому не сказала, что у них в тот день в доме нечего было есть, а Аскот не дал ей даже фартинга. Я ужасно рассердилась, особенно потому, что он сожрал всю папину еду. Ну, я и стала ей тут же втолковывать, какой никудышный тип этот Аскот. Только потом я сообразила, что мисс Клемми не слышала ничего из того, что я ей объяснила.

— Ну и Аскот. Ты же знаешь, я так и знала, что он пойдет далеко,— говорит она почти что себе самой, и глаза ее блестят, как плоды акки.

■

ДУШАН МИТАНА

Конец игры

РОМАН

Перевод со словацкого Н. ШУЛЬГИНОЙ

9

Наконец Славик смог принять душ. Пусть с некоторым опозданием, но душ никогда еще не приносил ему такого чувства облегчения и бодрости. Он с наслаждением хлестал себя струями воды, смывая с усталого тела липкий, едкий, вонючий пот, и какое-то время даже льстил себя надеждой, что душ — словно ритуальная купель — очистит его от всего, что произошло со вчерашнего утра, с той минуты, когда он стоял в ванной и, будто страстный, нетерпеливый любовник, что в отсутствие любимой утешается хотя бы видом ее вещей, со сладкой дрожью в паху разглядывал в открытом зеркальном шкафчике всевозможные флакончики, тюбики и баночки, принадлежавшие той, которая уже никогда не вернется.

На стиральной машине рядом с гоголевскими «Мертвыми душами» все еще лежала вчерашняя газета, точно так, как он ее положил туда, когда прочел «ПОЧЕМУ СМЕРТЬ ОЩЕРИЛА ЗУБЫ».

П о ч е м у?

Нет, сейчас он был не в состоянии снова заниматься поиском ответа на этот тягостный вопрос. «Информативный разговор» с капитаном лишил его последних сил. Спать, хоть на часок вздремнуть — вот что мне надо! Я уже выложился до предела, жребий брошен, машина заработала, они уже наверняка проверяют мои показания, мать, водитель, Лапшанская, Плахий, пусть проверяют, я не лгал, в самом деле я вышел на Шафариковой площади и пошел к матери, они, бесспорно, это установят, а почему бы нет, достаточно, если им скажут правду, ничего, кроме правды, опасность ему не грозит, подозрения капитана пока еще ничем не подкрепляются...

Он выключил телефон.

...Но почему он был так резок со мной, премного благодарен за такой информативный разговор, ведь это похоже на самый настоящий допрос, словно я не потерпевший, а подозреваемый номер один, по-видимому, я не симпатичен ему, или, может, это и впрямь обычная рутина? Пожалуй, особых причин для волнения пока нет...

Он опустил штору. Остановите земной шар, я хочу сойти[1] — где он это прочел?

...но почему они забрали с собой все, что было на мне, надеются обнаружить какие-то следы? Какие? Верно, те или иные доказательства, что я все-таки был здесь ночью. Напрасные старания, мать

О к о н ч а н и е. Начало см. в № 5.

[1] Цитата из книги «Надписи на стене» чешского поэта и публициста Мирослава Голуба (1923).

продумала все до конца, недаром глотает детективы, в ней проснулась настоящая Агата Кристи...

Он заложил уши ватой. Не хочу ничего слышать, на черта мне сдалась твоя мымра, злобствовала Гелена, когда однажды встретила его с Яной в кафе.

...несколько раз ему пришлось подробно изложить матери «ход событий», и когда мать уверилась, что он не оставил там никаких «следов», то обстоятельно осмотрела всю его одежду, она была просто одержима поиском «следов», особенно на сандалиях — не наступил ли он ненароком на кровь? На всякий случай она отдраила подошвы мокрой щеткой, жалко, что тебе здесь не во что переодеться, хотя, впрочем, даже лучше, незачем переодеваться, это могло бы показаться подозрительным...

Он завязал глаза черным галстуком. Если не бросишь пить, забудь ко мне дорогу, видеть тебя не хочу, шипела Яна, выдворяя его за дверь родительской квартиры.

...или еще с этим платком, как мать возмущенно накинулась на него, когда он хотел выбросить его в контейнер, переполненный мусором, а что, если бы его там нашли? Смешно, но она ловко вышла из положения, живо давай платок в ванну, нет, в самом деле, ему нечего тревожиться, пока все идет вполне нормально...

Он лежал в своем кабинете, телефон выключен, шторы опущены, в ушах вата, глаза завязаны черным галстуком, он лежал, а жизнь за окнами шла своим чередом. Машины, автобусы, трамваи, грохот компрессора, голоса, шаги, люди. Нет, сойти с земного шара не удалось.

...хуже будет, когда обнаружат, что Гелена сделала аборт, правда, он об этом не знал, да и откуда мог знать, если с ней вообще не виделся, доктор Карский наверняка подтвердит его слова, разве это не правда? Да, о ребенке он должен был сказать, хотя, возможно, об этом следовало упомянуть несколько раньше, но в общем-то это ничего не меняет, не мог же он убить женщину, от которой ждет ребенка...

А тут еще — не успел он лечь — стали подавать голос, словно живые твари, и домашние вещи, обычно ненавязчивые и молчаливые. Из кухни доносился рык холодильника — он ворчал, как свирепый пес.

...в самом деле, не стоит волноваться, кроме тех выпивох, что толклись перед «Словацким погребком», он не встретил ни души, пусть ищут того парня, который был с Геленой, может, его найдут по отпечаткам на рюмках, из которых они вместе тянули, интересно, кто ее навещал, его безусловно найдут, ну а потом что? Этот бедняга один схлопочет за всех, кто спал с Геленой, суровая кара за миг наслаждения...

Будильник тоже решил высказаться — его металлическое тиканье раздавалось в комнате, как если бы автомеханик из соседней квартиры выпрямлял молотком смятый кузов.

...кто знает, как все повернется, сейчас главное — выспаться, меня ждет работа; черт подери, сегодня, как назло, мы кончаем, последний день в студии, а потом что? Какие-то еще натурные съемки, но они, кажется, через неделю, что же я буду делать все это время — без работы, наедине с собой!

В ванной медленно, равномерно, монотонно капала вода, болезненно ударяя его по черепу, капи, капи, кап-кап-кап, мы же с вами мужички, вот какая се ля ви. Нам уже ничего не остается, как дать оттяпать своего петушка, рассеялась как дым его слава, и никто его больше не любит... ДОВОЛЬНО! Нельзя сойти с земного шара!

Он сорвал с глаз галстук, вскочил с постели и поднял штору.

Полуденное солнце заливало пульсирующий город ярким сиянием.

Ослепляющий взблеск резанул по глазам, словно бритва. Бюнюэль [1], «Андалузский пес», фильмотека, куда они зашли с Яной. Но это было всего лишь отражение солнечных лучей от стекла противоположного дома; какая-то женщина в бигуди как раз вытряхивала в окно простыню. Селекция, спаривание. Отцовские зайцы. Самочка с семью детенышами. Янин бюстгальтер фирмы ОЛИНКА. «Кружевной бюстгальтер с застежкой спереди, чашечки, укрепленные косточками, спинка из эластика. Рекомендуется для девушек и молодых стройных женщин. Размер — I». Гелена носила МАРЦЕЛУ. «Бюстгальтер Марцела изготовлен из полиамидного кружева, чашечки с прокладкой на поролоне, спинка из эластика, бретельки с передвижными застежками. Рекомендуется для стройных полноватых женщин, размер — 3».

Почему мы не спали в одной кровати?

Почему мы спали порознь? (И одна ли она спала?)

В этой их трехкомнатной квартире у него была своя комната, у Гелены — своя, и только гостиная — общая. Именно для гостей. Самым частым гостем был этот болван. Спали порознь, но любить друг друга — любили. Не регулярно, не очень часто, но тем горячее. Где угодно, но все больше на этом сочно-зеленом ковре в гостиной и в самое неурочное время, не придерживаясь точного графика. Мысль об общей спальне ужасала Гелену. Ты можешь себе представить, чтобы мы каждый вечер, в одно и то же время, ложились в общую кровать, выполняли супружеские обязанности, к которым нас призывает брачный союз, а потом, повернувшись друг к другу спинами, начинали задавать храпака? Брр! Ужас! Уже при одной мысли о скуке и однообразии Гелена, с ее беспокойной, авантюрной натурой, покрывалась гусиной кожей. Стереотип, смертельный враг каждого супружества — она боялась его, как кошмара. И даже эта вечная смена масок относилась, по всей вероятности, к профилактическим мерам. Она постоянно меняла прическу, цвет волос. Уходила к парикмахерше платиновой блондинкой, с прямыми длинными волосами, а возвращалась овцой с черным кучерявым руном. Она с радостью что ни утро меняла бы даже кожу, но, к сожалению, приходилось довольствоваться лишь очередным платьем. Нет, не нравилось ей быть в собственной шкуре, хотя по виду она казалась абсолютно довольной собой, уверенной, независимой, с каждым находила общий язык, так же как и Яна, обладала умением быстро вступать с людьми в близкие, доверительные отношения; это был великий дар при ее профессии журналистки. Да и вообще она была одаренной натурой: кроме природного ума ей не занимать было ни фантазии (ее, пожалуй, было даже с избытком), ни таланта; она умела писать — при желании блестяще стилизовала текст; хорошо рисовала, писала маслом, окончила, как и Яна, Училище прикладного искусства, но если Яна целеустремленно продолжала заниматься своим делом в Институте изобразительных искусств, Гелена нуждалась в перемене: Я дезертировала! Она пошла изучать журналистику, поскольку это было нечто новое, другое, совершенно не связанное с предыдущим. Ей все давалось слишком легко; и наконец, ее дядька Гуго Барла, «золотые руки», с его положением и счетом в банке располагал возможностями создать ей такие условия, о которых большинство ее сверстников (может, куда более талантливых) не могло даже мечтать. К примеру, он, Петер Славик, не так ли? Пожалуй, в этом была причина ее поверхностности: она уповала на свою «всестороннюю одаренность», но ей недоставало упорства, умения сосредоточиться, слишком уж она разбрасывалась, любое дело, требующее пота, надсады, было ей не по нутру. Ее увлекало все, покуда это была только игра.

---

[1] Луис Бюнюэль (1900—1983) — испанский кинорежиссер, сюрреалист, создавший целый ряд известных фильмов, в частности фильм «Андалузский пес» (1928) — в соавторстве с испанским живописцем Сальвадором Дали (1904).

Разумеется, Янино отношение к жизни Славику больше импонировало — он почти целиком принимал его, ему тоже приходилось трудно и упорно работать, чтобы достичь желаемой цели; и все-таки, когда наступила решающая минута выбора, он без колебаний предпочел легкомысленную Гелену глубокомысленной Яне. Яна была уж слишком близка, слишком похожа, слишком напоминала ему самого себя, он подсознательно защищался, противился этому отяжеляющему удвоению, испытывая потребность — напротив — расслабиться, освободиться, обрести легкость. Гелена привлекала его именно своей безответственностью, непостоянством, переменчивостью, то есть тем, чего недоставало Яне.

Если бы он не встретил Гелену, как спокойно могла бы сложиться его жизнь с Яной! И вовсе не скучно: Яна отнюдь не наводила на него скуки, где там, он не знал более милого существа; пока не познакомился с легковесной Геленой, с этой проклятой ведьмой, которая испытывала его терпение самыми разными ухищрениями и с холодной, продуманной, рафинированной расчетливостью держала в постоянном напряжении и неуверенности. ПОЧЕМУ?

Чтобы не потерять тебя, твердила мать. Делает это потому, что боится, как бы однажды ты не опомнился и не плюнул на нее, боится, что ты найдешь кого-нибудь помоложе, ух, хитрая бестия, знает, чем тебя взять, совсем тебя заарканила, просто с ума свела своими штучками. Сколько у нее до тебя было всяких! Но именно это тебе и нравилось, Янка была для тебя слишком чистой, потому ты и бросил ее, мужчины всегда предпочитают потаскух порядочным женщинам...

Но ведь все могло сложиться совсем по-другому. Да, возможно, она держала его в постоянном напряжении и неуверенности из чисто превентивных соображений. Делала это ради него же, во имя сохранения их союза, они ведь тоже не были застрахованы от губительной скуки и рутины; чтобы сохранить их отношения, ей приходилось постоянно разнообразить их, создавать атмосферу возбуждающей, предельной остроты. Поначалу она не хотела обзаводиться ребенком, поскольку тогда они еще не нуждались в подобной страховке, вполне довольствуясь друг другом, но со временем, почувствовав, что приближается кризис, что вступает в силу стереотип, она решила — во избежание этого — оставить ребенка, который помог бы скрепить их супружество и сохранить в целости возведенные стены семейного очага.

Но почему она избавилась от ребенка? Представь себе, если бы он в меня пошел, всплыли в памяти Геленины слова.

Тогда он посмеялся над этим. Она, которая любит себя, как никто другой, эта эгоистка... Но после того, что произошло минувшей ночью, он многое понял. В самом деле, Гелена могла себя ненавидеть, если поступила так подло, она знала себя гораздо лучше, чем он ее, одна мысль, что может появиться на свет такое чудовище, как она сама, должна была ужасать ее. Неужели в последнюю минуту она испугалась этого?

Так ли это было?

ВОЗМОЖНО.

Но не все ли теперь равно. Конец. Тишина. Почему вдруг такая тишина? Ах да, вата в ушах. К черту! И уши надо открыть. Уже нет смысла спать. Нужно побриться, причесаться, одеться. Нужно сопротивляться. Чему? Всему. Да, именно так.

Он включил телефон.

И снова вошел в мир. Весь, без остатка.

Первый звонок раздался полчаса спустя.

В эту минуту Славик стоял перед зеркалом и причесывал длинные светлые волосы, обрамлявшие его худое, костистое лицо с изви-

листым шрамом на левой щеке. Хотя с тех пор прошло уже восемь лет, вид залеченной рваной раны, зашитой семью стежками, вызывал в нем чувство стыдливой неловкости.

Нет, шрам не смущал его, он привык к нему, поскольку в нем не было ничего отталкивающего, скорей наоборот, он придавал его лицу жесткое выражение сильного, энергичного парня, отвлекая внимание от маловыразительного, безвольного подбородка, унаследованного от матери, нет, шрама он не стыдился, ощущение неловкости вызывало в нем воспоминание об обстоятельствах, при каких он получил его. Шрам напоминал Славику период его жизни, который он охотно вытравил бы из памяти навсегда, период, о котором, желая подчеркнуть его бессмысленность, пренебрежительно говорил как о шальных годах: когда я был еще резвым, необъезженным жеребцом, короче — молодым и глупым.

Согласно официальной версии, которую он усердно распространял, эту рану он схлопотал в дурацкой драке, в корчме: Какой-то пентюх вытащил вдруг кастет и смазал меня по подбородку. Эта небыль звучала гораздо благородней, чем правда; но правду знали только Яна и ее родители, а они, к счастью, не дали ей ходу. Действительность была куда прозаичней: однажды в половине второго ночи он, вдрызг пьяный, стал ломиться к Яне (тогда она жила с родителями); из опасения, что он перебудит всех соседей, она впустила его в квартиру, а когда он — после короткого, но резкого разговора с ее отцом, оскорбленный недружелюбным приемом,— покидал гостиную, бормоча, что ноги его здесь больше не будет (хочу надеяться, парировал его угрозы Янин отец), то вдруг позорно покачнулся и врезался в стеклянную филенку двери.

Нет, шрам не смущал его, сколько с той поры воды утекло — он уже давно стал совсем «другим человеком». В данную минуту гораздо большую досаду вызывали у него клочья светлых волос в хищных зубьях гребня. Облезаю, как старый пес, весьма благодарен за такую наследственность. Родители здорово надо мной подшутили — верхняя часть головы досталась от отца, нижняя — от матери. Не могли, что ли, договориться и сделать наоборот. Были бы у меня тогда мощные отцовские челюсти, его квадратный, упрямый подбородок и материнские густые, здоровые волосы. Тогда бы и шрам был без нужды.

Волосы, все равно что кожа, бывают жирные, сухие и нормальные, прослушал он Геленину профессиональную лекцию. Если волосы нормальные — никаких с ними забот. Достаточно их регулярно мыть и расчесывать щеткой. Это мой случай. У тебя дела хуже, камрад. У тебя волосы сухие — такие обычно секутся, ломаются, выпадают.

Если не хочешь, чтобы голова у тебя стала как детская попка, тебе надо время от времени делать масляные компрессы, рецепт достану, ежедневно хорошо массировать кожу и хотя бы раз в неделю мыть волосы шампунем. Возможно, тебе просто не хватает витамина «бе», но на всякий случай не мешало бы и показаться врачу. Облысение чаще всего бывает признаком какой-то скрытой болезни. И не рекомендуется сушить волосы феном, понятно? Но самое главное — регулярный и тщательный массаж щеткой!

К тридцатилетию она подарила ему средство для ухода за волосами САЛУПИН, березовую воду, несколько видов шампуня и четыре щетки. Пока он этими дарами не пользовался, ему хватало и одного гребня, но если и дальше так дело пойдет... кто знает, кто знает... думал он, обводя взглядом Геленины щетки, гребни, шампуни, фиксаторы, бигуди. Сколько времени она уделяла своим волосам! Так твою курочку, вот уж семейная жизнь была, ничего не скажешь! Он вдруг с удивлением осознал, что по большей части вос-

поминания о Гелене связаны с ванной, косметическими масками и массажами.

Какой, собственно, был естественный цвет твоих волос?

Неужто я уже никогда больше не увижу тебя за твоими торжественными обрядами перед зеркалом?

IGORA ROYAL, помнишь? Тогда мы еще жили в том длинном дворе, в одной комнате, общая кровать тогда еще не ужасала тебя (волшебство начал, как быстро оно минуло), без ванной, без комфорта, я еще учился на последнем курсе, корпел над дипломом, жили мы на твое жалованье, мою стипендию и мелкие гонорарчики, что изредка приходили за рецензирование фильмов и телепостановок, за те бескомпромиссные, разгромные, критические статьи, плоды юношеского запала, смесь подлинного желания «помочь делу», справедливого негодования, зависти и неудовлетворенных амбиций... нет, ты не могла позволить себе посещать косметические салоны, я был твоим придворным парикмахером. IGORA ROYAL, помнишь, как я красил твои волосы?

Ты сидела на стуле, повернутом спинкой вперед, в руке держала компотницу, наполненную бурой зловонной кашей, а я стоял над тобой, в правой руке — зубная щетка, в левой — расческа, макал зубную щетку в компотницу, расчесывал твои волосы и тщательно, с большим увлечением смазывал их от самых корней этой вонючей бурдой, пока они не обретали модный оттенок.

А какой успех ты сорвала — в элегантном платье, взятом у твоей подруги Веры Мразовой, так выгодно оттенявшем твои волосы, над которыми я немало потрудился,— на вернисаже выставки молодых художников, выпускников ИИИ [1], где впервые несколькими графическими работами была представлена и Яна Плáхая, урожденная Гавьярова. Ты действительно превзошла самое себя: обворожительно-прелестная, искрящаяся остроумием, ты убила всех наповал; словно люди пришли не на вернисаж, а на твое показательное выступление. Мартышка злобная. А эта статейка, что ты накропала о выставке, черт знает куда она запропастилась. Правда, ты упомянула и о Яне, стараясь все-таки быть «объективной». Написав обо всех поистине обнадеживающих, вызывающих удивление, талантливых, своеобычных индивидуальностях с оригинальной манерой и так далее, и тому подобное, кто все это упомнит, ты под завязку с великодушным снисхождением коснулась и Яны... было бы несправедливо не сказать несколько слов о Яне Гавьяровой-Плахой. По ее графическим опытам можно судить о чуткости молодой художницы... хотя и трудно избавиться от ощущения определенной судорожности... но вопреки приведенным оговоркам, можно надеяться, что со временем она порадует нас и безусловно ценными произведениями... так примерно ты завернула, змея подколодная. Черт знает куда эта статейка подевалась.

Звонок.

Ну, ясно, телефон; новость уже наверняка промчалась по городу, как огонь по сухой траве. Лучше б я его и не включал. Карусель завертелась. Жадные вопросы. Как на них отвечать? Какой делать вид? Что мне говорить? Где ты? И почему? Кто, когда, как, с кем?.. Наконец какая-то сенсация. Да, звонит непрестанно. Пойду. Ничего не попишешь.

Нет, не телефон. Дверной звонок. Кто-то собственной персоной пожаловал. Мать? С ней мы вроде бы обо всем договорились.

Ну хорошо, хорошо, уже иду. Кончай названивать!

В дверях стояла почтальонша.

Гонорар для Гелены: 280 чехословацких крон. Постоянно ей приходила какая-то мелочь. Редакторского жалованья (2200 брутто) по-

[1] Институт изобразительных искусств.

чему-то ей не хватало. Камрад, покажи мне человека, который сейчас живет только на зарплату. Каждый как-то подрабатывает. И она подрабатывала: под различными шифрами и псевдонимами наводняла своими интервью, статьями, заметками и репортажами из мастерских художников всевозможные газеты, журналы, еженедельники, месячники, как-никак каждая редакция предоставляла место культуре; плодоводы и садоводы, рыбаки и охотники, животноводы и просто владельцы домашних животных, кактусов или орхидей, любители красот Словакии, октябрята, пионеры, друзья-приятели, кто только не рад заглянуть в святая святых наших популярных певцов или актеров, порой даже иного художника, а в худшем случае — писателя. Гелена была неутомима как пчелка; он долго ломал голову — как ее на все хватает? Где она берет столько времени? Ему казалось, что если она не охорашивается в ванной, то рассиживает в каком-нибудь кафе — не иначе; он лишь потом понял: это не напрасная трата времени, напротив, она умеет приятное сочетать с полезным — опрокидывает рюмку-другую, но при этом как бы мимоходом, невзначай собирает материал для своих заметок.

Почтальонша уже явно была во все посвящена. Жадно, с лицом, горящим от любопытства, она вытягивала шею и норовила проникнуть в квартиру, на место действия. Однако он стоял в дверях, широко расставив ноги, словно своим телом хотел защитить — что? Что мне уже защищать? Всему конец, и все-таки не позволю, чтобы всякий копался в моем грязном белье, нет, такого удовольствия я им не доставлю.

— Деньги эти, собственно, вашей супруге,— раздумывая над почтовым переводом, говорит почтальонша.— По правилам надо бы вручить ей...

Корова безмозглая, хоть бы нашла предлог поумнее раз уж так приспичило все разнюхать. Сколько раз я получал Геленины деньги, а тут вдруг кочевряжится...

— Ее нет дома,— отрубил он.— Не беспокойтесь, я передам ей.

Почтальонша несколько растерялась:

— Ее нет дома? Но... я слышала...

— Мне некогда,— сказал он нетерпеливо и протянул руку к переводу.

— Так... значит... ваша жена... вы передадите ей? — бормотала она в замешательстве.— Я могу надеяться?

— Что с вами, пани Томковичова? Вы неважно выглядите. Вам моя помощь не требуется?

Явная ирония, с какой он с ней разговаривал, возмутила ее — и она опомнилась:

— Вы мне? Вы мне хотите помочь?..— Ее круглая физиономия с тройным подбородком вдруг побагровела.— Я вам не дам!!! — взвизгнула она.

— Боюсь, мы не понимаем друг друга. Вы хотите оставить у себя наши деньги?

Это ее совершенно сбило с толку. Автоматически, без единого слова она протянула ему деньги, затем, по обыкновению, подождала крону на чай, но, увидев, что Славик спокойно сунул деньги в карман и, судя по всему, не испытывает желания придерживаться заведенного порядка, совсем смешалась и проворчала:

— Подпишитесь.

Он расписался в получении Геленины денег.

Почтальонша вручила ему остальную корреспонденцию и с невнятным брюзжанием наконец исчезла.

Повестка с напоминанием из университетской библиотеки была адресована Гелене; да, обычная история, ей ни разу так и не удалось вернуть в срок взятые книжки.

Второе письмо было для него.

Он распечатал конверт.
Вот тебе на!

Уважаемый товарищ Славик!

В связи с предполагаемыми изменениями в организационной структуре словацкого кино мы считаем, что одной из предпосылок, обуславливающих успешное выполнение сложных задач, стоящих перед нашим кинематографом, кроме всего прочего, является и определенное обновление в области кадровой политики. Мы намереваемся в гораздо большей степени, чем до сего времени, привлекать к работе молодых талантливых режиссеров, которые обладают, по нашему мнению, всеми данными для того, чтобы своим творчеством способствовать повышению идейно-художественного уровня словацких фильмов. После обстоятельного анализа и оценки Вашей предшествующей работы мы решили предложить Вам сотрудничать с нами.

В случае, если наше предложение заинтересует Вас, просим позвонить по телефону 432-51, чтобы в личной беседе мы могли договориться о конкретной форме нашего сотрудничества.

МИРУ — МИР!

Иван Ячко,
главный редактор.

Выходит, Плахий не чесал языком. И вправду, что-то происходит. Конечно, нечего строить иллюзии, подобные письма получили, наверное, многие «молодые и талантливые» режиссеры, тут нет ничего официального и обязательного, но все равно — письмо многообещающее! Наконец сбылся его сон! Он будет делать современные фильмы! Он покажет им, что такое фильмы о современности! Реальные, подлинные, правдивые, никакой фальсификации! Наконец-то он сможет применить знания, приобретенные в пору, когда действительность он воспринимал преимущественно как материал для будущих фильмов.

Одержимый желанием запечатлеть жизнь в подходящий момент, in flagranti, он метался по городу, яростно щелкал фотоаппаратом, а в заднем кармане брюк всегда носил маленький блокнот, в который «записывал жизнь», подлинные события, впечатления, случаи, реплики, разговоры...

Мне уже стыдно появляться с тобой на людях, камрад, ты ведешь себя как самый настоящий маньяк. Если еще хоть раз вытащишь из-под задницы этот свой блокнот и начнешь строчить всякую белиберду под столом, в жизни с тобой не сяду рядом. Ты идиот, знаешь, что о тебе говорят? Ты или псих, или нормальный стукач. Я ничуть не удивлюсь, если однажды кто-нибудь зафингалит тебе в рожу.

Гелена тогда и не предполагала, как скоро сбудутся ее слова. Особенно крепко отделали его в «Кристалл-баре».

Раз — по чистой случайности — они с Геленой сидели за столом с двумя компанейскими ребятами, оказавшимися, как потом выяснилось, матерыми рецидивистами. Несколько бутылок шампанского развязали им языки — желая, по-видимому, произвести впечатление на Гелену, они наперебой похвалялись друг перед другом. Славик тогда впервые столь обстоятельно заглянул за кулисы благопристойного мира. Жизнь братиславского дна прокручивалась перед ним, как в гипнотически подлинном репортаже; это продолжалось до тех пор, пока ребятки не заметили, что под столом он скромно, стараясь не привлечь внимания, все записывает. Бог ты мой, вот это была потасовка! Гелене и той досталось! Но игра стоила свеч. И пусть он промотал уйму денег и лишился двух зубов, а все-таки улепетнул от этих парней с хорошей поживой; благополучное бегство спасло ему не только жизнь, но и драгоценный блокнотик. Правда, Гелена месяц с ним не разговаривала и, собственно, с тех пор и начала свои индивидуальные посещения увеселительных заведений, кабаков и всякого рода забегаловок, но что поделаешь, такова жизнь, за все надо расплачиваться, ничего не достается даром. Она стыдилась его, не понимала важности его поисков — и это она, считавшая себя журналисткой. Корова безмозглая.

Когда, наконец, ему удалось заняться режиссурой, он расстался с блокнотом. Треклятые инсценировки! Но ничего не попишешь, классика! Пришлось копаться в библиотеках, архивах, изучать историю; чтобы суметь аутентично изобразить прошлое. Естественно, на современность у него не хватало времени. И все-таки он не переставал верить, что придет его звездный час, что материал, который он собрал, не пропадет втуне. И вот этот час пробил! Наконец-то он достигнет того, о чем так долго мечтал, к чему стремился, что началось еще в пору детства, когда он, потрясенный, с открытым ртом и соплей под носом, пожирал глазами экран, сидя в первом ряду лесковецкого кино, небольшого обшарпанного помещения, в котором прежде была дедовская корчма. Зачарованно глядел он на движущиеся картинки и приобщался к чуду — он жил в Горном Лесковце и в то же время переживал невероятно увлекательные, драматические приключения незнакомых (но таких удивительно близких по духу) людей в чужедальних (но таких изведанных) странах и уголках света. Он водружал красное знамя над рейхстагом при падении Берлина, он закрывал собственным телом амбразуру, чтобы защитить от фашистского пулемета своих товарищей по оружию, он гнался за бендеровцами, брал под арест предателей, воров и убийц и всякое прочее отребье, он был шерифом с чертовски низко подвешенным кольтом, который вытягивал всего на долю секунды быстрее, чем его подлые недруги, был Юраем Яношиком[1], и сыном капитана Гранта, и семью смелыми, и тремя мушкетерами в одном лице, был тем, кто всегда и всюду, во все времена и во всех частях света боролся со злом и защищал, рискуя жизнью, правду и справедливость.

Да, теперь он получит возможность работать в кино.

С инсценировками покончено! Да, покончено!

Но кто знает, только ли с инсценировками?! Получи он это письмо вчера, он не помнил бы себя от радости. Но сегодня?

Вот, пожалуйста, и телефон. Раскрутились колеса.

Заведующая производственной группы растерянно бубнит что-то об «ужасном несчастье», которое так неожиданно постигло его, выражает сочувствие, сожаление, а уж потом переходит к существу дела: какие планы у него на сегодня? Она понимает, что в таком состоянии... конечно, у вас другие заботы, но ведь сегодня последний день, было б обидно, если бы все сорвалось... словом, нельзя ли закончить съемки, несмотря на...

Славик обрывает ее причитания:

— Разумеется, будем работать, товарищ Боровичкова, что нам остается делать,— говорит он, а сам думает: и прежде всего мне, я же должен что-то делать, а иначе и сворotить с ума недолго... хоть на миг избавлюсь от самого себя.

10

Славик поднял трубку — мужчина на другом конце провода не успел и представиться, как он уже знал, кто звонит; этот бодрый астматический голос нельзя было спутать.

— Пан режиссер? Доктор Бутор. Надеюсь, не помешал вам?..

Славика затрясло от ярости; кретин, у меня голова идет кругом, а он надеется, что не помешал мне. Славик только было собрался поставить доктора Бутора на место, как тот выпалил:

— Извините, что беспокою вас, но считаю своим долгом выразить вам глубочайшее соболезнование,— он говорил с искренним участием, и Славику не оставалось ничего другого, как мрачно поблагодарить его.

---

[1] Юрай Яношик (1688—1713)— словацкий народный герой, «благородный разбойник», защитник бедных и угнетенных.

— Спасибо, пан доктор,— пробурчал он и нетерпеливо посмотрел на часы: лишь бы Бутор не разболтался.

— Представляю, как это мучительно для вас. В самом деле, восхищаюсь вами... работать при таких обстоятельствах. Потрясающе... такая сила воли...

— Спасибо, пан доктор,— сказал Славик и после минутного печального молчания добавил, как человек, сломленный горем, но все же пытающийся мужественно и достойно справиться с трагической ситуацией:

— Знаете, как в нашем цеху водится... Срок есть срок, да и потом.. как раз сейчас... знаю, вы поймете меня... именно сейчас,— подчеркнул он,— я должен работать, иначе, пожалуй, рехнулся бы.

— Понимаю, пан режиссер, действительно могу себе представить, каково вам, для меня и то страшное потрясение...

Ну, хватит, хватит, подумал с неприязнью Славик, довольно обмениваться любезностями. Он было собрался пристойно, но решительно прервать разговор, но последовавшие слова Бутора вновь помешали ему это сделать.

— Да, клянусь честью, мне не могло и присниться, что однажды буду вскрывать вашу жену! И так неожиданно скоро!

В памяти Славика тотчас всплыл вчерашний разговор в «Смиховской» пивной: ...когда угодно, пан режиссер, когда бы вам или вашей очаровательной супруге ни понадобились мои услуги, я в вашем распоряжении... Так твою курочку, ведь этот малый работает в прозекторской; что ни говори, а чувства черного юмора ему явно не занимать.

— Так это вы производили вскрытие? — спросил он, с трудом изображая лишь вежливый, умеренный интерес. Что же, значит, докопались и до аборта. Ну-ну, однако я об этом ничего не знаю... не проговориться бы.

— Нет, нет, упаси боже, не я,— отозвался доктор Бутор мгновенно, словно хотел защититься от необоснованного упрека.— Я бы даже не смог, нет, нет, когда я узнал, что это ваша жена... Кроме того, такие случаи непосредственно не входят в мою компетенцию, но знаете, как оно бывает, слышишь и то, чего не хочешь...

Шут гороховый, определенно воображает себе, что он перед камерой; в конце концов, пошел он к черту, все равно ничего нового мне не скажет.

Однако Славик не сразу повесил трубку, а еще несколько секунд держал ее в руке. Он вдруг подумал, что если узнает о Геленином аборте не с глазу на глаз, а по телефону, то извлечет из этого определенную пользу, легче совладает с собой, сумеет предвосхитить момент и — что самое главное — выиграть время, которое позволит ему подготовиться к разговору с капитаном Штевуркой.

И пожалуй, Бутор это тоже осознает.

— Я, разумеется, не вправе вам сообщать результаты вскрытия,— говорит он нерешительно и замолкает, словно взвешивает, заслуживает ли Славик такого доверия и, вообще, сумеет ли он оценить риск, на который он, доктор, отваживается. Мурло, строит из себя бог весть что, подумал Славик, но тут же понял его тактику. Итак, баш на баш, исподтишка, но прямой наводкой метит прямо в цель: я же обещал ему в ближайшей постановке эпизодическую роль.— А ведь у нас с вами уже есть что вспомнить, не так ли? — засмеялся Бутор с фамильярностью коллеги.— И кстати,— наступила драматическая пауза,— мы не установили ничего, что было бы вам неизвестно, пан режиссер.

Ну погоди, я подложу тебе пилюлю, хватит тебе тут наворачивать; Славик вдруг ощутил, что ему как бы передавалась заразительная склонность Бутора к черному юмору.

— Представьте себе, час назад я думал о вас, пан доктор.

— Серьезно?

— Похоже, буду снимать один детектив,— бросил Славик небрежно. С минуту он смаковал воцарившуюся напряженную тишину на другом конце провода, а потом с наслаждением вздернул лорда Килланина на дыбу:— Из английской сельской жизни.

— Серьезно?—Лорд Килланин даже затаил дыхание в ожидании подробных разъяснений.

— Там есть одна роль, будто созданная для вас. Надеюсь, время у вас найдется. Точный срок вам сообщу.

— Спасибо, пан режиссер. Конечно, я освобожусь. В этом году я не отгулял и четверти своего отпуска. В крайнем случае возьму за свой счет,— говорил доктор Бутор тягучим, сладким, как сироп, голосом.— Значит, из сельской жизни? В таком случае наверняка будут и какие-нибудь натурные съемки,— добавил он с надеждой, а Славик и не подумал его разочаровывать.

— А как же иначе. Сельская резиденция, вам понятно? Все должно выглядеть достоверно.

— Ясно. Какой-нибудь словацкий замок... ясно.

Доктор Бутор скромно давал понять, что, кроме своей профессии, он разбирается еще и в области, которой занимается только как дилетант.

— А... если позволите спросить... кем я буду?

Славик не мог удержаться от смеха. Он прикрыл ладонью трубку и лишь погодя сумел дипломатично ответить:

— Боюсь, что несколько преждевременно говорить о деталях, но, между нами, это больше чем просто обещание. Ваш облик...

— Невероятно! Неужто все же...

— Да.

— Лорд?

— Лорд.

— Господи боже мой, мою старуху удар хватит...

— Тсс,— понизил Славик голос, и доктор Бутор тотчас смекнул:

— Понимаю, ни слова. На такую роль многие точат зубы, понимаю...

— Сущая правда,— подтвердил Славик заговорщически...— Но, конечно, это будет не главная роль...

— Понимаю,— успокаивающе перебил его Бутор.— Знаю, что на главную роль не тяну, еще настолько я самокритичен. В отличие от других любителей.

Честное слово, он сегодня в ударе — в отличие от других любителей. Словно хотел тонко намекнуть: хоть я и любитель, но лишь по недоразумению, если бы нашелся человек, который сумел бы по справедливости оценить мои способности...

— Говорите — лорд,— повторил доктор самодовольно.— Известное дело: терпение исподволь свое возьмет.

— Да, лорд,— подтвердил Славик его слова, но вдруг как-то сразу потерял интерес ко всему; спятил я, что ли? Занимаюсь какими-то глупостями... и он язвительно заключил: — Хотя и малость дегенеративный.

Доктор Бутор замолк. Обиделся? Напрасные опасения. Последующей фразой он доказал, что его способность приспосабливаться поистине не знает границ.

— Понимаю, пан режиссер. Они ведь должны быть дегенеративными. Это же класс, осужденный историей на вымирание, ха-ха-ха.

— Превосходно, я рад, что мы договорились. Жаль, но мне пора...

— Понимаю, пан режиссер,—оборвал его Бутор; в его голосе все еще слышались смешливые нотки.— Итак, вас интересует, собственно, вскрытие, не правда ли?

Ну, наконец, вздохнул Славик, хотя форма буторовского вопро-

са возмутила его. Вопрос звучал оскорбительно,—словно я выпытываю, словно я нетерпеливо жду результата вскрытия, словно он мне оказывает какую-то любезность.

— Вскрытие? — повторил он рассеянно.— Да, вы собирались рассказать мне что-то о вскрытии, не сердитесь, здесь такой кавардак, что я совсем запамятовал.

— Скорей всего, мне не надо бы об этом говорить.— Бутор все еще продолжал разводить церемонии,— а впрочем... Почему нет?.. просто... она видать, была мертвецки пьяна! — выкрикнул он неожиданно, с явным удовольствием, но тут же следом позолотил пилюлю: — Я хотел сказать... в жилах вместо крови, говорят, у нее был алкоголь,— его опять, по обыкновению, потянуло поизощряться в остроумии, но, видимо, он сразу же смекнул, что его своеобразный способ балагурства в данный момент более чем неуместен, и потому в конце концов употребил тот безликий специальный термин, который изначально вертелся у него на языке: — В крови у нее, даже столько времени спустя, было почти три промилле [1].

Бутор стремился как можно быстрее закончить разговор, который сперва пошел по такому многообещающему пути, но затем — в силу его же речистости — свернул в нежелательном направлении, и потому быстро, с сочувствием добавил:

— Я и не предполагал, что вы ждете ребенка. Это действительно непереносимо для вас. Мне уж всякое довелось видеть, но, скажу вам, такое...

— Что? — взревел Славик. Перед глазами у него бешено завертелись какие-то разноцветные концентрические фигуры; они напомнили ему круги на батиковой майке его водителя. Он схватился рукой за горло и резко дернул пуговицу на вороте; зашлось дыхание. Он слышал голос Бутора, но смысл слов не доходил до него. Он закрыл ладонью раковину телефона и несколько раз глубоко вздохнул. Надо было найти хоть мгновение, чтобы оправиться от шока.

— Алло, пан режиссер? Вы у телефона? — снова проник в его сознание голос Бутора. — Вы меня слышите? Что с вами?

— Со мной? Ничего. А в чем дело?

— Вы так вскрикнули. Вы, правда, в порядке?

— Да нет, это относилось не к вам. Директор картины спрашивала, скоро ли я кончу разговаривать. Сегодня мы должны все доснять. Ждут меня...

— Извините... Не знаю, с какой стати мне пришло в голову снова напоминать вам об этом ужасе...

Она в положении, боже мой, боже мой, так она вчера водила меня за нос, она опять играла...

— Мне показалось, что вас это удивило...

...безумие, ведь я убил собственного ребенка...

— Вы что-то сказали, пан доктор? Плохо слышно. Мне показалось, говорю, что это вас поразило,— на сей раз в голосе Бутора звучала какая-то строгая настороженность.

— Что меня могло поразить?

— Что она была в положении. Я думал, вы об этом знаете,— Бутор продвигался все дальше; строгость сменилась скользким, напряженным подозрением, и Славик понял, что с ним надо держать ухо востро.

— Ну конечно, знаю. Надеюсь, вы не хотите намекнуть, что она ждала ребенка от кого-то другого?!

Это на него действует, только так — прямым ударом. Я тебе покажу, подлая рожа!

— Боже упаси, я вовсе не собирался вас оскорблять. Доктор пошел на попятную.— Я рад, что вы об этом знали...

[1] На тысячу *(лат.)*.

Ну, ну, ведь он мне, сдается, угрожает. Так, значит, мало еще получил?

— Я что-то не понимаю ваших намеков,— сказал Славик жестко, и соотношение между ними тотчас изменилось. — А если вас интересует, с каких пор мне это известно, так спросите капитана Штевурку. Как раз сегодня утром мы об этом говорили.— Славик снова превратился в режиссера, хорошо владеющего ситуацией, а доктор Бутор снова стал не более чем статистом. Но казалось, Славику этого еще недостаточно, казалось, ему необходимо сорвать на Буторе зло, точно Бутор, сообщивший ему результаты катастрофы, был некоторым образом ее причиной, будто частично повинен в этом абсурдном недоразумении. Надо его под корень подсечь, плута чертова.

— Между прочим, когда будете говорить с капитаном, передайте ему мою благодарность, пан следователь.

Лорд Бутор с Миявских выселок удрученно залепетал:

— Пан режиссер, прошу вас... я, правда, не знаю, о чем это вы... кого благодарить, какая благодарность, у меня же с ним ничего общего, это не входит в мою компетенцию. С этим капитаном я ведь даже не знаком лично... за что благодарить?..

Славик по-дружески добил его:

— За то, что он был так любезен и через вас передал мне результаты вскрытия.

Бутор в отчаянии завизжал:

— Что вы, пан режиссер, бога ради, это заблуждение, это просто недоразумение,— в его голосе звучал вопль человека, ставшего жертвой несправедливого оскорбления. — Он не поручал, никто мне ничего не поручал, это я сам, понимаете, из уважения к вашему искусству... умоляю вас, никому не говорите, что я сообщил вам результаты вскрытия... прошу вас,— тут было все: и просьба о пощаде, и страх, и лютая ненависть. В трубке слышалось частое, хриплое дыхание; у Славика было такое ощущение, будто в нос ему ударил резкий запах пота, залившего доктора Бутора. Славик молчал, предоставив ему возможность повариться в собственном соку, а когда рассудил, что воздал ему за все сторицей, снисходительно сказал:

— Как вам угодно.

И повесил трубку.

Вот тебе и получили сполна, он изнуренно вздохнул и рукавом рубашки вытер мокрое лицо. Ну, слава богу, лорда Бутора спихнули с плеч. Вместе с его английским детективом. Идиот. Идиот, хотя и полезный. Он даже не представляет себе, какую услугу мне оказал. Кто знает, сумел бы я овладеть собой, если б мне сказали... Нет, все-таки это неправда, этот идиот что-то напутал. Наверняка. Недоразумение. Нелепица.

Брось врать самому себе. Это именно так. Ты прекрасно знаешь, что это правда. Гелена действительно была беременна.

Да?

Да.

Ты говорил правду?

Но это значит...

Да.

Спасение?

Спасение.

Теперь ты окончательно из этого выпутался.

Почему?

Отсутствует мотив. Не убил бы ты все-таки женщину, от которой ждешь ребенка!

Нечего надо мной потешаться.

Хотя она и упилась, и была с каким-то парнем.

Довольно!

Не убил бы ты все-таки собственного, долгожданного ребенка!

ХВАТИТ!

Прекрати или ты и впрямь свихнешься. Выкинь это из головы, не думай об этой дикой нелепице.

Но почему ты это выдумала? За что ты хотела отомстить мне? Так по-детски, наивно... неужто за то, что я не подошел к телефону, когда ты звонила с аэродрома?

Она оскорбилась. Хозяйка свистнула, а верный песик не примчался тотчас, чтоб подавать поноску, какая наглость, но если бы только наглость, это настоящий бунт, заслуживающий наказания, да, он не исполнил своего собачьего долга, и потому неудивительно, что она обиделась, а затем, справедливо возмутившись, напилась и забралась в постель с первым же мужиком, что попался ей на пути. А может, не случайно он попался ей на пути? Может, они регулярно этим занимались? Кто это был? Хотя какое это уже имеет значение? Чтобы меня еще больше наказать за непослушание, ты придумала такую убийственно наивную ложь. Это был твой ребенок, зазвучали в памяти ее слова.

ПОЧЕМУ?

Он закрыл лицо ладонями. Ведь она просто шутила, она опять только играла, как и все годы их супружества, играла, как играла всю свою жизнь, да, вся ее жизнь была всего лишь игрой, она вечно балансировала на натянутом канате, высоко под куполом цирка, пренебрегая защитной сеткой, она играла, и на этот раз я позволил обмануть себя ее игрой...

— Пан режиссер, не сердитесь, но придется продолжать,— сказала девица Лапшанская, тихо и вкрадчиво, с тревогой глядя в его измученное лицо.

Славик понял, что она следит за ним уже добрую минуту, и как обычно, если кто-то сторонний застигал его вот в таком унизительном состоянии безволия, превозмог себя. Снова собрался с силами.

— Да, продолжим,— сказал он вяло, но, увидев ее тупо-настороженное выражение, это оскорбительно-жалостливое выражение, непроизвольно передернулся и тем самым словно бы сбросил с плеч невероятно тяжкое бремя. Подрагивающие мускулы снова налились силой, нахмуренное лицо разгладилось, и он произнес своим естественным, твердым голосом: — Работаем до упора! С полной отдачей — каждый, понятно?! Никакой болтологии! Осветить сцену! Я сбегаю в буфет, выпью кофе. К моему приходу все должно быть готово.

Его уверенные, лаконичные приказания, последовавшие за глубокой депрессией, по-видимому, так изумили Лапшанскую, что она лишь молча повернулась и послушно отправилась в студию.

Славик медленно прихлебывал горячий кофе. В памяти вдруг всплыл послеобеденный телефонный разговор с главным редактором Ячко. В основном он прошел так, как Славик и предполагал,— сострадание, замешательство, увертки — одним словом, сплошная комедия. В конце концов, это и понятно: тогда, когда ему предложили сотрудничать в кино, кто мог думать, что ситуация столь «досадно» изменится...

...мы, ей-богу, рассчитывали на тебя, это было почти решенное дело...

Почему ты говоришь об этом в прошедшем времени?

Что, что?

Почему р а с с ч и т ы в а л и на меня? Еще вчера я был перспек-

тивным и талантливым, а сегодня уже черта с два? Что изменилось? Надеюсь, ты не полагаешь, что за ночь я забыл все, что знал? Вчера вы были уверены, что я своим творчеством могу способствовать повышению художественного уровня словацкого кинематографа, или как это там написано, а сегодня вы уже в этом разуверились? Почему? Потому что тем временем убили мою жену?

Не дури. Ты все же должен понять, что теперь после этой трагедии... пока выяснится...

Конечно, он прекрасно понимал, что поведение его наивно; но он вел себя так прежде всего из какого-то врожденного упрямства, из чувства горечи и обиды. С ним обошлись явно несправедливо: как могут списать человека только по той причине, что у него убили жену? Да, речь, по существу, шла именно об этом. Они же не знали, как дело было в действительности, но наперед списали его, нимало не интересуясь результатами расследования, у них не было никаких оснований подозревать его, и, однако, он перестал для них существовать. Нет, он не укорял их за это, вовсе нет, у него не было на то права, и все-таки они могли хоть немного повременить, не так ли? Пока все выяснится. Горько, невесело он усмехнулся.

Что-то вывело его из задумчивости. Шум в буфете стал тише, почти умолк. Члены группы Славика, высыпавшие во время его разговора с Бутором в буфет — осветители, звуковики, операторы,— при его появлении моментально испарились. Все в порядке, они вернулись на свои рабочие места, и все-таки тишина эта была неестественной. Он окинул взглядом двух женщин, сидевших за соседним столиком.

Женщины беззаботно, громко разговаривали, но, встретившись с его взглядом, разом умолкли и уставились на него с такой недоброжелательностью, что ему пришлось в ту же секунду стыдливо отвернуться; он залился краской, словно бы схлопотал пощечину. Их молчаливая неприязнь обескуражила Славика; чем он вызвал ее? Нервозно осмотрелся вокруг. Ему показалось, что и остальные в зале не очень-то рады его присутствию; будто один его вид им крайне неприятен.

Подвергли меня остракизму, осознал он с гнетущей прозорливостью. Все от меня отвернулись, да и в группе моей сегодня царит такое же настроение. А при этом определенно никто и не думает, что Гелену убил я. И все-таки меня уже сбросили со счетов. Гнушаются мной, будто я заражен какой-то гнусной болезнью. Да, жертва и убийца для них одинаково прокляты.

Он резко отодвинул чашку с недопитым кофе и быстро пошел к выходу. Разговоры и шум в буфете тотчас возобновились.

Начинаю платить дань, подумал он, входя в студию.

11

Славик, съежившись, обхватив руками согнутые колени, сидел в кресле (сиденье и спинка были светло-коричневой свиной кожи, натянутой на деревянный остов) и отсутствующим взглядом блуждал по Геленинои комнате. Она была забита книгами, журналами, газетами, копиркой, карандашами, ручками, полными окурков пепельницами, пустыми коробками из-под сигарет, пластинками, магнитофонными кассетами... валялось это повсюду: на полках из светлого неполированного дерева, укрепленных на тонких металлических стояках и забиравших одну стену сплошь, от пола до потолка, на шахматном столике, на диване коричневой искусственной кожи, прикрытом мохнатой овечьей шкурой, на ковре, усеянном множеством прожженных дырок, на письменном столе; в пишущую машинку был вложен

лист с незаконченным интервью. Гелена больше всего любила писать о художниках. Это были отнюдь не глубокомысленные разборы их творчества, а скорее пропагандистские рекламные репортажи. Вероятно, это вполне оправдывало себя — многие не скупились на благодарность. О том свидетельствовали стены комнаты: они были увешаны произведениями ее «жертв» — художников начинающих, обнадеживающих, заслуженных, прославленных, и, более того, даже работы нескольких народных художников украшали ее частную коллекцию. Графика, акварель, ксилография, линогравюра, рисунки пером, темпера, гобелены, масло... и среди этого — различные плакаты, афиши, фотографии (преимущественно ее), большая мишень, в которой все еще торчали две стрелы, на большом расстоянии от центра, семерка и шестерка, она явно была не в форме, в основном садила в черное.

Славик не понимал, как она вообще может сосредоточенно работать посреди такого беспорядка, но Гелена чувствовала себя в нем точно рыба в воде. На ее кабинет было наложено табу даже для старухи Кедровой, Гелена так ни разу и не позволила ей «убрать этот бардак». Почему, спрашивается? Ты можешь себе представить, какой бы тарарам она мне здесь устроила, разреши я ей прибраться! Кто знает, возможно, все-таки и существовала какая-то система, таинственная метода, помогавшая ей ориентироваться в этом фантастическом хаосе, который всегда раздражал его, но теперь с мучительной тоской воскрешал образ той, что ушла, словно выскочила просто погулять, ненадолго прервав начатое интервью и вовсе не думая, что его уже никогда не закончит, не думая, что уходит навсегда.

Он рассеянно поднял с ковра раскрытую книгу; из нее выпал фиолетовый фломастер — Гелена пользовалась ими вместо закладок. Сколько раз по этому поводу он ругался с ней. В любой книге она подчеркивала фломастерами места, которые неведомо почему особенно впечатляли ее. Это бесило его, казалось каким-то неучтивым, наглым, просто варварским уничтожением книг. Ну в крайнем случае пользовалась бы уж обычным карандашом — куда ни шло, можно было бы и стереть. Необязательно же каждому знать, что тебе больше всего нравится. Она часто расправлялась фломастерами с целыми страницами, содержащими явные пошлости и всякую ахинею. Камрад, я не корчу из себя невесть что, какая есть, такая есть, и не понимаю, зачем мне надо выдрючиваться. Если мне нравится какая-нибудь хреновина, ну и ладно, наверное, я дура. Я в отличие от тебя искренняя, тебе тоже нравится всякая белиберда, но ты просто боишься, что другие об этом узнают. А иначе чего бы ты так старательно стирал ластиком все, что подчеркиваешь, конечно, боишься, что тебя, чего доброго, еще на смех поднимут. А твое уважение к книгам, знаешь, что это? Обыкновенное лицемерие. Маскируешься, камрад, вот так-то. На нее нельзя было серьезно сердиться. Этой бесстыдной наглости, с какой она умела вывернуть все наизнанку и убедить его, что все ее пороки, по существу, не что иное, как добродетели, нельзя было отказать в шарме и привлекательности; это было даже забавно — но, конечно, спустя какое-то время, не так ли?

Он прочел название книги: «Поправка-22». Они часто читали вместе страницы из фантастической трагикомедии Хеллера[1] о бессмысленности военного уничтожения и хохотали как полоумные над многими необычайно комическими пассажами, от которых при всем том мороз подирал по коже.

Взгляд зацепился за отчеркнутый отрывок, и ее дурная привычка почему-то вдруг удивительно тронула его и порадовала: узнаю хотя бы, что она читала напоследок.

---

[1] Джозеф Хеллер (1923)— американский писатель, автор известных романов «Поправка-22» (1961) и «Что-то случилось» (1974).

...А впрочем, Йоссариан и сам не видел причин для счастья — так что техасец был тут ни при чем,— он видел войну и ничего веселого в этом не видел. За пределами госпиталя продолжалась война, но никто ее, казалось, не замечал. Только Йоссариан с Дэнбаром. А когда Йоссариан пытался открыть людям глаза, когда он хотел образумить их, они шарахались от него и называли безумцем. Даже Клевинджер, который мог бы кое-что понять, но не понимал, сказал ему перед его отправкой в госпиталь, что он безумец, псих.

— Ты псих! — заорал Клевинджер, с лютым ожесточением глядя на Йоссариана и вцепившись обеими руками в столешницу.

— Они стараются меня убить,— рассудительно сказал Йоссариан.

— Да почему именно тебя? — выкрикнул Клевинджер.

— А почему они в меня стреляют?

— На войне во всех стреляют. Всех стараются убить.

— А мне, думаешь, от этого легче?

Клевинджер уже дернулся, полупривскочил со стула — глаза мокрые, губы выцвели и трясутся. Как и обычно, когда начинался спор о святых для него принципах, он был обречен закончить его, яростно задыхаясь от негодования и смаргивая горькие слезы неразделенной веры. Клевинджера переполняла вера в святые принципы. Он был псих.

— Да кто они-то? — удалось все же выкрикнуть ему сквозь гневную одышку. — Кто, по-твоему, старается тебя прикончить?

— Каждый из них.

— Из кого из них?

— А как ты думаешь?

— Понятия не имею!

— А раз понятия не имеешь, так откуда ж ты знаешь, что они стараются?

— Да ведь они... ведь я... — брызгая слюной, закудахтал было Клевинджер и безнадежно умолк.

Клевинджер искренне считал, что он прав, но Йоссариан опирался на неоспоримые доводы, поскольку совершенно незнакомые ему люди обстреливали его из зениток, стараясь прикончить, когда он сбрасывал на них бомбы, и в этом не было ничего веселого...

Нет, Славику не показалось особенно забавным то, что Гелена читала напоследок. Найдем что-нибудь и поувлекательней. Он листал книгу, останавливаясь на пассажах, отчеркнутых фиолетовым фломастером. Фиолетовый был безошибочной приметой, другие цвета были старше, те он уже знал; в последний раз под рукой у нее был именно фиолетовый...

— Нет, с тобой бессмысленно разговаривать,— решил Клевинджер.— Ты даже не знаешь, кого ненавидишь.

— Прекрасно знаю,— возразил Йоссариан. — Того, кто пытается меня отравить.

— Никто тебя не пытается отравить.

— Два раза уже пытались — неужто не помнишь? Когда мы штурмовали Феррару и Болонью.

— Тогда всех чуть не отравили,— напомнил ему Клевинджер.

— А мне думаешь, от этого легче?

— Ты псих! — смаргивая злобные слезы, выкрикнул Клевинджер. — У тебя комплекс Иеговы, ты... в каждом подозреваешь Иегову. Ты хуже Раскольникова...

— Какого Раскольникова?

— А такого Раскольникова, который...

— Раскольников?
— ...который считал, что ему дозволено убить старуху...
— Даже хуже?
— ...да-да, считал, что дозволено... топором! ...И я могу доказать! — Судорожно ловя ртом воздух, Клевинджер начал перечислять болезненные симптомы Йоссариана: бесноватая убежденность, что все вокруг психи, одержимость убийством нормальных людей из пулемета, навязчивая тяга к извращению прошлого, сумасшедшая подозрительность и мания преследования [1].

Славик разочарованно отложил книгу; она могла бы оставить мне и более веселое завещание.

Он поглядел на часы: четверть второго. Вчера в это время... НЕТ! Надо все-таки выспаться. Жаль, не попросил у матери снотворного. Гелена не пользовалась никакими успокоительными средствами, обходилась без них: стоило ей лечь в постель, засыпала как убитая.

С матерью Славик встретился днем. Вид у нее был спокойный. Своими свидетельскими показаниями она подтвердила его слова — точно так, как они и договорились. Дали показания — достоверные — и водитель и Лапшанская. Это тоже в порядке. Маэстро Антошка не мог ничего припомнить — как и предполагалось. Пока только с Плахим не говорили, балбес мог бы по крайней мере позвонить; вероятно, для него это слишком мучительно, должно быть, его здорово ошарашило. Славику всегда казалось, что Плахий по уши влюблен в Гелену; наверное, этот охламон мне завидует; да и нет ничего удивительного — велика ли радость быть всегда вторым в очереди, сперва у Яны, а потом... черт возьми, уж не было ли у него чего с Геленой? Что-то уж слишком часто шлялся к нам по ночам, а я не всегда бывал дома, он не раз оставался с ней наедине... Да что теперь, плевать.

По дороге из телестудии Славик опять заскочил к матери; надо было сообщить ей о разговоре с Бутором. Боялся, что она испугается и выкинет какую-нибудь глупость. Но он вновь убедился, что опасения его напрасны. Конечно, новость потрясла ее до глубины души. Он никогда еще не видел ее такой уничтоженной; казалось, она уже не найдет в себе сил совладать с собой. Да, в самом деле, она была сломлена, была в отчаянии; правда, лишь до той минуты, пока он не начал вслух рассуждать о том, есть ли теперь смысл отпираться, есть ли смысл вообще ж и т ь; это снова привело ее в чувство.

Нет, он достаточно уже настрадался, не может же он беспрестанно думать об одном и том же, надо прийти в себя, отдохнуть, кто знает, что ждет его завтра.

Сейчас им владело равнодушие. Опасное равнодушие. После разговора с Бутором у него не раз мелькала мысль, что он сдастся. Скажет правду. Какой толк — отпираться? Какой смысл ж и т ь — после того, что он узнал сегодня? Положение изменилось. Вчера все было по-другому. Он определенным образом заслужил, даже не желая того, справедливого наказания. За их ребенка. Вчера он вправе был защищаться, отпираться Но сегодня? По какому праву он пытается избежать наказания? Если он объяснит им, что все случилось лишь по недоразумению, они, пожалуй, смогут понять... Разве он уже недостаточно наказан тем, что совершил? Но почему они должны ему верить? Мать правильно поставила вопрос: Кто вообще может поверить, что все произошло так, как на самом деле произошло? Нет, теперь его положение гораздо хуже. Кто поверит, что сделал он это неумышленно, по чистому недоразумению? Несомненно, его признание могло быть смягчающим обстоятельством. Но время упущено.

[1] Перевод с английского А. Кистяковского.

и сегодня на карту поставлена жизнь! А это ему уже отнюдь не безразлично. Надо бороться, это ведь случилось просто по недоразумению. Она же сама во всем виновата. Мать права. Почему она так дико солгала?

ОТЕЦ!

Как бы отец повел себя на моем месте? Ответ может быть только один: Отец признался бы! Это бесспорно. И все-таки, как неглубоко он знал своего отца, как прискорбно мало знает о его жизни. Сейчас он не находил себе оправдания. С маниакальным упрямством он все внимание сосредоточивал лишь на том периоде, о котором отец не хотел говорить, его не интересовало ничего, что было *до этого*. Конечно, Славик знал, что отец участвовал в Восстании[1], что был ранен, что попал в плен, был в концлагере, но знал обо всем только в общих чертах и этим довольствовался; словно речь шла не о жизни отца, а о жизни неизвестного человека, ставшего объектом изучения историков, да, это была неотъемлемая часть Истории, и ему казалось, что этот период отцовской биографии он хорошо изучил по учебникам. А он, как и большинство людей его поколения, испытывал неприязнь к *обязательному чтению*. Героическое прошлое своего народа они «проходили» в школе подробно, и тем самым оно стало для них величественным, но мертвым мифом, об этом ему ничего не надо рассказывать, он все и без того знает... Вспомнил он и о книге «Раздувая родные очаги» [2], которую отец читал незадолго до смерти с восторгом и какой-то непостижимой гордостью, будто сам ее написал: ты вот прочти, парень, и тогда поймешь кое-что, послушай, это слова из словацкой народной сказки: *От великой радости, что можно бродить по свету, они даже не ведали, куда идут. Ходили из края в край, в такие дали дальние, что даже не ведали, откуда вышли...* Понимаешь?

Тогда отцовская восторженность казалась несколько наивной и смешной (уж такая ли великая радость бродить по свету, водя пальцем по карте?). Только позднее он осознал, что в сказке больше правды, чем он когда-то в состоянии был понять. В самом деле, и он знал больше о других народах, чем о своем, лучше знал литературу мировую, чем родную словацкую («благодаря» тому же обязательному чтению), а когда начал глубже интересоваться прошлым своего народа (не по обязанности, а по велению сердца), того, кто мог «раздуть родной очаг» и оживить тлеющие уголья — его отца,— уже не было рядом. И Петер так и не попросил у отца прощения за то, что когда-то сомневался в его мужестве и чести, так и не сказал, что гордится им, что уважает и любит его. Почему я так и не произнес этих слов о чести и мужестве, о гордости и любви, почему все время оттягивал этот разговор? Из отвращения к патетике? Или недоставало искренности? Почему мы так и не сблизились по-настоящему?

Неужто это мой удел — стараться понять близких, лишь когда они уже ушли из жизни? И с Геленой — то же самое. Словно только сейчас он стал постигать настоящую Гелену, скрывавшую под маской самоуверенной, наглой, беспардонной дьяволицы что-то невыразимо ранимое, хрупкое... ДОВОЛЬНО! Из меня начинает переть сентиментальная чушь, явный признак усталости. Надо остановить эту карусель... Набраться сил! Энергии! Выспаться!

Но удастся ли? Пожалуй, его усыпил бы какой-нибудь детектив. Когда-то это помогало ему.

Славик подошел к Геленину библиотеке. На полках в образцовом порядке стояли только книги современных словацких авторов,

---

[1] Имеется в виду Словацкое национальное восстание 1944 года.

[2] Историческое эссе (1970) известного словацкого писателя Владимира Минача (1922), автора нескольких эпических романов о Словацком национальном восстании 1944 года.

естественно, с собственноручными пылкими посвящениями. Снобка. А дальше полный кавардак. Все книги вперемежку, без какой-либо системы: «Красное и черное», Атлас лекарственных растений, Распутин: «Живи и помни», Фриш: «Homo Faber», «Похождения бравого солдата Швейка», «Воспитание чувств», Мир животных, Есенин, Софокл, «Мадам Бовари», Краткая история живописи, Норман Мейлер: «Нагие и мертвые», Уайлдер: «День восьмой», Чингиз Айтматов, Перспективы телепатии, «Репортаж с петлей на шее», Бондарев, Словарь иностранных слов, «Идиот», Фолкнер, «Блеск и нищета куртизанок», Шукшин, «Анна Каренина», Мифы древнего мира, «Двенадцать стульев», Воннегут: «Бойня номер пять», Зощенко, Маркес: «Сто лет одиночества»... а вот, наконец, Реймонд Чандлер[1]: «Долгое прощание».

Н-да, эта книжка вовсе не на сон грядущий, однако попробовать стоит: читал ее уже трижды, может, она меня и усыпит.

Вытаскивая Чандлера, он нарушил шаткое равновесие книг, точно вытащил из крепкой на вид стены кирпич, и все здание рухнуло. Чертыхаясь, он поднимал с пола книги и ставил на место. И вдруг оцепенел.

На полке у самой стены стояла скрытая за книгами полупустая бутылка джина.

Так твою курочку! Вот какой тайник ты придумала! А я, идиот, был убежден, что ты на самом деле не пьешь. Вот почему эти стрелы в мишени торчат так далеко от десятки. Когда ты их метала, должно быть, уже здорово окосела. Вот почему ты обходилась без снотворного, перед сном что ни ночь ты набиралась.

Славик смотрел на бутылку джина, словно загипнотизированный.

Он поочередно разгибал один за другим пальцы на руках и про себя считал: пить? не пить? пить? не пить?..

— Нет, не надо,— сказал он, десятый палец разрешил его сомнения.— Нет, судьба против, не надо ее искушать. И все-таки мне позарез нужно выспаться! А это лучшее средство. Один глоток, пожалуй, не убьет. Конечно, и судьба иногда ошибается. Надо попытать ее. Начну-ка я в обратном порядке,— решил он и снова взялся считать: не пить? пить? не пить? пить?..

— Можно. Ничего не поделаешь! Судьба распорядилась.

Он взял бутылку джина и торопливо, не без страха, словно мальчишка, который крадучись лакомится повидлом, приложил бутылку к губам и изрядно хлебнул, причем на лице появилась гримаса, выразившая высшую степень отвращения, неудовольствия и протеста. Потом он быстро поставил бутылку в тайник и, будто желая замуровать ее там на веки вечные, вложил в пустое пространство Жюльена Сореля, Анну Каренину и Остапа Бендера.

Сознание, что он нарушил обет пятилетней трезвости, вызвало в нем такое унизительное чувство страха и стыда, что лицо растянулось в непроизвольной застенчивой улыбке, будто он просил прощения за свою слабость.

Страх, охвативший Славика после одного глотка джина, может показаться кому-то, регулярно потребляющему спиртное, непомерно преувеличенным и смешным, однако у Славика в этой области был довольно богатый опыт, чтобы понимать, что этот страх достаточно обоснован.

Все началось с того времени, когда ему стало казаться, что пути к режиссуре окончательно отрезаны. Какие возможности были у него, студента сценарного отделения? Ни малейших! В те годы он заявил о себе как подающий надежды бескомпромиссный кри-

[1] Реймонд Чандлер (1888—1959) — известный американский писатель, мастер детективного и приключенческого жанра.

тик. Резал правду-матку направо и налево. Приобрел восторженных приверженцев и непримиримых противников; чего же большего желать человеку, стремящемуся войти в сознание киношной братии! Коли не подпускаете меня к режиссуре, так я хоть пропесочу вас, чертовы бездари!

И мать внесла в его пьянство свою лепту. Пил, чтобы наказать ее. За что? За смерть отца. Оставь она отца в покое, он бы еще наверняка жил — дома, в Горном Лесковце. Но ее не устраивало быть женой всего лишь деревенского учителя, она заставила его переехать в Братиславу и тем самым стала повинной в его смерти — при исполнении служебных обязанностей, как благородно определяла она эту бессмысленную автомобильную катастрофу.

А тут еще дернула его нелегкая познакомиться с Геленой.

Случилось это вскоре после того, как он схлопотал свой бравый шрам на лице. За полночь возвращался он домой из «Словацкого погребка», поспешая с самыми лучшими намерениями в собственную постель, но злая судьба распорядилась по-своему: у «Кристалл-бара» он замешался в невинный инцидент, который снова подтвердил истинность давнего изречения: благими намерениями ад вымощен.

Впрочем, виной всему была его слабость к женщинам, которую — пусть это послужит для него некоторым оправданием — он испытывал почти всегда в нетрезвом виде; формально он еще встречался с Яной, но их отношения, как ему казалось, застряли на точке замерзания. Кроме постоянных попреков по поводу его возлияний на нервы действовали еще и ее родители. Они берегли Яну как зеницу ока. Упаси бог остаться с ним до утра! Конечно, уберечь ее все равно им не удалось, но их постоянный присмотр утомлял его. К полуночи он обычно провожал ее до дверей, и баста. Вход воспрещен! Не раз выпадала возможность провести вместе ночь — всегда находился услужливый друг, которому нужно было «срочно уехать» и оставить пустую квартиру. Но Яне казалось это неприличным. Подчас у него даже создавалось впечатление, что делает она это нарочито, так сказать, играет в недотрогу, хорошо зная, что иные мужчины на это клюют. А если конкретно — так его друг Милан Плахий. Милан уже давно приударял за ней. Но Славик был убежден, что тот напрасно тратит усилия, хотя, как вскоре выяснилось, в этой жизни ни в чем нельзя быть уверенным до конца.

Гелена (правда, тогда он еще не знал ее имени) привлекла его внимание (кроме уже упомянутой слабости) еще и по другим причинам. Лица ее в полумраке он как следует даже не разглядел, но по стройной фигуре, длинной шее и пышной многообещающей груди рассудил (бог весть почему), что она наверняка необыкновенно привлекательна. Кроме того, его просто ошеломил ее наряд: казалось, будто она возникла у «Кристалл-бара», сойдя прямо с экрана, где демонстрировался фильм, отснятый еще в тридцатые годы нашего удивительного столетия. На ней было что-то из блестящего фиолетового шелка в стиле «вамп». Игриво-обольстительный вырез обещал все, но при этом как бы ничего не навязывая. А юбка — и говорить нечего: он в жизни такой юбки не видел; спереди она доходила до колен, а сзади была почти до полу. Голову ее венчала замысловатая прическа асимметричной формы, а из мочки точеного уха свисала, словно длинная подвеска, хрустальная серьга. И пожалуй, более всего его заворожило, что серьга была только одна. Или я уже совсем окосел, или она потеряла вторую серьгу, рассуждал он, с идиотской улыбкой глядя на это диво дивное; женщина, несмотря на свой маскарадный костюм, была изящна, обворожительна и столь сексуально притягательна, что Славик нимало не удивился, что вокруг нее упорно вертелись два пожилых селадона и, как он понял, уговаривали ее

вернуться в зал — хоть на одну рюмочку. Женщина отрицательно качала головой, смеясь звонким, молодым смехом, к которому примешивалась некоторая хрипотца, вызванная, вероятно, перепоем и чрезмерным курением. В Славике мгновенно проснулись дремавшие чувства рыцаря и неустрашимого защитника слабого пола; он угрожающе накинулся на двух волокит и решительно потребовал, чтобы они перестали досаждать даме. Когда же эти двое при слове «дама» оскорбительно загоготали, он встал в воинственную позу, выпятил свою воробьиную грудь, сжал кулаки и незаметно откинул длинные светлые волосы, обнажив шрам на лице; он по опыту знал, что шрам придает ему вид бравого и опасного парня,— многих это поразительно быстро усмиряло. Но на сей раз шрам не произвел должного впечатления. Корешок, отваливай, пока будка цела, рявкнул один из мужчин. Славик молниеносно сообразил, что недооценил ситуацию и допустил досадную промашку. Увидев, как второй малый, засучив рукав рубахи, оголил на мускулистой руке зловещую татуировку, он с безошибочным чутьем пьяного понял, с кем имеет честь: перед ним определенно были видавшие виды уголовники. Он лихорадочно стал соображать, как ему выкрутиться из этой передряги по возможности достойно и с целой физиономией. И вдруг — сатори [1]. Его пьяное сознание пронзила спасительная мысль.

Он сунул руку в задний карман брюк и непринужденно вытащил футлярчик с единым трамвайным билетом: Ну-ка, молодцы, пройдемте со мной... Больше ему и рта не пришлось раскрыть: оба «молодца», пролепетав что-то в оправдание, тотчас испарились — их как ветром сдуло.

Ну, фантастика, выкрикнула женщина и подхватила Славика под руку. Я еще ни разу не встречала легавого. Это надо отметить.

Ее дыхание источало запах коньяка, и по тому, как заплетались стройные ноги, он понял, что красотка уже порядком «наотмечалась», и хоть в принципе он ничего не имел против такого интимного времяпровождения, в нем все-таки заговорила лучшая часть его души. Он показал женщине проездной билет и объяснил, что он всего-навсего бедный студентик, кропающий сценарии и рецензии и дерзающий с их помощью проникнуть в мир кино.

Однако его объяснение вовсе не расхолодило женщину. Напротив. Трюк с проездным билетом ее вконец обворожил, и в приливе симпатии она чмокнула его прямо в губы. Теперь и подавно вас не отпущу. Пошли ко мне, смеялась она радостным, переливчатым смехом, и потащила Славика за собой, точно бычка на бойню.

А уж потом все пошло своим чередом. Гелена жила в однокомнатной квартире «знакомого переводчика», в данное время стажировавшегося в Софии, и потому — немудрено — после поста с Яной настало пиршество с Геленой. В любовной эйфории он почти и не заметил, что Яна месяц спустя вышла замуж за его друга Милана Плахого. Он считал, что она поступила так в пику ему, но не упрекал ее. Лишь позднее, когда шальной угар отчасти прошел, да к тому же «знакомый переводчик», вернувшись из Софии, не проявил ни капли великодушия и вытурил их обоих на улицу, Славик с холодной головой (ударили первые осенние морозы) поразмыслил обо всем и безмерно удивился, обнаружив, что скрывалось под Яниной монашеской рясой — она не только вышла замуж, но и очень скоро произвела на свет ребенка. А сопоставив время, прошедшее с момента ее замужества, и время, необходимое для нормальной беременности, смекнул, что дочку Яна зачала с его другом Миланом еще за месяц до его знакомства с Геленой. Короче говоря, она просто водила его за нос, недотрога.

---

[1] Просветление *(инд.)*.

Боже, до чего в этом мире все перепуталось... Глоток джина уже попал в кровь, и алкоголь начинал оказывать действие: блеклые, орехового цвета глаза Славика загорелись, пепельно-серое лицо посвежело, расслабленные, усталые мышцы приобрели упругость. Он повеселел, встряхнулся, а поскольку только сейчас осознал свою ошибку — забыл, что алкоголь в малых дозах бодрит,— решил не предаваться попусту гнетущим воспоминаниям о прошлом и мучительным опасениям за будущее и тем самым не сокращать себе жизнь, а принимать действительность как она есть и смело противостоять ей. И вот, уже без отвратительного, унизительного страха он достал из Геленинога тайника бутылку и налил себе джину в стаканчик из-под горчицы, из которого Гелена якобы пила минеральную воду «корытницу», считая, что эта вода положительно действует на пищеварение.

В конце концов, пять лет я даже не нюхал спиртного, завтра — свободный день, Гелена этой бутылки уже не допьет. ТАК ЧТО ЖЕ...

Нелегко далось ему воздержание, поначалу он частенько срывался. И долго боролся с рецидивами, пока наконец не пришел к заключению, что поможет ему лишь одно — абсолютная трезвенность. Он прислушался к совету своего защитника и спасителя, режиссера Светского, который некогда тоже претерпевал подобные муки; только Светского он может благодарить за все, чего ему удалось достичь. Светский взял его к себе ассистентом при условии, что он завяжет с выпивкой. Такие слова, как «исключительные данные», «недюжинный талант», этот режиссер вообще никогда не произносил. Ахинея, романтические, патетические бредни, меня тошнит, когда я это слышу. Режиссеров он сравнивал с музыкальными исполнителями. Понимаешь, тут такая же штуковина, что и с пианистами: достаточно иметь каплю музыкального слуха и крепкую задницу, терпение, выдержку, чтобы сидеть на этой заднице и упражняться, упражняться до потери сознания, часы, месяцы, годы, больше других, да, каплю музыкального слуха и волю, и этого хватит. Режиссура то же самое; режиссером может стать каждый, у кого есть хоть какая-то способность зрительно мыслить, немного организационного, так сказать, «таланта» и крепкие нервы, мы обыкновенные интерпретаторы, ремесленники, пианисты, понимаешь, ты можешь быть гениальным пианистом, совершеннейшим виртуозом, но все-таки навсегда останешься лишь интерпретатором чужих замыслов. Только тот, кто создал само сочинение, только тот — подлинный творец.

Славик не соглашался с ним: Чушь порешь. (Они с самого начала были на «ты», Светский не терпел церемонного обращения на «вы»: Когда работаю, мне это мешает — пан режиссер, вы...— понимаешь, портит настроение, теряю контакт, авторитет надо завоевывать иначе, понимаешь, либо ты вытянешь, либо — харакири.) Чушь порешь, возражал Славик, ты хорошо знаешь, что это не так, интерпретатор такой же творец, он творчески, по-своему толкует сочинение, ты будто не знаешь, что интерпретацией можно запороть самое гениальное произведение и наоборот. Из скольких паршивых сценариев ты сделал отличные вещи, да и вообще, самое гениальное произведение останется мертвым, если никто не исполнит его, а уж о сценариях и говорить не приходится. Сценарий — пустое, грошовый клочок бумаги, пока не снимешь по нему фильма, не вложишь в него смысла, и ты именно тот, кто определяет конечный результат. Возьми авторский фильм — это твое детище от начала до конца, он равен любому сочинению или роману, да чего там равен, он больше, он действеннее, какая уйма людей попадает под твое влияние, брось, пожалуйста, куда литературе тягаться с кино! Кинематографист — это все вместе: он и художник, и композитор, и писатель. Славик просто задыхался, яростно защищая кинематограф, а Светский знай ухмылялся: Щенок ты еще. Авторский фильм, ишь куда загнул, камеру от проектора пока отличить не можешь, а уж мечтаешь об авторском фильме, ах ты,

желторотый, погоди, еще узнаешь, что за тоска зеленая делать фильмы, но ты мне нравишься, ослиные твои уши, я тоже был когда-то таким же фанатиком, попробую поработать с тобой, но с выпивкой завязывай, это я тебе говорю, ни глотка, иначе — харакири, понятно? — ни-ни. Я-то знаю, именно харакири, только тупым мечом, медленное харакири. Сперва ловишь кайф, но мало-помалу это оборачивается другим концом. Поначалу я заполнял выпивкой краткие промежутки между работой, но понемножку они все более удлинялись. Потом я стал заполнять работой краткие промежутки между попойками, и стало ясно, что в конечном счете выпивка сожрет работу. И знаешь, что было хуже всего? Дыры, понимаешь, я по-настоящему терял память, подчас наступали долгие периоды, когда я вообще ничего не помнил, мозг мой полностью отключался, а депрессия, ужас какой-то, этот кошмар и злейшему врагу не пожелаешь. Ни капли алкоголя! Он погладил поседевшую козлиную бородку и предостерегающе поднял указательный палец: Иначе — харакири.

Впечатляющие слова Светского так напугали Славика (и у него случались «дырочки»), что он немедля решил ограничить более чем неумеренное пьянство и с тех пор стал тем, кого в народе называют «квартальным алкашом». Два-три месяца он в рот не брал спиртного, но когда прижимало, пил по трое суток без роздыху, и после таких возлияний проходило еще дня три, пока он очухивался. То были чудовищные дни: голову нестерпимо сжимал железный обруч и вызывал где-то в макушке смертельный страх, отчаяние и мучительно-постыдные укоры совести. Он собирал последние остатки воли и сил, чтобы не выпить рюмку для бодрости. Понимал, что это могло бы на какое-то время избавить его от депрессии, но вместе с тем и окончательно сломить: кажущееся облегчение вскоре наверняка обернется тяжким недугом — алкоголизмом, а на эту карусель садиться ему не хотелось.

Да, не просто было выдержать, но он выдержал. А иначе, в самом деле, невероятно мучительное харакири бамбуковым мечом; в конце концов победил инстинкт самосохранения, и с тех пор он даже не заглядывал в рюмку. Три кружки пива в день, но это не в счет.

Славик бросил пить, и все изменилось. Ему казалось, что он стал совсем другим человеком. Он с удивлением изучал себя прежнего и без устали задавался вопросом: неужто и правда это был я, тот бессознательный комочек нервов, тот жалкий бедняга, то воспаряющий к звездам, то скулящий в дорожной пыли, вершина и пропасть, эйфория и депрессия, слепой и глухой ко всему окружающему? Немыслимо... Он чувствовал себя заново рожденным. И вновь это была эйфория, постоянная эйфория, эйфория трезвости. А потом?

Он стал неприятным в общении. Уверился, что наконец-то прозрел. Его раздражало, что окружающие — в особенности Гелена — с непостижимой тупостью отстаивают свою слепоту и даже более того — пребывают, очевидно, на верху блаженства. С воинственной нетерпимостью людей, заменивших одну крайность другой, он решил переделать и ближних по своему подобию. И как кающиеся грешники становятся фанатичными святыми, а отрекающиеся священники превращаются в фанатиков-атеистов, так и он, убежденный алкоголик, стал фанатиком-абстинентом. Чему ж удивляться, если вскоре всем набили оскомину его запальчивые нравоучения и они, пресытившиеся и раздраженные, плюнули на него. Ну-ну, раз так, пропивайте и ту каплю разума, которая у вас еще осталась, начисто освободитесь от памяти, вы, кучка жалких рабов, изрек он и, отвернувшись от них, умыл руки. Среди слепых и одноглазый — король, было его последнее предостережение. А потом он остался в одиночестве. И сразу же растерялся: не знал, куда девать свободное время.

Это был интересный опыт. Славик перестал пить, выполнив тем самым условие режиссера Светского (жаль, год назад с ним случил-

ся третий инфаркт). Светский взял его под свое крылышко и посвятил в самую суть дела: дал ему возможность «приобщиться» к съемкам с самого начала — совещания с автором сценария, с редактором, с художником сцены, с художником по костюмам, главным оператором, работа над техническим сценарием, выбор актеров, читка... И просто парадоксально: работа ассистента режиссера поглощала теперь гораздо больше времени, чем раньше, но — удивительная вещь — чем больше времени он отдавал работе, тем больше его оставалось. Он снова взялся за сценарии и рецензии; надо было что-то делать, чтобы не умирать от скуки.

Но перемена эта явно коснулась всего. Он стал смотреть на мир другими глазами, и результаты не заставили себя ждать; и были они не только приятными.

Надежда, что он все-таки получит возможность заняться режиссурой, стала гораздо реальнее; но когда он с этой высоты стал оценивать свое недавнее прошлое, когда он представил себя в шкуре режиссера, когда посмотрел на себя глазами будущего режиссера, мороз пробежал у него по спине: неужто он заслуживает того, чтобы какой-то неоперившийся молокосос грубо, бесцеремонно, жестоко оценивал его работу; как бы там ни было, но мы, творческие люди, должны сплотить наши ряды (хотя бы для видимости), мы должны стоять в одной шеренге против всей этой рецензентской шушеры, против паразитов, которые наживаются на наших мозолях и при этом не подмечают в нашей работе ничего, кроме ошибок и недостатков. Резкий, нелицеприятный критик Петер Славик вызывал в будущем режиссере Петере Славике непреодолимое отвращение; как любая птица, что гадит в собственное гнездо. Он охотно вычеркнул бы из памяти свое драчливое прошлое, но понимал, что и это его не спасет. Те, которых он «разносил», наверняка еще не забыли об этом, и у него не оставалось сомнений, что при первом же удобном случае они воздадут ему за все сторицей. Все написано черным по белому — и ничего не вычеркнуть ни из газет, ни из памяти «пострадавших». Что же теперь? Надо ли выступить перед общественностью с самокритикой, в которой он открестится от прежних приговоров, или — чем черт не шутит? — каждого из будущих коллег-режиссеров почтить своим визитом и, покаявшись, извиниться, отречься от грехов и заблуждений молодости? Нет, это было бы непростительным промахом, несусветной глупостью. Все равно ему ничего не простили бы, он только бы уронил себя в их глазах, стал бы мишенью для справедливых насмешек. Положение требовало крайнего, а значит, самого простого решения.

И вот, не моргнув глазом, без каких бы то ни было извинений или объяснений, неожиданно и внезапно он превратился из беспощадного обвинителя Савла в рассудительного судью (не защитника — не будем обманываться) Павла, глубоко понимающего проблемы творчества.

Было ли это беспринципное трюкачество? Измена самому себе? Соглашательство? Несомненно многие так думали. Но держали про себя, и это было весьма важно: естественность, с которой он сделал это сальто-мортале, ошеломила их до потери сознания, а когда они опамятовались от шока и попытались разобраться в метаморфозе, он действовал уже в новой роли с такой непринужденностью, что никто не мог и усомниться в его искренности; словно он всегда выступал в роли справедливого ценителя, который хотя и не отказывается от своего права критиковать, да, у него имеются оговорки, но при данном состоянии нашего кино и телевидения не считает нужным выпячивать негативные стороны. (Конечно, на фоне предыдущего полнейшего отрицания могло показаться, будто он вдруг начал все расхваливать, но это уже другое — всего лишь оптический обман!) Нет, он не отрекся от своих оговорок, он лишь перестал делать на них упор. Какая же здесь беспринципность? Какая же измена самому себе? Разве

это соглашательство? А это и вовсе несправедливый, явно ядовитый упрек. Будто он ищет для себя каких-то выгод, он, малозначимый ассистент режиссера? Молодой человек просто созрел, осознал, что у критика есть не только права, но и обязанности, да, он осознал свою ответственность, понял, что критика — прежде всего конструктивная деятельность, она не может строиться только на отрицании, да, в самом деле, юноша набрался ума.

Если когда-то несколько закомплексованных идиотов, завистников и спившихся нытиков курили ему фимиам за то, что он отделывал всех и каждого, то теперь другие люди рукоплескали ему за то, что он с такой чуткостью и пониманием подходит к творениям наших деятелей кино и телевидения.

Да, теперь рукоплескали ему другие люди, и он очень скоро убедился, что это нужные люди. Сценарии, которые он писал еще бескомпромиссным, острым на язык юношей, сценарии, которые редакторы возвращали ему со множеством замечаний, требовавших переработки, те же самые сценарии, которые даже после многократной переработки оказывались «непригодными для реализации», вдруг без малейшей правки, вплоть до запятой, стали устраивать. Положение изменилось, он стоял на правильном пути. Высвободившееся время, которым вознаградила его трезвость, стало превращаться в успех и деньги; и этому уже нельзя было помешать.

Славик менялся, явно менялся; это замечали все. Но, дело известное, за все нужно платить. Что ж, и он заплатил за свою перемену. Приходили успех и деньги, уходили старые товарищи. Если прежде его любили, теперь стали уважать, но не более того: нет, им не пренебрегали, но дружеские отношения утратили непосредственность, и даже — что еще хуже — друзья стали его избегать. Он с горечью обнаружил, что трезвый словак осужден на одиночество.

Да, он потерял старых друзей, а новых не приобрел (по временам выплывали лишь подхалимы); он утвердился в мысли, что положение трезвенника в обществе не из завидных. Трезвенник — элемент почти асоциальный. Не подозрительно ли? Человек, бодрствующий в то время, когда остальные спят, способен на что угодно! О чем же это трезвый думает, когда мы пьем? Наверняка строит какие-то козни, этот малый опасен, поосторожней с ним, он вздумал нас изничтожить. Трезвый человек — форменная обезьяна.

Даже Гелена не испытывала по этому поводу удовольствия. Она будто ревновала его к его трезвому одиночеству, которое вылилось в самостоятельность; он встал на собственные ноги, выскользнул из ее рук. Да, Гелена воспринимала это как измену, словно он бросил ее в беде, хотя сама она — а как же иначе? — объясняла это совсем наоборот: она счастлива, потому что осталась в коллективе, тогда как он добровольно вышел из него. Ты становишься бирюком, опасным индивидуалистом, поосторожней, камрад, поосторожней, ты катишься по наклонной плоскости, говорила Гелена в шутку, но он чувствовал, что она относится к этому серьезнее, чем сама того желает.

Не по душе ей была его трезвость, по крайней мере, поначалу. Потом она вошла во вкус, у них завелись деньги. Он снова убедился в ее невероятной способности приспосабливаться. Мы перебивались с хлеба на воду, будто нищие? Ну и что, мы же богема, а не какие-то мещане. Мы теперь живем, как богатые мещане? Ну и что, почему богема должна жить, как нищие?

По существу он был с ней согласен. В самом деле, это ложная дилемма — быть или иметь. Словно одно должно исключать другое. Ложные сентиментальные воспоминания о нищих временах: мы были бедны, но жили на полную катушку. Словно человек может жить в полную силу, только когда у него урчит в животе! Повышение материального уровня как нормальная предпосылка более полной жизни — почему это не срабатывает? Почему стольких людей это приво-

дит в смущение? Материальное богатство и духовная нищета? Чем больше у нас есть, тем мы ничтожнее? Что за бессмыслица?! На чем это зиждется? Люди еще не свыклись с достатком, слишком быстро богатеют, но это войдет в свою колею, не бойся, камрад. Человек должен уметь приспосабливаться к любой ситуации, не так ли?

Было даже занятно — она начала экономить. На нем, правда.

Сколько ты сегодня размотал? Не понимаю, как тебе удается ухлопать столько денег, если ты не пьешь? Хватит уже разыгрывать из себя креза. Не видишь разве, как тебя используют? Ты сидишь за одной чашечкой кофе, а они наливаются по самые брови, без гроша за душой, потому что знают — этот идиот за все отвалит. Надеюсь, ты хоть не думаешь, что тебя за это будут больше любить? Как раз наоборот, только выставишь себя на посмешище. Тебя вообще скоро запрезирают. Платишь за них, будто купить их вздумал. Понимаешь? Будто чувствуешь свою вину перед ними. Будто стыдишься и извиняешься за то, что у тебя есть деньги, а у них нету. А почему нету? Потому что, пока ты работаешь, они пьют. Понимаешь, как это выглядит? Будто эти деньги ты не заработал честным трудом, будто не заслужил их. А с другой стороны, это и оскорбляет. Пил бы ты с ними — ну, дело другое. А так получается, что ты их презираешь. Сейчас тебе завидуют, но если будешь продолжать в том же духе, начнут тебя ненавидеть. Чего ты ведешь себя как щедрый дядюшка? Снисходительность оскорбляет людей. Поразмысли над этим, камрад.

Так твою курочку, ты ведь становишься скупердяйкой!

Щедрость — сестра нищеты, камрад. Если у тебя мало денег, плюешь на них. А если полно, хочешь, чтоб их было еще больше. Вот такто. Я это по дядьке заметила. Загребал деньги лопатой. Потому я и ушла от него. Тошно было смотреть.

Славик, подавленный железной логикой ее нелогичности, робко заметил, что, по его скромному мнению, она чуточку противоречит себе, но Гелена терпеливо объяснила, что это ему только кажется, поскольку он умственно отсталый, но тут же присовокупила, что это не только его вина. Тебе в этом трудно разобраться, потому что ты рос в бедной семье. Это вина среды и обстоятельств, понимаю, в Горном Лесковце у тебя не было возможности приобщиться к проблематике тугого кармана. В этом смысле спокойно положись на меня. Работай, зарабатывай, а о деньгах не думай, я сумею ими распорядиться. Но для ясности скажу — я не заставляла тебя гнать деньгу, я была довольна, хотя у нас ни шиша не было, но раз уж ты заделался таким трезвенником, совершенно естественно, что я должна о тебе позаботиться. Каждый трезвенник — душевно раздавленный человек, а станешь мне противиться, лишу тебя правомочий. А с этими рецензиями ты их здорово достал, они и рты пораскрывали.

Она понимающе засмеялась. Это его добило. Надо же! И до этого додумалась. Прикидывается дурочкой, несет всякую околесицу, словно все время под мухой, а при этом, так твою курочку, голова у нее все же варит, черт ее дери!

Так именно и было — благодаря его дальновидности, благодаря тому, что он вовремя почуял опасность, вытекающую из крепколобого, упрямого, безоглядного критиканства, его вступление в клан режиссеров — в ту пору, когда у режиссера Светского случился инфаркт и ему поручили завершить постановку,— было значительно облегчено: немного посудачили, но приняли в свою компанию, грехи молодости были забыты. Приняли его без восторга (это его мало заботило), но и не ставили палок в колеса.

И удалось ему, если угодно, достичь этого только потому... почему? Ага: потому что он сумел правильно прозреть будущее, учитывая ошибки прошлого. А почему он учел ошибки прошлого? В самом де-

ле, почему? Ага: потому что начал смотреть на мир трезво и реалистично. Он, Петер Славик, чтоб было ясно. Что-то у него уже начинают путаться мысли... видать, не надо было выпускать Геленину джина из бутылки... и язык уже заплетается, да, о чем это мы говорили?

Ага: история восхождения Славика прославляет трезвость. Ну, за здоровье! Джина уже осталось на донышке, но меня одолевает сон. Еще глоток. Фу, гадость! Брр, как только это можно пить! А она начала хлестать водку вдвойне, и за него тоже, словно хотела наказать его. За что? Подумать только: дескать, с тех пор как он перестал пить, он стал дрянным человеком. Ей-богу! Так она говорила. И конечно же, не преминула что-то процитировать. Но что? Дай бог памяти! Что-то о честолюбии и фанатизме. Минуту! Где ее записная книжка? Небольшая — чтоб вмещалась в сумку. Чтоб всегда была под рукой. Оттуда она выуживала свои глубокомысленные изречения. Цитаты, сентенции, афоризмы, гномы, зерна мудрости. Выучивала их наизусть, а потом била ими по башке. Потрясала остроумием и находчивостью. Рабочее пособие. В каждую статейку сеяла по нескольку зерен мудрости. Метала их словно бисер перед свиньями. Нет, на столе ее нет. Странно. Она же работала. В машинке — неоконченное интервью. Ага. Ясно. Потом она поехала в Прагу. Поехала? Или уехала? Как же она обошлась там без нее? Сумка. Правильно. Вот она, записная книжка. Хотя нет, это паспорт.

Гелена Барлова.
Родилась:
3 марта 1945 года в
Банска-Бистрице.
Вот именно.
Родилась в сердце Словакии.
В Средней Словакии.
А умерла?
В Братиславе.
На окраине Словакии.

Данные для свидетельства о смерти. Когда его дадут мне заполнить? Наверняка там будет графа: Причина смерти. Что там напишут? Кухонный нож? Недоразумение? Алкоголь? Петер Славик?

Гелена Барлова.

Где ваша записная книжка? Вот она. Боже, сколько здесь мудрости. Еще бы от этого не отупеть. Но как здесь найти... что, собственно, я ищу? Ага. Честолюбие и фанатизм. Это ее почерк. Черте что, а не почерк. Каждая буква клонится в другую сторону. Ну, за здоровье! Внимание: *Множество доказательств, которые способны подтвердить определенную гипотезу, должны быть прямо пропорциональны невероятности этой гипотезы.* Лаплас. Кто это? А, да, какой-то ученый. Умник. Его бы на мое место, враз бы перестал умничать. Кто знает, удастся ли им. Собрать множество доказательств, подтверждающих мою вину. Довольно невероятная гипотеза. *Я не любил вас настолько, чтобы ради вас дать отсечь себе голову.* Ну и ну... Это сказал Жюльен Сорель? Исключено. Она, должно быть, ошиблась; ведь его, кажется, повесили, как он мог это сказать? Или его обезглавили? Уже не помню, здорово я набрался, так твою курочку! *Наивысший закон каждого существа — сохранить себя, выжить.* Макиавелли. Явно напутала, даже цитаты не умела правильно приводить. Почему именно Макиавелли? Это же придет в голову всякому, кто очутится в моем положении. Очутится... читай: честолюбие... ага, посмотрим на «че». «Че» — честолюбие. Подчас боюсь тебя, смеялась она. Не хотела бы я стать жертвой твоего честолюбия и фанатизма. В какой связи, кстати, она это сказала? Ага. В связи с его рвением. Хотелось стать режиссером. А ей не по душе это было! Изыди, сатана! Посмотри на меня извне!

Ты прав. А иначе мы эту главу до утра не закончим.

Послушай, камрад, почему тебе хочется стать режиссером? Она именно так и сказала. Не кроется ли под этим лишь жажда власти? Любишь повелевать людьми, мне все понятно. Не стал бы ты режиссером, так ударился бы в политику или пошел бы в армию. А теперь марш в кроватку, мой сладкий трезвенник!

Он прикончил бутылку в ту минуту, когда по транзистору, настроенному на станцию «Звезда», прозвучали сигналы времени: два часа ночи. Сбегаю ненадолго в город, подумал он. Куда она вчера ходила... «Кристалл»? «Ялта»? «Словацкий погребок»? «Лотос»? Я мог бы заскочить и к Яне, у нее сегодня был вернисаж, там, пожалуй, весело. Хотя кто знает. Наверняка и до нее уже дошло... Надо бы принести малышке какой-нибудь подарок. Из Праги. От тети Гелены.

И в ту минуту, когда из эфира донесся прогноз погоды — в последующие сутки сохранится жаркая погода, утром безоблачно, днем небольшой туман, затем дальнейшее увеличение облачности, местами дожди, к вечеру пройдут кратковременные грозы — он упал ничком на Геленин диван, в мягкую, мохнатую овечью шкуру, хранившую еще запах ее тела. Теля, телушка, так твою курочку... курочка моя — где ты?

12

Славик медленно, нерешительно, словно помимо своей воли, спускался вниз по лестнице к квартире Амалии Кедровой. Не по сердцу ему это было, нет, совсем не по сердцу. Уже одно то, что она позвонила по телефону, как-то настораживало. Почему она не явилась собственнолично, ей что, трудно было подняться этажом выше? И это ее требование, поначалу он вообще ничего не понимал: о каком счете она говорит? Зайдите уплатить по счету, пан режиссер, звучало это как приказ. Ну да, деньги за уборку, вот о чем речь. Но почему она не пришла за ними сама? И голос у нее звучал иначе, чем обычно. Слишком уж самоуверенно. Нет, мне не надо было ее слушать, думал он неприязненно, рассматривая табличку с фамилией на двери ее квартиры: Амалия Кедрова.

Славик с удивлением обнаружил, что дверь полуоткрыта: из квартиры доносился ее голос, она с кем-то разговаривала. Выходит, у нее гость, подумал он раздраженно и хотел было уж вернуться; все-таки неловко и зазорно расплачиваться с ней в присутствии постороннего человека, и кроме того... да, но эта полуоткрытая дверь: она ждет меня, уверена, что приду тотчас после ее звонка, что же это должно означать? Будто понимает, что я обязательно приду. Это показалось ему оскорбительным: что она себе позволяет? Пойду домой, возмущенно сказал он себе, но в ту минуту, когда уже собрался уйти, уловил старухины слова, которые настолько удивили его, что он приложил ухо к двери и, затаив дыхание, стал вслушиваться: ...ну, вот ты и пришел, да? Теперь я хороша для тебя, есть хочешь, да? Я тебе только для того и нужна, чтоб ты мог нажраться и выспаться, пошел прочь, видеть тебя не хочу, ишь какой замурзанный, где ты опять извалялся?..

Ну и дела, у старухи — полюбовник, просто непостижимо...

...а я-то думала, что хоть ты будешь рядом, когда уже никого со мной не осталось, а ты такой же, как и все, тьфу на тебя, тебе бы только блудить, ну, у которой ты опять был, видик же у тебя, точно вывалялся в канаве... и худущий какой, одни ребра торчат, не лезь ко мне сюда, не лезь ко мне в постель...

Фантастика, она нормально содержит мужичка, потому и ходит убираться...

...нет, нет, нельзя, нельзя, не смей марать мое покрывало, ступай туда, откуда пришел, обойдусь без тебя, не думай, что ты единственный...

Так твою курочку, форменный промискуитет, а мужичок молчит, точно воды в рот набрал...

...пошел вон, вон пошел и больше никогда не приходи, я же не одна, заруби себе на носу. Ты будто не знаешь, что у меня дочка. Ну конечно, не знаешь, у тебя только одно на уме...

Голос, да, с голосом что-то не в порядке... вроде бы ее голос, да, голос ее, а вот слова... не ее... и произношение... старуха обычно говорит совсем по-другому... с противным акцентом... а теперь говорит на благозвучном литературном словацком...

Он услышал звук приближающихся шагов, частое, веселое постукивание, кто-то спускался по лестнице. От растерянности и беспомощности он взмок. И от страха да от того, что старуха вдруг заговорила своим голосом, но какими-то чужими словами, в нем родилось смутное, тревожное чувство. Почему она до сих пор притворялась? Он хотел уйти, но в эту минуту на лестнице появилась молодая пани Клингерова. Добрый вечер, пан режиссер, в гости идете, в гости? — спросила она по-дружески и мило улыбнулась. Угу, проворчал он. Глупо было бы уйти, еще подумает, что я тайком, как мальчишка, подслушиваю у чужой двери.

Он решительно открыл дверь и вошел в квартиру Амалии Кедровой.

На треногом столике в овальной плетеной корзинке лежали три яблока. У столика стояло три мягких стула. Горячий и влажный воздух был насыщен запахом ромашки; из черной кастрюли, стоявшей на раскаленной электроплитке, поднимался белый пар, вода, в которой кипела ромашка, громко булькала — старушка лечила свою астму. На кровати, на перине, на белоснежных простынях, отдыхал, свернувшись в клубок, худой, замызганный черный кот.

Она продолжала разговаривать с ним какое-то время уже после того, как Славик уселся на один из трех обитых стульев. Он с интересом оглядывал комнату, потягивая густое, темно-красное сладкое вино. Из черной бузины, против ревматизма, объяснила она, наливая ему в бокал для шампанского домашней наливки.

На деревянной в три ряда этажерке с искусно вырезанными стойками помещался телевизор; оба ряда под ним были забиты книгами в грязных, засаленных, захватанных переплетах. Сонники, буркнула старуха, поймав его любопытный взгляд. Ага, ее знаменитые сонники, подумал Славик. Он с усилием оторвал взгляд от сонников и уставился на нее.

Амалия Кедрова, маленькая и ветхая старушечка, сидела в качалке — на ней было вечернее платье грязно-розового цвета из шелковой парчи, сшитое в романтическом стиле, с пышно собранными рукавами и расклешенной юбкой.

Разумеется, сперва он опешил, увидав ее в Геленином платье, но старушка объяснила, что Гелене оно уже не понадобится и что все равно она так и не надела его ни разу. Когда он попытался ей что-то возразить, она заткнула ему рот — цыкнула и, разобидевшись, отгородилась двумя свободными стульями: Вы хотите сказать, что я украла его? Ее слова смутили Славика, потому что именно эта мысль — как ему казалось — вертелась у него в голове, и смущение его вовсе возросло, когда старушка напомнила, что он сам велел ей взять из Геленина шкафа то, что ей больше всего нравится, чтобы, дескать, и у нее осталась приятная память о Гелене. Он не помнил точно, сказал ли он ей что-то в этом роде, или она просто все выдумала, и потому с облегчением кивнул: Ах да, вспомнил, извините.

Он с трудом узнавал ее; седые волосы зачесаны за уши и сзади закручены в узелок: волосы плотно обтягивали голову, словно приросли к черепу. Это уже не была та скромная, учтивая, вызывающая жалость старая женщина, перед которой чувствуешь себя виноватым и совестишься, нет, отнюдь. Спокойная, самоуверенная, так твою ку-

рочку, пожалуй, я боюсь ее. Ничего не поделаешь, она дома, а дома и стены помогают. На домашней спортплощадке игру вести легче, гости вынуждены обычно защищаться, незачем мне было сюда приходить!

Мало вы ее били, это самая большая ваша ошибка, говорила она, укоризненно кивая головой.

Позвольте, я ее ни разу не ударил!

Говорю, мало били. Тут и удивляться нечего, что она стала водкой зашибаться и путаться с чужими мужчинами. Вот хоть бы моего старика взять. Покуда молотил меня, точно рожь, все было в порядке, а как кончил лупить, я враз поняла, что уже не нужна ему — другую завел. Сколько слез она тут пролила, бедняжечка...

Как? Гелена и чтоб слезы проливала? Он остолбенело вперился в старуху. Потешается она надо мной, что ли?

Боюсь, ваше вино ударило вам в голову. Болтаете пустое. И вообще, не знал я, что она к вам сюда заходила.

Сколько вы еще всего не знаете, презрительно махнула она рукой.

Играет со мной, будто с несмышленышем. Будто мы с ней на равных... Нехорошо мне от вина...

Вам вроде нехорошо от вина, пан режиссер, сказала Амалия озабоченно.

Жуткая бормотуха.

Не знала я, что вам так мало надо. Еленка, та... Правда, до чего же она страдала, что ваша мамочка ее не любила. Ну что я ей сделала, что она меня так ненавидит, за что, почему? Так-то вот она все вздыхала тут. Ну я, наконец, взяла да сказала ей, жалко мне ее стало, бедняжку...

Вы о том знаете? — потряс он отяжелевшей головой; голова раскалывалась, и он лишь с огромным усилием пытался осмыслить загадочные намеки Амалии Кедровой.

Знаю. Мой старик работал тогда урядником...

Когда?

Еще до того, как совсем пропил ту малость ума, что дал ему господь при рождении. Она покачала головой. И то сказать, немного он отпустил ему, господь на это дело не больно-то тороват. Словно боится, что потеряет работу, если даст людям побольше разума. В ее словах не слишком много было смирения. Но вдруг, будто осознав свое богохульство, она осенила себя крестом и стала быстро перебирать четки. Да, старуха права. Люди, которых бог умом не обидел, каких только подлостей не творят. После такой своеобразной формы покаяния она впилась взглядом прямо ему в глаза: Подчас даже бóльшие подлости, чем люди глупые. А потом еще изволь их слушаться.

Замолчите уж наконец! — вскричал он. Не понимаю, о чем вы говорите.

Она оскорбленно отстранилась. Чего кричите? Надеюсь, вы не думаете, что я и впрямь туга на ухо. И следом по-деловому спросила: Ну как, уплатим по счету?

По счету? Какой счет?

Опять его одурманила мысль, что они поменялись ролями. Сейчас она играет мою роль, она стала режиссером, а я исполняю ее указания.

Вы же для этого пришли, правда?

Ага, счет, улыбнулся он с несказанным облегчением; наконец он вспомнил, почему он, собственно, сидит здесь. Он сунул руку в карман и вытащил деньги. Разумеется, он вручил ей месячное жалованье. Пожалуйста, добавил он подобострастно.

Она заскрежетала... но чем? Беззубыми деснами? Звук был похож на скрежет зубов неужто они у нее вдруг выросли? Я бы ничему не удивился... ведь этот кот лежал у нее на кровати, а теперь сидит на коленях.

Ну, эта пара сотен погоды не делает, пан режиссер, сказала она холодно, а потом, словно бы желая дать выход своей злости, схватила кота за загривок и резко отшвырнула от себя.

Кот совершил в воздухе сальто-мортале, пружинисто упал на все четыре лапы и яростно заверезжал. У Славика мороз пробежал по коже; казалось, будто это не звериный крик, а плач маленького ребенка.

Амалия и кот вцепились друг в друга глазами. Амалия, выпрямившись, замерла в качалке, а кот являл собой совсем иное зрелище; выгнутая, как тетива лука, спина, ощетинившаяся шерсть, смердящая, как мокрый войлок. Они обменялись какими-то беззвучными сигналами; воздух разряжался сухим электрическим потрескиванием — исходило ли это от кошачьей шерсти?

А потом они договорились. Снится мне, что ли? Эти двое заключили перемирие: на старушечьем лице появилась мольба о прощении, и кот расслабился, изогнутая спина выпрямилась; кот непринужденно махнул правой лапой и сощурил глаза: будто кивком выразил согласие и благосклонно простил ее. Сколько это продолжалось? Мгновение? Нет. Он вспомнил, будто ученым удалось точно установить, что так называемое мгновение длится ровно одну шестнадцатую секунды. Или он ошибается? Почему сейчас ему лезет в голову такая чушь? Но одно он знает определенно: то, что мы называем цветом, по утверждению физиков, есть всего лишь определенная длина световых волн. Что я здесь, собственно, делаю? Это сон? Сон, конечно, сон. Но кот настоящий — вот он уже умостился на старухиной кровати, на ее чистых белых простынях. И она не возражает; наверное, чувствует себя виноватой, а шельма-кот этим пользуется.

Знаете, как оно, пан режиссер. Деньги завсегда были и будут, хотя их и никогда нету, она коротко, визгливо засмеялась и предостерегающе подняла ладонь, будто хотела отвести все его возражения, да он и не думал возражать: Дайте мне договорить! Я знаю, деньги еще не все. Куда важнее душевный покой, не правда ли? Но ведь деньги помогают нам сохранять и душевный покой... Так сколько?

Что сколько?

Не прикидывайтесь дурачком, она опять начинала распаляться. Надев очки с матовыми стеклами, вперила в него невидящий, угрожающий взгляд. Вы отлично знаете, что в эту ночь я вас видела. У нас, у стариков, чуткий сон. Было примерно четверть второго, когда вы прошли мимо моей двери. К себе домой. К Еленке!

Я не сделал этого, отчаянно закричал он. Когда я пришел домой, Гелена была уже мертва.

Я вам верю, успокоила она его. «Какая польза человеку, если он приобретет весь свет, а душе своей повредит», правда же? Да вот поверят ли они вам?

Почему же вы не сказали им об этом?

Забыла. Она насмешливо осклабилась. Но могу и вспомнить. Это зависит от вас. Могли бы вы мне одолжить десять тысяч?

Нет, нет! Пусть не занимается вымогательством. Глухая и слепая баба-яга. Вот именно, можете говорить сколько влезет, теперь вам уже никто не поверит. Нечего вам было столько мудрить...

Увидим, она перестала качаться и встала с кресла. Оправила помятую юбку-клеш грязно-розового цвета и пошла к двери.

Постойте, постойте!

Она остановилась. Нетерпеливо посмотрела на массивные электронные часы на костлявом запястье левой руки: Подожду. Но долго ждать не могу. Нынче убираюсь у доцента Варади. Он любит точность...

Я... еще подумаю. Подумаю об этом. Не горит же...

Она что-то бубнила, но было не разобрать.

Не понимаю вас, просительно протянул он.

Наверное, она пожалела его, так как снисходительно кивнула, вынула изо рта жвачку и отчетливо повторила: Только не думайте до самой пенсии, говорю. До завтра! До завтра, так и быть, подожду.

Старуха погладила ладонью седоватую козлиную бородку и ласково улыбнулась: А иначе харакири!

13

Петер Славик сидел в своем кабинете и пытался сосредоточиться над текстом *Краткой истории села Горный Лесковец*, составленной его отцом, Владимиром Славиком. Это был результат отцовских любительских историко-археологических исследований. Он знал, что отец что-то изыскивает и пишет, из-за чего мать частенько с ним вздорила.

Вместо того чтобы наконец посвятить себя семье, он копается в какой-то хронике, шныряет по домам, надоедает людям, заставляет их отыскивать на чердаках старые бумаги, точит лясы со стариками и старухами, которым уже столько лет, что винтиков у них явно не хватает.

Результаты своих поисков, перепечатанные на машинке, отец (при отъезде в Братиславу) оставил в Горном Лесковце в ГНК, и теперь, десять лет спустя, они увидели свет. Это, правда, была не книга, а всего лишь тоненькая, в двадцать страниц брошюрка, которую, как Славик понял из сопроводительного письма, издал районный Дом культуры и образования для Горнолесковецкой «беседы» [1] по случаю тридцать пятой годовщины освобождения села [2]. Брошюра пришла сегодня по почте: два экземпляра — для него и для матери. Свой мать уже взяла — была у Славика рано утром, и, конечно, не обошлось без слез. Доживи отец до этого, вот бы уж порадовался, бедняжка... растроганно твердила она. Какие молодцы, что вспомнили о нас, представь себе, пакет пришел как раз сегодня, в день моего рождения. Так, невзначай, она напомнила ему, что сегодня ей исполняется пятьдесят семь. То, что отцовский труд — по случайному стечению обстоятельств — пришел именно в день ее рождения, она возвела в символический акт исторической справедливости и тут же не без робости спросила его, не будет ли он особенно возражать, если сегодня она познакомит его со своим обожателем — паном Виктором Ружичкой. Хорошо было б встретиться, раз уж у меня день рождения, я буду очень рада, если вы познакомитесь, вот увидишь, как он робеет перед тобой, стесняется, будто дитя малое, но на сей раз уж я его затащу, не беспокойся, само собой, сейчас не совсем подходящий момент для торжества, но такова жизнь, человек должен стиснуть зубы и выдержать...

Приняв его молчание за согласие, мать предложила встретиться им всем сегодня в пять пополудни. У него, у Петера, уточнила она. Почему именно у него? Почему не у нее? У нее, дескать, было бы неудобно и бестактно. А у него будет более удобно и более тактично? Да дело не в этом, при таких обстоятельствах просто смешно цепляться за слова. Дело в том, что ты бы ко мне не пришел, а если мы придем к тебе, ты, по крайней мере, на час-другой перестанешь терзаться, немного забудешься, а то ведь так и сбрендить недолго. По сути, она предложила ему рассеяться, и он в конце концов согласился. В самом деле, мысль, что он останется здесь наедине с собой, приводила его в ужас. И теперь, когда впереди не было срочной работы и некуда было торопиться, его обуял страх, что у него не хватит сил выйти не

---

[1] Культурно-просветительский, читательский клуб.

[2] Имеется в виду освобождение территории Чехословакии в 1945 году от гитлеровских оккупантов.

только из дому, но и из самого себя, что он останется здесь, запертый на ключ, до конца жизни.

То, что произошло вчера, не должно повториться! Пусть он и пережил свое опьянение без серьезных последствий, все равно он чувствовал, что допустил непростительную ошибку, когда столь легкомысленно поддался минутной слабости и ради обманчивого облегчения подставил под удар пять лет трезвой жизни. Разве он не знал, как губительна для бывшего алкоголика даже одна-единственная рюмка, разве он мало мучился, разве пример Гелены был недостаточно убедителен (нет, теперь он уже не сомневался в непритворности ее решения бросить пить). Может, она и говорила правду: ...в Праге я даже не пригубила... еще вчера целый день он не верил этому, но после того, что узнал от Бутора, увидел все в другом свете, да, теперь ему все казалось возможным, ведь она не убила ребенка, она просто все выдумала, пожалуй, и вправду выпила лишь одну рюмку джина уже только на аэродроме с Каролом, а потом сошла с рельс, в ее замутненном сознании всплыло... что? Почему она это придумала? Ну вот, извольте, карусель опять завертелась.

Займемся-ка лучше *Краткой историей села Горный Лесковец*. Ее сухой, монотонный, учительский стиль, пожалуй, опустит нас на землю, обуздает расшалившиеся мысли, кто знает, как идет следствие и когда появится капитан Штевурка, чтобы ознакомить нас с результатами вскрытия...

...в это время и сюда стали проникать реформаторские течения... (В какое время? Ага, вот здесь!) Согласно данным контрольной описи Изака Абрахамидеса от 1611 года имела быть возведена, якобы в 1580 году, протестантская церковь, притом деревянная. Эта церковь около 1660 года была разрушена. Период XVII века отмечен религиозными распрями...

В первой половине XIX века на селе участились пожары. Население не успевало залечить раны после одного пожара, как вспыхивал другой. Одна беда накликала другую. В 1807 году по причине сильного ветра село охватил страшный пожар, уничтоживший за несколько минут 300 домов и амбаров. Среди них и школу. Подобный пожар случился и в 1821 году...

Во второй половине XIX века все большее развитие получают элементы капиталистического предпринимательства. В основном население занималось сельским хозяйством...

Количество эмигрантов на рубеже веков достигло 300 человек. Эти люди в село уже не вернулись (США, Аргентина)... В эти годы в крае наблюдается рост разбойничества, что отражало низкий социальный уровень множества семей. Защита национальных требований словаков была первоочередной обязанностью многих просветителей и патриотов...

В 1906 году организовали духовой оркестр...

Стоп! Вот мы уже и в нашем столетии.

Он вспомнил письмо, написанное почерком сельского старосты — его деда Мартина Славика: дед вручил письмо ему в руки в тот день, когда они переезжали в Братиславу. Славик пришел проститься с дедом, не подозревая, что видит его в последний раз. С отцом дед даже не простился: злобился, не мог спустить ему, что, вопреки его запрету, отец все-таки не устоял перед напором матери и согласился переехать в Братиславу; для деда это было верхом отцовского вероломства.

Петер Славик долго не понимал причин их раздора.

Лишь много позже, просвещенный отцом и учебниками истории,

Славик понял: дед был в белых легионах [1]. Это была основная причина его восхождения по общественной лестнице в годы первой республики [2]. До первой мировой войны, во времена монархии, он, бедный столяр, еле сводил концы с концами, но, вернувшись с войны, сразу заделался корчмарем и сельским старостой. И пока состоял им, добился постройки государственной четырехлетней школы, ввел в деревню электричество и автобусное сообщение. Этим он хвастался, шельмец, а то, что воевал против революции, держал про себя. Поэтому и скрежетал зубами, когда говорил об отце: Такого гада выкормил, можно сказать, собственной титькой. Дал ему выучиться на учителя, еще и школу ему построил, чтобы учить было где, а он как возблагодарил меня? Коммунистом заделался и в сорок восьмом [3] оттяпал у меня корчму. И чтоб я, лишенец, еще за жену и сынка его печалился? Черта лысого!

Дед, приземистый, плечистый мужик с круглым, как колено голым, черепом, вперил в Петера из-под густых ершистых бровей пронизывающий, колючий взгляд: Отец-то все пишет, пишет, ан нет, чтоб меня о чем спросить. Это он про нас пишет, не только про других, проворчал дед и сунул на прощание Петеру в ладонь свою рукопись. Это и было все его объяснение. Петер успел прочитать разве что заголовок — дед тут же выставил его за дверь, стараясь этой преувеличенной грубостью прикрыть постыдное волнение. А через три месяца Славик встретился с ним в последний раз — на похоронах. Да, дед и впрямь поспешил уйти в мир иной, и Славику казалось, что смерть деда была закономерным завершением его протеста, последней точкой, увенчавшей его мятежную жизнь, увековеченным укором; он словно бы хотел сказать сыну: Вот тебе за то, что ты всю жизнь от меня отступался, уж коль ты поджарил меня, так и ешь на здоровье! А может, поспешил потому, что предчувствовал близкий конец сына и не хотел его пережить? Кто знает. Так или этак, но письмо деда обрело в глазах Славика особый, поистине символический смысл: смысл завещания.

Подлинное событие в жизни нашего рода и села Горный Лесковец.

Бывали в прошлом времена, когда каждое село в нашем крае держалось своих законов и указов (окромя государственных). Об одном таком указе я хочу написать, точь-в-точь как рассказал мне под конец жизни мой отец о своем деде. Случилось это около 1800 года, а может, и ранее.

В селе промеж всяких указов был и такой: До Богородицы, то есть до 8 сентября, заказывалось пахать поле после жатвы (берегли стерню, чтоб хороший выпас был у скота). Но дед наш крестьянствовал и с указом этим не согласился, потому как добрых лошадей и батрака имел, а в дело пустить их не мог. Лошади зазря простаивали в конюшне. Однажды подался он с батраком на Кожову, так надел его назывался. Вот пашут, пашут, лошаденки фыркают, да вдруг, откуда ни возьмись, староста со служителем. Дед пашет, плуг держит, батрак — вожжи. Староста заказывает пахать, а дед знай пашет и пашет. Староста отымает у батрака вожжи и силой останавливает лошадей. Дед разозлился, вырвал у батрака кнут и давай по чем ни попадя хлестать старосту, а заодно и служителя.

А что потом было?

Староста донес на деда властям, что, дескать, Адам Славик колокольню порушил, старостиху убил. Пришли за дедом пандуры [4] и погнали его до Прешпорка [5] пешим порядком. Когда проходили по деревням, пандуры говорили любопытным: это тот самый, что старостиху убил и колокольню порушил. А все чистейшей брехней было. Но в те поры старосте верили на слово. Дед, бедолага, маялся за решеткой полгода, покуда пожаловали господа расследовать дело.

---

[1] Имеются в виду чехословацкие легионы, сформированные на территории стран Антанты чехами и словаками, проживавшими там до первой мировой войны. Подобные легионы формировались из числа военнопленных австро-венгерской армии и в России; спровоцированные Антантой, в мае 1918 года подняли контрреволюционный мятеж против Советской России.

[2] Так называлась буржуазная Чехословацкая республика, образованная в октябре 1918 года и просуществовавшая до Мюнхенского соглашения 1938 года.

[3] В 1948 году в Чехословакии была провозглашена народно-демократическая республика и произведена национализация частной собственности.

[4] Надсмотрщики в феодальной Венгрии, в состав которой входила Словакия.

[5] Прешпорок — старое название Братиславы (с XIII века).

Едут господа комитатские в пролетке вверх по деревне. Посередь деревни колодезь стоит, и бойкая бабенка в крестьянском уборе тянет из него воду. Эй, бабонька! Правда ли, что Адам Славик старостиху убил и колокольню порушил? Да вы в своем уме? Ведь я и есть старостиха, а колокольня звон стоит целехонька, гляньте-ка вниз! Та-а-к, стало быть! Выходит, неправда это? Какая уж тут правда! Дед, как уже сказано, пришел домой, отсидевши в кутузке полгода. И никакого возмещения не получил, а старосту за это и не наказали вовсе.

А вскорости пошел дед на лошадиную ярмарку в Угорское Градиште, и там конь лягнул его в живот, и привезли его(деда) домой мертвого.

Я хотел написать об этом, чтобы знали, какая жизнь была у наших предков.

Написал 22 октября 1969 года
Мартин Славик, собственноручно.

Почему, в общем-то, этот лесковецкий разбойник написал о своем деде? Несомненно, причины у него были серьезные. Он чувствовал себя уязвленным: отец, мол, все пишет и пишет, а его ни о чем не спрашивает. Но главная причина коренится во второй фразе: *Это он про нас пишет, не только про других.* Порицание это или насмешка? Порицание: Все о других думает, а на нас плюет! Насмешка: Дубина стоеросовая, кабы больше о себе думал, допер бы и до того, что не он первый в нашей семье, кто сидел несправедливо. Короче говоря, спроси он меня об этом раньше, мог бы и избежать тюрьмы, так как понял бы, что это на роду у нас написано. Сидеть несправедливо. Он не первый в нашей семье, с кем обошлись не по справедливости, так пусть и не задается.

Но проблема эта, пожалуй, не так проста, как полагал дед. А значит, ее надо изучить поподробнее, я не вправе поддаваться внушению деда, любая аналогия, как известно, упрощает. Да, конечно, между судьбой Адама Славика и Владимира Славика есть общее, но это общее не должно заслонять явные различия. Как было дело с Адамом Славиком?

...В селе промеж всяких указов был и такой: До Богородицы, то есть до 8 сентября, заказывалось пахать поле после жатвы (берегли стерню, чтоб хороший выпас был у скота). Дед наш крестьянствовал и с указом этим не согласился, потому как добрых лошадей и батрака имел, а в дело пустить их не мог.

Вот где собака зарыта! Дед целиком был согласен со своим дедом. По мнению прадеда, это был бестолковый и вредный указ, поскольку он ограничивал его личную инициативу и в конечном счете его свободу, которую он понимал с точки зрения своего, личного, интереса. А что же было делать людям, у которых не было хороших коней и батрака; и таких, несомненно, было подавляющее большинство. Иначе говоря, с точки зрения общего интереса, указ, запрещающий пахать поле до дня Богородицы, был вполне оправданным и полезным. Личные интересы Адама Славика оказались в явном противоречии с интересами села — стало быть, в ту минуту, когда прадед в сердцах выхватил кнут у батрака и исхлестал по чем ни попадя старосту, а заодно и служителя, он действовал вопреки общей выгоде, de facto[1] — противозаконно. Да, староста в ту минуту олицетворял неписаный закон села, который Адам Славик нарушил, и Петер Славик нимало не сомневался, что его отец, Владимир Славик, именно с этой позиции и воспринял бы «завещание» своего отца, Мартина Славика, выразив свое отношение к нему примерно так: Нет, нельзя утверждать, что прапрадед был невиновен; прапрадед заслужил наказание, хотя оно и было несоразмерно его вине: полгода тюрьмы и эта постыдная дорога, когда пандуры гнали его пешим порядком в Прешпорок. Иными словами, Адам Славик заслужил наказание, но наказан был за то, чего не совершил; старостиху не убивал, а колокольня

[1] Фактически, на деле *(лат.)*.

и по сей день стоит. Тут допустил ошибку староста — его обвинение было ложным, неправедным; злоупотребив своим положением, он воспользовался тем, что высшие власти поверили ему на слово и занялись расследованием «дела» лишь спустя полгода. Но с другой стороны, попробуем войти в положение старосты: разве прадед не высек его кнутом, чем не только нарушил неписаный закон деревни, но и оскорбил его гордость и человеческое достоинство? Что бедняге оставалось делать? Поскольку прадед своими действиями нарушил именно неписаный закон, староста оказался в незавидном положении; его правомочия в данном случае оказались призрачными: Адам Славик, по сути дела, не преступил уголовного кодекса, и старосте не оставалось ничего другого, как выдумать — в отместку прадеду — убийство старостихи и надругательство над колокольней. Да, староста действовал в состоянии аффекта, но не как представитель государственной власти, а как частное лицо, желавшее отомстить другому частному лицу за то, что тот высек его кнутом. Однако с точки зрения семейной преемственности Славиков нельзя упускать из виду, что аналогия судеб Адама Славика и Владимира Славика сильно хромает. Адам Славик, вероятно, до самой смерти не осознал своей провинности — ведь он и последующим поколениям старался внушить мысль, что с ним обошлись несправедливо. И как видно на примере деда — небезуспешно. По «завещанию» Мартина Славика ясно, что он полностью на стороне прадеда, и более того: своим рассказом *Подлинное событие в жизни нашего рода и села Горный Лесковец* старался повлиять и на своего внука Петера Славика, причем хитро обойдя своего сына Владимира Славика, так как понимал, что защита анархических действий прадеда не нашла бы у того поддержки. Дед, значит, умел ловко манипулировать обстоятельствами и показал себя дальновидным психологом. Он угадал (вероятно, интуитивно, но психологически точно), что найдет понимание скорей у внука, чем у сына; деды и внуки по большей части лучше понимают друг друга, чем отцы и сыновья, дело известное, и потому он адресовал свое «завещание» внуку Петеру Славику. И не ошибся.

Петер Славик и теперь, после критического разбора дедовского «завещания», которым убедительно доказал, что понимает позицию своего отца Владимира Славика, считает себя, несмотря ни на что, звеном цепи: Адам Славик — Владимир Славик — Петер Славик, цепи, которую выковал Мартин Славик. Да, он понимает позицию отца, но при этом полностью разделяет точку зрения деда.

Так твою курочку! Возможно, я должен был убить Гелену, чтобы, по крайней мере задним числом, осмыслить несправедливое наказание Адама Славика и Владимира Славика. Ничего не поделаешь, это у нас на роду написано. Мое преступление доказывает, что их наказание было оправданным. Несколько нарушена лишь временная последовательность.

Круг замыкается...

Минуту. Телефон.

— Кто?.. Милан?.. Привет, старичок... Спасибо... И с тобой говорили?.. А да, я им сказал, что встретил тебя... Как так? Ты же меня видел, разве нет? Да, да, я остался у нее ночевать... кто мог такое предположить... Что с тобой?.. Я же сказал тебе, что останусь...

— Помню, помню. Ты струсил, что я нагряну к тебе ночью.

— Извини, старик. Я правда был жутко вымотан. Ну каюсь.

— Что же, выходит, я в этом виноват?

— Как это? Не понимаю...

— Не ясно, что ли? Железная логика. Не будь я таким алкашом, ты б не боялся, что я приду к тебе, и пошел бы домой, тогда бы ничего не случилось. Гелена, может, была бы жива.

— Чушь...

— Но логичная.

— Оставь этот мазохизм. Надеюсь, ты не думаешь всерьез, что это по твоей вине? Миллион «если бы». Если б я знал, что Гелена приедет раньше, если бы мать не звонила и не просила меня зайти, если б Лапшанская не задурила мне голову своей болтовней...

— И если бы ты не боялся, что я завалюсь к тебе в гости.

— Если тебе непременно хочется истязать себя, пожалуйста! Может, и полегчает...

— Но это же правда. Ты остался у матери из-за меня.

— Псих. Ну можно с тобой нормально разговаривать? Да, остался я там отчасти и из-за тебя. Ясно, тебя это покоробило, но я же извинился, и вообще, с меня хватит. Ну к чему, скажи, все время копаться в своей утробе. Когда-то я тоже этим увлекался, но как только понял, что эдак скоро попаду в психушку, поставил на том крест.

— Да, ты очень изменился, это точно.

— Не думай, что было легко.

— Не всякому это удается.

— Потому что не всякий хочет даже попробовать.

— Для этого нужна очень сильная воля, правда? У меня бы, например, не получилось.

— Потому что не хочешь.

— Нет, не хочу. Понимаешь, старик, мне вполне хорошо в собственной шкуре. Клянусь богом, меня это вполне устраивает.

— Ладно, оставим. Не знаю, чего меня вдруг понесло. Разглагольствовал, точно проповедник. Ей-богу, тут нет никакой твоей вины.

— Ты думаешь?

— Уверен.

— Что ж, тогда — дело другое. Я немного успокоился. Спасибо, старик.

— Рад, что мы выяснили...

— Я тоже. Не представляешь даже, как меня это мучило. Все время было такое ощущение, будто я в чем-то виноват.

— Опять за свое? Мы же все выяснили, тебе не кажется?

— Не все.

— Не понимаю...

— Значит, о том ни слова.

— Что тебе снова ударило в голову?

— Противно, конечно, но я тебя тогда видел.

— Когда?

— Ну надо ли опять заводиться.

— А почему нет, напротив. Когда ты меня видел?

— Все, поставим точку. Если не хочешь говорить откровенно, давай оставим этот разговор.

— Где ты меня видел?

— Я как раз выходил из «Киева», когда ты шел мимо.

— А белых мышек ты случайно не видел?

— К сожалению, нет. Только тебя.

— Сколько ты выпил?

— То-то и оно. Провались все пропадом. И не нюхал.

— Знаешь, скажи кому-нибудь еще. Никогда не поверю, что ты был в баре и не нализался до чертиков. Исключено...

— Это ты виноват, понимаешь? Я струхнул, что, если тяпну, привычка возьмет свое и я правда завалюсь к тебе. Поэтому я просто купил бутылочку «Бычьей крови», взял такси и поехал домой. Не хотелось, чтоб ты опять оказался прав. Когда я ждал такси, ты как раз проходил...

— Ты не мог меня видеть. Спутал с кем-нибудь. Я всю ночь был у матери!

— Как хочешь...

— Ты им сказал?
— Нет. А надо было?
— Ты откуда звонишь?
— Не волнуйся. Меня никто не слышит. Я здесь один.
— Надо бы встретиться.
— Зачем?

— Так просто. Немного поговорить. Не по телефону. Хочу кое-что тебе объяснить.

— Не утруждайся, старик. Все в порядке. Я ничего не видел. Привет.

Милан повесил трубку.

Все, конец; нахлынуло чувство невыразимого стыда. Я выставил себя на посмешище. От унижения и оскорбленного самолюбия навертывались на глаза слезы. До чего низко я пал, даже этот охламон потешается надо мной. Как, должно быть, он ржал, когда я его уверял, что ему абсолютно незачем чувствовать себя виноватым. Славик утешитель — «Мисс Одинокие сердца» [1]. Он поставил на мне эксперимент. Наблюдал за мной как за подопытной крысой. Я выгляжу абсолютным идиотом, подумал он, и его словно бы ошарашила предугаданная точность этого наблюдения: в ту же минуту вдруг бессильно отвисла челюсть, и он так и застыл у телефона со слюнявой нижней губой, открытым ртом — законченный олигофрен. Из расслабленной руки выпала трубка и пошла издевательски болтаться, посылая в мир презрительно равнодушные сигналы. Я выставил себя абсолютным кретином, гудело у него в голове, просто подыхаю от стыда.

Что с ним произошло? — этого он и поздней не мог объяснить себе, сколько ни думал; такого со мной еще никогда не случалось, я ведь форменным образом тогда сбрендил. Да, эта болезненная реакция совершенно не сообразовывалась с обстоятельствами. Прежде всего его должно было обеспокоить, ужаснуть то, что Плахий видел, как он шел домой. Да, здесь таилась настоящая опасность, это существенно меняло положение, разрушало всю его систему. Сразу же обнажилась шаткость тщательно разработанной защиты, в основе которой лежало свидетельство матери: он всю ночь был у меня. Но можно ли надеяться, что поверят материным словам, если даже один из тех, кто должен был их подтвердить, так обманул ожидания.

Что же со мной творится? Разве это я, тот прежний самонадеянный, чванливый болван. Что значат для меня люди? Пожалуй, это всего лишь беспомощные фигурки, которые я по собственному усмотрению переставляю на шахматной доске, и не подчинись они моей воле, я счел бы это неслыханной дерзостью. Он снова оказался в странном душевном расположении — словно бы раздвоился. Словно бы смотрел на себя извне, с объективным, отстраненным интересом наблюдателя, который пристально и увлеченно изучает в себе гонимого благодаря особой привилегии, исключительной возможности видеть то, что редко кому удается увидеть. Когда прошло первое болезненное возмущение, когда он хладнокровно, обстоятельно продумал свой разговор с Плахим, то вдруг успокоился: а ведь это отличный своевременный урок, утешал он себя, я уже позарез нуждался в чем-то таком, что отрезвило бы меня и спустило на землю; ничем и никем нельзя пренебрегать, если все-таки не хочешь упустить последний шанс...

Только теперь Славик понял, что в подсознании он предполагал нечто подобное, допускал возможность, что кто-то видел его. В самом деле, нереально, глупо было бы думать, что он выпутается из этой истории так легко, как представлялось матери и как она пыталась изобразить это. Да, в чем-то она преуспела: я действительно был слеп,

[1] Имеется в виду роман «Мисс Одинокие сердца» известного американского писателя Натанаэла Уэста (1903—1940).

одурманен и сбит с толку своим мнимым превосходством. Рассуждай я трезво и реалистично, я не вел бы себя так легковесно, безоглядно, опрометчиво, я должен был учитывать и самую малую возможность опасности. Кстати, в подсознании я учитывал ее: а как иначе объяснить угрозу старухи Кедровой — во сне она ведь шантажировала меня именно тем, что видела, как я шел домой,— а это недвусмысленное выражение моего подсознательного опасения. С другой стороны, этот сон отчасти объясняет и мою реакцию на разговор с Плахим. В глубине души я был уже подготовлен к такой возможности — по сути это даже не застигло меня врасплох; в основном я был возмущен не смыслом сказанного, а той неслыханной наглостью, с какой он смеялся надо мной,— уязвленная гордость, тщеславие подавили страх. Нет, позвольте, я, кажется, опять ищу для себя оправдание; будто я верил, что хладнокровным аналитическим подходом к реальности можно ослабить, нейтрализовать ее опасные, угрожающие последствия. Нет, теперь я уже не поддамся иллюзии, опасность нельзя преуменьшать, да, это так, прежде всего надо объективно во всем разобраться, чтобы обрести необходимое хладнокровие и взглянуть на мир совершенно реально. Вполне возможно, что меня видел не только Плахий, но и кто-то еще; нельзя закрывать на это глаза.

В какую-то минуту он даже засомневался: что, если звонок Плахого — заранее подстроенная ловушка, почему он говорил об этом по телефону? Не было ли там еще кого-нибудь? Может, ждали, что я проговорюсь, признаюсь? И я был близок к тому — не повесь Милан трубку, я бы все ему выложил, так и вертелось на языке: когда я пришел домой, Гелена была уже мертва... Возможно, этот обалдуй уже рассказал обо всем, да, в какую-то минуту и это представлялось Славику правдоподобным, но, поразмыслив немного... нет, исключено... это не что иное, как порождение моей болезненной подозрительности. До такой подлости Плахий все же не дошел бы, нет, он не предал меня, наверняка сказал им, что я шел к матери, и весь этот разговор инсценировал только затем, чтобы отомстить мне (за что?), чтобы напугать меня и высмеять... да, это точно. Но как Славик ни убеждал себя, ему так и не удалось до конца избавиться от опасений — в душе словно зародилось и пустило ростки губительное семя недоверия, сомнений и пожирающей подозрительности, как неизбывное наказание, от которого не уйти; словно ему суждено было быть наказанным пожизненной тревогой, все отравляющим недоверием и подозрительностью к каждому; словно ему уже никогда не ощутить покоя, словно его отношение к другим навсегда останется искаженным, ибо он окончательно исключил себя из общества невиновных.

Нет, теперь никому нельзя доверять, никому, даже собственной матери. Надо рассчитывать только на себя, с самого начала надо было рассчитывать только на себя. Надо было сделать то, что он и собирался сделать с самого начала и чему мать помешала,— надо было сразу признаться, да, признаться; что он был дома, но Гелена была уже мертва. Глупо было рассчитывать на свидетельство матери. Впрочем, еще не поздно. Конечно, теперь будет труднее, если они докажут, что он был дома, но все-таки не все еще потеряно. Можно ведь понять, почему он все отрицал поначалу, разумеется, он испугался, поддался панике, потерял голову, да, надо быть готовым к отступлению. Отступление? Нет, лишь тактическая переброска на заранее обдуманные позиции, хотя лучше бы обойтись без этого. Спокойствие, спокойствие и благоразумие. Может, все видится ему в слишком черном свете, может, дело до этого не дойдет... может... ДОВОЛЬНО.

Посмотрим. Посмотрим, как разовьются события. Человек должен приспосабливаться к любому положению; Гелена была права. А Плахому он и впрямь благодарен. За то, что тот открыл ему глаза, да, спустил его на землю, спасибо, старик. Теперь буду жить с оглядкой. На всё. На каждого.

14

Тупой нос и широкий рот, глаза, посаженные слишком близко к носу и слишком далеко от ушей, коротко подстриженные, черные с проседью, растущие низко надо лбом волосы, густые и жесткие, как проволочная щетка,— обожатель матери Виктор Ружичка. Хотя он был гладко выбрит и благоухал одеколоном, квадратный подбородок и челюсти отливали синеватой сизиной; видимо, обрастал щетиной быстро и обильно. И вообще, он весь был квадратный, массивный и тяжелый, точно грубо отесанный шлакобетонный блок. Его широкая спина в талии почти не сужалась, ноги с мощными бедрами казались слишком короткими по сравнению с руками, доходившими едва ли не до колен и неловко болтавшимися вдоль тела. Очевидно, руки доставляли ему много хлопот — словно не зная, что с ними делать, он поминутно прятал их за спину. От него исходила какая-то брутальная сила, и — как казалось Славику — он долго не колебался бы, если бы подвернулся случай применить ее. У него, верно, и на спине волосы, подумал Славик, и почувствовал к обожателю матери столь сильное отвращение, что сам поразился; я предубежден против него, попенял он себе, надо сдерживаться. Но он напрасно пытался отнестись к нему непредвзято, освободившись от каких бы то ни было предрассудков; этот орангутанг был полной противоположностью отца, и ему пришлось приложить немало стараний, чтобы хоть частично подавить в себе инстинктивную неприязнь,— а это лишь усиливало раздражение. Как только она позволяет, чтобы ее касались эти толстые, грубые, волосатые руки; ему стыдно было за мать, эта связь казалась ему недостойной; в ее возрасте втюриться в такого обезьяноподобного самца, что может ее привлекать в нем, кроме... эта мысль была мучительной; когда он вообразил их в постели, краска обиды залила ему лицо. Это было мерзко, вульгарно, оскорбляло его вкус и чувство меры. Что ни говори, а все-таки есть разница, связывает ли явное сексуальное влечение двух тридцатилетних любовников или шестидесятилетних. Когда он смотрел на Виктора Ружичку, то совершенно ясно представлял себе: этого человека ничто не связывает с матерью, кроме секса. Ни о каком духовном родстве и говорить не приходится: какая духовность может скрываться в этом мускулистом теле, за этим низким лбом, и вообще сомнительно, дремлет ли там хоть какая-то мысль. Он скорее мог бы понять, если б на старости лет она сблизилась с тщедушным, болезненным пенсионером, с которым они провели бы вместе осеннюю пору жизни: интеллигентный, чуткий, нежный, тихий, порядочный, честный друг высокого роста. соответствующего возраста, не обремененный обязательствами, некурящий и непьющий, способный украсить осень жизни пятидесятисемилетней, надо надеяться, интеллигентной женщины приятной наружности, разбирающейся в искусстве и знающей толк в гастрономии, стремящейся к взаимопониманию и гармонии... Девиз: «На уровне», «Могу надеяться?», «Ты и я», «Надежда умирает последней», «И ты одинок?», «Одиночество тяготит», «Любовь всего лишь слово?», «Доверие за доверие», «Платоническое счастье»...

Виктор Ружичка решительно не производил впечатления интеллектуального, меланхолического пенсионера, жаждущего платонической, духовной близости, пенсионера, который вполне ограничивался бы тем, что держал бы за руку свою избранницу и нашептывал бы ей в ушко свои воспоминания. Нет, право, он ничуть не походил на человека, погруженного в ностальгические воспоминания, так твою курочку, это был еще вполне резвый мужичок. На полголовы выше матери, весьма чувствительный, словно профессиональный боксер в полутяжелом весе, с обязательством по отношению к одной замужней и двум незамужним дочерям от расторгнутого брака, он прикуривал одну сигарету от другой и дружески разливал бутылку мос-

ковской водки. Когда Славик демонстративно подчеркнул свою принадлежность к обществу трезвенников, Виктор Ружичка измерил его удивленным взглядом, каким смотрят на экзотических зверей: любопытство, изумление и некое ироническое восхищение, что не очень-то далеко от презрения. Будто хотел сказать: весьма забавно, но на наш вкус несколько вызывающе; однако вслух он произнес альтовым голосом опереточной субретки:

— О вкусах не спорят, но, по моему мнению, каждая крайность есть неестественность sui generis [1]. По такому случаю, каким является день рождения матери, ваш моральный габитус не понес бы никакого урона, если б вы и пригубили рюмочку. Это надо понимать как vis major [2]. Твое здоровье, Бета. Большого, большого счастья. Ваше здоровье, пан режиссер,— он приветливо улыбнулся, опрокинул чарочку, удовлетворенно, похвально, признательно почмокал, непринужденно развалился в кресле, закинул ногу на ногу и принял вид гостеприимного, вежливого хозяина; одобрительно, с пониманием словно бы говорил: ваше замешательство, пан режиссер, вполне понятно, но ни к чему вам быть таким болезненно стыдливым, прошу вас, расслабьтесь, вы же среди своих, не бойтесь, нос я вам не откушу, хотя и не могу сказать, что вы мне сильно симпатичны.

Славик не совсем отдавал себе отчет, что его более всего поразило: то ли этот голос, совершенно не соответствующий фигуре, из которой исходил (этот мягкий альт словно принадлежал не Виктору Ружичке, а его alter ego [3]), то ли эти слова (будто заговорил словарь иностранных слов, а не профессиональный боксер в полутяжелом весе) или же эта непринужденность, с какой Виктор Ружичка взял на себя обязанности хозяина дома; словно вовсе не он был предполагаемым женихом, которому положено было бы добиваться расположения потенциального сына Петера Славика, словно не он пришел на смотрины, а наоборот — Петер Славик.

Все у меня ускользает из рук, беда никогда не приходит одна, так же как и успехи, дело известное. Прежде всего взбрыкнула старуха Кедрова (пусть только во сне), до полудня этот балбес Плахий (пусть только по телефону), теперь проучил меня Виктор Ружичка; один бог знает, что ждет меня вечером. Если так дальше дело пойдет...

Вот, стало быть, тот самый серьезный человек, который, по словам матери, боится с ним встретиться, робеет перед ним и смущается, как малый ребенок. Вот он, Виктор Ружичка,— страховой агент, «ликвидатор». Да, мать говорила ему, что Виктор работает в государственном страховании; однако тогда он не обратил особого внимания на ее слова, лишь эта должность врезалась ему в память — «ликвидатор»; человек, который, дескать, ходит по домам ликвидировать причиненный хозяйству ущерб; потерпевший заявляет о случившемся в госстрах, работник госстраха устанавливает на месте размер ущерба, составляет вместе с потерпевшим акт и определяет сумму, которую госстрах обязан выплатить потерпевшему. Поэтому ясно как день, что такой работник должен быть не только настоящим специалистом, но прежде всего серьезным, ответственным и честным человеком. А иначе он может запросто злоупотреблять своим положением и безнаказанно обогащаться за счет госстраха, а значит, и всего нашего общества в целом, ну, понятно тебе? Если б он захотел, он мог бы этот ущерб завысить, естественно, по договоренности с потерпевшим, ясно тебе? Потерпевший дает ему, скажем, сотню, а он оценивает ущерб, который, скажем, на двести крон — в сумму четыреста крон и тем самым обирает госстрах, а значит, и все наше общество на двести крон. Обогащается и потерпевший и «ликвидатор», тебе ясно? Ты только представь, каким безукоризненно чистым должен быть этот человек, чтобы

[1] Своего рода, особого рода *(лат.)*.
[2] Чрезвычайное и непреодолимое обстоятельство *(лат.)*.
[3] Второе «я» *(лат.)*.

устоять перед соблазном. Она много о нем понарассказала сыну, да, упомянула еще и о том, что он разведен, имеет, между прочим, трех дочерей, одна уже замужем, но, в конце концов, это неважно, главное, что мы понимаем друг друга, главное, что он уважает меня и... кажется, даже немножко неравнодушен ко мне... смешно, право.

Они пришли точно в пять — на полном серьезе, как и договорились,— и первое впечатление, которое произвел на него Виктор Ружичка, подтвердило его ожидания: в самом деле — «ликвидатор». Мощный орангутанг с низким лбом, обожатель его матери. Кроме стыда Славик почувствовал и какое-то горькое удовлетворение, даже, можно сказать, злорадство: как постелешь, так и поспишь, получила, что хотела, памяти об отце тебе было мало? Что ж, достойная награда, орангутанг! А Виктор Ружичка словно бы нарочно старался усугубить обманчивость первого впечатления — он не только походил на орангутанга, но и вел себя подобным же образом. При знакомстве он что-то промямлил, точно был не в ладах с нормальной артикуляцией, но Славик великодушно простил ему: он понимал, что «ликвидатор» страхового общества, несомненно, испытывает замешательство. Он ведь собирается просить руки одинокой матери режиссера Славика. Да, именно такое было впечатление, пока Виктор не раскрылся. А уж потом Славик совсем сбился с толку: Что это значит? Мать обманула его? Умышленно хотела навязать предвзятое суждение о своем обожателе? Или решила приятно его поразить?

А может, Виктор обманул мать: актерствовал перед ней, играл роль стыдливого человечка, чтобы потом посмеяться над ними обоими? Или же мать и Виктор договорились подшутить над Славиком, чтобы хотя бы так — движимые благородными помыслами — развлечь его?

Это им удалось, признал он.

Да, я либо презираю людей, точно они мизинца моего не стоят, либо подозреваю их во всяческих кознях против меня, именно потому, что они не стоят моего мизинца. Сейчас самое время — прийти в норму, самокритично усмехнулся он; надо расслабиться, Виктор прав — будто нет у меня более серьезных забот...

И вдруг ему показалось, что празднование дня рождения матери обернулось приятной беседой в кругу семьи. Славик перестал быть чванным, мелочным, смешным идиотом, и Виктор Ружичка оценил этот жест доброй воли: он тоже перестал говорить, точно словарь иностранных слов, перестал изображать из себя независимого, снисходительного хозяина и с нескрываемым облегчением признался, что как ни претило ему, но он вынужден был каким-то образом защищаться, поскольку Славик вел себя так, словно перед ним обезьяна, а не Виктор Ружичка, шестидесятидвухлетний, симпатичный, жизнелюбивый доктор прав, в настоящее время вышедший на пенсию, но подрабатывающий в качестве «ликвидатора» на договорных началах в государственном страховом обществе; до ухода на пенсию работал юристом одного братиславского рекламного предприятия.

Впрочем, все равно они взяли его на пушку; почему мать сразу ему не сказала, что ее обожатель не обыкновенный «ликвидатор», а «ликвидатор» с квалификацией юриста; если она собиралась приятно поразить его, могла бы выбрать и более подходящий момент, вы только поглядите на нее, похоже, она еще гордится этим, как довольно она ухмыляется: это ведь полная для тебя неожиданность, правда? Здорово мы тебя разыграли, уж не думаешь ли ты, миленький, что я цены себе не знаю?.. А впрочем, при данных обстоятельствах это даже симпатичный шаг с ее стороны, она обеспечила его юрисконсультом, разве не так? Он нам еще может здорово пригодиться, вот именно, надо воспринимать все в более радужном свете...

И он действительно попробовал воспринимать все в более радужном свете, но продолжалось это лишь до той минуты, пока с неприяз-

нью не осознал, что этих двух пенсионеров связывают куда более сильные и тесные узы, чем ему поначалу казалось. Он с беспокойством слушал их разговор; нет, волновали его не слова, они говорили о вещах незначительных, по сути, о всякой чепухе, но к а к они говорили — с полным пренебрежением к окружающему. Словно существовал их мир, доступный только им двоим и никому больше; они понимали друг друга почти без слов, с полунамека, сопровождаемого неприметными, но красноречивыми жестами и взглядами, и потому их банальный разговор приобретал для непосвященного наблюдателя какой-то особый, волнующий смысл; казалось, будто они что-то утаивали от него. Пожалуй, она и вправду втюрилась, спаси нас, господи, и помилуй, в таком случае ей уже нет доверия. Кто знает, не помрачит ли рассудок поздняя любовь даже такому здравомыслящему существу, как мать. Юрисконсульт, надо же, так твою курочку, лишь бы она не зашла слишком далеко, лишь бы не стала с ним консультироваться раньше времени.

И снова, как верный, привязчивый кутенок, стало досаждать ему подозрение, не сказала ли мать Виктору больше допустимого? Не сказала ли она ему в с е г о? Ерунда! Нельзя же предполагать, что она уж настолько доверилась чужому человеку, так предала родного сына? Правда, для нее это уже не чужой человек, тут нет сомнений, это удивительное поблескивание ее покрасневших глаз (от жары или от горя?) выдает ее больше, чем слова. Когда-то так же она смотрела и на отца: застенчивая нежность, восхищение и собственническое, спокойное осознание своей власти, исходящее из уверенности, что достаточно лишь ничтожного движения мизинца, и этот мужчина, впечатляющий своей звериной, неукротимой силой, станет ручным. Да, в глазах матери сквозило сознание уверенности, что она безотказно и надежно правит тем, кто глядит неукротимым; то было выражение укротителя хищных зверей.

Но Виктору Ружичке, похоже, это вовсе не мешает. Казалось, он доволен не только своим уделом укрощенного зверя, но и своим укротителем, нет, он и не думает сердиться, он лишь слегка иной раз потешается над этим. В такие минуты он невольно улыбается, но не презрительно, нет, а просто с мягкой иронией; рот у него тогда еще больше растягивается, губы суживаются, паутина морщинок, разбегающихся от уголков глаз, становится еще глубже, и на лице появляется выражение ласкового, снисходительного удивления: ну не чудо ли это? Эта особа, которую я мог бы «ликвидировать» одним чохом, думает, что правит мной, и как ни странно, она действительно правит мной, и меня это радует, ей-богу, это замечательно и несказанно мило.

И Славику вдруг кажется, что было бы куда естественней, если бы их связывало лишь это «недостойное» животное влечение, да, это было бы безопаснее — для него. Он ведь, собственно, и не знает, на каком он свете. Надо бы ему определить, до какого предела она раскрылась перед Виктором, насколько поделилась с ним своим (их) тяжким бременем. Почему они так тщательно избегают всякого упоминания о Геленином смерти? Только ли из деликатности? Или... да, право, не забыть бы рассказать ей о Плахом, это важно, очень важно, нам придется выработать запасной оборонительный вариант: я заходил домой, но Гелена была уже мертва; будь что будет, но мы с тобой оказались в одной упряжке и должны держаться друг друга, мы — товарищи по оружию, мне нельзя в ней сомневаться, она безусловно не продала меня, это всего лишь моя треклятая подозрительность рисует все в черном свете.

Но впрочем, понятно, что материна внезапная перемена вызывает в нем беспокойство, сомнение и настороженность. Кто мог думать, что она так низко падет на старости лет? Да, здорово она распоясалась — ничего не скажешь! А он, проницательный энтомолог, не изучил процесса ее перемены и что еще хуже — вообще не заметил его;

так может ли он теперь знать, где пределы ее лояльности? Он дал маху — слишком доверился ей. Недооценил действенность испытанного девиза: доверяй, но проверяй! И вправду, надо глядеть в оба, доверчивость может довести его... так твою курочку, у него ведь еще один сюрприз для матери, ну и денек нынче выдался, одному богу известно, что еще выплывет...

Да, конечно, он должен ей пересказать разговор с Геленинои сестрой Катариной Барловой, то бишь Катержиной [1] Неезхлебовой. Заскочила она к нему сегодня лишь на минуту. Для обоих это было тягостно — они решали «технические» вопросы, связанные с похоронами Гелены. Катарина была в отчаянии — случившееся казалось ей нереальным, невероятным, непостижимым; а услыхав (она тоже уже давала показания), что Гелена тотчас по возвращении в Братиславу напилась до положения риз, и вовсе озадачилась. Еще никогда, дескать, она не видела Гелену такой счастливой, уравновешенной, как на протяжении этих двух недель в Праге. Я ее вообще не узнавала, впервые искренне, без маски и позы, она говорила о своих чувствах. Я и не думала, Петер, что Гелена так любит тебя. В самом деле, она совсем не пила, радовалась жизни, как дитя малое, не могла, дескать, дождаться возвращения домой, к нему. Поэтому, собственно, и уехала на день раньше — хотела приятно его удивить.

Он невзначай, между слов, узнал и то, о чем Гелена не любила никогда говорить и что так сильно заинтересовало мать, когда он впервые познакомил их. Он узнал, при каких обстоятельствах умерли Геленины родители: Геленин отец погиб в Восстании, а мать умерла в родах. Рожая Гелену. Катарину — она была на три года старше — удочерила сестра матери, а Гелену — брат отца, Гуго Барла, «золотые руки».

Почему Гелена не любила об этом говорить? Не хотела, чтобы ее жалели? Это представлялось ему самым реальным объяснением. Черта, характерная для нее (и пожалуй, не только для нее). Словно люди сейчас стремятся выглядеть более наглыми, жесткими, циничными, чем они есть на самом деле, словно стыдятся своих душевных ран и страданий, словно зазорно и унизительно быть добрым и несчастным человеком, словно такой человек — чудак, в обузу и на посмешище людям. Словно само слово «сочувствие» мало-помалу исчезло из человеческого лексикона и взамен ему пришло «равнодушие».

Но разве это теперь имеет значение? Слишком поздно он начал ее узнавать; почему он так мало интересовался ее прошлым? Из деликатности или от равнодушия? Пожалуй, все могло быть иначе; недоставало пустяка: спросить и настоять на ответе.

Возможно, все было бы иначе. Хотя, по мнению Амалии Кедровой, все кончилось именно так, как должно было кончиться. Он долго не понимал, о чем она говорит, пока наконец сегодня утром, прежде чем приступить к уборке, она не оскалила десны и не спросила благодушно:

— А зубы у вас усе?

— Зубы? — Несуразность ее вопроса так его ошарашила, что он невольно ощупал рот и злобно выпалил: — У меня-то все, а у вас — ни одного! — Растерянность, стыд и злость — все это напомнило ему сон, в котором она играла с ним, как кошка с мышкой.

Амалия Кедрова вытащила из глубокого кармана закрытого передника небольшую книжку в грязном, засаленном переплете; похоже было, она вообще не слышала его язвительных слов.

— Да сон ваш. Вы уж и не помните,— сказала она, открывая книжку.

— Какой сон?

— То было предупреждение.

---

[1] Чешское звучание имени.

У него болезненно загудело в голове: не надо было пить ее вина, подумал он и тут же резко передернулся: спятил я? какое вино? это же во сне было.

Но вино действительно существовало, старушка делала из черной бузины домашнее вино, он его никогда не пил, но Гелена, иногда навещавшая Амалию, не раз говорила ему: «Сладкое и ужасно тяжелое, настоящая бормотуха». Ага, это разъясняет один мотив моего сна: Гелена рассказывала мне о старухином бузиновом вине, я был пьян от ее джина, подташнивало, болела голова, и вот возникло представление, что я пью у старухи вино, сладкое и тяжелое,— бормотуху. Это немного успокоило его, как всегда, когда ему удавалось найти рациональное объяснение, казалось бы, необъяснимому душевному процессу. Но определенную роль здесь сыграла и склонность Славика поддаваться внушению — так же, как было с воспалением легких.

Воспаление легких он заработал в марте, когда они с Геленой поехали в Хопок кататься на лыжах. Он никогда в жизни не становился на лыжи, и ему представлялось просто абсурдом пытаться в его возрасте обучиться тому, что играючи и бесстрашно проделывают пятилетние сорванцы. За две недели он, можно сказать, не высунул носа из гостиницы «Косодревина», валялся на кровати в приятно натопленной комнате, читал книгу и попивал горячий чай, считая, что зимний отдых в горах и чай — неотделимы друг от друга. Для него было совершенно очевидно, что мгновенный переход от братиславского воздуха, перенасыщенного смогом, к чистому, горному, перенасыщенному озоном, смертельно опасен для его здоровья. Он был предельно осторожен и все-таки не избежал воспаления легких. Гелена со свойственным ей легкомыслием вовсе не думала о своем здоровье: все дни проводила на лыжах, а ночи напролет в прокуренном баре, возвращаясь оттуда вдрызг пьяная, чтобы после пятичасового сна вновь отправиться на заснеженные склоны. Эта приверженница калокагатии [1] с убийственной серьезностью, уверенностью и вдохновенной страстью, достойной лучшего применения, объясняла ему, что, дескать, воспаление легких он подцепил именно потому, что почти безвылазно лежал в постели и его дряблое, хилое тело не способно было одолеть напор здорового воздуха, которому подвергалось во время изнурительных пятиминутных походов вокруг гостиницы. Но подобную болтологию он не принимал всерьез, давно усвоив, что логика не самое сильное оружие Гелены; наконец, она и сейчас противоречила себе: он заболел от здорового воздуха, что за ахинея? И это при том, что он предусмотрительно свел действие этого их «здорового воздуха» до минимума... А что было бы, если б он действовал на его организм дольше... лучше об этом не думать.

Но он-то знал, почему заболел воспалением легких, хотя ни с кем, кроме Гелены, не поделился из опасения, что недоброжелатели могут злоупотребить этим и загнать его на несколько месяцев в психушку — лишь бы помешать его дальнейшей работе на телевидении. Для него было совершенно очевидно, что причиной воспаления легких стала книга, которую он читал там: «Волшебная гора» Томаса Манна. Действие романа происходит в горном санатории, да, в лечебном заведении для легочных больных — значит, ясно как божий день. Каждому интеллигентному человеку. Кроме Гелены. Его объяснение лишь позабавило ее, и, воскликнув: «Ах ты мой ипохондрик!» — она тут же эту историю выкинула из головы.

Однако у истории было продолжение. После приезда в Братиславу, когда он уже страдал предполагаемым воспалением легких, наступил неожиданный переворот в их супружеской жизни. Гелена стала его уважать и ценить, ибо с той минуты, как его официально признали легочным больным, он осознал свою обязанность соответствовать

[1] Стремление к духовному и физическому совершенству; один из античных идеалов.

ее жажде частых и неторопливых любовных радостей. И опять же причиной этой потрясающей перемены была литература, вербальное внушение. Он вспомнил, что где-то читал, что туберкулезники отличаются от здоровых людей гораздо большей потенцией — да, именно так это было. Никаких чудес, обыкновенное внушение. Жаль только, даже оно не всегда помогает. Напрасно Гелена ему внушала: еще, еще, еще — его хватало не более чем на минуту. Она неистовствовала: он думает только о себе, а на нее, мол, плюет, пошел бы лучше посоветовался с сексологом. Как бы не так! Станет он вешать на уши специалистам свои интимные проблемы! Только обсмеют его. Какого черта она это ему говорила! Будто он сам не мучился, будто не лез из кожи вон. Наконец, разве он добросовестно не пытался после возвращения с гор, уже больной легкими, возместить качество количеством? Надо было его еще оскорблять?! Он же не посылал ее в наркологическую лечебницу? Напротив, она сама об этом серьезно подумывала, сама хотела туда обратиться, но он был категорически против. Каждый обязан сам справляться с такими вещами, нельзя полагаться на кого-то другого, единственно на себя. Она же человек, не тряпка, должна быть у нее какая-то сила воли. Он сумел. Сам. Никто ему не помог, да он ни у кого и не просил помощи. Сам покончил с выпивкой, а он зашибал куда сильней, чем Гелена. Она все-таки не была алкоголичкой... или... лучше об этом не думать. Нечего было ему говорить: «Жалко, что ты не пришел раньше... вы могли бы встретиться... ты и представить себе не можешь, какой он был сладкий... и как долго». Нет, нельзя было этого ему говорить. Во всяком случае, не так убедительно.

Да, все можно рационально объяснить. Даже вкус вина, которое мы пьем во сне.

— Вы еще делаете бузиновое вино? — спросил он.

Старушка удивленно вскинула брови:

— Чего?

— Ничего,— махнул он рукой.— Какое предупреждение?

— А вы, чего, выпили бы?

— Что?

— Ну принесу. Хотя вы все одно не пьете. Разве что...

— Нет, нет! Не пью, ничего не приносите.

— Эка досада.— Амалия Кедрова, похоже, была разочарована.— А Еленке страсть как нравилось...

— Перестаньте! Я знаю, она пила как лошадь. К чему мне об этом говорить? Знаю также, что вы ее ненавидели.

— Что? — в ужасе выдохнула старушка.— Я? Еленку?! — Нижняя губа у нее задрожала, на лице застыло выражение боли и обиды.

— Простите,— пробурчал он раздраженно, потому что вовсе не горел желанием извиняться перед ней.

— Ведь я ее любила, все равно как свою дочку,— сказала старушка со слезой в голосе.

— Простите,— повторил он и, пытаясь сгладить явно несправедливый упрек, быстро добавил: — А как поживает ваша дочка?

Амалия Кедрова вперила в него из-за толстых стекол злобный, возмущенный взгляд, но минутой позже возмущение ее сменилось участием и беспокойством:

— Вам не худо, пан режиссер?

— А что такое?

С минуту она обдумывала его вопрос, потом покивала головой, словно ей удалось разгадать невероятно трудную загадку.

— А-а, вы уже позабыли, да? Померла. Десять лет тому.

— Кто?

— Дочка моя,— старушка все еще сохраняла терпение.— Я вам говорила ужо, да вы позабыли. Понятное дело, у вас теперича другие заботы. Кто ее мог загубить? Такую хорошую жэншыну. И никто вро-

де не видел его. Вы аккурат остались ночевать у милоспани,— удивленно покачала она головой.— Аккурат в ту ночь. Как на грех...

Он настороженно поднял голову. Внимательно посмотрел на Амалию — показалось, она говорит насмешливо, иронично, вызывающе: уж не знает ли больше, чем ей положено?

Но следующие ее слова вполне успокоили его, хотя он их сперва совсем не понял.

— Только ничего не поделаешь. Этому суждено было случиться. Вот тут написано,— шамкала старуха, листая книжку.— З, з, з...— Ошарашенный, он слушал ее жужжание.— Зубы. Вот тут. Это было предупреждение.

— Предупреждение? — повторил он эхом, но старушку это не смутило; вероятно, она вообще не слушала его. Сосредоточенно глядела в книгу, следуя за своим указательным пальцем, медленно бродившим по печатным страницам.

— Зубы — искусственные... Твой взгляд на вещи ведет тебя по правильному пути.— Он машинально отметил: она читает почти литературно, лишь мягкие согласные произносит с трудом.— Не-е, не то... дать вырвать — злые силы хотят тебя уничтожить... тоже не то... ага, выпали — смерть близкого заставит тебя задуматься.— Она оторвала взгляд от книги и торжествующе спросила:— Понятно? Вам снилось, что у вас выпали все зубы, а это означает: смерть близкого заставит тебя задуматься. И ночью ее порешили.— Она удовлетворенно закрыла книгу.

Только теперь он пришел в себя. С бесконечным облегчением рассмеялся:

— Да, именно, у меня выпали все зубы, и пришлось ограбить банк, потому что не было на протезы.

— Банк вы придумали только нонче,— сказала она укоризненно,— а что у вас все зубы повыпадали, вы мне и впрямь говорили. То было предупреждение.

Смерть близкого заставит тебя задуматься, повторил он мысленно.

Она сунула сонник под мышку и снова утвердительно, с торжеством покивала головой; а затем нежно погладила сонник, словно хотела выразить ему благодарность и признание за то, что и в данном случае он не подвел ее.

А потом Славик, желая внести в судьбу свою лепту, попросил Амалию взять себе что-нибудь, что ей больше всего нравится, и ему показалось совершенно логичным, естественным и закономерным, что старушка выбрала себе именно Геленино шелковое вечернее платье из парчи грязно-розового цвета — так, как издавна уже было предрешено.

Около четырех пополудни она опять почтила его своим визитом. Ей не терпелось поделиться своей радостью. Она принесла ему «Вечерник» и в безумном упоении стала лепетать о том, что попала в газету, что о ней пишут, и не только о ней, но и о нем и об Еленке, про них про всех... то был один из самых счастливых дней в ее жизни; триумфы, равно как и бедствия, никогда не приходят по одиночке, дело известное.

Источником ее гордости и восторга была коротенькая, но содержательная заметка в рубрике «Новости».

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

Вчерашнее утро долго не изгладится из памяти 79-летней Амалии Кедровой. Ничего не подозревающая старушка нашла в квартире Петера С., 31 года, тело 35-летней Гелены Б. Случай расследуется соответствующими органами ОБ.

Так они оказались в анналах криминалистики. Разумеется, Славик не разделял восторга Амалии К.; он напрочь не воспринимал такой вид юмора, хотя рубрика «Новости» была его излюбленным чтением — пока там речь шла о других. Но стоило ему представить себе радост-

ные ухмылки, которые вызовет эта «новость» на лицах его друзей и недругов, как он тотчас потянулся к телефонной трубке, чтобы выразить резкий протест главному редактору газеты. Однако минутой позже он одумался. Понял, что в редакции, по всей вероятности, уже никого не застанет, и, пожалуй, самое лучшее — молча и достойно стать выше этого; а то ведь, чего доброго, над ним еще больше станут смеяться. Но все-таки... имеют ли они право придавать огласке не расследованное еще дело? Надо бы с кем-нибудь посоветоваться.

Конечно, Виктор Ружичка! А иначе какого черта он здесь; неплохо иметь в семье юриста, разве отгадаешь, когда он может понадобиться. К тому же, это вполне удобный повод непринужденно направить разговор на тему, которая в данную минуту его особенно интересует. Наконец-то он сможет узнать, как далеко зашла их доверительность.

Но прежде чем он попытался это сделать, в квартире раздался звонок, и Славик инстинктивно почувствовал, что близится неотвратимый конец.

На сцене появился капитан Штевурка.

15

Славику показалось, что появление капитана более всего обеспокоило мать; вероятно, только сейчас она осознала, в какое неприглядное положение они попали благодаря ее злополучной выдумке. Смущенная, раскрасневшаяся (будто капитан застал ее с Виктором Ружичкой in flagranti), она растерянно заикалась, объясняла что-то, извинялась, короче говоря — полный конфуз.

Конечно, приход капитана привел и Славика в замешательство; капитан явился в самую неподходящую минуту — они сидят за праздничным столом здесь, да, именно здесь, где всего лишь вчера утром нашли мертвую Гелену. В каком свете они предстали теперь перед ним... Он кипел злобой на мать, навязавшую ему это скромное семейное торжество, да и на себя, что не сумел предусмотреть неприятные последствия, или — что еще хуже — он предвидел их, но не устоял перед ее натиском. В отличие от матери, правда, он не поддался панике и по крайней мере внешне сохранял спокойствие. Это был, несомненно, и результат многолетней тренировки — он уже привык владеть собой в любой ситуации и ни при каких обстоятельствах не обнаруживать, что под маской невозмутимости скрывается смятение и неуверенность.

Положение спас Виктор Ружичка. Непринужденно, с независимостью умудренного опытом адвоката он взял на себя роль доброго дядюшки, который считает своим долгом оказать помощь близким, очутившимся в беде по воле случая. Впрочем, это естественно, думал Славик, наблюдая с неудовольствием, но и с невольной благодарностью, как Виктор (потрясающе — мысленно он уже запанибратски называет его по имени: явно начинает оценивать его достоинства) дает им возможность выиграть время и обрести почву под ногами; да, он здесь в какой-то мере «внештатно», смотрит на все происходящее как бы со стороны, и неудивительно, что в критическую минуту сохраняет благоразумие; но это кажущееся благоразумие и мужество объясняются его неведением. Он словно человек, идущий по заминированной территории и не предполагающий, что в любую минуту может наступить на мину и взлететь в воздух; но стоит ему понять это, как от его благоразумия и мужества не останется и следа; так твою курочку, какая чертовщина лезет мне в голову, вместо благодарности я выискиваю доводы, которые дали бы мне возможность умалить и принизить его бескорыстную и столь необходимую помощь; словно это вопрос

престижа. Опять мучит меня болезненное самолюбие, и только сейчас я в полную меру осознаю, какое опустошение произвел в моей душе этот вирус. Почему Виктор это делает? Из жалости? Из сочувствия? Кого же он жалеет? Кому сочувствует? Меня не надо жалеть, любезный «ликвидатор», я обойдусь и без вашей жалости, и без вашего сочувствия, лучше оставьте эти глупости, если не хотите потерять мою симпатию, не перегибайте палку, не требуйте от меня слишком многого, я признаю, что вы не пустое место, я даже готов признать за вами статус личности, но сбавьте скорость, не злоупотребляйте моей минутной слабостью, я ведь тоже не пустое место, я тоже личность, и потому осторожнее на поворотах, может, вам еще не известно вот такое зерно мудрости: *Короли не любят людей, которые видели их в минуту слабости, и деспотические характеры не любят советников, если те хоть один-единственный раз оказались умнее их самих.* Цитата из записной книжки моей жены, и вам неплохо бы запомнить ее, а иначе любовь наша не расцветет пышным цветом, кончайте с этим вашим оскорбительным сочувствием, не вынуждайте меня быть вам благодарным, сочувствие, жалость и благодарность, нет, это слишком хлипкая основа для храма любви, лучше позаботьтесь об Алжбете Славиковой, она нуждается в вашей опеке куда больше меня, и, пожалуй, даже больше меня ее заслуживает, и больше оценит. Что? Вы это и делаете? Так, значит, она дорога вам, а на меня вам плевать? Ну и прекрасно, вижу, вы разумный человек, я рад, что ваша помощь не такая уж бескорыстная, как мне поначалу казалось, это меня радует, честное слово, но позвольте тогда и мне дать вам совет, примите его хотя бы как проявление моей благодарности: я хочу предостеречь вас, любезный коллега-«ликвидатор», ибо вижу — она не открылась вам до конца. И это, признаюсь, меня безмерно успокаивает. Вы принимаете нас за многострадальных скорбящих родственников умершей, за несчастные жертвы, я, конечно, не говорю, что мы не являемся ими, но, к сожалению, вы не знаете всей правды, и потому, будьте осторожны, чтобы не попасть впросак...

— ...да, как говорится, жизнь продолжается. Время лечит и самые тяжкие раны. Конечно, я уже далеко не молода, но не чувствую себя еще настолько старой, чтобы не попробовать начать все сначала...

Славик не верил собственным ушам. Вот уж и впрямь — здорово хватила. Еще минуту назад не знала, куда деваться от стыда, и вдруг, надо же, с какой откровенностью и дерзостью посвящает капитана в святая святых, в свое прошлое, настоящее и даже будущее, ей-богу, это прямо-таки публичное любовное объяснение Виктору Ружичке. Что, собственно, мы отмечаем? Поминки? День рождения? Или помолвку?

— Ну перестаньте, что вы, вам ли говорить о старости, вы выглядите так молодо,— замечает капитан, и Славик не может избавиться от ощущения, что он свидетель какого-то неудачного любительского фарса.

— Надеюсь, товарищ капитан не пришел праздновать твой день рождения,— раздраженно прервал Славик их куртуазный разговор.

Капитан Штевурка в третий раз стал извиняться за то, что потревожил их в такой, дескать, день, если б он знал, то пришел бы даже с цветами, но, к сожалению, вынуждают обязанности... ну хватит исхитряться, он ведь явился сюда сообщить им результаты вскрытия, так пусть и вываливает, к чему такая предусмотрительность, мы готовы выслушать это ужасное известие, и наконец...

— Пан режиссер, мне очень неприятно, право, но ничего не поделаешь,— начал капитан в смущении, глядя поверх плеча Славика на его мать, которая при этих словах насторожилась и, опершись обеими руками на ручки кресла, напряженно ждала — чего? Что это должно означать? Славик тоже с повышенным интересом наблюдал за капитаном, эта подготовка почему-то внушала ему опасения. Капитан,

чуть отступив, повернулся спиной к матери, словно именно ее вид приводил его в замешательство. Затем поднял голову, решительно посмотрел в глаза Славику и холодно сказал: — Я, собственно, пришел за вами.

Славик услышал пискливый скрип; мать поднялась с кресла, пружины жалобно запели.

Виктор Ружичка на мгновение перестал жевать бутерброд и застыл в позе хорошо воспитанного гостя — в правой руке бутерброд с ветчиной, в пяти сантиметрах ото рта, ладонь левой руки — невольно согнутой, почти вывернутой в локте — подставлена под бутерброд, чтобы, не дай бог, не насорить на ковер.

— За мной?

— Внизу ждет машина...

Мать шагнула вперед и встала между ними, точно собственным телом пыталась защитить сына от опасности.

Виктор Ружичка уже снова начал жевать, но, по-видимому, потерял аппетит: рот был набит едой, но в глазах прочитывалась лихорадочная сосредоточенность на чем-то совершенно не связанном с пищей — на чем же?

— В ходе следствия всплыли новые факты, которые требуют объяснения.— Капитан говорил строгим, официальным, бесстрастным тоном, к какому прибегают воспитанные люди, вынужденные говорить собеседникам вещи для них самих столь неприятные, что вообще предпочли бы молчать.

— Пожалуйста,— сказал Славик равнодушно.— Спрашивайте.

Голос капитана едва заметно потвердел:

— Благодарю за разрешение. Буду спрашивать. Только не здесь.

У Славика увлажнились ладони.

Алжбета Славикова воинственно выпалила:

— Надеюсь, это не значит, что мой сын арестован?

Капитан поднял брови — высоко, чуть ли не до половины лба; точно слова матери в чем-то обвиняли его, но главным образом — поражали.

— Ничего такого я, кажется, не сказал. Или вы считаете, что есть причины для такой... меры?

И обратился к Славику:

— Пан режиссер, прошу вас, поедемте со мной.

— Почему вы его увозите? — взвизгнула мать.

Капитан, не отвечая, резко повернулся и пошел к двери. Но когда раздались всхлипы матери, он нерешительно остановился и неприязненно, угрюмо бросил через плечо:

— Успокойтесь, пани Славикова.

Виктор Ружичка вытащил из кармана кремовато-желтый аккуратно сложенный платок (рука матери!), тщательно вытер пальцы, положил платок обратно в карман и подошел к ней. Ласково коснулся ее плеча и успокаивающе сказал:

— Не волнуйся, Беточка. Все идет нормально. Полагаю, дело касается обычных показаний.

Хотя Ружичка и адресовал свои слова матери, стараясь, чтобы не звучали они вызывающе — словно боялся, что капитан воспримет их как недопустимое вмешательство в его полномочия,— тот быстро повернулся и, смерив удивленным взглядом робко улыбавшегося Виктора Ружичку, согласно, без всякой неприязни, качнул головой. Нечто похожее на благодарность за сотрудничество.

— Вы юрист? — спросил он; но это было скорее утверждение, чем вопрос. Виктор кивнул.— Впрочем...— продолжил капитан, но тут же осекся. С минуту он внимательно глядел на мать — она крепко держала руку Виктора, усталая, измученная,— потом обронил: — Нет, в таком состоянии...— Он будто размышлял вслух: — Кстати, я и вас охотно расспросил бы кое о чем, пани Славикова, но боюсь, вы сейчас слишком... так сказать... взволнованы.

— Вы ошибаетесь, товарищ капитан,— резко обрубила она.— Вы даже не представляете, сколько я могу выдержать.

Капитан призадумался:

— А вы смогли бы?.. Хотя нет, вы слишком возбуждены, еще по дороге вам станет...— Он опять умолк, но после минутного колебания продолжил: — А впрочем, почему бы нам и не проделать это здесь.— Он снова впился глазами в мать: — Вы готовы объяснить мне некоторые детали?

— В любое время. Мне нечего бояться.— Казалось, мать обижает недооценка ее сил.

— Что ж, хорошо,— сказал капитан.— По крайней мере это ускорит дело.

Он снова перешел на официальный тон:

— Пан режиссер, если не ошибаюсь, у вас пишущая машинка? Я могу ею воспользоваться?

— Разумеется. Сейчас принесу.

— Спасибо,— сказал капитан поспешно,— не хотелось бы вас утруждать. Здесь я уже немного ориентируюсь.

Он пошел к кухне.

— Там кухня,— предупредил Славик.— Машинка в кабинете.

Капитан остановился и растерянно улыбнулся.

— Серьезно? — спросил он.— Пожалуй, я слишком понадеялся на свою память.— Он постоял, сосредоточенно глядя на ковер, словно искал там что-то. Что? Что он там выискивает? Славик застыл в судорожном напряжении — там, да, именно на этом месте...— Здесь мы ее нашли, если не ошибаюсь,— проворчал Штевурка.— Здесь она лежала, а рядом... н-да...— Не договорив, он прошел в кабинет.

Нож, мысленно докончил Славик фразу капитана. Им овладело тревожное беспокойство, но вскоре страх сменился защитной, спасительной иронией. Поведение капитана вдруг показалось ему смешным; дешевые театральные номера, ухмыльнулся он, спектакль, рассчитанный на эффект; словно он знает за мной слабость поддаваться внушению. И все-таки — дешево, но впечатляюще — на меня ведь это и впрямь подействовало, пусть даже на мгновение; лучше было бы поехать с ним, там было бы легче; что он намеревается делать? Неужто уже сгущаются надо мной тучи?

Капитан вышел из кабинета с пишущей машинкой. Черт бы его побрал, ишь как ловко устраивается, конечно, остался здесь умышленно — вот уже вложил в машинку бумагу с копиркой!

— Я вас долго не задержу, лишь небольшая формальность.— Он широко развел руками: — Прошу садиться.

Виктор Ружичка поправил сдвинувшийся узел галстука и деликатно заметил:

— Мое присутствие, вероятно, нежелательно? — Он вопросительно посмотрел на капитана.

Капитан, чуть подумав, нерешительно кивнул, но тут же махнул рукой:

— Да нет, что вы... это же не официальный допрос. Кое-что придется выяснить, а потом можете продолжить... свой праздник.

Славик вскинулся:

— Какой праздник? Мы ничего не празднуем, нам нечего праздновать...

Капитан виновато поднял обе руки: сдаюсь! И сказал с извиняющейся улыбкой:

— Простите, я не то имел в виду... вы правы, мои слова совершенно неуместны, не так ли? Мне в самом деле неловко.— И тут же, с места в карьер, продолжил: — В своем предыдущем показании вы сообщили,— обратился он к матери, закурившей сигарету,— что в ту ночь, когда была убита жена вашего сына, ваш сын всю ночь провел у вас. Вы настаиваете на этом?

Мать ответила твердо, без колебаний:

— Разумеется.

Капитан встал из-за пишущей машинки.

— Впрочем, обойдемся пока без протокола.— Он вытащил из кармана блокнот.— Лишь несколько неофициальных заметок.— Он мягко улыбнулся, в упор глядя на мать.— Потом, когда вы почувствуете себя лучше, мы составим официальный протокол.

— Я чувствую себя вполне хорошо,— отрезала мать.— Сколько раз надо повторять.

— Приятно слышать,— сказал капитан.— В самом деле.

Понятно, теперь мне понятно. Славик налил себе водки, он делает это с расчетом, у него все заранее обдумано, ему снова удалось ее раззадорить.

— Выпейте, пан режиссер,— доброжелательно сказал капитан.— А вы, пани Славикова, не откажетесь? — Он налил матери немного водки.

Славик удивленно глядел на рюмку: кто ему налил? Так твою курочку; как говорится — «в силу привычки»! Даже после пятилетнего перерыва организм для поддержания сил нуждается хоть в капле алкоголя. В стрессовом состоянии. Он уж было хотел поставить рюмку на стол, но, заметив испуганный взгляд матери, взбунтовался: что ты так на меня смотришь, уж не думаешь ли, что одна рюмка свалит меня, не беспокойся, я уже не болен, обойдусь и без няньки, я крепко стою на ногах, каждая крайность есть неестественность sui generis, не правда ли, любезный «ликвидатор»? Брр, хорошо.

— Спасибо, мне не хочется.— Алжбета Славикова решительно отказалась от предложения капитана.

— Ваш сын действительно был всю ночь у вас, пани Славикова?

— Был там, где ему положено было быть...

— Странно,— заметил капитан с понимающей, ироничной улыбкой.

— Что же в этом странного?

— Раздвоение личности. Как объяснить, что он был в двух местах одновременно. Дело в том, что есть свидетель, который видел, как ваш сын в четверть второго ночи входил в подъезд дома на Маркушевой улице. В подъезд этого дома, пани Славикова! В котором вы сейчас празднуете свой день рождения!

Все кончено, пронзила Славика мысль, угроза сбылась, удар нанесен, пришло время переброски на заранее подготовленные позиции; этот болван таки все им выложил.

Капитан пожал плечами и отвернулся от матери; вид у него был разочарованный, недовольный, как у человека, приложившего все усилия, чтобы протянуть руку ближнему, но тот, из какого-то непостижимого, самоубийственного упрямства, отказался от помощи, хотя было совершенно ясно, что положение его безнадежно и без помощи ему не спастись.

— Пан режиссер, вы действительно ту ночь провели у своей матери и вообще не были дома?

— Не был! — выкрикнула мать.

— Я спрашиваю не вас, пани Славикова!

Славик перевел взгляд на мать, точно заранее хотел извиниться за слова, которые сейчас произнесет, но, почуяв ее несломленную волю сопротивляться до конца, вдруг понял, что совершит непростительное, коварное предательство, если ее, неподготовленную и потому безгранично ранимую, поставит лицом к лицу с неизбежностью принять поражение. Он подошел к ней, мысленно проклиная себя за трагическую, непоправимую ошибку, которую допустил, не предупредив ее об опасности, грозящей их первоначальному плану защиты (но разве я мог предположить, что события приобретут столь рискованный оборот?), слегка погладил ее по волосам, по блестящим светло-каштановым

волосам, по этой маске, под которой скрывались ее натуральные, черные волосы. И вдруг сердце его сжалось от бесконечной печали и отчаяния, как в ту минуту, когда он, узнав от доктора Бутора, что Гелена была беременна, понял, что убил ее по ошибке, в силу вопиющего недоразумения, столь чудовищно обезобразившего жизнь, эту единственную жизнь, что дана нам лишь раз, но мы уничтожаем ее взаимным непониманием, бессмысленно и понапрасну, точно играем перед камерой, бах-бах — и мы падаем замертво, но, по счастью, режиссер говорит: попробуем-ка еще раз, и мертвый воскресает, а камеры вновь начинают жужжать, пока режиссер не кивнет с довольством: добро, это смерть подходящая, она убеждает, но человек, может статься, вдруг обнаружит, что нет режиссера, способного воскресить мертвого; ПОКОНЧИМ ЖЕ С ЭТОЙ ИГРОЙ НА ПУБЛИКУ, иначе мы никогда не узнаем друг друга, сорвем с себя маски, пока не поздно, чтобы лучше понять друг друга — в жизни, не в смерти, а я хочу жить, потому что убил Гелену по ошибке, не осознав, что она опять всего лишь играла, да, я хочу жить, хотя отчасти и виноват в ее смерти, я хочу жить, и ты должна мне помочь, родная моя, ты должна доверять мне и во что бы то ни стало быть сильной, без тебя я погибну. А вслух он сказал:

— Да, я был дома.

Резко, словно укушенная ядовитой змеей, мать вырвала руку из его ладони. Она впилась в него изумленно расширенными глазами, и он с ужасом осознал, что она не поняла его; на ее лице под размазанной красной помадой, под растекшимися румянами, на ее лице, жеваном, точно белый в кровавых пятнах платок, появилось выражение болезненного, презрительного разочарования. Медленно, с невероятным усилием, опираясь обеими руками, она поднялась с кресла и, едва переводя дыхание, попыталась в последний раз в бессмысленном отчаянии возразить:

— Он лжет, товарищ капитан... Он был... всю ночь... у меня.

Она протянула руку к стакану с содовой водой, но вдруг зашаталась и плавно, точно в замедленном изображении на экране, словно кто-то подсек ей колени, опустилась наземь, на толстый и мягкий сочно-зеленый ковер.

Виктор Ружичка вскочил с кресла.

— Бета! — Он склонился над ее неподвижным телом и нежно коснулся ее мятого, белого, как у клоуна, лица.— Воды! — крикнул он.

Капитан бросился в ванную, а Славик вдруг почувствовал себя здесь совершенно лишним.

Резкий напор ветра настежь распахнул приоткрытые окна; сзади, в Геленином комнате, задребезжали стекла. Славик подошел к окну. Воющий ветер сотрясал телевизионные антенны, раскачивал провода на крышах, срывал листья с одиноко растущего дерева, пробившегося сквозь асфальт тротуара.

Ветер бешено метался по улице, с любопытством задирал юбки женщинам, суматошно бегущим с набитыми хозяйственными сумками, злобно опрокинул детский велосипед, прислоненный к стене противоположного дома, озорно поиграл со шляпой слепого старика, который в бессильной злобе стал грозить ему палкой.

Лучи, источаемые сокрытым, едва ощутимым солнцем, с трудом прорывались сквозь облака и кровавым, червонным заревом разжижали их чернильную окраску.

В городе, залитом ядовито-фиолетовым полусветом, на внезапном сквозняке хлопали открытые двери, а из окон над улицами выплескивались белые занавеси, словно флаги, выставленные в знак капитуляции. Гроза застигла большинство людей врасплох, несмотря на то, что разразилась в точном соответствии с прогнозом погоды.

Лишь сейчас люди торопливо закрывали окна.

— Поедемте, пан режиссер,— услышал Славик голос капитана.

— Я хочу присутствовать,— сказала мать.

Она уже снова сидела в кресле, съежившаяся, с потухшими глазами, казалось, она по-прежнему ничего не понимала.

Славик подошел к ней. Ее холодная, влажная, помертвелая ладонь беспомощно лежала в его руке, но минутой позже он ощутил едва заметное, легкое пожатие пробуждавшихся к жизни пальцев: я еще слаба, но все пройдет, я соберусь с силами.

— Вы очень взволнованы,— заметил капитан.

Мать выпрямила спину. Еще крепче сжала пальцы сына и упрямо повторила:

— Я хочу присутствовать.

Славика залила горячая волна нежной благодарности и восхищения.

— У нее есть на это право,— послышался голос Виктора Ружички.— У нее есть на это право. В качестве опосредствующего элемента.

Гроза с грохотом выстрелила в оконное стекло первую порцию мелких белых дробинок: пошел град.

16

Капитан Штевурка сидел за массивным канцелярским столом, покрытым матовым стеклом; сзади стоял огромный сейф. На его дымчатом, стального оттенка, фоне почти совсем не выделялся серый костюм капитана; казалось, душный зной, неподвижно висевший в воздухе (лопасти вентилятора почему-то не вращались), его вовсе не смущает: пиджак был застегнут на все пуговицы. Вероятно, он оделся так, чтобы я воспринимал его как неприметную часть интерьера, усмехнулся Славик язвительно, он стремится притупить мое внимание, надо быть начеку, не попадаться на удочку, этот мужичок, видать, не привык импровизировать, у него наверняка все выстроено заранее. Славик с опаской подумал, что в руках у капитана и другие козыри, он, конечно, прервал допрос в квартире отнюдь не из чувства деликатности. Показания Плахого, должно быть, не единственный и не последний козырь, кто знает, какие карты у него еще в сносе.

И все-таки перемена обстановки помогла Славику: удрученность, которую он испытывал в своей квартире, где все напоминало ему мгновения ночного кошмара, исчезла. Сейчас главным образом его тревожила мать. Она оцепенело сидела на стуле, вновь тщательно накрашенная, губы крепко сжаты, руки сложены на коленях; вид у нее был отсутствующий и неприступный, словно она сидела в окружении людей, с которыми ее ничего не связывает, словно оказалась здесь по чистой случайности, по досадному недоразумению.

Истекло уже десять минут, но ничего не происходило. Капитан предложил им кофе и сигареты — чашкой кофе они не пренебрегли, но от сигареты мать отказалась, а Славик демонстративно закурил собственную «спартину». Похоже было, будто они собрались на дружескую беседу в узком семейном кругу (или — учитывая типично канцелярскую обстановку — на рабочее совещание); не было с ними лишь Виктора Ружички, теперь его заменил подпоручик в форме, с которым Славик познакомился еще в то утро, когда «ничего не предполагавшая 79-летняя старушка Амалия К. обнаружила в квартире Петера С., 31 года, тело 35-летней Гелены Б.».

— Ну что ж...— Капитан перестал просматривать папку с документами, внимательно оглядел их двоих, словно проверял, готовы ли они приступить к делу, потом ненадолго замолчал, будто внезапно осенившая мысль заставила его изменить первоначальное решение.— Ну что ж, я полагал, что мы проведем очную ставку по всем правилам, но, принимая во внимание обстоятельство, что пан режиссер признал

свою причастность к месту преступления, а вы, пани Славикова, изменили свое первичное показание... надеюсь, вы не передумали за это время...— Он снова умолк, словно хотел дать матери возможность что-то сказать, но она, должно быть, не сочтя нужным как-то откликнуться на его слова, продолжала равнодушно пялиться в стену. Славик не мог определить, слушает ли она вообще, о чем здесь говорится, и сознает ли в полной мере грозящую опасность. Он решил вывести ее из этой летаргии и потому нетерпеливо, с настойчивостью, обращенной к ней, прервал капитана:

— Я сказал, что я там был, но Гелена была уже мертва. Что еще вас интересует?!

Оживившись, капитан спросил:

— Надеюсь, вы не думаете, что тем самым вы ответили нам на все вопросы? — Он перегнулся через стол и с неожиданным упором продолжал: — Ну хотя бы... Почему вы не сказали нам об этом сразу? Почему вы так долго водили нас за нос? Почему признались в этом только после свидетельства таксиста...

— Таксиста?

Капитан и подпоручик с любопытством уставились на него, очевидно не понимая причин его изумления.

— Да, я ведь вам еще не сказал...— донеслись до него слова капитана, но в голове непрестанно вертелось лишь одно слово — «таксиста». Он заметил, как подпоручик по указанию капитана стал листать бумаги, потом услышал и его слова: «Альберт Майер...» — но при этом не мог избавиться от навязчивой, бессмысленной, абсурдной мысли: Плахий опять меня предал, опять подставил меня, обманул, не оправдал моих ожиданий... «Альберт Майер... ночью... видел, как вы входили в подъезд вашего дома»... этот оболтус меня не выдал...

— Не понимаю, что вас так взволновало,— заговорил капитан с каким-то озабоченным удивлением.— Вы знаете этого Майера?

— Нет. Не припоминаю,— наконец опомнился Славик. Но в уме все еще не переставала звучать болезненная бессмыслица: этот оболтус опять меня предал! Да, именно то, что Плахий не выдал его, воспринималось им как вопиющее предательство: оболтус опять не оправдал моих ожиданий, чушь какая-то, я же вбил себе в голову, что никто другой, кроме него...

— ...Если, говорю, это вас так взяло за живое. Вы в самом деле его не знаете?

— Нет, не знаю,— повторил Славик.

— Странно... Он ждал у «Кристалл-бара» какого-то пассажира и случайно заприметил, как вы шли домой. Сказал, что несколько раз возил вас, потому и запомнил. Надо ли снова прочесть его показания?

— Спасибо. Не нужно. Но мне это кажется довольно странным. На основе непроверенных показаний вы...

— Естественно, что ему придется вас идентифицировать,— поспешил объяснить капитан.— Но это, так сказать... процессуальные вопросы.... конечно, если угодно, вы можете опротестовать способ, каким мы ведем эту... беседу.— После недолгого молчания, которым Славик так и не воспользовался для выражения своего протеста, капитан продолжал: — Таким образом, в настоящий момент мне представляется куда более существенным ваше признание... что вы были там... чем все прочее... Или вы хотите изменить свое показание?

— Нет! Я был там! Но Гелена была уже мертва. Сколько раз я должен вам повторять?

— Вот оно что...

— Не смейтесь надо мной! Вы думаете, мне легко об этом говорить?

— Вы в самом деле... крайне чувствительны. Я и не думаю смеяться над вами. Только мы все ходим вокруг да около. Я снова вынужден задать вам тот же самый вопрос: почему вы сразу не сообщили нам, что обнаружили ее? Или хотя бы утром... Сокрытие убийства... пан режиссер, это не пустяк...

— Я вас понимаю, но попробуйте войти в мое положение,— заговорил он тоном искренне кающегося грешника, хотя и сознавал сам, что слова его звучат не очень-то убедительно. Лицо капитана выражало лишь профессиональную вежливость, подпоручик, похоже, с трудом сопротивлялся скучающему зеву; пожалуй, только мать проявляла некоторый интерес. Вдруг он почувствовал настойчивую потребность убедить их, преодолеть эту стену недоверия и начал торопливо, сбивчиво, нервно жестикулируя руками, рассказывать: — Поймите же, каково было мое положение... понимаете... когда я пришел ночью домой и увидел Гелену... она лежала там мертвая... разумеется, я должен был вам сообщить... но я чудовищно испугался... боялся, что заподозрите меня... сам себе не могу объяснить... настоящий шок... убежал как мальчишка... совершенно потерял себя... а потом утром... — Он со стыдом обнаружил, что вовсе не убеждает их в правдивости своих слов, а скорей напротив, этой сбивчивой болтовней лишь усиливает их подозрительность; отчаявшись, он развел руками и зло выкрикнул: — Вы б лучше нашли того парня, что был с ней тогда, а меня оставьте в покое!

Капитан вперился в него с таким удивлением, что забыл стряхнуть пепел с сигареты; тонким слоем он запорошил колено.

— Откуда вы знаете, что с вашей женой тогда был какой-то мужчина? — спросил капитан, стряхивая пепел.— Вы его видели?

— Нет, но...— осекся он в последнюю секунду. Она же сама мне сказала, что у нее кто-то был — да, именно эти слова уже вертелись на языке, именно их он и хотел произнести, бездумно, автоматически откликаясь на вопрос, заданный в легком, разговорном тоне, с непринужденной, простодушной улыбкой.— Но... она же была там не одна. Вы же установили, что кто-то был у нее, не правда ли? — закончил он фразу, чувствуя себя самой последней дрянью: жалким, ничтожным, опозоренным пигмеем.

— Да, там кто-то был.— согласился капитан и потушил окурок, неторопливо, тщательно раздавив его о дно пепельницы. А затем бесцветным голосом, будто оповещая о какой-то ерунде, сказал: — И мы его нашли.

Он вызывающе взглянул на Славика:

— Не такие уж мы бездари, что скажете?

У Славика пересохло во рту; не знал, радоваться ли ему новости или... наконец ему удалось изобразить милую улыбку:

— Серьезно? Я рад... что вам повезло. И простите... Я не хотел вас как-то уязвить...

Алжбета Славикова очнулась от оцепенения; с неестественной взволнованностью, граничащей с истерией, она поздравила капитана с успехом и выразила надежду, что теперь, когда все прояснилось, их наконец оставят в покое. Ее реакция еще больше встревожила Славика. Казалось, она все еще не пришла в себя и действует в каком-то бредовом отупении. Застывший, отсутствующий взгляд и насмешливо опущенные уголки губ выражали ее презрение к тому, что делается вокруг; словно думала она о чем-то совершенно постороннем, о чем-то гораздо более важном и существенном, о чем никто, кроме нее, не имеет ни малейшего понятия.

— Да,— продолжал капитан, листая досье.— У вашей жены действительно кто-то был.— Он вытащил из папки лист и постучал по нему костяшками пальцев.— Только это был не мужчина.— Он чуть помолчал, мельком посмотрел на Славика, словно не хотел слишком пристальным, бестактным взглядом смутить его, и снова

погрузился в протокол: — Вера Мразова, родилась девятого четвертого тысяча девятьсот сорок четвертого в Трнаве, редактор...

Славик уже не воспринимал последующих слов... «только это был не мужчина»... значит, она и этого парня выдумала... Он удивленно поглядел на мать: ты слышала? не безумие ли? потрясающая изобретательность, не так ли? здорово она нас обставила, а? Да, так, наверное, чувствует себя человек, узнавший новость, абсурдность которой настолько переходит границы допустимых представлений, что в душе уже нет места для ужаса. Остается лишь немое, ошеломляющее удивление: Надо было, в конце концов, это и ожидать, подумал Славик.

— Вам нехорошо? — проник в его сознание голос капитана.

Он отупело потряс головой: к кому относится этот вопрос? ко мне? почему?

— Недавно он перенес тяжелое воспаление легких,— закричала мать.— Я не позволю так издеваться над ним.

Что случилось? В глазах матери стоял страх, более того, какой-то безумный ужас. Только чуть позже он осознал, что этот страх вызван не известием капитана о Вере Мразовой, а его, Славика, состоянием. Что она так смотрит на меня? Боится, что я спятил? Он действительно производил странное впечатление — на губах растерянная улыбка, а глаза неуверенные, испуганные, затравленные, устремленные на капитана с угодливой, просительной преданностью, словно молили о помиловании, словно он надеялся, что слова капитана — «только это был не мужчина» — всего лишь злоумышленная шутка, которой тот решил его наказать, но уже в следующую минуту возьмет их назад с успокаивающим дружеским извинением.

— Вызвать врача? — спросил капитан и в голосе его прозвучало заботливое опасение, да, оскорбительно жалостное участие; это привело Славика в чувство; будто ничего, кроме моего здоровья, не тревожит его, да он просто потешается надо мной.

— Нет, нет... нет... все нормально,— заикался он смущенно, вытирая ладонью лоб. Он обливался потом, во рту была пустынная сушь, а в горле, перехваченном страхом, бешено колотилось всполошенное сердце; или оно в ушах?

Он прижал ладони к шумно пульсирующим жилам на висках, кончиком языка облизал губы и уже поспокойнее повторил:

— Все нормально... извините.

Он почувствовал на лице освежающий ветерок; кто-то тем временем включил вентилятор. Подпоручик подал ему стакан воды. Славик возмущенно мотнул головой, но тут же взял стакан, крепко сжал его трясущимися руками и несколькими жадными глотками осушил до дна; веду себя как последний кретин, подумал он, а вслух сказал:

— Спасибо.

Глубоко вздохнул. Сердце понемногу успокаивалось. Робко, виновато улыбнулся, словно просил прощение за свое унизительное малодушие.

— Вам что-нибудь говорит это имя... Вера Мразова? — спросил капитан.

— Подруга моей жены. Не понимаю, какая связь...

Капитан не дал ему досказать:

— Это был тот гость, с которым ваша жена в тот вечер выпивала.— Он четко, с упором произносил отдельные слова, словно сомневался в способности Славика реально осмыслить их значение.— Из ее свидетельского показания вытекает...— Он поглядел в дело перед собой и монотонно стал читать: — «Примерно в восемь вечера мне позвонила Гелена. Она попросила меня зайти, сославшись на скверное самочувствие. Я живу неподалеку и пообещала заглянуть к ней. Непривычное возбуждение Гелены удивило меня, было даже

любопытно узнать, что стряслось с ней, и потому уже четверть часа спустя я была там. Гелену я нашла в сильном подпитии. И как ни сопротивлялась, пришлось-таки с ней тоже выпить. Казалось, она была в состоянии крайнего нервного потрясения. Я спросила, что с ней случилось, но она лишь бормотала что-то невразумительное и истерически выкрикивала, что произошло нечто невероятное, ужасное, о чем она даже не может говорить, и поэтому немного погодя я вообще пожалела, что пришла к ней. Я хотела уйти, но она не отпускала меня, говорила, что нельзя бросать ее, что она что-нибудь над собой сделает, и я осталась. Надеялась, что вскоре она опомнится и все войдет в свою колею. Наконец я поняла, что этот ужас, о котором она так драматично говорит,— форменная чушь. Она, мол, узнала, что ее муж многие годы обманывает ее и что теперь она ума не приложит, как ей быть — они ведь ждут ребенка, и что я, мол, должна посоветовать, что ей вообще делать, словом, обыкновенная истерия. Я успокаивала ее, убеждала, что это явно какое-то недоразумение, я ведь достаточно хорошо знаю ее мужа, чтобы не принимать это за чистую монету. Иными словами, посторонними женщинами он никогда не интересовался... я бы сказала... с эротической точки зрения, напротив, он всегда относился к женщинам с каким-то презрительным невниманием, они привлекали его... я бы сказала, лишь как объекты изучения... Да, пожалуй, это точнее всего. Он относился к людям с какой-то оскорбительной холодностью, они возбуждали его интерес лишь до тех пор, пока... я бы сказала... ему не удавалось изучить их до конца. Да, он лишь изучал людей, но никогда не испытывал к ним каких-то глубоких... человеческих чувств. Конечно, Гелена не в счет. Ее он любил... я это знала, как и все, кто был знаком с ними. Я все это сказала ей, но она не переставала кричать что мы все замазывали ей глаза, что мы, дескать, знали, что он обманывает ее, и за спиной потешались над ней. Я уверяла ее, что мне об этом ничего не известно, что, по-моему, все это сплетни, не более, но вдруг она раскипятилась и стала обвинять меня, что я тоже обманываю ее, она ведь совершенно достоверно знает, что у Петера, то есть у ее мужа, есть любовница — так сказал ей Карол Регора, стало быть, это абсолютная правда, он ведь наслышан обо всем, что бы где ни случилось, а это уже и вовсе рассмешило меня. Регору-то я хорошо знаю, к его словам нельзя относиться серьезно, он ведь обожает всякие каверзы, нет для него большей потехи, чем подшутить над людьми, а в общем-то это незлобивый интриган. Но Гелена утверждала, что на этот раз он не обманывал, потому что сказал ей и о том, чего определенно не мог бы знать, не будь это сущей правдой, а именно: у ее мужа общий ребенок с художницей Яной Гавьяровой, с которой Петер встречался еще до того, как познакомился с Геленой, и это, дескать, абсолютная правда, так как Регоре сказал об этом Милан Плахий, бывший муж Яны Гавьяровой, а Милан, как известно, в подпитии несет всякую чушь, и это тоже, конечно, было очередной уткой, и если бы Гелена не была пьяна, так и сама бы посмеялась над этим,— все это я сказала ей и ушла домой. Вот и все».

Отложив бумагу с показаниями Веры Мразовой, капитан оперся локтями о стол, наклонился к Славику и сказал:

— Это был ее гость.

Нелепица, сплошная нелепица, не более того, размышлял Славик. Вот почему она накрутила такое! Каролко пошутил, а она... господи, если б все не было, по крайней мере, так невероятно банально! Неужто в этом мире и вправду нет места хотя бы для одной приличной, достойной, возвышающей и очищающей трагедии? Неужто мы обречены на одни пошлые фарсы?

— Однако... — продолжал капитан. — Вера Мразова ушла без четверти девять, а ваша жена умерла в половине второго ночи, что

неопровержимо доказано результатами вскрытия и медицинской экспертизой.

— Это она вам сказала.

— Простите, не понял.

— Гелена могла же позвонить ей гораздо позже...

— Вы нас все время недооцениваете, пан режиссер,— заметил капитан с ироническим укором. — Надеюсь, вы не думаете, что мы не проверили этого факта? Словом, не собираюсь излишне испытывать ваше терпение. Вера Мразова действительно ушла без четверти девять, а на остальное время ночи имеет неопровержимое алиби. Я не стану утомлять вас подробностями, но это факт. А факты — упрямая вещь.

— И что вы этим хотите сказать? На мой взгляд, это значит лишь то, что там в... во сколько это случилось?

— Около двух ночи.

— Это вовсе не значит, что у Гелены не мог быть еще кто-то другой.

— Допускаю. Более того, я даже уверен, что там действительно был кто-то другой... Там были вы!

— Не был! — взорвался Славик.

— Не был? — Капитан удивленно поднял брови. — Но ведь вы уже признались, что были там.

— Но не тогда! Не ловите меня на слове. Когда я пришел, она была уже мертва. До меня там был еще кто-то!

— Весьма сожалею, но нам не удалось найти ни единого следа, оставленного кем-то другим. Отпечатки пальцев на рюмках принадлежат только вашей жене и Вере Мразовой. И сигареты, найденные в пепельнице, подтвердили присутствие только двух лиц. Вашей супруги... кстати, она курила «спарты», не так ли? Если не ошибаюсь, вы тоже курите «спарты»?

— Я там не курил!

— Почему вы горячитесь? Я же не утверждаю, что окурки от тех «спарт» — ваши. И Вера Мразова курит «спарты». На некоторых окурках обнаружены следы помады, которой пользуется Вера Мразова. Но у нее на критическое время неопровержимое алиби.

— Черт подери! Ведь тот, кто был там потом, не обязательно пил и курил с ней. На свете существуют и более приятные вещи.

Капитан устало вздохнул и официальным тоном произнес:

— Результаты вскрытия засвидетельствовали еще один факт... — Он сухо откашлялся. — У вашей жены в ту ночь не было... — Он слегка стукнул пальцем по глобусу, стоявшему невесть для какой надобности на столе по левую сторону. — Словом, половой акт не имел места.

Славик смотрел на этот миниатюрный земной шар, раскрученный пальцем капитана, и, наблюдая за сливавшимися цветами, отделявшими одно государство от другого, слушал его:

— Мы не установили присутствия никакого другого лица, кроме вас и Веры Мразовой.

— Так установите его наконец, вам же платят за это!

Стул под капитаном сухо затрещал. Он резко выпрямился, глаза сузились, потемнели от злости. Он быстро забарабанил пальцем по столу.

— Наши обязанности вас не касаются! Мы несомненно знаем их лучше, чем вам думается. Кроме того, следствие еще не закончено. Смею вас уверить, над этим делом работают наши самые хваткие люди. Если до вас там действительно кто-то был — мы это рано или поздно установим. Не беспокойтесь. Потерпите. Я вовсе не утверждаю, что вы убийца. Но некоторые расхождения необходимо выяснить, надеюсь, вам это понятно. Правда, вы не очень облегчаете нашу задачу. Я вас не обвиняю, но некоторую гипотезу, так сказать...

рабочую гипотезу, однако, я должен был выдвинуть. Не любопытно ли вам с ней ознакомиться?

— Почему бы и нет? Пожалуй, это даже меня взбодрит.

— Надеюсь, что развлеку вас. Чтобы вам не было уж слишком скучно. — Капитан встал со стула и, заложив руки за спину, начал не спеша прохаживаться по комнате — между окном, выкрашенным в молочный цвет, и дымчатым, стального оттенка, сейфом. — Согласно моей версии, могло быть и так, например: вы пришли ночью домой, нашли ее пьяной, решили, что она с кем-то спала, а поскольку вы ждали от нее ребенка, это ошеломило вас до такой степени, что вы в припадке вполне объяснимой ярости,— он взял со стола кухонный нож,— можно даже сказать — в состоянии невменяемости просто... закололи ее... — он приставил нож к груди Славика,— вот этим ножом,— заключил он и положил нож на стол. — Я уверен, что это было неумышленное убийство, совершенное в понятном аффекте, и если до конца быть искренним, мне даже жаль вас, не обижайтесь только, прошу вас, ваше самолюбие, наверное, очень отравляет вам жизнь...

Он пригладил и без того прилизанные волосы и устало сел верхом на стул, оперся подбородком на спинку и молча стал ждать, что скажет Славик.

— Я ценю ваше понимание моих побуждений,— проговорил Славик с какой-то странной приподнятостью, выдававшей его стремление прикрыть внутреннюю неуверенность дерзкой бравадой. — Но даже при самом большом желании не могу с вами согласиться. В вашем проникновенном слове вы забыли об одном обстоятельстве — каким-то образом вы упустили, что, когда я пришел домой, Гелена была уже мертва, и потому ваша хитроумная гипотеза теряет всякий смысл.

Капитан посмотрел на него из-под насупленных бровей и признательно покивал:

— Вы правы. Я об этом начисто забыл. Разумеется, если вы ее нашли мертвой, в моей гипотезе нет никакого смысла. Как же я мог такое упустить? Прекрасно, что вы поймали меня. Товарищ подпоручик... лабораторное заключение... не знаете, куда я его положил?

Подпоручик встал из-за столика, где рядом с магнитофоном лежала такая же, как и у капитана, папка, и молча подал ему какую-то бумагу. Капитан бегло пробежал ее глазами, положил на стол и спокойно сказал:

— Да, это оно.

Он перевел взгляд на Славика.

— Вы пришли и нашли ее мертвой. Так? — Не получив ответа — Славик, непроизвольно сжавшись на стуле, застыл в напряженном ожидании последнего удара,— капитан мягко спросил: — Но как вы тогда объясните, что под ее ногтями обнаружены ваши волосы? Последний раз живую вы видели ее две недели назад, правда? Надеюсь, вы не станете утверждать, что две недели она не чистила ногтей? Или настолько ненавидела вас, что выдрала у вас волосы уже после смерти?

— Боюсь, что это ошибка,— сказал Славик, судорожно усмехнувшись. — Уж не рассчитываете ли вы застращать меня такими дешевыми трюками? — Он говорил, а перед глазами у него была Гелена, поднявшаяся на цыпочки, со вскинутыми над головой руками, пытавшаяся оторваться от земли и взлететь, он видел ее широко раскрытые глаза, с угасавшим ужасом, а в волосах чувствовал ее пальцы, когда она порывалась найти какую-то точку опоры, что спасла бы ее от падения в безвозвратное. Он услыхал приговор капитана:

— Ошибка исключена! Лабораторным анализом установлено, что волосы под ногтями вашей жены идентичны с волосами, найденны-

ми на вашей рубашке в то утро, когда мы позволили себе раздеть вас.

— Бессмыслица! — Славик взял из пачки сигарету и долго, тщательно мял ее влажными пальцами.

— Вы хотите сказать, что эти волосы принадлежат кому-то другому? В конце концов, это легко проверить, не так ли?

Славик сжал губами сигарету и, пытаясь оттянуть время, стал медленно, не торопясь ощупывать карманы в поисках спичек, хотя коробок лежал перед ним на углу стола. Но в отупелом его мозгу была кромешная тьма — его хватило лишь на то, чтобы тупо повторить:

— Бессмыслица.

— Время поджимает, да? — заметил капитан иронически. — Пожалуйста.

Перед глазами Славика внезапно вспыхнуло ослепительное пламя. Он испуганно вздрогнул. Капитан держал в пальцах горящую спичку.

— Теперь моя гипотеза кажется вам более приемлемой? Или вы продолжаете утверждать, что ваша жена была уже мертвой?

Славик смотрел, как огонь подступает к пальцам капитана, пожелтевшим от никотина, как белое деревянное тельце спички чернеет, обугливается, коробится, безжалостно сжигаемое догорающим огоньком, и его сознание мало-помалу начинало просветляться. Словно эта внезапная, ослепительная вспышка вместе со словами капитана («Вы продолжаете утверждать, что ваша жена была уже мертвой») высекла в мозгу искорку, предвестие света в конце темного тоннеля. Когда я пришел домой, Гелена была уже мертвой. Да, вот на чем я свернул себе шею: Плахий. В сознании всплыли кошмарные минуты, когда он сидел на корточках возле Геленина бездыханного тела, с ужасом прислушивался к шагам на лестнице, близившимся к двери, и судорожно придумывал объяснение для этого балбеса: когда я пришел домой, Гелена была уже мертва. Это объяснение так крепко засело в памяти, что он с непостижимо тупой инерцией построил на нем свою защиту. Но ведь достаточно было сущего пустяка, чтобы выкрутиться без ненужных осложнений; достаточно было сказать: да, я был в ту ночь дома, но когда уходил, Гелена еще жила.

Славик смотрел, как капитан машет в воздухе спичкой, обжигавшей ему пальцы, как злобно бросает ее в пепельницу, а про себя думал: нет, у них нет против меня никаких веских улик, ничего, кроме моих волос под ее ногтями, а это вовсе не доказательство, есть еще выход, еще не конец...

Он взял со стола коробок, чиркнул спичкой, глубоко, с наслаждением затянулся и, по возможности искренне глядя в глаза капитана, сказал:

— Хорошо, я скажу вам, как было на самом деле.

Мать, погруженная в мрачное раздумье (о чем она размышляет?), отгороженная своим вызывающе презрительным равнодушием, оторвала взгляд от носков своих туфель, и в ее усталых глазах, полуприкрытых тяжелыми, опухшими веками, проступили неуверенность и недоверчивое ожидание: что он опять надумал, не подведет ли ее? Можно ли вообще на него полагаться, если он уже столько раз шел на попятную?

Капитан тоже был удивлен:

— Значит ли это, что вы намереваетесь изменить свои показания?

— В одном только пункте.

Капитан сел за стол, неприметным движением головы велел подпоручику включить магнитофон.

— Слушаю.

— Когда я пришел домой, Гелена была пьяна...

— Ага. Значит, еще жила...

Славик обошел молчанием его язвительное замечание и спокойно продолжал:

— Естественно, я возмутился. Стал упрекать ее. Вы же прекрасно понимаете, что это отнюдь не вызывало у меня восторга... она была беременна и обещала бросить пить... Правда, теперь, когда я узнал то, о чем рассказала Вера Мразова, многое представляется мне в ином свете. Если бы Регора не наболтал ей всей этой чуши... по сути, он во всем виноват...

Капитан прервал его деликатным, неназойливым покашливанием, и Славик в свое оправдание пролепетал:

— Да, да... понимаю, это не столь важно. Словом, мы поссорились. Ссора была достаточно бурной, в таком состоянии она бывает страшно агрессивной...

— Бывала... — проворчал капитан как бы про себя.

Славик неприязненно покосился на него, но минутой позже ему все-таки удалось подавить раздражение, и он торопливо закончил:

— Это было не впервой, что она выдрала у меня клок волос. Ну и... поняв наконец, что нет смысла разговаривать с ней... в таком состоянии, я пошел к матери. Это, собственно, все.

Мать внимательно слушала его, ее отрешенное лицо снова понемногу оживало; когда он кончил, она довольно, одобрительно кивнула.

Ее реакция не ускользнула от капитана.

— Это так, пани Славикова?

Мать вынула из сумочки сигарету, подождала, пока капитан чиркнул спичкой; прикурив, она легким кивком поблагодарила его. Капитана порадовало — во всяком случае Славику так показалось,— что наконец-то он выманил ее из раковины оцепенения; решив воспользоваться ее неожиданным расположением (словно счел его за желание помочь ему), он задал ей вопрос, который, по-видимому, был заранее обдуман и тщательно сформулирован; он ждал лишь удобной минуты, минуты, когда этот вопрос мог бы возыметь наиболее сильное действие:

— Вы знаете инженера Дворского?

— Пана инженера Дворского? Из нашего дома?

— Да, того самого.

— Естественно. Мы соседи. Живем на одной площадке. Симпатичный человек.

Ее ответ, похоже, удовлетворил капитана; он приветливо улыбнулся, а это не предвещало ничего хорошего. Его настрой отозвался в Славике каким-то тревожным, угрожающим сигналом; он предостерегающе, в упор уставился на мать: внимание, будь начеку, разве не видишь, как он заманивает тебя в ловушку?

— Вам, несомненно, приятно с ним встречаться, коль он вам так симпатичен,— продолжал капитан дружелюбно. — Согласно его свидетельским показаниям, он видел вас в ту ночь, около двух часов, когда вы возвращались домой... в вашу квартиру,— уточнил он и, чуть помедлив, добавил: — Вместе с вашим сыном.

Мать спокойно, без колебаний сказала:

— Вполне возможно.

Ее мгновенное согласие явно огорошило капитана.

— Стало быть, вы признаете, что возвращались около двух часов ночи в вашу квартиру?.. Вместе с вашим сыном? — задал он ей контрольный вопрос, словно хотел удостовериться, что правильно понял ее предыдущие слова.

— Признаю.

Славика встревожило спокойствие матери. Более того, она както даже странно, приподнято улыбалась; вид у нее был опасно са-

моуверенный и целеустремленный, словно она созрела для бесповоротного решения, которого уже ничто не изменит, словно с этой минуты взяла на себя смелость действовать по своему усмотрению, раз окончательно убедилась, что должна рассчитывать только на себя, ибо союз с ним может ее уничтожить.

— Любопытно,— заметил капитан в задумчивости. — А смею ли спросить, откуда вы возвращались вместе?

Славик напряженно вперился в мать. Уверенность, с какой она начала вести себя, совершенно сбила его с толку; он вдруг растерялся, обессилел. Ему уже не оставалось ничего другого, как пассивно следить за развитием событий: сейчас карты раздавала она.

— Из квартиры сына.— прозвучал ответ.

Она что, совсем рехнулась? Не соображает, что топит его? Ее же слова ставят под сомнение, нет, начисто опровергают то, что он сказал минуту назад. Она сама изобличает его еще в одном обмане, теперь уже окончательно нет надежды, что капитан поверит ему. Как раз теперь, когда, казалось бы, он нашел единственно возможный и действенный способ защиты, она всаживает ему нож в спину, вместо того чтобы помочь.

Капитан подтвердил его опасения.

— Н-да, любопытно... Если память не изменяет мне, несколько минут назад ваш сын утверждал нечто иное. Когда дело дошло до этого, так сказать... семейного скандала, он был там один. А потом пошел к вам. Отказываюсь что-либо понять... в своих показаниях вы полностью опровергаете друг друга. Не могли бы вы как-нибудь договориться?

Ну ясно, теперь он может быть доволен; он столкнул нас лбами, наконец ему удалось то, к чему он стремился с самого начала — обратить союзников в противников.

Мать снисходительно улыбнулась.

— Все очень просто. Мой сын не хотел понапрасну впутывать меня в это дело. Но теперь, когда пан инженер Дворский сказал вам, что видел нас... в общем... нет смысла ничего утаивать. Да, я была там, когда они поссорились, а потом...

— Минуту,— перебил ее капитан. — Инженер Дворский видел, как вы вместе пришли к вам. И это существенная разница. Это вовсе не значит, что вы были в квартире вашего сына... Но еще дело в том, что таксист видел, как в квартиру пана режиссера шел только он. Он один. Вас таксист не видел, пани Славикова.

— В этом нет ничего удивительного, товарищ капитан,— продолжала мать терпеливо настаивать на своих показаниях. — Я пришла позже. Вам понятно? В самом деле, мы пришли порознь. И кроме того... я не такая известная персона, как мой сын. Таксисты не знают меня в лицо.

Капитан смотрел на нее с нескрываемым восхищением и симпатией.

— Что ж, пани Славикова, должен признать... хотя и не без сожаления... вы преподали мне хороший урок. — Он закурил. — Теперь мне все ясно.

Всей тяжестью тела он оперся на спинку стула, перевесился назад, чуть покачался на задних ножках, вперив взгляд в глобус перед собой, словно это помогало ему сосредоточиться, затем кивком выразил как бы согласие со своими мыслями, вернул стул в устойчивое положение и, поднявшись, стал ходить по комнате. Теперь он размышлял вслух...

— Ну что же получается в итоге: согласно вашей новой версии,— он остановился возле Славика,— первым пришли домой вы, пан режиссер, нашли свою супругу в нетрезвом виде, поссорились с ней,— он подошел к матери,— а тем временем подоспели вы, пани Славикова... ваша невестка немного попортила фризуру вашему сы-

ну, и вы, понимая, что никакие разумные доводы на нее не подействуют,— он отошел к окну, словно хотел иметь в поле зрения их обоих,— ушли домой вместе, что наконец подтверждается и свидетельством инженера Дворского. А ваша супруга, пан режиссер, осталась в квартире одна. Живая. Так?

Мать вместо ответа вызывающе поглядела на часы, а Славик повторил его последнее слово:

— Так.

Куда-то вдруг улетучились все страхи, спала тяжесть. С какой бы радостью он бросился на шею матери и горячо расцеловал ее. Но когда вспомнил о своих недавних оскорбительных сомнениях, о том, что заподозрил ее в отступничестве, на него нахлынула волна такого невыразимого стыда, что он даже не посмел взглянуть ей в глаза.

— Но кто же в таком случае убил ее?— Слова капитана снова спустили Славика на землю. Он пожал плечами.

— Я все время думал, что вы здесь для того и... чтобы установить это. Как ни верти, а все-таки должен быть кто-то, кто пришел после нас.

Капитан устало вздохнул.

— Опять все та же карусель. Вероятно, вы забыли, что мы не обнаружили присутствия другого лица, кроме вас и Веры Мразовой.

— Хочу надеяться, что вы не собираетесь обвинить меня в убийстве лишь на том основании, что бессильны установить «присутствие другого лица»? Которого не могло там не быть! Присутствие матери и то не удалось вам установить, хотя она там была!

— Хочу вас снова заверить, что над вашим делом работают самые опытные люди,— сказал капитан строго, холодно. — Наконец, у вас уже была возможность убедиться в этом на собственном опыте. То, что нам удалось сделать за столь короткое время, свидетельствует... — Он махнул рукой: — Впрочем, вскоре вы удостоверитесь в этом более основательно.

Славик с мучительной тревогой сознавал, что капитан не бросает слов на ветер; слова его звучали предупреждением, острасткой, если не открытой угрозой. Но объяснил он свой страх всего лишь растерянностью — ведь неожиданный ход матери перечеркнул его тщательно и обстоятельно продуманный план.

— Допускаю, что после показаний вашей матери положение частично изменилось, но вам не стоит делать преждевременные выводы,— продолжал капитан. — Даже если мы пока оставим в стороне вопрос, почему вы не сказали нам правду тотчас — если это была... так сказать, лишь невинная семейная ссора,— существует еще множество моментов, которые могут изрядно осложнить вам жизнь. Вам обоим. Например, ложное свидетельство, ложное алиби, вы же не будете отрицать, пани Славикова... — признание причастности к месту преступления... так сказать, вынужденное признание, а тем самым и возможность... затем последующая мистификация, сначала вы нашли ее мертвой, потом живой, одним словом, я бы на вашем месте, пан режиссер, особенно не зарывался.

— Понял. Вы просто уверены, что я убил ее...

— Это говорите вы,— подчеркнул капитан.

— Я не собираюсь вас разубеждать, но уж коли у нас такой откровенный разговор, я бы хотел выслушать ваше мнение об одном обстоятельстве, которое уже само по себе убедит любого в моей невиновности. До сих пор вы мне еще не объяснили причины, по которой я мог это сделать. Не думаете ли вы всерьез, что я был способен убить женщину, от которой ждал ребенка? — сказал Славик и в ту минуту, когда произносил эти слова, искренне, всей душой верил, что говорит правду.

— И впрямь, злополучный мотив,— усмехнулся капитан. — Признаюсь, это место — самое слабое звено в цепи, хотя... некоторое объ-

яснение, видимо, можно найти. Одну мою гипотезу вы уже опровергли... знаете ли, что я думаю по этому поводу... да, аффект понятен, когда вы увидели ее пьяной, вы решили, что у нее был какой-то мужчина... кто знает, может даже она сама вам сказала... после всего, что ей наговорил тот человек... никак не вспомню, как это называется, женская логика для меня всегда была загадкой, не удивился бы, если бы она вам это сама сказала... из мести или неведомо по какой другой причине, женщина, которая чувствует себя обманутой, и сверх того, еще захмелевшая, боже мой, что такая женщина только может выдумать... но беру свои слова обратно... я действительно убежден, что ни при каких обстоятельствах вы не смогли бы убить женщину, от которой ждете ребенка... это скорей... чисто гипотетически, если бы она вам сказала, что ребенок у нее от кого-то другого... при вашем самолюбии, нет, нет, извините... это все домыслы, поверьте, я лично против вас ничего не имею, напрасно вы убеждаете себя, что я отношусь к вам предвзято, возможно, вы мне и не поверите, но, право, мне вас жаль... я вовсе не подтруниваю над вами, вы сами побудили меня к этому, ведь вы хотели выслушать мои соображения по поводу мотива, не так ли? А я в самом деле не знаю... одно только, думается, могло привести вас в исступление — если она вам сказала, что ждет ребенка от кого-то другого...

— Однако она этого не сказала,— процедил Славик сквозь стиснутые зубы.

— В порядке. Не волнуйтесь, верю вам. Повторяю, мотив остается для меня загадкой. Откровенно говоря, только по этой причине я пока не передал ваше дело по инстанциям. Но оттягивать далее не могу. Придется это сделать... так сказать, на основании вещественных доказательств. Пусть другие тоже помучаются, правда? В конце концов, мое дело... так сказать, собирать факты. А их у меня, слава богу, предостаточно. И убедительных.

— Не будьте смешным, прошу вас,— бросил Славик пренебрежительно и, хотя понимал, что вовсе не в его интересах раздражать капитана, продолжал все тем же провокационно вызывающим тоном: — Вы обнаружили у нее под ногтями мои волосы. И это вы называете убедительными доказательствами? Я вам уже объяснил, как это произошло... — Он почувствовал на себе пристальный взгляд матери; она едва заметно, неодобрительно покачала головой, словно предупреждала его: остановись, пока не поздно, но у него уже не было пути, по которому он мог бы вернуться вспять, и он заходил все дальше с удивительным, пьяняще-болезненным чувством азартного шулера, который без устали завышает ставки, и чем больше проигрывает и дольше играет, тем труднее ему встать из-за стола и кончить игру, хотя он и сознает свое неотвратимое фиаско: проигрыш и полное разоблачение. — Не будьте смешным,— повторил он. — Для опровержения ваших доказательств я обойдусь даже без адвоката.

— Вы о себе очень высокого мнения, вам не кажется? — отозвался капитан, чуть помедлив. — Поистине завидная самонадеянность. Ну что ж, волосы вы мне объяснили. — Он выставил нижнюю губу и громко зачмокал. — Вероятно, сможете объяснить и эту малость. — Он вынул из папки лист бумаги и слегка помахал им. — Из лаборатории... любопытный факт. — Славик невольно наклонился вперед, но тотчас отрицательно мотнул головой, поднял руки и демонстративно откинулся на спинку стула. — Вам не интересно? — спросил капитан с легкой усмешкой. — А зря... Ибо здесь написано, что на манжете рубашки, которая была на вас в ту ночь, найдены следы крови. Группа крови та же, что и у вашей жены. Не можете ли вы мне объяснить, как эта кровь попала на манжет вашей рубашки? Если не ошибаюсь, по последней вашей версии вы разве что повздорили, и когда ушли, ваша жена была еще жива и в полном здравии.

Прошло не менее минуты, пока Славик в полной мере осознал все значение слов капитана. Он тяжело оперся обеими руками о стол; из-под мышек стекали щекочущие, едкие струйки пота.

— Вам нечего сказать? — спросил капитан.— В таком случае, если позволите, я попробую сам все объяснить.

Он вдруг резко ударил ладонью по столу и повышенным голосом выпалил:

— Эта кровь туда попала тогда, когда вы стирали отпечатки своих пальцев с ручки ножа! — Впервые он потерял самообладание; его бледное лицо налилось кровью, на висках вздулись толстые, синие жилы. — Ну как, есть ли у вас наготове какая-нибудь новая версия? Или, может, у вас, пани Славикова?

Мать, выпрямившись, неподвижно сидела на стуле, судорожно сжимая в руках небольшую дамскую сумку.

— Пани Славикова,— обратился к ней капитан мягко, любезно. — Я понимаю, как вам тяжело, но посудите сами, ваша жертвенность никого не спасет. Не взваливайте на свои плечи бремя, которое вам не по силам. Мне было бы очень неприятно, если бы пришлось обвинить вас в соучастии.

Он внезапно переменил тон и словно по писаному отчеканил:

— Преступное действие в форме пособничества: лишением свободы от трех месяцев до трех лет карается тот, кто содействует виновнику преступления сокрытием фактов, содержащих существенные обстоятельства, с целью дать ему возможность избежать уголовного преследования...

Мать уставилась в пустоту широко открытыми глазами, блестевшими лихорадочной, упрямой решимостью, казалось, она вообще ничего не слышит.

Капитан продолжал:

— Сокрытие преступного действия: лишением свободы вплоть до пяти лет карается тот, кто умышленно и безотлагательно не извещает о совершении преступного действия...

Он замолчал.

Прошелся ладонью по закрытым глазам и минутой позже сказал тихо, недовольно:

— Я дал волю злобе. То, что я говорил, к вам не относится, пани Славикова. Это... так сказать... законное право матери... защищать сына.

Подпоручик смотрел на капитана, словно ждал от него продолжения, но тот устало сел за стол и кивнул, точно хотел сказать: сделайте это за меня.

Подпоручик растерянно проговорил:

— Товарищ капитан хотел сказать, что... гм... упомянутые параграфы не распространяются на того, кто нарушает их... — Он смущенно, по-мальчишески, покраснел, и на лице его отразилось упорное стремление найти наиболее точную формулировку. — То есть... кто нарушением их пытается защитить от опасности лицо ему близкое... — Он облегченно вздохнул и торопливо сел на место.

Славик вне себя от ярости вскочил со стула. Он весь трясся, в уголках губ поблескивали мелкие пузырьки слюны.

— Мама. — Он подошел к матери и мягко взял ее за локоть. Она резко, с отвращением отпрянула от него.

Она вперила в него взгляд, полный удивленного ужаса и беспомощной тоски, словно смотрела на него в первый и последний раз, словно только теперь по-настоящему узнавала его и одновременно расставалась с ним: словно этот человек, которого она сейчас видит, не имеет ничего общего с ее сыном, таким знакомым ей с рождения.

— Мама,— повторил он. — Пойдем домой.

Он вызывающе поглядел на капитана, ожидая решительного возражения, но тот лишь молча кивнул.

Мать поднялась со стула, подошла к столу, взяла в руки пустой стакан. Движения ее были вялыми, замедленными, будто комната была наполнена не воздухом, а водой: движение пловца, погруженного глубоко в воду. Подпоручик быстро взял стакан, ополоснул его под краном, наполнил. Она схватила стакан, осушила его едва ли не до половины и поставила на стол с тупым стуком.

Капитан указал глазами на телефон и шепнул что-то подпоручику, который тотчас стал набирать какой-то номер. Хотя и казалось, что мать вообще не обращает внимания на окружающее, она отрицательно помахала рукой:

— Врача мне не нужно.

— Пани Славикова,— заговорил с ней капитан, но она пронзительным, властным взглядом заставила его замолчать.

И, повернувшись к сыну, спокойным, уравновешенным голосом сказала:

— Прости меня, Петер. Но больше я не могу. Скажу им правду.

Подпоручик положил трубку и недоуменно уставился на капитана, словно искал у него объяснения, но тот лишь привстал на стуле и, точно не веря своим ушам, впился глазами в Алжбету Славикову. Она вернулась на свое место; удобно уселась, вынула из сумочки зеркало и внимательно вгляделась в свое лицо, будто хотела убедиться, сходится ли образ в зеркале с ее самоощущением, отвечает ли он значимости и важности ее решения.

Славик испытывал не разочарование, а скорее равнодушие и опустошенность.

Он одеревенело пялился на глобус, словно ждал, что вот-вот грянет оглушительный взрыв, который в клочья разнесет это полое, пустое подобие земного шара, а сознание его в это время отмечало бессмысленные мелочи — цветовые отличия африканских государств: Ливия — розовая, Алжир — желтый, Египет — фиолетовый, Судан — зеленый, Чад...

Раздался глухой щелчок: подпоручик включил магнитофон.

17

— Примерно в час пополуночи, в среду 23 августа, я проснулась от сильной боли, какой обычно начинается приступ желчекаменной болезни. Еще днем я чувствовала себя неважно и около семи позвонила на студию, где мой сын работает режиссером. Позвонила для того, чтобы после работы он зашел ко мне, но в эту минуту он был занят, и к телефону подошла его ассистентка Лапшанская, которая пообещала передать ему мою просьбу. Однако он не пришел ко мне, я подумала, что Лапшанская запамятовала, и поэтому в половине второго ночи пошла к нему сама... Забоялась остаться дома одна, у меня нет телефона, и я решила переночевать у него, чтобы в случае осложнения он смог бы оказать мне помощь.

Я знала, что дома он один, поскольку его жена гостила у своей сестры в Праге и должна была приехать только на другой день. Но, придя к сыну, который незадолго до этого вернулся с телестудии очень усталым, я страшно удивилась, что его жена уже дома и притом, к несчастью... опять в нетрезвом виде. Сын был ужасно расстроен — и понятно, ведь жена его была беременна... это так отвратительно... они ждали ребенка, и вдруг такое безобразие. Но этим дело не ограничилось. Когда мы стали упрекать ее, она принялась грязно оскорблять нас и в буквальном смысле набросилась на моего сына. А потом объявила, что беспокоиться нам, дескать, нечего, так

как в Праге сделала аборт, да, и поэтому незачем приставать к ней со всякими глупостями и вообще... даже сейчас, когда вспоминаю об этом... просто какой-то кошмар! Она была почти совсем голая и, должно быть, считая, что еще мало вылила на нас грязи, без зазрения совести стала похваляться, что спала с другим мужчиной, который якобы недавно ушел... мне, право, непереносимо об этом говорить. Мой сын был настолько уничтожен всем этим, что ушел в свой кабинет... лишь бы не слушать ее... Ума не приложу, какой бес меня попутал, но я вдруг схватила нож, которым резала хлеб, чтобы сделать бутерброд сыну, и всадила его Гелене в горло. Случилось это в гостиной. А как — понять не могу, ни о чем подобном я никогда даже не помышляла и вдруг... она была мертвая. Ужасно... я глазам своим не верила, но это было так. Она была мертвая.

Я бросилась к сыну... когда он услышал об этом, то едва не помешался в рассудке... я тоже была в отчаянии, но все-таки еще достаточно владела собой, чтобы понимать, что нам грозит, если нас здесь застанут — пусть это и сделала я, все равно позор падет на моего сына и жизнь его будет погублена.. Вот тогда-то я и придумала весь этот план: да, мы скажем, что он всю ночь провел у меня, что дома вообще не был.. и мы ушли ко мне, а потом... мне, ей-богу, невыносимо говорить об этом...

Сейчас, когда я поняла, что следственные органы необоснованно подозревают моего сына, я решила сказать правду, ведь он виноват лишь в том, что любит меня, и потому готов взять на себя мое преступление... Все, что случилось, еще тем ужасней, что случилось по ошибке... ведь жена сына все выдумала, а это для меня... просто понять не могу, почему она наговорила такое... но уже ничего не исправишь... за свое преступление я заслуживаю самого строгого наказания... хотя не могу представить себе большего наказания, чем сознание того, что своими руками я убила не только жену моего сына, но и... нет, я больше не могу говорить. Единственное, что хочу еще добавить,— за мой проступок сын не несет никакой ответственности, я только прошу его... как и всех остальных... простить меня.

Клянусь честью и совестью матери, что все сказанное мною сейчас — чистая правда...

Он хлестал себя струями воды, словно надеялся, что душ очистит его от всего, что произошло с той минуты, как мать закончила свои показания, а он стоял перед капитаном Штевуркой, который, затягиваясь глубоко, курил сигарету. Глаза капитана, прищуренные, словно он старался уберечь их от голубоватых тоненьких струек дыма, выбивавшегося из ноздрей, были узкими, серыми, острыми, как бритва, когда он холодно цитировал какой-то параграф: *Признание не освобождает органы, ведущие следствие по уголовному делу, от обязанности расследовать и проверить всеми доступными средствами все обстоятельства преступления...*

Славик выключил душ; он не чувствовал ни удовлетворения, ни облегчения — вода лишь больно исхлестала тело. Он вышел из ванной.

Он смотрел в открытый зеркальный шкафчик, где хранились бутылочки, тюбики и баночки той, которая ушла навсегда, и про себя без устали повторял: наконец все кончилось! Наконец! Уже не будет больше ночных кошмаров. Процесс кончился! Я свободен!

Капитан безуспешно еще и после признания матери расследовал и проверял все обстоятельства дела.

Приговор звучал однозначно...

Петер Славик совершил преступное действие в форме ПОСОБНИЧЕСТВА И СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, (наказуемое лишением свободы сроком до пяти лет), так как содействовал виновнику преступления сокрытием фактов, содержавших существенные обстоятельства, с целью дать ему возможность избежать наказания, равно как и тем, что умышленно и безотлагательно не сообщил прокурору или органам безопасности о совершенном преступлении, но поскольку свои действия сообразовывал с тем, что сообщением о преступлении подверг бы опасности лицо, ему близкое,— он не подлежит уголовному преследованию.

Уголовное преследование Петера Славика, подозреваемого в убийстве жены Гелены Барловой, было прекращено без выдвижения обвинения, так как на основании признания его матери и его собственных показаний, которыми он достоверно подтвердил факты, содержавшиеся в признании матери, подозрение оказалось недостаточно обоснованным. Следствием было установлено, что Петер Славик НЕВИНОВЕН!

Да, я подтвердил ложное признание матери. Но в состоянии ли капитан понять, какие муки я испытывал, когда мать закончила свои показания? Нет! Нет! Я не трусил! Я горько рыдал про себя, но когда перехватил ее взгляд — властный, но при этом и умоляющий,— я с облегчением принял роль, на которую она обрекла меня — роль труса. Да, я согласился, это так. И когда, сгорая от стыда, склонил голову, вероятно, выглядел бесконечно удрученным. И это была правда: и стыд и удрученность подавили меня. А мать была счастлива. Счастлива и горда. За меня. Что я не предал ее. Что не разочаровал ее. Что я выдержал. Она словно бы говорила, глядя мне прямо в глаза: я свое уже сделала, теперь очередь за тобой. И я выдержал. У детей тоже есть обязательства перед родителями, не так ли? Я выдержал и буду держаться до конца! Я не обманул ее надежд.

Он прошелся ладонью по своему бледному, костистому лицу, ощутил густую, колючую щетину. Надо побриться, подумал он. Но когда поглядел на себя в зеркало, извилистый, фиолетовый шрам на левой щеке, налившийся кровью, вызвал в нем такое отвращение и чувство унижения, словно его хлестнули кнутом. По телу прошла судорожная дрожь, и он вдруг принял решение: отпущу бороду.

Вспомнил свою последнюю встречу с капитаном Штевуркой.

Тогда они едва ли не столкнулись в дверях Дворца правосудия.

Пожалуйста.

Нет, нет, проходите, я потом.

Нет, прошу вас.

Пожалуйста, вы.

Вы же старше, у вас преимущество.

Да, я старше, но вы... так сказать... удачливей меня.

Славик уж было собрался пройти в дверь первым и тем самым покончить с этим смешным пререканием, но последние слова капитана насторожили его, обеспокоили, взбудоражили.

Вы все еще, кажется, мне не верите, сказал Славик и пожал плечами. Ничего не поделаешь. Если вы продолжаете считать, что я лгу, пожалуйста, не стану вас больше разуверять. Славик коротко засмеялся: Каждый волен упорствовать в своем заблуждении, если это доставляет ему — он помолчал и затем иронически добавил — моральное удовлетворение.

Не пойму, почему вы такой... так сказать... язвительный. Капитан хрипло откашлялся, вытащил носовой платок и сплюнул в него гус-

тую слюну. От этого чертова курения, объяснил он, как бы извиняясь.

Что вас гложет? Что правда оказалась иной, чем вы ее выстроили? Понимаю вас. Я тоже не люблю признаваться в своих ошибках.

М-да, гложет, кивнул капитан. Будто из-за вас я нажил язву желудка.

Боюсь, не смогу в этом деле помочь. Вероятно, вам придется самому выходить из положения.

Да, конечно. Каждый должен справляться со своими проблемами. Я со своим желудком, а вы... со своей совестью.

Вы ставите мне в вину, что я не хотел обличить собственную мать? — спросил Славик вызывающе.

Капитан засмеялся с выражением искреннего удивления. Как так? Вы же обличили ее!

Славик прикусил нижнюю губу: Если не ошибаюсь, я уже не обязан выслушивать ваши оскорбления.

Капитан поглядел на него, не произнося ни слова; в его взгляде отражалось нескрываемое презрение.

Я должен был бы ему объяснить, подумал Славик Да, я должен был бы ему сказать, объяснить... все... чтоб он не думал, что все так просто, это же не только моя вина, ведь Гелена... мать... Регора... целая цепь бессмысленных случайностей... если бы он знал, как было дело в действительности, это же не только моя вина, да, я должен ему объяснить, он конечно, поймет. Что ему во мне так не нравится? Почему он презирает меня? По какому праву?.. Славик передернулся. Объяснить? Зачем? Для чего? Это было бы слишком длинное объяснение. И вообще, уж так ли бессмысленны эти случайности? Не было ли здесь неумолимой закономерности? Не проявила ли судьба своей воли посредством этой бессмыслицы и банальности? А возможно, все кажущиеся случайности были уже давно предопределены, это были звенья одной цепи, да, все, что случилось, устремлено было к единой цели, к данной, определенной — но не судьбой, нет, это вовсе не фатализм, нет, нет. Я сам определил для себя цель, которую хотел достичь, и эта цель была реальной... в конце концов я и достиг ее! Необходимо убедительное доказательство ее реальности? Пожалуйста! Наконец-то я смогу отснять *нормальный* фильм. Конечно, я и к нему пришел, как слепая курица к зерну, на первый взгляд случайно, по ошибке, по недоразумению, но разве с работой на телевидении было иначе? Даже если бы режиссера Светского не хватил инфаркт — что бы произошло? что изменилось бы? Ничего. Я достиг бы своей цели иным путем, потому что я сосредоточил бы все свои усилия, способности, волю для ее достижения. Я не был беспомощной игрушкой непостижимых случайностей, напротив, я влиял на них, направлял их, события подчинялись моей воле. И то, что теперь мне предоставили возможность отснять на Колибе художественный фильм, да, это тоже награда за мои целенаправленные усилия. Конечно, в этом большая доля иронии, ибо случилось это благодаря их ложному предположению.

Как он понял по их мотивировке, к решению их подвигло, помимо, конечно, признания его творческих способностей, прежде всего, сочувствие Они сочли, что в этой страшной трагедии, которая его постигла, ему нельзя оставаться в одиночестве, они захотели ему помочь, предполагая (причем правильно), что только работа активная, содержательная работа на благо общества может стать для него наилучшим лекарством... Из подтекста явно вытекало, что на их решение, пожалуй, более всего повлиял его образ действий в этой критической ситуации — они оценили его мужественность и терпимость, их бесконечно тронуло, что он готов был «рисковать» собственной жизнью, что едва ли не пожертвовал собой из любви к матери; такой альтруизм в нынешние-то времена, когда большинство людей ду-

мает только о себе, в самом деле, заслуживает восхищения! Надо ли было это опровергать? Для чего? Ему протянули руку помощи — так что же, не принимать ее? Как бы он это объяснил им? Почему он не мог воспользоваться возможностью, которая сама плыла ему в руки? В конце-то концов, он им не навязывался, не унижался до интриг, никого не упрашивал, не просил о посредничестве — в отличие от многих «коллег» надеялся только на себя, на свои способности, нет, он ни перед кем не должен ломать шапку. Его цель была вполне реальная, и потому он достиг ее. Конечно, цена была невероятно высокой и жестокой. Он мог вообразить себе и более «нормальный» способ, который привел бы его к намеченной цели. Его история обрела черты мелодраматичности, исключительности и нарочитости, что, несомненно, может прийтись кое-кому не по духу, если ему удастся достоверно перенести ее на экран. Людям, которым представляется типичным лишь то, что явно с первого взгляда, то, что в наибольшей степени приближается к среднему арифметическому, людям, которым недостаток воображения не позволяет допустить, что правда о сложной сути реальности коренится в историях и событиях, далеких от среднего арифметического, его история может показаться слишком исключительной, а посему «нетипичной».

Но пока эта проблема вторичная, еще не настала пора размышлять о деталях, пройдет еще какое-то время, пока ему удастся отснять «свой» фильм, а сейчас он еще не вправе выбирать и ставить условия. Сценарий, который ему предложили, не его собственный, но придется с этим смириться; во всяком случае, это будет актуальный фильм с серьезной общественной проблематикой — борьба за чистоту окружающей среды. Да, это будет хороший фильм, нужный, фильм, который *не каждому* по плечу, его может сделать только тот, у кого есть на это моральное право, кто сам не запятнан. Конечно, они ошиблись, но их ошибка, по сути, и не ошибка; это лишь нарушение хронологии. Он, разумеется, очистится. А затем, со временем, когда укрепит свои позиции... там... наверху... он снимет фильм «своей души», в котором безоговорочно, честно и откровенно скажет о себе, о нас, о жизни. Пусть тогда капитан и судит о нем!

Он вызывающе посмотрел на капитана, который неприязненно отвернулся и тихо, словно разговаривая сам с собой, произнес: Она взяла на себя вашу вину. Наверное, она знала, что делает. Может, вы и заслуживаете... Бог весть. Он изумленно покачал головой: Она пожертвовала собой ради вас.

Славик сухо заметил: Понимаю, вы хотите уязвить меня. Хотя бы маленькое удовлетворение, да? Нет, вам не удастся.

Странно, говорил капитан, словно вовсе не расслышав слов Славика. В самом деле, странно...: Ваш отец взял на себя вину за преступление, которого не совершил, будто убежден был, что это необходимо... так сказать... с точки зрения высшего нравственного принципа, хотя об этом предпочитал не говорить. По крайней мере, я так понял, когда знакомился в архиве с его делом.

Он предал сам себя, оборвал его Славик.

А вы? Капитан поднял голову, иронически поглядел на Славика и рассмеялся прямо ему в лицо: Вы предпочли предать собственную мать, не так ли? Чтобы остаться самим собой.

Славик невольно сжал кулаки, точно хотел сдержать слезы унижения и бессильной ярости, которые заливали глаза. Да, подумал он с сарказмом, этим единственным оружием, которое у него еще оставалось. Да, я предал родную мать, но иначе ее жертва была бы бессмысленна. Такова была ее воля. Она так решила! Тем, что я предал ее, тем, что сохранил себя, я осмыслил ее жертву, ибо всей своей дальнейшей жизнью хочу искупить свою вину. Но поймет ли это капитан Штевурка? Возможно, он сказал бы мне, что дело отца нельзя сравнивать с моим делом, что тут нет никакой связи. Кто зна-

ет, может, он и прав, подумал Славик, а вслух упрямо повторил: Каждый волен упорствовать в своем заблуждении, если это доставляет ему... так сказать... моральное удовлетворение.

Но капитан, казалось, его не слушает. Она пожертвовала собой ради вас. Она... ради вас, покачал он головой. Потом изучающе посмотрел на Славика и спросил скорей самого себя: Стоите ли вы этого? Он нахмурился и вошел в здание Дворца.

Славик прикусил нижнюю губу, ощутил во рту вкус крови. Какое-то время он стоял в дверях, глядя на удалявшуюся — высокую и худую — фигуру капитана. Потом пожал плечами, резко повернулся и, выйдя из Дворца правосудия, перешел на другую сторону улицы. Он шел среди скопища людей... так сказать... соотечественников, но слышал лишь отзвуки собственных шагов, тихих и одиноких, все более тихих и одиноких, на асфальте братиславских улиц. Он шел в свою пустую, обезлюдевшую квартиру, ощущая себя приговоренным к пожизненному одиночеству — извечному уделу тех, кто предал.

Раздался гул пылесоса.

В зеркале перед собой через открытую дверь ванной он видел Амалию Кедрову. Она стояла в прихожей, за его спиной, держа в руках шланг пылесоса. На ней было Геленино вечернее платье грязно-розового цвета из шелковой тафты, сшитое в романтическом стиле.

Он закрыл дверь.

Сверху из квартиры пани Клингеровой доносилась мелодия народной словацкой песни; по радио передавали концерт по заявкам уважаемых слушателей: «Ей, убили, убили двух хлопцев безвинных...» — артистически прочувственно и трогательно горевали популярные исполнители народных песен над трагической судьбой Капусты и Урсини.

Славик потянул цепочку сливного бачка, чтобы приглушить словацкую балладу о казанке и виселице, словно надеялся, что тем самым приглушит голос, звучавший в нем с неотвязным, неумолимым и безжалостным упорством: Ничего не кончилось! Ничего. Все только начинается!

Он смотрел в зеркало на свое лицо со шрамом, это же не только моя вина, это же не только моя вина, повторял он, как заклинание, смотрел в зеркало и думал о днях, ночах, неделях, месяцах и годах — о том времени, которое придет.

Наконец начал бриться.

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА

Советский переводчик, критик. В ее переводе издавались романы словацких писателей Л. Фелдека, М. Фигули, трилогия В. Шикулы «Мастера» («ИЛ», 1979 № 4, 5 — первая книга), П. Яроша «Тысячелетняя пчела» («ИЛ», 1982, № 5, 6), Б. Хнеупека «Ломая печати»; чешских писателей — И. Кршенека «Дички» («ИЛ», 1975, № 5, 6), В. Адловой «Горький запах осени», рассказы В. Ржезача, П. Франдоуза и др. За переводческую деятельность Н. Шульгина удостоена словацкой литературной премии имени П. О. Гвездослава.

Игра кончается смертью

Роман «Конец игры» — первый роман словацкого новеллиста Душана Митаны — выпущен издательством «Смена» в 1984 году. Помимо статей и заметок о романе, опубликованных в 1985—1986 годы, литературно-критический журнал «Ромбоид» организовал его обсуждение за «круглым столом». Это делается редко и, как правило, свидетельствует о том, что литературное произведение вызывает горячие споры.

Среди критиков, дружно оценивших роман как значительное достижение писателя, выявились различные точки зрения на его жанровую специфику: одни увидели в нем роман-детектив, другие — роман-пародию с фарсовой окраской, третьи — социально-психологический роман. Это во многом предопределило расхождения в оценке главного героя и основного конфликта романа.

Все же, думается, больше оснований считать «Конец игры» социально-психологическим романом, чему не противоречит ни острый сюжет, ни пародийная заостренность отдельных идейно-образных характеристик или сцен. Почти все критики сошлись на том, что психологические портреты главного героя Петера Славика, его жены и матери выполнены мастерски, так что ни в большом, ни в малом — почти нигде не нарушается их жизненная цельность и убедительность. Характеры действительно правдивы, как правдивы и необходимы сотни подробностей, создающих трепетную полнокровность живых образов.

Роман читается с интересом, но не потому, что он построен на трагическом конфликте, а потому, что автор сумел создать эффект присутствия читателя при зарождении и развитии каждого поворота, каждого тайного волнения в душевном состоянии героев. Именно это и есть поэзия и искусство, именно это и доставляет эстетическое наслаждение. Но конечно, к этому не сводится художественная сила вещи.

Не все словацкие критики придерживаются одного мнения о том, насколько глубоко и полно отображено в романе современное словацкое общество. Старейший критик и литературовед Д. Окали не увидел оснований считать Славика социальным типом послевоенного поколения социалистической Словакии. Другую точку зрения, которую поддержало большинство участников «круглого стола», наиболее ясно высказал Я. Чертик: «Это — исповедь о нас... о поколении тридцати-сорокалетних, родившихся после войны, при социализме. Славик, разумеется, обобщение... но потенциально в каждом из нас растет такой вот Славик, который хотя и никого не убивает, но уничтожает в нас самих того, кем мы хотели быть, делает нас такими, какими мы быть не хотели». Из дискуссии о романе вытекает, что опасный масштаб эгоистических настроений в обществе — один из закономерных результатов потребительского подхода к жизни, распространившегося в связи с ростом народного благосостояния. К этому можно добавить, что подобный социально-психологический феномен наблюдается и в других странах.

В конце 1986 года о романе весомо и, на мой взгляд, верно написал критик Л. Махала, указавший на аналогию центрального конфликта с военно-политической и социальной конфронтацией глобальных сил. Острый кризис доверия, ставший причиной насильственной смерти беременной жены Славика, Махала обоснованно поднял до уровня предупреждения человечества от подобного кризиса, который мог бы привести к глобальной катастрофе, до уровня «призыва окончить опасную игру, которая каждое мгновение может стать роковой для человечества». В самом деле, Славик, режиссер, зарезал кухонным ножом любимую жену, убив в ее чреве долгожданного ребенка, хотя всего за секунду до внезапного умопомрачения собирался лишь отрезать себе хлеба. Для этого жена сама дала нож ему в руки. Разве не может ныне произойти подобное с Режиссером, в руках у которого всечеловеческая ядерная гильотина, данная ему, как обычно утверждается, для сохранения мирной жизни? Все пробки — системы страховок — моментально «перегорят» только потому, что Режиссер-лицемер, запутавшись в силовой противоречивой Игре в ковбоя, почувствует себя несправедливо оскорбленным в своем достоинстве непобедимого мужчины.

Но почему режиссеры и их игры именно такие, а не другие? Автор приглашает нас поискать ответ в истории. Там обнаруживается, что человек формируется на пересечении наследственности и социальных обстоятельств. В роду Славиков издавна скрещиваются генетические коды самовлюбленных, ничего вокруг не слышащих «соловьев» («Славик» в переводе на русский «Соловей») с генетическими кодами «яношиков» — справедливых, благородных заступников народа. Митана последовательно, в разных ситуациях, называет своего героя по фамилии, тем самым как бы подчеркивая, что в игре наследственности и изменчивости, сформировавших натуру героя, верх взял эгоизм. Но и имя «Петер» (по-латински — «камень») тоже не случайно: оно и есть символ игры в твердокаменного эгоиста, которую играет Славик.

Жена Славика, Гелена (Елена), тоже играет пластарую общечеловеческую игру красавицы, влюбленной в себя. И в унисон с этим она не хочет даже вспоминать о своих родовых корнях: Елена Прекрасная есть то, что она есть сама по себе, независимо ни от кого и ни от чего. Убийственная ирония истории и современности в том, что ядро характеров Петера и Елены — здоровое, неэгоистическое, но игра, которая «встрое-

на» в общество, участвующее в ней, мешает героям пробиться к ядру. И это, мне думается, тоже актуальнейшая проблема человечества. Вот если бы люди сумели сбросить со своей души бесконечно разнообразные, привлекательно-обманчивые путы эгоизма, нашли бы м е р у, ч е л о в е ч е с к у ю меру сочетания личных и общественных интересов, вот тогда было бы покончено с трагедиями в рамках одной семьи и в масштабе семьи-человечества. Таков совет и призыв Митаны.

Главный вопрос, однако, в том, как человеку и человечеству выйти из давней, получившей ныне роковой характер «игры», без которой до сих пор не существовало истории семьи и общества. В глобальной политике ответ дан: необходимо сломать и выбросить дамоклов меч ядерного самоуничтожения человечества. И ответ этот существует в виде программы действий, реализация которой зависит как от правительств, так и от народов мира. Спасительный механизм взаимодействия политических и общественных структур остро нуждается в социально-психологическом совершенствовании человека, а значит, в его научном и художественном исследовании. Митана своим романом доказал, что обладает редким даром создавать реалистический художественный символ, который, оказывая на читателя сильное эмоциональное воздействие, в то же время побуждает его серьезно задуматься над собой, над своей ролью в семье и обществе. Поэтому мы вправе ожидать от писателя такого произведения, в котором общество — в национальном и глобальном масштабах — было бы не только правдиво изображенным фоном, но и целостным живым организмом, внутри которого и во взаимодействии с которым формируются индивидуальные характеры.

Литературный художественный символ, как талантливая музыка, интересен всем и всюду. Правда, в отличие от нее, он нуждается в переводе с одного языка на другой, и это требует от переводчика — без преувеличения — кропотливого труда и большого мастерства. На мой взгляд, переводчику романа Н. Шульгиной удалось передать на русском языке интонационный строй, лексическое богатство и образную символику оригинала.

А. КОСОРУКОВ

■

Советская литература за рубежом

АВСТРИЯ

Рассказ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Куриный бог». Издательство «Цзольнай».

Трилогия АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «Хождение по мукам» Издательство «Глобус».

БОЛГАРИЯ

Роман АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА «Межа». Издательство «Отечествен фронт».

Роман ИОНА ДРУЦЭ «Белая церковь». Издательство «Народна култура».

«Избранное» ИВАНА ЕФРЕМОВА. Издательство «Народна младеж».

Сборник стихотворений АНАТОЛИЯ ЖИГУЛИНА «Полярные цветы». Издательство «Народна култура».

Роман ВЛАДИМИРА ОРЛОВА «Альтист Данилов». То же издательство.

Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Петровка, 38» Издательство «Христо Г. Данов»

Повести и рассказы ГРИГОРИЯ ТЮТЮННИКА. Издательство «Народна младеж»

«Избранные стихотворения» ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА. Издательство «Народна култура»

ВЕНГРИЯ

Роман МИХАИЛА АНЧАРОВА «Самшитовый лес». Издательство «Европа».

Повести БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «Летят мои кони» и «Завтра была война». То же издательство.

Повесть-сказка СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА «Сон с продолжением». Издательство «Мора»

Стихи ЭЛЛЕН НИЙТ. Издательство «Европа».

Повесть МАРИ САТ «Катастрофа». То же издательство.

Рассказ ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА «Ножичек с костяной ручкой». Издательство «Мора».

Роман ВИКТОРА ФИНКА «Иностранный легион». Издательство «Европа».

ГДР

Повесть АРКАДИЯ АДАМОВА «Круги по воде». Издательство «Нойес Берлин».

Рассказы ВАСИЛИЯ БЕЛОВА. Издательство «Филипп Реклам».

Повесть ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Последние залпы». Издательство «Милитер ферлаг».

Повесть БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «Не стреляйте в белых лебедей». Издательство «Ауфбау».

«Избранное» СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА. Издательство «Филипп Реклам»

Повесть ДИНЫ КАЛИНОВСКОЙ «О, суббота!» Издательство «Ауфбау».

Повести ЛЬВА КАССИЛЯ «Кондуит» и «Швамбрания». Издательство «Киндербухферлаг»

Сборник рассказов АНАТОЛИЯ КИМА. Издательство «Фольк унд вельт».

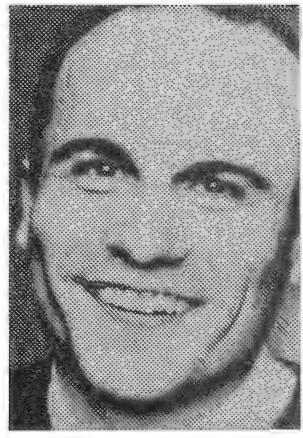
Рассказ ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Человек «свиты». То же издательство.

Сказка КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «Доктор Айболит». Издательство «Киндербухферлаг».

Публицистика

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ

ИМПЕРАТОР



Вступление и сокращенный перевод с польского С. ЛАРИНА

Рецензируя первую книгу начинающего очеркиста Рышарда Капусцинского (род. в 1935 г.) «В польских джунглях», известный польский прозаик Станислав Зелинский прозорливо отметил в 1962 году: «Этот писатель умеет видеть и умеет записывать».

В последующие годы это высокое умение выдвинуло Р. Капусцинского в число ведущих журналистов-международников. Несколько лет он провел в Африке в качестве корреспондента Польского агентства печати. В читательском плебисците «Политики», где он тогда сотрудничал, африканские репортажи Р. Капусцинского завоевали ему славу лучшего очеркиста этого представительного еженедельника. Из них составились книги «Черные звезды» (1963), «Если бы вся Африка...» (1969).

Позже Р. Капусцинский неоднократно бывал в Центральной и Южной Америке. Лучшие из его латиноамериканских очерков вошли в сборники «Христос с винтовкой на плече» (1976), «Футбольная война» (1976).

Книги Р. Капусцинского не залеживаются в магазинах и на библиотечных полках, они известны и за рубежом. Особую популярность приобрел его «Император» (1978) — документальное повествование о величии и падении последнего самодержца Эфиопии — Хайле Селассие, свергнутого в результате победы демократических сил в этой стране. Книга выдержала несколько изданий в Польше и переведена на многие европейские языки.

В журнале «Иностранная литература» публиковался цикл очерков Р. Капусцинского «Немного об Анголе» (№ 8—9, 1977) и фрагменты из его книги о бывшем шахе Ирана — «Катарсис» (№ 7, 1980).

Трон

По вечерам я слушал тех, кто знал императорский двор. Когда-то они были придворными или имели доступ во дворец. Их осталось мало. Многих расстреляли карательные отряды. Некоторые бежали за границу или сидят в застенках, в подвалах самого дворца, куда они попали прямо из дворцовых салонов. Есть и такие, кто укрывается в горах или в монастырях, переодевшись в монашеское платье. Каждый пытался спастись как мог, всеми доступными средствами. Лишь горстка из них осталась в Аддис-Абебе, где, как оказывается, легче всего обмануть бдительность властей.

Я навещал их с наступлением темноты. Приходилось менять машины и одежду. Эфиопы страшно недоверчивы, они не верили в искренность моих намерений — мне же хотелось воссоздать мир, который смели станковые пулеметы Четвертой дивизии. Эти пулеметы установлены на джипах американского производства рядом с водителем. Обслуживают их стрелки, чья профессия — убивать. На заднем сиденье — солдат, который получает приказы по рации. Так как джип — открытая машина, лица водителя, стрелка и радиста защищены от пыли мотоциклетными очками, прикрытыми козырьком каски. Их глаз не видно, а черные, заросшие щетиной лица лишены всякого выражения. Эти «тройки» на джипах так свыклись со смертью, что водители мчат, как самоубийцы, внезапно разворачиваясь на бешеной скорости, мчат по улицам навстречу движению, все вокруг бросается врассыпную, когда несется такая ракета.

Из рации, стоящей на коленях у того, который сзади, сквозь треск и писк

© by Ryszard Kapuściński, Warszawa, 1978

прорываются голоса и крики. Кто знает: возможно, какой-то из этих хриплых возгласов — приказ открыть огонь. Лучше исчезнуть. Лучше юркнуть в боковую улочку и переждать.

Теперь я углублялся в извилистые и грязные переулки, чтобы попасть в дома, снаружи казавшиеся необитаемыми. Я побаивался: такие дома взяты под наблюдение, так что можно было влипнуть вместе с их обитателями. Это вполне возможно: очень часто прочесывают какой-нибудь городской закуток, даже целые кварталы в поисках оружия, антиправительственных листовок и сторонников старого режима. Все дома теперь взаимно друг за другом подглядывают, выслеживают. Это гражданская война, таков ее лик. Я сел у окна, а мне тотчас же говорят: пожалуйста, пересядьте, вас видно с улицы и легко взять на мушку. Проезжает машина, тормозит, слышны выстрелы. Кто там был: они или не они? И кто теперь эти они, а кто не они, а другие, которые против них, потому что они с теми? Машина отъезжает, слышен собачий лай, в Аддис-Абебе ночи напролет лают собаки, это собачий город, полный породистых и одичавших, покрытых колтуном, терзаемых глистами и малярийными заболеваниями собак.

Мне вновь и вновь напоминают о соблюдении осторожности: чтобы никаких адресов, фамилий, чтобы даже лиц не описывать или что высокий, низкий, худой, не упоминать, какой лоб, руки, взгляд, ноги, колени — да уже и не перед кем пасть на колени.

Ф.:

Это была крохотная собачка японской породы. Звали ее Люлю. Ей разрешалось спать на императорском ложе. Во время различных церемоний она срывалась с коленей императора и писала сановникам на обувь. Господам сановникам не подобало вздрагивать, делать какое-либо телодвижение, когда они чувствовали влагу в ботинке. Моей обязанностью было ходить между сановниками и стирать с их обуви мочу. Имелась специальная атласная вытиралка для этого. Этим я и занимался десять лет.

Л. С.:

Император спал в необъятных размеров кровати из светлого ореха. Он был таким щуплым, тщедушным, что был едва виден, терялся в этой постели. К старости император стал еще меньше, весил всего пятьдесят килограммов. Ел тоже мало и никогда не употреблял спиртного. У него деревенели колени, и, оставаясь один, он волочил ноги и раскачивался из стороны в сторону, словно передвигался на ходулях, но, зная, что кто-то смотрит на него, громадным усилием воли заставлял свои мышцы сохранять эластичность, чтобы его движения были полны достоинства, а фигура по возможности выглядела безукоризненно. Каждый шаг был результатом борьбы между беспомощностью и достоинством, между наклонной линией и сохранением вертикальной позиции. Достопочтенный господин никогда не забывал о своем старческом дефекте, не желая обнаружить его, чтобы не уронить престиж и авторитет царя царей. Но мы, слуги его опочивальни, могли наблюдать за ним украдкой и знали, чего стоят ему эти усилия. Он привык мало спать и рано, еще затемно, вставать. Вообще сон он рассматривал как необходимость, напрасно отнимающую время, которое он предпочел бы потратить на то, чтобы властвовать и представительствовать. Сон — это было приватное, камерное вмешательство в его жизнь, призванную протекать среди декора и света. Он просыпался как бы недовольный тем, что спал, раздраженный самим фактом сна, и лишь последующие дневные занятия восстанавливали его душевное равновесие. Добавлю, однако, что император никогда не проявлял ни малейшего признака волнения, гнева, злобы, раздражения. Могло сложиться впечатление, что таких душевных состояний он никогда не испытывает, что у него холодные и крепкие как сталь нервы или что он начисто их лишен. Это была чисто фамильная черта, которую господин наш сумел унаследовать, находя, что в политике нервы — признак слабости, которая поощряет противников и побуждает подчиненных тайком отпускать остроты. А господин знал, что острота — небезопасная форма оппозиции, и поэтому так заботился о безукоризненном состоянии своей психики. Вставал он в четыре, в пять. Проснувшись, нажимал на кнопку звонка у ночного столика. Бодрствующая прислуга уже была наготове. Во дворце зажигались огни. Для всей империи это служило сигналом, что достопочтенный господин начал свой новый день.

Й. М.:

Император начинал день, выслушивая доносы. Ночь — это опасная пора обдумывания заговоров, и Хайле Селассие знал: то, что свершается ночью, важнее дневных дел, днем все были у него на виду, ночью же добиться этого невозможно. Поэтому утренним доносам он придавал огромное значение. Здесь хотелось бы пояснить одну вещь: достопочтенный господин читать не любил. Писаного и печатного слова не признавал, все требовалось излагать ему устно. Господин наш не кончал школ, единственным его учителем (да и то в детстве) был французский иезуит, монсеньор Жером, будущий епископ Харэра и друг Артюра Рембо. Этот духовник не успел приохотить императора к чтению, что, впрочем, осложнялось и тем, что Хайле Селассие уже с отроческих лет занимал самые высокие посты в государстве и на систематическое чтение у него не было времени. Но думаю, дело не только во времени и навыке. Устный доклад обладал тем преимуществом, что в случае необходимости им-

ператор мог заявить, будто такой-то и такой сановник доносил ему нечто противоположное тому, что происходило на самом деле, а тот, не имея письменных доказательств, не мог защищаться. Итак, император получал от своих подчиненных не то, что они ему могли сообщить, но то, что, по его мнению, должно было быть сообщено. У достопочтенного господина существовала своя концепция, и к ней он подгонял все сигналы, поступавшие от окружения. Так же обстояло дело и с письменными документами: наш монарх не только не читал, но склонен был собственноручно ничего не писать и не подписывать. И хотя он правил полвека, даже самые доверенные лица не знают, как выглядела его подпись. Занимаясь государственными делами, император всегда имел при себе министра пера, который фиксировал все его приказы и распоряжения. Поясню здесь, что во время деловых аудиенций достойный господин говорил совсем тихо, едва шевеля губами. Министру пера, стоящему подле трона, приходилось придвигать ухо к императорским устам, чтобы услышать и зафиксировать решение монарха. Вдобавок реплики императора были, как правило, туманными и двусмысленными, особенно тогда, когда он не желал занять определенную позицию, хотя обстоятельства и вынуждали его к этому. Можно было восхищаться ловкостью монарха. На вопрос сановника он не отвечал прямо и говорил так тихо, что слова его улавливало лишь придвинутое вплотную, как микрофон, ухо министра пера. Тот записывал скупые и расплывчатые замечания, которые успел буркнуть властитель. Остальное — проблема всего-навсего истолкования, а это уже дело министра, который придавал решению письменную форму и спускал его ниже. Тот, кто возглавлял министерство пера, был самым доверенным лицом императора и обладал колоссальной властью. Основываясь на загадочной каббалистике монаршьих слов, он мог принимать произвольные решения. Если императорское начинание поражало всех меткостью и мудростью, оно служило очередным свидетельством непогрешимости божественного избранника. Если же, наоборот, откуда-то из воздуха, из разных углов до монарха доносился ропот недовольства, достопочтенный господин мог свалить все на глупость своего министра. Этот последний был самой ненавистной фигурой при дворе: общественное мнение, находя непогрешимыми мудрость и доброту достопочтенного господина, именно министра обвиняло в злобных и нелепых решениях, каких было немало. Правда, дворцовая служба перешептывалась, почему бы Хайле Селассие не сменить министра, но во дворце вопросы могли задаваться только сверху вниз, но никогда наоборот. Как раз тогда, когда впервые был громко задан вопрос в обратном, нежели прежде, порядке, это явилось сигналом надвигающейся революции. Но я забегаю вперед, и мне необходимо вернуться к той ранней поре, когда на ступенях дворца возникает император, отправляясь на утреннюю прогулку. Он выходит в парк. Это именно тот момент, когда к нему со своим докладом приближается начальник дворцовой разведки — Сэломон Кадыр. Император шествует по аллейке, а приотстав на шаг — Сэломон, который говорит и говорит. Кто с кем встретился, где это происходило, о чем был разговор. Достопочтенный господин ни о чем не спрашивает, ничего не комментирует, шагает и слушает. Иногда останавливается у клетки со львами, чтобы швырнуть им поданную служителями телячью ногу. Он любуется львиной алчностью и улыбается. Потом, приблизившись к сидящим на цепи леопардам, бросает им говяжьи ребра. Подходя к хищникам, способным на безрассудные поступки, господину приходится соблюдать осторожность. Наконец он направляется дальше, а за ним продолжающий доносить Сэломон Кадыр. В какой-то момент господин кивком дает знак Сэломону Кадыру, что ему пора удалиться. Тот отвешивает поклон и, пятясь (чтобы не повернуться к монарху спиной), исчезает в одной из аллей. Именно в эту минуту из-за дерева выходит ожидающий своей очереди министр промышленности и торговли Мэконнын Хабтэ Уольд. Он приближается к прогуливающемуся императору и, приотстав на полшага, выкладывает свои новости. У Мэконнына Хабтэ Уольда частная сеть осведомителей, которую он содержит, повинуясь гложущей его страсти к интригам и желая подладиться к достойному господину. Теперь, основываясь на донесениях агентов, он докладывает императору о событиях минувшей ночи. Господин наш снова ни о чем не спрашивает, ничего не комментирует, а идет, заложив руки за спину, и слушает. Бывает, что он приблизится к стае фламинго, но эта пугливая птица тотчас обращается в бегство, и император усмехается при виде созданий, которые не хотят ему повиноваться. Наконец, продолжая путь, он наклоняет голову. Мэконнын Хабтэ Уольд умолкает и, пятясь, скрывается в аллейке. Теперь как из-под земли вырастает согбенная фигура преданного наушника Ашши Уольдэ-Микаэля. Этот сановник осуществляет надзор за государственной политической полицией, которая соперничает с дворцовой разведкой Сэломона Кадыра, отчаянно конкурирует с любой частной сетью осведомителей, вроде той, какой располагает Мэконнын Хабтэ Уольд. Занятие, коему предавались эти люди, было трудным и опасным. Они жили в постоянном страхе, что о чем-нибудь не донесут вовремя и попадут в опалу или же конкурент представит более исчерпывающий донос и император подумает: почему Сэломон доставил мне сегодня истинное удовольствие, а Мэконнын болтал о пустяках? Ничего не сказал, потому что не знал, или умолчал, участвуя сам в заговоре?

Как я уже упомянул, на утренней прогулке Хайле Селассие, выслушивая доносы о заговорах в империи, никогда не задавал вопросов и не комментировал услышанного. Теперь я могу сказать: он знал, что делал. Господин наш хотел

получить донос в стерильно чистом виде, то есть подлинный донос, а расспрашивая или выражая свое мнение, он заставил бы осведомителя предупредительно изменять факты, чтобы они отвечали представлениям императора, и тогда вся система доносов приобрела бы такой произвольный и субъективный характер, что монарх не смог бы дознаться до истинного положения дел в государстве и во дворце. Уже завершая прогулку, император слушает, что́ в минувшую ночь удалось разнюхать людям Ашши. Он кормит собак и черную пантеру, потом восхищенно смотрит на муравьеда — подарок президента Уганды. Кивок головой — и Ашши, сгорбившись, удаляется, терзаемый сомнениями, сказал ли он больше или меньше, чем донесли сегодня заклятые его враги — Сэломон, враг Мэконнына и Ашши, и Мэконнын, враг Ашши и Сэломона. Свою прогулку Хайле Селассие завершает в одиночестве. В парке становится светло, мгла редеет, в траве играют солнечные блики. Император размышляет, это время выработки тактики и стратегии, решения задач персонального порядка и подготовки следующего хода на шахматном поле власти. Он анализирует смысл докладов осведомителей. Мало существенного, чаще всего они доносят друг на друга. Наш господин умеет все удержать в голове, его мозг — компьютер, который фиксирует каждую деталь, любая мелочь будет учтена. Во дворце не существовало никакого отдела кадров, папок и анкет. Все это император держал в голове, всю самую засекреченную картотеку — досье на представителей правящей элиты. Я прямо вижу, как он идет, останавливается, поднимает кверху лицо, словно предаваясь молитве. О боже, избавь меня от тех, что, ползая на коленях, прячут нож за пазухой, который жаждали бы всадить мне в спину. Но чем господь может мне помочь?

Т. К-Б.:

Дорогой друг, конечно, я все помню. Ведь это было чуть ли не вчера. Чуть ли не вчера и столетие назад. На том же месте, но на иной планете, которая отдалилась. Как все это перемешалось: времена, места, мир, разлетевшийся вдребезги, который уже не склеить. Только воспоминания — единственное, что сохранилось, единственное, что осталось от жизни. Я немало времени провел при императоре в качестве служащего министерства пера. Мы начинали работу в восемь, чтобы к девяти, когда приедет монарх, все было готово. Господин наш жил в новом дворце, напротив гостиницы «Африка-Холл», а свои официальные функции он отправлял в старом, построенном императором Менеликом[1] дворце, расположенном на соседнем холме, где находилось большинство имперских учреждений, так как Хайле Селассие хотел, чтобы все было под рукой. Он приезжал в одной из двадцати семи машин, составлявших его личный парк. Император обожал машины, предпочитая «роллс-ройсы» за их строгий и достойный силуэт, но для разнообразия пользовался «мерседесами» и «линкольн-континенталями». Напомню, что господин наш первым познакомил Эфиопию с автомобилем и всегда проявлял благосклонность к энтузиастам технического прогресса, к которым, увы, наш воспитанный в духе традиций народ относился с неприязнью. Ведь император едва не лишился престола и даже жизни, когда в двадцатые годы выписал в Эфиопию первый самолет!

Итак, в девять утра он прибывал в старый дворец. У ворот его поджидала толпа подданных, пытавшихся вручить императору прошения. Теоретически это в империи был самый прямой способ воззвать к правосудию и милосердию. Поскольку наш народ неграмотен, а справедливости, как правило, домогается беднота, эти люди на несколько лет влезали в долги, чтобы заплатить писарю, который изложил бы их жалобы и просьбы. Вдобавок возникала сложность процедурного характера: обычай вынуждал малых сих падать перед императором ниц, а как в таком положении протянуть конверт в проезжающий мимо лимузин? Проблема решалась так: императорская машина сбавляла скорость, за стеклом появлялась излучавшая благорасположенность физиономия монарха, а едущая следом охрана забирала часть прошений из рук простолюдинов, часть, ибо это был целый лес рук. Если толпа придвигалась слишком близко к едущим машинам, гвардейцам следовало отпихивать и отгонять нахалов: соображения безопасности и авторитет монарха требовали, чтобы проезд протекал планомерно, без непредвиденных проволочек. Теперь машины въезжали на бегущую в гору аллею и останавливались посреди двора. Здесь тоже императора ждала толпа, но совершенно иная, нежели та голытьба у ворот, нещадно разгоняемая императорскими гвардейцами. Эту толпу, приветствующую монарха во дворе, составляли люди из его окружения. Все мы собирались здесь загодя, чтобы не опоздать к прибытию императора. Этот момент многое для нас значил. Каждый желал обязательно показаться, надеясь, что император его заметит. Нет, никто и не помышлял о каком-то особом знаке внимания — что достойный господин заметит, подойдет и завяжет беседу. Нет, ничего подобного! Признаюсь откровенно, каждый надеялся хотя бы на минимальный знак внимания с его стороны, самый незначительный, самый обычный, пустой, ни к чему не обязывающий, мимолетный, как доля секунды, но такой, чтобы удалось ощутить внутреннее потрясение и чтобы пронзила торжествующая мысль: меня заметили! Какую силу это впоследствии придавало! Какие открывались безграничные возможности! О, это была такая желанная и вместе с тем такая трудная задача. Потому что во дворе, где свита встречала императора, жаждущих выставить свою

[1] Менелик II — император Эфиопии с 1889 по 1913 год, крупнейший реформатор. При нем в 1887 году была заложена Аддис-Абеба (букв.: «Новый цветок»), с 1889 года ставшая столицей государства. *(Здесь и далее — прим. М. Л. Вольпе.)*

физиономию имелись десятки и даже (я не преувеличиваю) сотни, высокие загораживали низких, темные затеняли светлых, физиономии презирали друг друга, старики оттесняли молодых, слабые уступали сильным, физиономия ненавидела физиономию, незнатные сталкивались с благородными, властолюбивые — с немощными, физиономии одна другую подавляли, но и эти, униженные, отверженные, третьестепенные и побежденные, даже они, хотя и на известной дистанции, предопределенной иерархическими требованиями, устремлялись вперед, высовываясь тут и там из-за перворазрядных и титулованных особ, хотя бы самым краешком уха или виска, щекой или скулой, только бы поближе к императорскому оку! Если бы милостивый господин захотел охватить взором всю открывавшуюся перед ним по выходе из машины сцену, он заметил бы, что к нему катится покорная и вместе с тем возбужденная, стозевная магма, но кроме этой доминирующей и титулованной массы слева и справа, перед ним и за ним, в отдалении и совсем далеко, в дверях, в окнах, у входа и на дорожках целые толпы лакеев, кухонной прислуги, уборщиков, садовников и полицейских тоже подсовывают ему свои физиономии, чтобы он их заметил. И господин наш взирает на все это. Вызывает ли подобная сцена его удивление? Сомневаюсь. Господин наш тоже некогда был частичкой этой стозевной магмы. Разве не приходилось ему самому навязывать свое лицо, чтобы только в двадцатичетырехлетнем возрасте сделаться наследником престола?[1] И при этом он выдержал дьявольскую конкуренцию. Целый сонм искушенных сановников добивался короны. Но они слишком спешили, опережая друг друга, готовые схватить один другого за глотку, нервные и нетерпеливые, чтобы раздва — и на престол! Достопочтенный господин умел ждать. А это архиважный дар. Без подобного умения выжидать, без терпеливого и даже молчаливого согласия на то, что шансы могут появиться спустя годы, политика не существует. Достойный господин десять лет ждал престолонаследия и еще четырнадцать, чтобы стать императором. В итоге почти четверть века осторожных, но энергичных усилий получить корону... Я говорю осторожных, так как господина отличала скрытность, терпимость и молчаливость. Он знал дворец, знал, что стены имеют уши, что из-за каждой портьеры за ним внимательно наблюдают. Приходилось быть лукавым и хитрым. И разумеется, нельзя было преждевременно открыться, проявить алчную жажду власти: это тотчас объединяет соперников и толкает их на борьбу. Они сразят и уничтожат того, кто высунулся. Нет, годами надо идти в одном строю, следя, чтобы никто не вырвался вперед, и чутко выжидать своего часа. В тридцатом году эта игра принесла господину корону, которую последующие сорок четыре года он удерживал.

Когда я показал своему коллеге то, что пишу о Хайле Селассие, а скорее об императорском дворе и его падении, рассказанное теми, кто заполнял салоны, ведомства и коридоры дворца, тот спросил меня, навещал ли я в одиночку укрывшихся? В одиночку ли? Это было бы невозможно. Белый, иностранец — никто из них не пустил бы меня за порог без надежных рекомендаций.

Нет, я не мог бы посещать их один, со мной был проводник.

Ныне, когда он мертв, я могу назвать его имя: Тэфэрра Гэбрэуолд.

Я приехал в Аддис-Абебу в мае 1963 года. Через несколько дней здесь должны были собраться президенты независимой Африки, и император готовил столицу к приему гостей. Аддис-Абеба в тот период представляла собой большую, полумиллионную, деревню, расположенную на холмах, среди эвкалиптовых рощ. На газонах по главной улице Черчилль-роуд паслись стада коров и коз, и машинам приходилось останавливаться, когда кочевники перегоняли через проезжую часть массу испуганных верблюдов. Шел дождь, и в боковых улочках машины буксовали в липкой коричневой грязи, погружаясь все глубже и образуя в конце концов целые колонны увязших, неподвижных автомобилей.

Император понимал, что столица Африки должна выглядеть значительно импозантнее, и повелел возвести несколько современных зданий, а также упорядочить главные городские магистрали. Увы, строительство растянулось до бесконечности, и когда я осматривал возвышавшиеся в различных точках города строительные леса и занятых там людей, мне вспоминалась сцена, которую описал Ивлин Во, приехавший в 1930 году в Аддис-Абебу поглядеть на коронацию императора:

«Казалось, будто к постройке города приступили только сейчас. На каждом углу виднелись незавершенные здания. Некоторые из них строители уже покинули, возле других работали толпы оборванных туземцев. Как-то днем я наблюдал, как во дворе, у парадного входа, два-три десятка человек под началом мастера-армянина разбирали груды щебня и камней. Требовалось наваливать щебень на деревянные носилки, а потом сбрасывать его на насыпь пятьюдесятью ярдами далее. Мастер с длинной палкой сновал среди людей. Стоило ему на минуту отлучиться, как все замирало. Это не значило, что уборщики усаживались, разговаривали или укладывались на землю, нет, просто они, как коровы на пастбище, замирали в том положении, в каком находились, подчас прямо с

[1] Тэфэри Мэконнын, будущий император Хайле Селассие I, родился 23 июля 1892 года в провинции Харэр. В 1916 году в результате дворцового переворота императрицей была провозглашена старшая дочь Менелика II Заудиту, а регентом и престолонаследником — Тэфэри Мэконнын, вступивший на престол спустя 14 лет.

кирпичом в руках, погружаясь в летаргический сон. Наконец, являлся мастер, и тогда они опять начинали двигаться, но крайне вяло, как персонажи фильма, снятого методом замедленной съемки. Когда мастер палкой лупил их, они не молили о пощаде, не протестовали, а только чуть проворнее двигались. Но удары прекращались, и движения их замедлялись, а если мастеру приходилось вновь отлучиться, моментально прерывали работу и замирали».

На этот раз на центральных артериях наблюдалось оживленное движение. По самому краю улиц катили гигантские бульдозеры, снося особенно выбившиеся вперед и уже опустевшие мазанки, чьих обитателей полиция еще накануне выставила за пределы города. Затем бригады каменщиков возводили высокую стену, чтобы закрыть остальные лачуги. Город благоухал свежим бетоном и краской, застывающим асфальтом и ароматом пальмовых листьев, которыми украсили триумфальные ворота.

По случаю встречи президентов император устроил пышный прием. На этот прием специальные самолеты доставили из Европы вина и икру. За двадцать пять тысяч долларов из Голливуда привезли Мириам Макэбу, чтобы в заключение пиршества она исполнила песни племени зулу. Приглашено было свыше трех тысяч человек, разделенных согласно иерархии на несколько высших и низших категорий, каждой из категорий соответствовал иной цвет пригласительного билета и иное меню.

Когда в Большом зале гости уже расселись за столами, ударили фанфары и вышел император; по правую руку от него шествовал Насер. Они образовывали удивительную пару: Насер, высокий, крупный, властный человек, с выдвинутой вперед головой, с улыбкой, игравшей на широких щеках, а рядом щуплая, даже болезненная и уже подточенная годами фигура Хайле Селассие, его худощавое живое лицо, огромные, сверкающие, проницательные глаза. За ними попарно выступали остальные главы государств. Зал встал, все аплодировали. Последовали овации в честь единства и в честь самого императора. Потом началось собственно пиршество. Один темнокожий официант приходился на четверых гостей (у официантов от нервотрепки и волнения все валилось из рук). Банкет сервирован был серебром в старом харэрском стиле, на столах возлежало несколько тонн дорогостоящих антикварных серебряных вещей. Кое-кто рассовывал столовые приборы по карманам: один прихватывал ложку, другой — вилку.

Повсюду высились гигантские горы мяса и фруктов, рыбы и сыров. Многослойные торты истекали сладкой и яркой глазурью. Изысканные вина распространяли разноцветное сияние, освежающий аромат. Играла музыка, а разряженные шуты кувыркались, к радости развеселившихся участников пиршества. Время проходило за разговорами, смехом и едой.

Здорово было!

Во время банкета мне потребовалось удалиться в более укромное место, но я не знал, где оно. Через боковую дверь вышел из Большого зала во двор. Стояла темная ночь, сеял мелкий майский, но холодный дождь. От самых дверей начинался пологий спуск, а на расстоянии полусотни метров виднелось плохо освещенное строение без стен. От двери, из которой я вышел, до самого строения стояли в ряд официанты, подавая друг другу блюда с остатками пиршества. На этих блюдах к строению двигался поток костей, огрызков, разжиженных салатов, рыбьих голов, мясных объедков. Я последовал туда, скользя среди грязи и разбросанных повсюду ошметков.

Возле строения я заметил, что тьма, простирающаяся за ним, колышется и что-то такое в этой тьме движется, бормочет и хлюпает, издает вздохи и чавкает. Я обогнул строение с тыла.

В густоте ночи, в грязи, под дождем, топталась плотная толпа босых нищих. Мойщики посуды швыряли им из-под навеса объедки с блюд. Я глядел на толпу, которая деловито и сосредоточенно поедала огрызки, кости, рыбьи головы. В этом сотрапезничестве ощущалась внимательная, деловая собранность, несколько убыстренный и самозабвенный биологический процесс, голод, утоляемый с напряжением, в натуге, в экстазе.

Официанты время от времени прерывали подачу, поток блюд прекращался, и толпа на минуту расслаблялась, распускала мышцы, словно бы командир отдал команду: вольно! Люди отирали мокрые лица и приводили в порядок лоснящиеся от дождя и грязи лохмотья. Но блюда снова поступали, так как там, наверху, грандиозная жратва — чавканье и хрумканье шли полным ходом, и толпа снова продолжала труд благословенного и усердного утоления голода.

Я промок и возвратился в Большой зал на императорский прием. Поглядел на серебро и золото, на бархат и пурпур, на президента Касавубу, на моего соседа, некоего Айе Мамлайе, вдохнул аромат благовоний и роз, послушал впечатляющую песню племени зулу в исполнении Мириам Макэбы, отвесил поклон монарху (это было главное требование протокола) и отправился домой.

Когда президенты разъехались (а их отъезд происходил в спешке: длительное пребывание за границей иногда заканчивалось утратой президентского кресла), император пригласил нас, то есть группу иностранных журналистов, находившихся здесь по

случаю первой конференции глав африканских государств, на завтрак.

Это известие и приглашения привез нам в «Африка-Холл», где мы проводили дни и ночи в безнадежном, изматывающем нервы ожидании связи со своими столицами, здешний опекун, ответственный чиновник министерства информации, а именно Тэфэрра Гэбрэуолд, высокий, представительный амхарец, обычно молчаливый и замкнутый. На этот раз, однако, он был растроган и взволнован. Обращало на себя внимание, что каждый раз, произнося имя Хайле Селассие, он торжественно склонял голову. «Великолепно!— воскликнул греко-турок-киприото-мальтиец Иво Сварцини, официально — сотрудник фиктивного агентства МИБ, фактически же работающий на разведку итальянского нефтяного концерна ЕНИ.— Мы сможем пожаловаться этому типу, как нам здесь обеспечили связь!» Следует добавить, что среда таких журналистов, проникающих в самые отдаленные уголки мира, состоит из циничных и суровых людей, все повидавших и все переживших, которым ради исполнения своих обязанностей постоянно приходится преодолевать уйму преград, о каких многие и понятия не имеют, поэтому ничто не в состоянии их растрогать и взволновать, а когда они устали и злы — могут и впрямь пожаловаться императору на плохие условия работы и в самом деле отвратительную помощь местных властей. Но даже им подчас приходится обдумывать свои поступки. И именно теперь наступил такой момент, когда мы заметили, как Тэфэрра после слов Сварцини побледнел, сник, начал что-то возбужденно и бессвязно бормотать, из чего наконец выяснилось: если мы пожалуемся, император велит отрубить ему голову. Он вновь и вновь повторял эту фразу. Наша группа разделилась. Я агитировал за то, чтобы не касаться этого вопроса и не брать греха на душу. Большинство придерживалось того же мнения, и в конце концов мы порешили, что в беседе с императором не будем касаться этой темы. Тэфэрра вслушивался в нашу дискуссию, и ее исход должен был утешить его, но как и каждый амхарец, он по натуре своей оказался недоверчивым и подозрительным, а эти черты особенно проявлялись в отношении к иностранцам, поэтому он ушел от нас удрученный и подавленный. И вот назавтра мы выходим от императора, одаренные серебряными медальонами с его гербом. Церемониймейстер сопровождает нас по длинному коридору к парадной двери. У стены стоит Тэфэрра с таким видом, с каким обвиняемый принимает суровый приговор, на его осунувшейся физиономии пот. «Тэфэрра! — восклицает развеселившийся Сварцини.— Мы тебя изо всех сил расхваливали. (Это правда.) Получишь повышение!»— хлопает его по вздрагивающим плечам.

Позже, пока Тэфэрра был жив, всякий раз, приезжая в Аддис-Абебу, я навещал его. Уже после низложения императора он какое-то время продолжал функционировать, так как (к счастью для Тэфэрры) в последние месяцы господства Хайле Селассие его вышвырнули из дворца. Но он знал всех приближенных императора, а с некоторыми состоял в родстве. Как это принято у амхарцев, которые ценят благородство, он умел быть благодарным и всячески стремился отплатить за то, что я тогда спас ему голову. Вскоре после низложения императора я встретился с Тэфэррой в гостинице «Рас», у себя в номере. Город переживал эйфорию первых месяцев революции. По улицам тянулись шумные ряды демонстрантов, одни поддерживали военное правительство, другие домогались его отставки, третьи требовали сельскохозяйственных реформ, четвертые предлагали судить старых властителей, пятые призывали раздавать беднякам императорское имущество. С самого утра кварталы заполнялись возбужденными толпами, завязывались стычки, конфликты, летели камни. Тогда в номере гостиницы я сказал ему, что хотел бы разыскать людей императора. Тэфэрра был удивлен, но согласился взять это на себя. Начались наши, вызывающие подозрение поездки. Мы напоминали двух коллекционеров, жаждущих разыскать обреченные на гибель картины, чтобы с их помощью устроить выставку старого искусства самовластья.

Примерно в ту же пору вспыхнуло безумство «фытэши», позже разросшееся до умопомрачительных размеров. Жертвами его сделались все мы — живые люди, независимо от цвета кожи, возраста, пола и положения. «Фытэша»— амхарское слово, означающее обыск. Неожиданно все стали обыскивать друг друга. С рассвета до ночи и даже круглые сутки — всюду и без устали. Революция разделила людей на лагеря, и началась борьба. Не было ни баррикад, ни траншей, ни других четких, разграничивающих линий, и поэтому первый встречный мог оказаться врагом. Эту атмосферу всеобщей подозрительности еще усиливало болезненное недоверие, какое питает каждый амхарец по отношению к любому другому (равно и другому амхарцу) человеку, которому никогда не следует доверять, полагаться на слово, рассчитывать на него, ибо человеческие намерения пагубны и вероломны, все люди — заговорщики. Философия амхарцев пессимистическая, поэтому печальны их взгляды, настороженные и проницательные при этом, а серьезные, напряженные лица редко освещаются улыбкой.

Все вооружены до зубов — все

обожают оружие. У богатых в усадьбах имелись целые арсеналы и свои собственные, частные армии. В квартирах офицеров тоже можно увидеть настоящие склады: станковые пулеметы, коллекции пистолетов, ящики с гранатами. Еще несколько лет назад револьверы продавались в лавках, как всякий другой товар,— достаточно было уплатить деньги — никто ни о чем не спрашивал.

Итак, чтобы стать хозяевами положения и разоружить оппозицию, власти учредили повсеместную фытэшу. Нас постоянно и без устали обыскивают. На улице, в машине, возле дома (и в домах), у лавки, у почты, перед входом в контору, в редакцию, в храм, в кино. У банка, возле ресторана, на рынке и в парке. Каждый волен нас обыскать: мы не знаем, кому предоставлено это право, а кому нет, и лучше об этом не спрашивать, это только усложняет положение, лучше подчиниться. Нас постоянно кто-то обыскивает, какие-то подозрительные оборванцы с палками в руках, они ничего не говорят, только останавливают нас и разводят руки, давая понять, что и мы должны развести руки в стороны, то есть приготовиться к обыску, и тогда они начинают извлекать все из портфеля, из карманов, разглядывать, удивляться, морщить лоб, кивать головами, совещаться, потом ощупывать нам спину, живот, ноги, обувь, ну и что? — и ничего — можем следовать дальше, до нового разведения рук в стороны, до нового обыска. Только этот новый обыск может наступить через несколько шагов, и все начнется сначала, ибо разрозненные фытэши не суммируются в единое, генеральное, раз навсегда произведенное очищение, оправдание, отпущение грехов, нам предстоит лишь каждый раз, через каждые несколько метров, через несколько минут вновь и вновь очищаться, оправдываться, получать отпущение грехов. Наиболее утомительные фытэши на дорогах, во время езды автобусом. Десятки остановок, все выходят, весь багаж распакован, вскрыт, вывернут наизнанку, растерзан, развернут, разрыт. Мы сами обысканы, ощупаны, облапаны, обмяты. Потом в автобусе происходит укладка багажа, который разбух, словно тесто в квашне, а при очередном фытэше происходит вытряхивание, вышвыривание на дорогу одежды, корзин, помидоров, горшков (все это напоминает стихийный и хаотично раскинувшийся придорожный базар)— и новые поиски, попирание и топтание ногами. Фытэши настолько отравляют поездку, что на полпути возникает желание вернуться, но как — остаться в чистом поле, высоко в горах, угодить в плен к разбойникам? Иногда фытэши охватывают целые кварталы, и тогда это дело серьезное. Такие фытэши проводят военные, разыскивая тайные склады оружия, подпольные типографии и анархистов. В ходе такой операции слышны выстрелы, а потом появляются убитые. Если какой-то рассеянный, хотя бы и совершенно невинный, попадет в подобный переплет, ему суждено пережить тяжкие минуты. В этом случае приходится идти медленно, с поднятыми над головой руками под наведенными на тебя дулами автоматов, ожидая приговора. Но чаще всего мы имеем дело с самодеятельными акциями, с которыми можно освоиться и свыкнуться. Многие по собственной инициативе устраивают другим фытэшу, то есть облапывание, ощупывание, это именно фытэшисты-одиночки, действующие по одному, вне общего плана организованной фытэши. Мы идем по улице, и вдруг нас останавливает незнакомый прохожий и разводит руки. Ничего не поделаешь: приходится тоже развести руки, то есть занять исходную позицию для обыска. Тогда он нас ощупает, обшарит, обожмет, а потом подаст знак головой: мы свободны. Видимо, минуту назад ему подумалось, что перед ним враг, а теперь он избавился от своего подозрения и мы можем быть спокойны. Можем продолжать путь, забыв об этом пустячном происшествии. В моей гостинице один из портье обожал меня обыскивать. Иногда в спешке я стремительно вбегал в вестибюль и несся на свой этаж в номер, тогда он припускался за мной и, прежде нежели я успевал повернуть ключ в замке, протискивался вовнутрь и там устраивал мне фытэшу. Меня донимали фытэшевые сны. На меня наползало множество темных, грязных, алчных, шевелящихся, пляшущих, обыскивающих рук, которые давили, обирали, щекотали меня, брали за глотку, так что я просыпался в холодном поту, не в силах заснуть до утра.

Но, несмотря на эти превратности судьбы, я продолжал ходить по домам, которые распахивал передо мной Тэфэрра, и слушал голоса, доносившиеся до меня уже как бы с того света.

А. М-М.:

Как привратник третьих дверей я был главным среди лакеев, прикрепленных к Залу аудиенций. В этом зале имелись три двери, поэтому было три лакея-привратника, но я был заглавным — через мои двери проходил император. Когда достопочтенный господин покидал зал, я распахивал двери. Мое искусство состояло в том, чтобы открыть дверь в нужный момент, подгадать точь-в-точь. Распахни я дверь преждевременно, это могло бы произвести неблагоприятное впечатление, будто я выпроваживаю императора из зала. И опять же, если бы я распахнул ее слишком поздно, достопочтенному господину пришлось бы замедлить шаг, а возможно, и остановить-

ся, что уронило бы достоинство нашего владыки, ибо движение первой особы должно совершаться беспрепятственно, не встречать никаких преград.

Г. С-Д.:

Время с девяти до десяти утра господин наш проводил в Зале аудиенций, занимаясь назначениями на должность, и пора эта называлась часом назначений. Император входил в зал, где его уже ждала вереница выстроенных шеренгой и смиренно кланявшихся ему сановников, которым предстояло получить назначение на пост. Господин наш садился на трон, и я тут же подкладывал ему под ноги подушечку. Это требовалось проделать молниеносно, чтобы не наступил момент, когда ноги достойного монарха повисли бы в воздухе. Все мы знаем, что господин наш был невысок, вместе с тем его звание требовало, чтобы по отношению к подчиненным он и в чисто физическом смысле сохранял более высокое положение, а потому императорские троны снабжались длинными ножками и высоко подвешенными сиденьями, особенно те, которые он унаследовал от императора Менелика, человека огромного роста. Словом, возникало противоречие между необходимой высотой трона и фигурой достопочтенного господина, противоречие особенно щекотливое и затруднительное именно тогда, когда дело касалось ног: нечего было и думать, что необходимое достоинство способна сохранить фигура, чьи ноги болтаются в воздухе! А подушка как раз и помогала решать эту деликатную, но такую важную проблему. На протяжении двадцати шести лет я был подушечным благородного господина. Сопровождал императора в его странствиях по свету, и, собственно говоря (могу с гордостью заявить об этом), господин наш никуда не мог без меня двинуться: его положение требовало, чтобы он постоянно восседал на троне, а восседать на нем император не мог без подушечки, я же являлся подушечным. У меня в этом смысле имелся четкий, особый протокол, и я даже располагал исключительно полезными знаниями о высоте каждого в отдельности трона, что позволяло мне быстро и точно подбирать соответствующую подушку, чтобы не допустить огорчительного несоответствия: между подушкой и обувью императора имеется зазор! В моем складе хранились пятьдесят две подушки разного формата, толщины, ткани и цвета. Я сам поддерживал необходимые условия их хранения: чтоб в них не завелись блохи — тяжкий бич нашей страны, так как подобная небрежность могла завершиться скандалом.

Т. Л.:

My dear brother[1], время назначения на должность бросало в дрожь весь двор! Для одних это был трепет радости, предвкушение торжества, для других, что ж,— дрожь ужаса и ощущения краха, ибо в этот час достопочтенный господин не только награждал, раздавал наделы и назначал на должность, но и выносил порицания, удалял и понижал в должности. Я дурно выражаюсь! На самом деле такого деления на счастливых и напуганных не существовало; радостью и страхом попеременно полнилось сердце каждого из приглашенных в Зал аудиенций: никто не знал, что, собственно, его ждет. В этом и состояла глубочайшая мудрость господина нашего, что никто не знал своего дня, своей судьбы. Эта неуверенность и неясность намерений монарха приводили к тому, что дворец беспрерывно занят был пересудами, терялся в догадках. Дворец делился на фракции и группировки, которые беспощадно враждовали, взаимно себя ослабляя и изничтожая. И эту цель наш достойный господин и преследовал. Стремясь создать равновесие, гарантирующее ему святое спокойствие. Если какая-то группировка одерживала верх, господин вскоре осыпал милостями противную партию и вновь восстанавливал парализующее равновесие соперников. Он нажимал на клавиш — раз белый, раз черный — и исторгал из рояля гармоничную и ласкающую его слух мелодию. И все подчинялись этому нажатию, ибо единственной основой их существования было императорское соизволение, и, отмени его император, в тот же самый день их и след простыл бы. Да, сами по себе они ничего не значили. Они были на виду у всех лишь до той поры, пока их озарял блеск монаршьей короны. Хайле Селассие был конституционным[1] избранником бога и в силу такого возвышения не мог объединяться ни с одной фракцией, хотя использовал в большей степени то одну, то другую, но если одна из поддерживаемых им группировок начинала слишком усердствовать, император тотчас одергивал ее, а мог и формально осудить.

Во дворце имелось три главных фракции: аристократов, бюрократов и так называемых личных ставленников императора. Фракция аристократов, крайне консервативная (в нее входили владельцы крупных земельных угодий), группировалась в основном в Совете ко-

[1] Дорогой брат мой *(англ.)*.

[1] Первая конституция была принята в Эфиопии в 1931 году, вторая — в 1955 году. В обеих утверждалась богоизбранность императора и преемственность императорской власти с древнейших времен. Так, в конституции 1931 года записано: «Закон устанавливает, что императорский титул навечно закрепляется за родом Его величества Хайле Селассие I, потомка царя Сахле Селассие, генеалогическая линия которого прямо идет от династии Менелика I, сына царя Соломона из Иерусалима и царицы Савской из Эфиопии». В конституции 1955 года декларируется: «Благородство происхождения императора и помазание на трон, им принятое, делают личность монарха священной...» Традиция богоизбранности императора в Эфиопии имеет давние корни. Впервые она получила письменное закрепление в трактате «Слава Царей», написанном в XIV веке. В этом трактате в благоприятном для правящей династии свете излагается библейская легенда о посещении в Иерусалиме царя Соломона царицей Савской из Эфиопии.

роны, ее лидером был расстрелянный позже рас[1] Каса. Фракция бюрократов, наиболее податливая к переменам и наиболее просвещенная, ибо часть ее представителей была с высшим образованием, заполняла министерства и имперские ведомства. Наконец, фракция личных ставленников императора являлась особенностью нашей власти, созданной самим монархом. Достойному господину, сторонникy сильного государства и централизованной власти, приходилось ловко и искусно бороться с аристократической группировкой, которая жаждала управлять провинциями, имея слабого, послушного императора. Но он не мог бороться с аристократией ее собственными руками и поэтому постоянно призывал в свое окружение в качестве своих личных выдвиженцев и избранников людей из народа, молодых и смышленых, но из самых низов, кого-то из обыкновенного плебса, часто наугад выхваченного из толпы, собиравшейся, когда господин наш общался с народом. Эти личные ставленники императора, перенесенные из самых недр нашей убогой и нищей провинции в салоны высочайшего двора, где они сталкивались с естественной ненавистью и враждебностью укоренившихся там аристократов, быстро вкусив прелести дворцового великолепия и откровенной притягательности власти, прямо-таки с неописуемым рвением и страстью служили императору, зная, что пребывают здесь и нередко занимают высочайшие должности в стране исключительно по воле достойного господина. Именно их и назначал император на посты, требовавшие высочайшего доверия. Министерство пера, императорская политическая полиция, канцелярия дворца были заполнены этими людьми. Они разоблачали все заговоры и козни, истребляли самонадеянную и злобную оппозицию. Учти, господин журналист, что император не только сам решал вопрос о всех назначениях, но в прежние времена сам и осуществлял это. Он, и только он! Он заполнял всю верхушку иерархической лестницы и ее средние и нижние ступени, назначал начальников почт, директоров школ, постовых полицейских, всех мелких служащих, управляющих, директоров пивоваренных заводов, больниц, гостиниц, я еще раз повторю — всех он один. Их приглашали в Зал аудиенций на час назначения на должности, и здесь, построенные в нескончаемую шеренгу (ибо это была уйма, целая уйма народу!), они ожидали прибытия императора. Потом каждый по очереди приближался к трону, взволнованный, выслушивал, изогнувшись в поклоне, на какую должность назначает его император, целовал благодетелю руку и, пятясь и откланиваясь, удалялся. Даже самое мелкое назначение скреплялось императорским утверждением, потому что источником всякой власти являлось не государство, не любой другой институт, а лично достойный господин. Какое же это удивительно высокое право! Ибо с момента общения с императором, когда тот назначал на должность и благословлял, между ними возникала особого рода связь, правда подчиненная правилам иерархии, но все-таки связь, а из этого следовал один принцип, каким руководствовался наш господин, повышая или снимая людей,— принцип лояльности. Мой друг, можно было бы составить целую библиотеку из тех доносов, какие поступали к императору на самого близкого ему человека — министра пера Уольдэ Гийоргиса. Это был самый коварный, отталкивающий и растленный субъект, когда-либо появлявшийся на паркете нашего дворца. Сам донос на этого человека грозил крайне неприятными последствиями. Как же плохи были дела, если, несмотря на все это, доносили! Но монаршье ухо оставалось глухим. Уольдэ Гийоргис мог творить что хотел, а его разнузданность не знала границ. Но, утратив способность рассуждать здраво, он в своей спеси, пользуясь полной безнаказанностью, побывал на собрании фракции заговорщиков, о чем дворцовая разведка уведомила достопочтенного господина. Господин ждал, чтобы Уольдэ Гийоргис сам сообщил ему об этом, но тот и словом не обмолвился или, иначе говоря, нарушил принцип лояльности. И на следующий день император час назначений начал со своего министра пера, человека, который почти что разделял власть с достойным господином: с вершин второй персоны в государстве Уольдэ Гийоргис съехал на должность мелкого служащего в захудалой южной провинции. Узнав о назначении (представим только себе, какую растерянность и страх подавлял он в себе в этот момент), тот, согласно ритуалу, облобызал благодетелю руку и, пятясь, с поклонами раз и навсегда покинул дворец. А возьмем такую фигуру, как рас Имру. Это, возможно, была самая яркая индивидуальность среди властвующей элиты, человек, достойный самых высоких отличий и должностей. Что из этого, когда (как я уже упоминал) милостивый господин никогда не руководствовался принципом способностей, но всегда исключительно только принципом лояльности. Так вот, неизвестно как и почему раса Имру неожиданно охватила жажда реформ, и он, не испросив императорского согласия, раздал крестьянам часть своей земли. А следовательно (скрыв нечто от императора и действуя по собственной инициативе), дерзко и прямотаки вызывающим образом нарушил принцип лояльности. Итак, милостивому господину, который собирался доверить расу крайне важное учреждение, пришлось удалить его за пределы страны и держать на чужбине на протяжении двадцати лет. Я хочу подчеркнуть здесь, что господин наш не был противником реформ, наоборот — он всегда симпатизировал прогрессу и улучшениям, но не мог допустить, чтобы кто-то сам принялся проводить реформы: во-

[1] Рас (букв.: «голова») — княжеский титул в феодальной Эфиопии. После революции 1974 года все титулы отменены.

первых, потому, что это создавало опасность произвола и анархии, а во-вторых, могло создать впечатление, будто в империи существуют какие-то благодетели кроме достойного господина. Поэтому-то, если ловкий и разумный министр хотел в своей епархии провести, возможно, самую незначительную реформу, ему приходилось направлять дело так и так представлять его императору, так освещать и формулировать, чтобы наиболее неопровержимым, признанным и очевидным образом явствовало, что благосклонный и заботливый инициатор, творец и сторонник реформы — лично его императорское величество,— пусть даже на самом-то деле благодетель наш плохо понимал, о чем здесь идет речь. Но ведь не все министры наделены умом! Скажу откровенно: милостивый господин предпочитал плохих министров. Предпочитал потому, что любил выгодно контрастировать с ними. А как он мог контрастировать, окружай его дельные министры? Народ перестал бы ориентироваться, у кого искать помощи, на чью доброту и мудрость уповать?

З. Т.:

В момент назначения на должность господин наш видел перед собой склоненную голову того, кого избирал на высокий пост. Но даже проницательный взгляд достопочтенного господина не мог увидеть, что далее происходит с этой головой. Тем временем голова, выполнявшая в Зале аудиенций нисходяще-восходящие движения, миновав двери, быстро изменяла позицию, задиралась вверх, застывала и приобретала мощные и решительные очертания. Да, мой господин, поразительна была сила императорского назначения! Ведь вот самая заурядная голова, до той поры так естественно и свободно поворачивавшаяся, такая подвижная и нестесненная, так привыкшая вертеться, склоняться книзу, отвешивать поклоны и покачиваться, теперь, обретя помазание назначением на должность, претерпевала удивительные ограничения, двигаясь с той поры только в двух направлениях— по вертикали вниз, в каком двигалась в присутствии достопочтенного господина, и по вертикали вверх в присутствии всех остальных.

Вообще, будучи служащим протокола в Зале аудиенций, я заметил, что назначения на должность чисто физически и притом кардинально меняют человека, и меня это так заинтересовало, что я стал внимательно следить за происходящим. Прежде всего меняется сама человеческая фигура. Прежде щуплая и хилая, она приобретает теперь очертания квадрата. Этот корпулентный, массивный квадрат — символ ответственности и бремени власти. Уже по внешнему виду нам ясно, что это не кто-нибудь, а само воплощение благородства. Такому изменению фигуры сопутствует общая медлительность движений. Человек, отмеченный достойным господином, уже не станет скакать, бегать, подпрыгивать, своевольничать. Нет, походка солидная, ноги уверенно передвигаются по земле, тело слегка наклонено вперед, что означает готовность противостоять превратностям судьбы, движения рук размеренные, избавленные от нервозной и беспорядочной жестикуляции. Равно и черты лица обретают важность и как бы застывают, физиономия становится озабоченной и замкнутой, сохраняя, однако, способность периодически переключаться на одобрение и оптимизм, но в итоге она как-то так организована и повернута, что не создает возможности психологического контакта, при ней нельзя расслабиться, спокойно вздохнуть. Меняется также и взгляд. Иным становится его протяженность и угол падения. Взгляд этот теперь простирается до какой-то точки, для нас абсолютно недоступной, и поэтому, разговаривая с назначенным на должность, мы, в силу общеизвестных законов перспективы, не будем замечены им, так как его взгляд сфокусируется где-то позади нас. Даже будучи ниже ростом, он все равно поверх нашей головы вглядывается в даль, поглощенный какой-то нездешней мыслью.

Случалось, однако, что милостивый господин не только назначал на должность, но, удостоверившись в нелояльности, увы, также и отстранял людей или (прости мне, дружище, грубое выражение) с треском выкидывал на улицу. И можно было убедиться, что подобное падение сопровождалось одной примечательной особенностью — симптомы, вызванные назначением на должность, пропадали, перемены физического характера сглаживались, потерпевший крах обретал нормальный вид и проявлял нервозное и, возможно, несколько преувеличенное стремление брататься, словно бы он жаждал затушевать все случившееся, словно хотел махнуть рукой и сказать: эх, давай забудем об этом, будто речь шла о пустяковом недомогании.

М.:

Ты спрашиваешь меня, дружище, почему в последний период царствования императора некий Аклилу, не имевший никаких обязанностей (это был плебей), почему он располагал большей властью, нежели рас Мэконнын, глава правительства и аристократ? Потому что ступени власти при дворе основывались не на иерархии должностей, а на количестве визитов благородному господину. Таков был внутренний распорядок во дворце. Говорилось, что самый главный тот, кто чаще оказывается при императорском ухе. Чаще и дольше других. За это ухо между группировками шла ожесточенная борьба, ухо служило высшей ставкой в игре. Стоило притиснуться (что не так просто!) к императорскому уху и шепнуть. Шепнуть — и точка — только и всего. Пусть это где-то осядет, пусть там застрянет, может, как мимолетное ощущение, как крохотное зернышко. Но придет время — и оно укрепится, зер-

нышко пустит росток, и вот тогда мы пожнем плоды. Это были крайне деликатные, требовавшие определенного понимания усилия: господин наш, несмотря на свою неистребимую и удивительную энергию и выносливость, оставался, однако, живым существом с ограниченной самой природой вместимостью уха, которое невозможно растягивать и перегружать, не вызывая императорского раздражения, защитной реакции, поэтому за раздел уха шла борьба. Перипетии ее были одной из главных тем погрязшего в сплетнях дворца, гулким эхом отдаваясь в городе.

Я, мой друг, в наиболее счастливую пору мог рассчитывать на один ежемесячный визит, хотя (явно по недоразумению) мои акции котировались даже несколько выше, однако и так считалось, что я занимаю солидное положение, ибо ниже персональных и самых ценных визитов существовала иерархия косвенных доступов к императору второго, третьего и прочих разрядов, где тоже возникали распри, свары, стычки, интриги. О, если о ком-то было известно, что он многократно и запросто вхож к императору, ему низко кланялись, даже если он не был министром. А у кого число визитов шло на убыль, тот уже знал, что милостивый господин понизил его рангом. Добавлю еще, что при миниатюрном сложении, выразительно и пропорционально вылепленной голове достопочтенный господин был наделен большими ушами.

И. Б.:

Я был хранителем мешка Аббы Ханны Джэммо, богобоязненного казначея и исповедника императора. Обе достопочтенные особы были ровесниками, одинакового роста и внешне походили друг на друга. Разговоры о каком-либо сходстве с достойным господином, избранником божьим,— это заслуживающая наказания дерзость, но в случае с Аббой Ханной я могу себе позволить подобную вольность: император безгранично доверял моему господину, и свидетельством некоторой даже интимности их отношений был факт, что Абба Ханна имел свободный доступ к трону, перед ним (можно сказать и так) просто все двери были открыты. Будучи одновременно хранителем казны и исповедником незабвенного господина, Абба заглядывал как в его душу, так и в карман, то есть мог созерцать царственную особу в ее абсолютной и достойной полноте. Как хранитель мешка, я всегда сопровождал Аббу в его казначейских обязанностях, следуя за своим господином с мешочком из первосортной овечьей кожи, выставленным ныне ниспровергателями на публичное обозрение. Я был и хранителем другого, большого мешка, наполнявшегося мелкой монетой в канун национальных праздников, которыми были: дни рождения императора, годовщины его коронации и, наконец, его возвращения на родину [1]. По случаю этих празднеств наш престарелый властелин отправлялся в наиболее оживленный и людный район Аддис-Абебы, именуемый Меркато [2], где на специально возведенном возвышении я водружал этот обременительный для передвижения мешок, из которого наимилостивейший господин зачерпывал горстью медяки и швырял их в толпу нищих и прочей алчной черни. Но ненасытный сброд затевал такую свару, что всякий раз этот акт милосердия обречен был на завершение ударами полицейских дубинок, сыпавшимися на головы разбушевавшихся и напиравших простолюдинов, и тогда удрученный господин покидал возвышение, часто не успевая и наполовину опорожнить мешок.

У. А-Н.:

...словом, завершив раздачу должностей, наш неутомимый господин направлялся в Золотой зал, и здесь начинался час денежных ссуд. Время между десятью и одиннадцатью утра. В эту пору достойного господина сопровождал набожный Абба Ханна, тому в свою очередь сопутствовал не отставший ни на шаг хранитель мешка. Если кто-то обладал хорошим обонянием и чутким слухом, тот чувствовал, как по нашему дворцу разносится запах и шелест денег. Но для этого требовалась особая восприимчивость и даже воображение, так как деньги в своем материальном выражении не лежали пачками по углам салонов, да и милостивый господин совсем не собирался оделять своих фаворитов долларами в конвертах. Нет, наш господин не склонен был к этому. Хотя, дорогой друг, это может показаться тебе непостижимым, но даже мешочек Аббы Ханны не был бездонной сокровищницей, и церемониймейстерам приходилось прибегать к различным уловкам, чтобы император из-за финансовых проблем не попал в неловкое положение. Так, мне вспоминается, как по окончании постройки императорского дворца, называемого Генетэ Леул, господин наш выплатил жалованье зарубежным инженерам, но не пожелал рассчитаться с нашими каменщиками. Эти простолюдины собрались перед фасадом построенного ими дворца и стали просить, чтобы им тоже заплатили за работу. Тогда на балкон вышел главный магистр дворцового церемониала, предложив им перейти на задний двор, где благодетельный господин одарит их деньгами. Обрадованная

[1] Имеется в виду вступление Хайле Селассие в сопровождении немногочисленных войск в Аддис-Абебу 5 мая 1941 года после пятилетнего пребывания за границей. Эта дата до 1975 года отмечалась как День освобождения Эфиопии. В начальный период войны с фашистской Италией, после разгрома эфиопских войск в битве при Май-Чоу, император уехал в Европу с намерением обратиться в Лигу Наций за помощью. Отсутствие императора в стране во время войны — беспрецедентный случай в эфиопской истории. Упоминание о нем нередко служило козырем для противников императора (см. с. 215).

[2] Там расположен крупнейший аддис-абебский рынок.

толпа переместилась на указанное место, а достопочтенный господин смог без досадных помех удалиться через парадные двери и отправиться в старый дворец, где его уже смиренно ожидала вся свита. Всюду, куда только ни направлялся наш господин, народ проявлял свою необузданную, ненасытную алчность, домогаясь то хлеба, то обуви, то скота, то подачек на строительство дороги. А господин наш любил посещать провинции, любил допускать к себе простых людей, познавать их заботы, утешать обещаниями, хвалить смиренных и трудолюбивых, наставлять ленивых и неповинующихся властям. Но эта склонность мягкосердного господина разоряла казну: провинции требовалось соответственно подготовить, подчистить, подкрасить, закопать отбросы, истребить мух, построить школу, одеть детей в форму, подновить здание муниципалитета, пошить флаги и написать портреты уважаемого монарха. Недостойно было бы, чтобы наш господин оказался где-нибудь внезапно, явившись нежданно-негаданно, как презренный налогосборщик, увидев жизнь такой, какова она есть. Легко себе представить растерянность и переполох местной знати! Ее трепет и страх! А ведь власть не может действовать, ощущая опасность, власть — это определенное условие, базирующееся на установленных правилах. Представь себе, дружище, что достойный господин склонен был бы познавать жизнь врасплох. Скажем, монарх летит на север, где уже все готово, протокол соблюден, церемониал отрепетирован, провинция сияет, как зеркало, и вот неожиданно во время полета почтенный господин призывает пилота и говорит ему: сын мой, разворачивай машину, мы летим на юг! А на юге хоть шаром покати! К встрече никто не готов! На юге полный развал, грязь, нищета, все черно от мух. Губернатор отбыл в столицу, знать погружена в спячку, полиция расползлась по деревням и обирает крестьян. Как бы это опечалило милостивого господина! Какое это унижение его достоинства! И даже — осмелюсь произнести такое — явная насмешка! Ведь есть у нас провинции, где народ удручающе дик, убог, погряз в язычестве и, если не вмешается полиция, способен оскорбить императорское величество Есть у нас и такие провинции, где неотесанная чернь могла бы при виде монарха разбежаться. И подумать только, дружище, вот достопочтенный господин вышел из самолета, а вокруг — пусто, тихо, голое поле, на сколько хватает глаз — ни души! Надо ли удивляться, что в подобных условиях добросердечный господин избегал опрометчивых поступков? Пусть бы, скажем, он огорошил сперва одних, потом других, то здесь, то там. Сегодня застал врасплох провинцию Бале, неделю спустя — провинцию Тигре. Он констатирует: развал, грязь, от мух черным-черно. Он вызывает провинциальную знать в Аддис-Абебу на время назначений, осыпает упреками и лишает их должностей. Весть о происшедшем разносится по всей империи. И каковы результаты? А вот таковы: знать всюду перестает заниматься делами и только и поглядывает на небо — не летит ли достопочтенный господин. Народ гибнет, провинция окончательно хиреет, но все это ничто в сравнении с боязнью императорского гнева. И что еще того хуже, чувствуя неуверенность и угрозу, не зная теперь ни дня, ни часа, объединенные общими невзгодами и страхом, они начинают роптать, строить недовольные мины, охать, распускать сплетни о здоровье милостивого господина и, наконец, организовывать заговоры, подстрекать к бунтам, сеять смуту, вести подкоп под, по их мнению, немилосердный престол, от которого (о, как же дерзостен их образ мыслей!) они света белого не видят. И чтобы избежать беспорядков в империи, бездействия властей на местах, господин наш с немалой пользой шел на компромисс, гарантировавший ему и знати двойной успех. Ныне всякого рода ниспровергатели монаршьей власти попрекают достопочтенного господина, что в каждой провинции у него имелся дворец, готовый в любой момент принять императора. Возможно, что в этом и в самом деле был некоторый излишек, ибо, скажем, в центре пустыни Огаден возвели роскошный дворец, который просуществовал лет пятнадцать всегда с прислугой и запасом свежих продуктов, а неутомимый господин провел там только один день. Но допустим, трасса визита достойного господина пролегала бы когда-нибудь так, что ему пришлось бы заночевать в сердце пустыни. Разве же тогда необходимость такого дворца не оказалась бы оправданной? Увы, наша непросвещенная чернь никогда не поймет соображений высшего порядка, а именно они и руководят действиями монархов.

Е.:

Золотой зал, господин Капучицкий, время выдачи ссуд Рядом с императором уже отмеченный годами Абба Ханна, за ним его хранитель мешка. В другом конце зала топчутся люди вроде бы беспорядочно, но каждый знает свой черед. Я могу говорить о толпе, поскольку милостивый господин ежедневно принимал бесконечное число подданных, когда он пребывал в Аддис-Абебе, дворец был полон, пульсировал буйной, хотя, естественно, и подчиненной иерархическому порядку жизнью, через внутренний двор плыли ряды машин, в коридорах толпились делегации, в приемных болтали послы, служащие церемониала спешили с тревогой в глазах, сменялись караулы, с папками, полными бумаг, прибегали посыльные, появлялись министры, как-то запросто, по-домашнему, словно самые обыкновенные смертные, сотни подданных старались всучить сановникам то прошение, то донос, появлялись здесь и генералы, члены Совета короны, управляющие имперскими

владениями. наместники, ну, словом, толпа, взволнованная, возбужденная толпа. Все это пропадало в один миг, как только достопочтенный господин покидал столицу и направлялся с визитом за границу или выезжал в провинцию закладывать камень в фундамент, открывать дорогу или вникать в заботы простого люда, утешать и ободрять. Дворец моментально пустел, превращаясь в декорацию дворца, в театральный реквизит, дворцовая прислуга затевала стирку и развешивала на веревках белье, дворцовые дети пасли на газонах коз, служащие церемониала проводили время в городских барах, стражники перевязывали ворота цепью и спали под деревьями. Господин возвращался, гремели фанфары — и дворец вновь оживал. В Золотом зале в самом воздухе всегда ощущалась наэлектризованность. Чувствовались электрические разряды, которые ударяли приглашенным в висок, вызывая у них дрожь, а источником этих разрядов был мешочек из выделанной овечьей кожи. Люди по очереди подходили к щедрому господину, поясняя, зачем им необходимы деньги. Господин наш выслушивал, потом задавал дополнительные вопросы. Здесь я должен признать, что в финансовых вопросах милосердный господин проявлял исключительную мелочность. Какие-либо издержки в империи, превышавшие сумму в десять долларов, нуждались в его собственноручном утверждении, если же министр являлся к императору с просьбой дать согласие на израсходование одного доллара, он мог рассчитывать только на похвалу. Отдать министерскую машину в ремонт — необходимо согласие императора. Сменить проржавевшую трубу в столице — нужно одобрение императора. Закупить простыни для гостиницы — снова требуется его разрешение Как же тебя должна восхищать, дружище, прямо-таки фантастическая работоспособность и бережливость седовласого господина, который большую часть своего монаршьего времени тратил на проверку счетов, выслушивание отчетов, отклонение проектов, на раздумья над человеческой алчностью, хитростью, назойливостью. И однако же, господин наш в этих делах не знал ни скуки, ни усталости. Всегда изумлял его живой интерес, дотошность и примерная бережливость. Он обладал определенными наклонностями финансиста, и его министр финансов Йильма Дэреса принадлежал к числу людей, имевших самый свободный доступ к императору. Однако к тем, без кого он не мог обойтись, господин наш проявлял щедрость. Выслушав ответы на дополнительные вопросы, добрый господин обещал просителю разрешить его материальные затруднения. Осчастливленный отвешивал глубочайший поклон. Теперь щедрый господин поворачивал голову в сторону Аббы Ханны и шепотом называл ему сумму, какую набожному сановнику следовало извлечь из мешочка. Абба Ханна погружал туда руку, извлекал деньги, вкладывал их в конверт и подавал растроганному счастливцу, который (поклон за поклоном, пятясь, пятясь, спотыкаясь и расшаркиваясь) удалялся. А потом, господин Капучицкий, увы, приходилось слышать жалобы этих жалких неблагодарных. Ибо в конвертах они обнаруживали только малую долю той суммы, какую (как заверяли эти ненасытные грабители) обещал им щедрый господин. Однако что оставалось делать: возвращаться? Подавать жалобу? Обвинить самого близкого господскому сердцу сановника? Все это было невыполнимо. Зато какой ненавистью было окружено тогда имя богобоязненного казначея и исповедника! Ибо не отваживаясь запятнать достоинство господина нашего, его, Аббу Ханну, общественное мнение обвиняло в скопидомстве и обмане, в том, что неглубоко погружал руку в мешочек, что крайне долго рылся в нем, просеивая монеты сквозь пальцы, которые складывались у него наподобие сита, и что он вообще с такой неохотой запускал туда руку, словно мешок полон был ядовитых змей, а потом поспешно и даже не глядя (он знал деньги по весу, по размеру банкнот) вручал конверт, давая знак удалиться, что проситель и делал, пятясь и отвешивая поклоны. Поэтому когда его расстреляли, я думаю, его не оплакивал никто, кроме милостивого господина. Пустой конверт! Знаете ли вы, господин Капучицкий, что такое деньги в нищей стране?..

Императору нужны люди, которые многое могут потерять. Наш добрый монарх бросал голытьбе медяки, но придворных одаривал немалыми благами. Он раздавал им поместья, земли, крестьян, из которых они могли выколачивать налоги, одаривал золотом, титулами, богатствами. Ему нравилось, когда придворные приумножали свои богатства, когда округлялись их текущие счета и кошельки. Я не помню случая, чтобы щедрый монарх отменил чье-либо назначение на должность и прижал кого-нибудь к ногтю из-за коррупции. Пусть себе резвится, лишь бы сохранял лояльность! Благодаря своей превосходной памяти и постоянным доносам наш монарх точно знал доходы каждого, но этот бухгалтерский учет вел про себя, никогда не злоупотреблял им, если подданный сохранял лояльность. Но стоило ему уловить хотя бы оттенок нелояльного отношения, он тотчас же конфисковывал все, лишая отступника райского оперения. Такая бухгалтерия позволяла царю царей держать всех в кулаке, и все об этом знали. Но во дворце был и такой случай: один из благороднейших наших патриотов, крупнейший партизанский руководитель в годы войны с Муссолини [1] — Таккэле Уольдэ Хавариат, с неприязнью относился к императору, не принимал милостивых даров, отвергал привилегии и никогда не был замешан в коррупции. Именно его наш господин велел годами держать в тюрьме, а потом казнить.

[1] С 1935-го по 1941 год.

Г. Х-М.:

Хотя я и был ответственным служителем церемониала, заушники называли меня кукушкой достойного господина. Эту кличку мне дали потому, что в императорском кабинете стояли швейцарские часы с боем, из которых с наступлением очередного часа выскакивала кукушка. Так вот, я имел честь выполнять подобную роль, когда господин наш занят был императорскими обязанностями. Когда монарху полагалось в соответствии с протоколом перейти от одного занятия к следующему, я представал перед ним, многократно отвешивая поклоны. Для наблюдательного господина это был сигнал, что пора от одной церемонии перейти к другой. Остряки, которые в любом дворце охотно подшучивают над нижестоящими, смеясь, поговаривали, что поклоны — единственная моя профессия и даже смысл моего существования. И действительно, у меня не было иной обязанности, кроме как в определенный момент отвесить достопочтенному господину поклон. Да, это правда! Однако я мог бы возразить им (если бы занимаемое мной положение допускало подобную смелость), что мои поклоны носили функциональный и упорядочивающий характер, служа общей, государственной, а следовательно, высшей цели, в то время как при дворе было полно сановников, усердно кланявшихся в любую минуту, только бы представился случай, и к такой эластичности шеи их не побуждали соображения высшего порядка, а только угодливость, раболепство и надежда на повышение или дары. Мне приходилось даже следить за тем, чтобы в этом всеобщем и непрекращающемся поклонении не затерялся мой, чисто информативный, деловой поклон, я вставал так, чтобы назойливые льстецы не оттерли меня вовсе: милосердный господин, не получив вовремя положенного сигнала, мог быть дезориентирован, затянув одну церемонию в ущерб другой, не менее важной. Но увы! Моя старательность при исполнении своих обязанностей давала скудные плоды, когда шла речь о завершении процедуры раздачи ссуд и наступлении часа приема министров. Министерский час посвящался делам империи, но что там дела империи, если здесь ларчик открыт, а вокруг — тьма фаворитов и избранников! Никто не хочет уйти с пустыми руками, удалиться без подарка, без пакета, без пожалования, без вознаграждения. Иногда господин наш отвечал на эту алчность добродушным ворчанием, но никогда не гневался, зная, что открытый ларец теснее сплачивает их вокруг него и они еще смиреннее ему служат. Господин наш понимал: сытый будет защищать источник насыщения, а где можно лучше насытиться, как не во дворце? Да и сам монарх не прочь был насытиться, о чем столько орут теперь сокрушители империи. А я скажу тебе, друг, что чем дальше, тем было хуже. Чем больше оседал фундамент монархии, тем с большей алчностью избранники наваливались на ларец. Чем сильнее наглели ниспровергатели, тем усерднее набивали мошну фавориты. Чем ближе финал, тем страшнее рвение и откровенный грабеж. Вместо того, дружище, чтобы взяться за кормило и паруса (ясно было, что корабль идет ко дну), каждый из наших вельмож набивает свой кошель и присматривает себе надежную спасательную шлюпку. И такая во дворце началась лихорадка, так начали осаждать ларец, что если кто и не любил обогащаться, другие вовлекали и подогревали его, так на него наседая, что наконец и он спокойствия и приличия ради спешил чем-нибудь поживиться. Потому что, дружище, все это как-то так обернулось, что порядочнее считалось брать, чем не брать: отказ хапать расценивался как некий физический недостаток, как некое разгильдяйство, некое ничтожное, достойное сожаления бессилие. Опять же тот, кто имел, расхаживал с такой физиономией, словно хотел похвалиться своими мужскими достоинствами и, будучи уверенным в себе, заявить: на колени, слабосильные отродья!

П. Г-Т.:

Министерский час начинался в одиннадцать, завершался в полдень. Созвать министров было несложно: по обыкновению, они с самого утра пребывали во дворце, и послы разных государств сетовали, что не могут навестить министра в его ведомстве и уладить с ним дела, так как секретарь неизменно отвечал, что министр вызван к императору. Это факт, что милостивейший господин любил, чтобы все были на виду, под рукой Министр, оторвавшийся от дворца, был на дурном счету, а его карьера оказывалась непродолжительной. Но и сами министры (боже избавь!) вовсе не пытались жить в отрыве от дворца Кто удостоился такой чести, уже заранее знал склонности монарха и старался к ним приноровиться. Кто жаждал подниматься по дворцовым ступеням, должен был сначала усвоить отрицательный опыт, то есть знать прежде всего, что не положено — ему самому и его подопечным: чего нельзя говорить, писать, делать, упускать из виду или пускать на самотек Только такой отрицательный опыт обогащал положительными познаниями, хотя, возможно, и хлопотными, и недостаточно четкими, ибо императорские фавориты прочно стояли на почве запретов, зато крайне осторожно и даже недоверчиво относились к требованиям и предложениям. Здесь они действовали с оглядкой на достопочтенного господина, ожидая, что он скажет. А так как господин наш предпочитал молчать, выжидать, тянуть, они тоже отмалчивались, ждали, тянули. И жизнь дворца, хотя и оживленная, лихорадочная, тоже, по сути дела, вся складывалась из молчания, выжидания, откладывания в долгий ящик. Каждый министр облюбовывал такие коридоры, где более веро-

ятной была встреча с достопочтенным господином, чтобы отвесить ему поклон. Особое рвение в выборе таких маршрутов проявлял тот из министров, которому успели шепнуть, что на него поступил донос с обвинением в нелояльности. Тот целыми днями торчал во дворце, без устали изыскивая возможность лишний раз повстречать милостивого господина, чтобы своим неотступным пребыванием рядом с монархом и горячей готовностью доказать полную вздорность и злонамеренность доноса. Достопочтенный господин стремился принимать министров поодиночке: тогда такой сановник смелее доносил на своих коллег, и нашему монарху проще было вникать в работу государственного аппарата. Правда, на аудиенции министр предпочитал говорить не о собственном ведомстве, а о непорядках в учреждениях по соседству, но именно благодаря этому наш господин, беседуя со своими сановниками, получал в итоге желанную картину. Впрочем, не имело значения, соответствует ли какой-то сановник занимаемой должности или нет, пока он оставался безукоризненно лояльным. Добрый господин дарил благосклонностью и протекцией министров, не отличавшихся расторопностью и сообразительностью, рассматривая их как элемент, стабилизирующий жизнь империи по следующему принципу: монарх наш, как всем известно, всегда был сторонником реформ и прогресса. Обратись, дорогой друг, к его автобиографии, продиктованной императором в последние годы жизни, и ты удостоверишься, как энергичный господин боролся с варварством и невежеством, царившим в этой стране (хозяин уходит в другую комнату и возвращается с изданным Уллендорфом в Лондоне солидным томом — «Моя жизнь и прогресс в Эфиопии», перелистывает страницы и продолжает). Вот, например, наш господин вспоминает, как в самом начале своей монаршьей карьеры запретил отрубать руки и ноги, что служило привычной мерой наказания даже за мелкие провинности. Затем пишет, что запретил придерживаться обычая, состоявшего в том, что человека, обвиненного в убийстве (а обвиняла в этом чернь, ибо судов не существовало), полагалось публично четвертовать, а экзекуцию выполнял самый близкий родственник, так, например, сын подобным образом убивал отца, мать — сына. Взамен этого господин наш назначает официальных палачей, устанавливая места для казней, и приказывает, чтобы казни производили огнестрельным оружием. Вслед за этим император на собственные средства (что он подчеркивает) закупает две первые типографии, и по его повелению выходит первая в истории государства газета[1]. Потом открывает первый банк. Вслед за этим электрифицирует страну, сначала свет появляется во дворце, позже — в других зданиях. Затем он запрещает заковывать узников в кандалы. С этого момента арестантов охраняют стражники, оплачиваемые из имперской казны. Впоследствии публикует декрет, осуждающий работорговлю. Выносит решение ликвидировать ее к 1950 году. Наконец, путем декрета отменяет метод, именуемый у нас «лебашай». Это касалось выявления преступников. Чародеи поили мальчиков тайным зельем, и те, одурманенные, обалделые, ведомые сверхъестественной силой, входили в чей-нибудь дом и указывали преступника. Тому, на которого они указали, по традиции отрубали руки и ноги. Представь себе, дружище, жизнь в государстве, в котором, будучи совершенно невинным человеком, ты можешь в любую минуту лишиться рук и ног, вот ты идешь по улице, тебя за штанину хватает одуревший ребенок, и толпа тотчас же четвертует тебя, либо ты сидишь дома за трапезой, врывается опьяненный малый, тебя выволакивают во двор и превращают в обрубок; только представив себе эту жизнь, поймешь, какой существенный перелом произвел достопочтенный господин. А он продолжает реформы: отменяет принудительный труд, закупает первые автомашины, создает почтовую службу. Сохраняет публичное наказание розгами, но осуждает метод аферсаты[1]. Если где-то совершалось преступление, силы порядка окружали деревню или местечко и морили жителей голодом до тех пор, пока кто-нибудь не называл виновника. Но возникала взаимная слежка — как бы кто не донес,— ибо каждый боялся, что виновным признают его, и так, выслеживая и удерживая друг друга за полы, всем миром умирали с голоду. Это и был метод аферсаты. Господин наш осуждал подобную практику. Увы, движимый желанием способствовать прогрессу, достопочтенный господин совершил известную неосторожность. Поскольку в нашей стране не было ранее ни публичных школ, ни университета, император стал отправлять молодых людей за границу, чтобы там они обучались наукам. Когда-то господин наш сам управлял этим процессом, отбирая юношей из благородных и лояльных семей, но позже (о, вызывающие мигрень новые времена!) такое началось давление, такой натиск со стороны желающих поехать за границу, что милостивый господин постепенно терял контроль над этой безумной манией, обезьяньей модой, охватившей молодежь. В итоге все большее число этих молокососов отправлялось обучаться то в Европу, то в Америку. И вот — иначе и быть не могло — впоследствии начались осложнения. Поскольку, подобно чародею, господин наш вызволил сверхъестественную и сокрушительную силу, каковой оказался эффект конфронтации. Эти люди возвращались на родину, полные неблагонамеренных мыслей, нетерпимых взглядов, вредных помыслов, без-

[1] Первые (миссионерские) типографии и выходящие на амхарском и французском языках газеты появились в стране в самом начале XX века, еще до прихода к власти Хайле Селассие.

[1] Суть аферсаты хорошо описана в повести Сахле Селассие Бырхане Мариама «Аферсата». См. сб. «Загляни за горизонт. Современная проза Эфиопии». М., 1986.

рассудных и разрушительных для порядка прожектов, и, едва осмотревшись на родине, хватались за голову, восклицая: милостивый боже, возможно ли вообще нечто подобное! Вот тебе, дружище, еще одно свидетельство неблагодарности молодежи. С одной стороны, неустанные заботы нашего господина, чтобы открыть ей доступ к знаниям, с другой — награда в виде возмутительного критиканства, оскорбительных капризов, подрыва авторитета, неприятия. Легко себе представить, какие огорчения доставили нашему монарху эти клеветники. Самое прискорбное, что эти неоперившиеся птенцы, напичканные чуждыми нашим обычаям глупостями, стали порождать в империи какое-то беспокойство, какое-то ненужное движение, какую-то неорганизованность, какую-то жажду противной воле верхов деятельности и здесь подмогой достойному господину служили именно те министры, которые не отличались расторопностью и сообразительностью. Нет, это не была осознанная и преднамеренная помощь, а скорее нечто самодеятельное, непроизвольное, но какой существенной она явилась для сохранения спокойствия в империи. Ведь оказалось достаточным, чтобы такой фаворит почтенного господина обнародовал дурацкий декрет. Декрет в силу своего авторитета начинал действовать, разумеется причиняя вред, порождая неразбериху, крики, уйму осложнений, катастрофу. К счастью, происходящее видят эти желторотые умники и, уже представляя себе всю надвигающуюся опасность, бросаются на помощь, принимаются исправлять, выпрямлять, латать, поворачивать вспять. И вот, вместо того чтобы впустую растрачивать свои силы на произвольное продвижение вперед и реализовать свои неподдающиеся контролю и нарушающие порядок бредни, наши нытики вынуждены засучив рукава браться за улаживание путаницы. Работы при этом всегда уйма! Словом, они улаживают и распутывают, обливаясь потом, треплют нервы, бегают туда-сюда, и в этой беготне, суматохе, кружении фантазии постепенно испаряются из горячих голов. Да, а теперь приглядимся к тому, что происходит ниже. Там, внизу, мелкие имперские служащие тоже сочиняют декреты, а чернь мельтешит, суетится, добавляет, поправляет. В этом и состояла стабилизирующая роль отличаемых достойным господином фаворитов. Эти придворные, вовлекая в улаживание путаницы просвещенных фантазеров и темный люд, сводили все их пагубные порывы к нулю, ибо откуда же взять дополнительные силы на такие бредни, если вся энергия потрачена на исправление неполадок?..

Б. К-С.:

В двенадцать дня я как гардеробщик имперского суда набрасывал на плечи достопочтенного господина черную, достигавшую земли тогу, в которой монарх начинал продолжавшееся до часу дня заседание Верховного, а значит, и окончательного суда, который по-нашему называется «чилот». Господин наш обожал этот час правосудия и, находясь в столице, никогда не манкировал своими судейскими обязанностями, даже в ущерб другим, тоже не менее важным делам. По традиции наших императоров, милостивый господин проводил этот час стоя, выслушивая дела и вынося приговоры. В нашей истории императорский двор был кочевым лагерем, перемещавшимся с места на место, из провинции в провинцию, в зависимости от донесений императорской разведки, которой надлежало установить, в какой округе благоприятные виды на урожай и где отмечен обильный прирост скота. В такие благословенные места прибывала передвижная столица империи, и императорский двор разбивал свои неисчислимые палатки. Позже, когда в этом животворном месте запасы зерна и мяса иссякали, императорский двор, руководствуясь донесениями вездесущей разведки, свертывал палатки и перемещался в другую одаренную урожаем провинцию. Как раз наша столица Аддис-Абеба явилась местом последней такой стоянки двора достославного императора Менелика, который повелел начать здесь закладку города и первого из трех венчающих его дворцов. Еще в кочевой период одна из палаток черного цвета служила тюрьмой, в которой содержали тех, кого подозревали в совершении особо опасных для монархии злодеяний. Тогда-то император, запертый в задрапированной клетке (никому из смертных не полагалось видеть его светлейший лик), вершил час правосудия перед черной палаткой. Наш же господин выступал в качестве верховного судьи в специально для этой цели предназначенном строении, прилегающем к главному дворцу. Стоя на возвышении, добрый господин выслушивал дела так, как представляли их стороны, и выносил приговор. Это совершалось согласно с процедурой, установленной три тысячи лет назад царем Израиля Соломоном, потомком которого по прямой линии (как это обосновано нашей конституцией) является щедрый господин[1]. Приговоры, которые монарх выносил тут же, были окончательными, не подлежащими пересмотру, а в случае смертной казни тотчас приводились в исполнение. Такой приговор ждал заговорщиков, которые безбожно, не боясь предания анафеме, посягали на захват власти...

Грядет, грядет...

Ф. У-Г.:

Да, это был шестидесятый год. Страшный год, дружище! Вредоносный червь

[1] По выкладкам придворных составителей царской генеалогии, Хайле Селассие I был 225-м потомком царя Соломона.

завелся в здоровом и крепком плоде нашей империи, и все приобрело такой пагубный и сокрушительный оборот, что плод этот, вместо того чтобы источать сок, стал кровоточить. Приспустим же до половины флаги на мачте и склоним головы. Приложим руку к сердцу. Ныне нам известно уже, что мы наблюдали начало конца, и последующий финал был абсолютно неотвратим. Я в ту пору был у достопочтенного господина служащим министерства церемониала при ведомстве процессий. На протяжении неполных пяти лет прилежной и ничем не омрачаемой службы на мою долю выпало столько переживаний, что я стал абсолютно седым! Это объясняется тем, что, когда господин наш отправлялся с визитом за границу или покидал Аддис-Абебу, дабы почтить своим присутствием какую-нибудь провинцию, во дворце начиналась самая ожесточенная и беспощадная борьба за право быть причисленным к императорской свите. Борьба эта всегда состояла из двух раундов, то есть в первом наша знать и наши тузы вступали в единоборство за право присутствовать в свите, за право быть включенными в список сопровождающих, а во втором раунде сами победители уже в отборочных соревнованиях мерялись силой друг с другом, добиваясь соответственно высокого и достойного места в кортеже.

Самая вершина его, первые ряды не доставляли нам никаких хлопот: здесь отбор производил сам милостивый господин, и о каждом его решении нам сообщал адъютант императора через кабинет церемониймейстера двора. Вершину эту составляли члены императорской семьи и Совета короны, удостоившиеся этой чести министры и те сановники, которых достопочтенный господин предпочитал держать при себе, если заподозрил ранее, что они в его отсутствие могут организовать в столице заговор. Не возникало у нас трудностей и по части вспомогательного, состоящего из обслуги корпуса этого кортежа: охраны, поваров, подушечного, гардеробщика, хранителя мешка, продавцов сувениров, псаря, ответственного за трон, лакеев, служек. Но между вершиной и завершающим эшелоном оставалось незаполненное пространство, свободное место в списке, и именно этот зазор стремились занять фавориты и придворные. Мы, составители кортежа, жили словно между мельничными жерновами, ожидая одного: какой из них нас раздавит. Ведь нам следовало вносить в список предлагаемые фамилии и передавать их выше. На нас таким образом наседала вся масса фаворитов, досаждая то лаской, то остраткой, то слышались причитания, то клятва об отмщении, этот молил об одолжении, тот совал деньги, один сулил златые горы, второй стращал доносом. Беспрерывно названивали покровители фаворитов, и каждый рекомендовал внести в список своего избранника и нагонял при этом страху и грозил. Покровителям, однако, трудно удивляться, на них тоже давили, крепко на них напирали снизу, ну и им приходилось жать друг на друга, ведь какой был бы удар по престижу, если бы один покровитель пристроил своего любимца, а другой — нет. Да, мельничные жернова приходили в движение, а у нас, составителей кортежа, замороченные головы покрывались сединой. Любой из влиятельных покровителей мог стереть нас в порошок, но виноваты ли мы были, что в свиту невозможно включить всю империю целиком? А когда всех уже как-то удавалось втиснуть и несколько утрясти, причесать список, вновь начиналась ломка и перетасовка, передвижение, перестановка, новые распри и претензии. Ибо те, что оказались ниже по списку, хотели передвинуться повыше, кто был сорок третьим, жаждал стать двадцать шестым, семьдесят восьмой желал занять место тридцать второго, пятьдесят седьмой — стать двадцать девятым, шестьдесят седьмой рвался прямо на тридцать четвертое, а сорок первый — на тридцатое, двадцать шестой претендовал быть двадцать вторым, пятьдесят четвертый копал под сорок шестого, тридцать девятый тайком втискивался перед двадцать шестым, а шестьдесят третий пропихивался вместо сорок девятого, и так без конца все карабкались выше и выше. Во дворце волнение, остолбенение, беготня по коридорам, сборища группировок, утрясается список свиты, и весь двор занят только этим, вплоть до того момента, когда по салонам и ведомствам разносится слух, что достойный господин ознакомился со списком, потребовал внести окончательные поправки, а затем одобрительно кивнул. Теперь уже ничего не изменить, и каждому известно, какое место ему досталось. Конечно, ажиотаж вокруг свиты возрастал, когда господин наш направлялся с визитом в зарубежную поездку, откуда привозились щедрые дары и почетные награды, а тогда, в конце шестидесятого года, император как раз готовился нанести визит в Бразилию. При дворе пронесся слух, что там будет нескончаемая цепь пиров, подношений и подарков, и тут развернулся такой турнир за каждое место в свите, такое яростное и лихое состязание, что никто не заметил, как в самом сердце дворца созрел грозный заговор. Но на самом ли деле никто не обратил внимания, мой друг? Позже выяснилось, что Мэконнын Хабтэ Уольд уже раньше что-то разнюхал. Разнюхал, засек и донес. Удивительная это была личность — покойник Мэконнын. Министр, избранный, имевший право предстать перед монархом столько раз, сколько хотел, подлинный любимец господина нашего и вместе с тем сановник, никогда не помышлявший о том, чтобы набить мошну. Но господин наш, хоть и не любил святош в своем окружении, прощал ему подобную слабость, зная, что этому чудаковатому фавориту некогда набивать карманы — все его помыслы были сосредоточены на одном: как с большей пользой услужить императору. Мэконнын, дружище, был подвижником власти, служителем дворца. Он ходил в старом

платье, ездил в старом «фольксвагене», жил в старом доме. Добрый господин любил простую, поднявшуюся из социальных низов семью Мэконнына, и одного из его братьев по имени Аклилу назначил на должность премьера, а другого — Акалю — сделал министром. Сам Мэконнын тоже был министром промышленности и торговли, но своим ведомством занимался редко и с неохотой. Все время он отдавал расширению собственной сети осведомителей и на это расходовал все личные сбережения. Мэконнын создал государство в государстве, свои люди имелись у него в каждом учреждении, в ведомствах, в армии и в полиции. Над сбором и систематизацией доносов он трудился день и ночь, спал мало, вид у него был испитой, он напоминал собственную тень. Он сгорал в этой деятельности, но сгорал молчаливо, скрытно, без позы и бахвальства, невзрачный, унылый, затаившийся в полумраке, сам частица этого сумрака. Особенно прочно он пытался внедриться в другие, конкурирующие разведывательные сети, ища там вероломство, измену, и (как это теперь подтвердилось) ища справедливо, действуя по принципу нашего господина, который говаривал, что если хорошо принюхаться, то воняет отовсюду. Так-то вот...

Далее он рассказывает мне, что в шкафу Мэконнына, в персональном шкафу этого фанатичного хранителя доносов, внезапно стала пухнуть папка с фамилией Гырмаме Ныуай. Удивительна жизнь этих папок, уверяет он. Есть такие, которые годами покоятся на полке, тощие, выцветшие, как засохшие листья, закрытые, запыленные и забытые, в ожидании дня, когда, ни разу и никем не тронутые, они наконец будут изодраны в клочья и брошены в огонь. Это папки людей, лояльно настроенных, которые вели примерную и преданную монарху жизнь. Откроем раздел: «Поступки» — ничего предосудительного. Раскроем раздел «Суждения» — ни одного листка бумаги. Скажем, есть, однако, листочек, но на нем по поручению достопочтенного господина министр пера начертал: «Фэтэна быыр», что означает: «проба пера». То есть господин наш счел донос упражнением юного сотрудника Мэконнына, который еще не научился, когда и на кого следует доносить. Другими словами, листочек имеется, но он признан недействительным, как перечеркнутый вексель. Случается также, что папка, годами тощая и пожелтевшая, в известный момент оживает, воскресает из мертвых, набирает вес, пухнет. Такая папка начинает дурно пахнуть. Это знакомый запах, какой исходит оттуда, где гнездится нелояльность. У Мэконнына обостренный, тонкий нюх на такой запах. Он устремляется по такому следу, с удвоенной бдительностью ведет слежку. Часто жизнь подобной ожившей, прибавившей в весе папки завершается столь же стремительно, как и жизнь главного ее героя. Они исчезают: он — из жизни, его папка — из шкафа Мэконнына. Я упоминал уже, что Мэконнын заметил, как папка Гырмаме Ныуайа стала вдруг раздуваться. Гырмаме происходил из знатной и преданной семьи, и по окончании школы добрый господин направил его со стипендией в Соединенные Штаты. Там он окончил университет и в возрасте тридцати лет возвратился на родину. Жить ему оставалось еще шесть лет.

А. У.:

Гырмаме! Гырмаме, мистер Ричард, принадлежал к числу тех неблагонадежных, которые, возвращаясь в империю, хватались за голову. Но хватались не в открытую, внешне они проявляли лояльность и говорили то, что во дворце от них жаждали услышать. И достопочтенный господин (ах, как я ныне упрекаю его за это!) позволил убаюкать себя. Когда Гырмаме предстал перед ним, милостивый господин обратил на него благосклонный взгляд и назначил губернатором округа в южной провинции Сидамо. Там тучные земли и обильные урожаи кофе. Узнав об этом назначении, все во дворце стали говорить, что наш самодержец открыл перед молодым человеком путь к самым вершинам власти. Получив императорское благословение, Гырмаме отбыл на место, и поначалу было тихо. Теперь ему оставалось только терпеливо ждать (а терпение — это качество, которое во дворце особенно чтимо), пока милостивый господин не призовет его и не назначит ступенью выше. Да где там! Прошло какое-то время, и из Сидамо стала приезжать знать. Приезжие вертелись возле дворца, осторожно выспрашивая то кузенов, то знакомых, можно ли донести на губернатора. Это деликатное предприятие, мистер Ричард, сделать донос на свое начальство. Нельзя же наугад прямо так и бухнуть, ибо может оказаться, что у губернатора во дворце влиятельный покровитель, а тот разозлится, сочтет представителей знати смутьянами, им же еще и отольется! Итак, они сперва намеками, шепотком, потом все смелее, но еще неофициально, а этак, для поддержания беседы, начали рассказывать, что Гырмаме берет взятки и на них строит школы. Теперь представьте себе озабоченность знати. Конечно же, губернатор получает мзду. Власть порождает деньги — так повелось испокон веков. Но вот возникает что-то ненормальное: взятки губернатор переводит на школы. А пример сверху — приказ для подчиненных, то есть вся знать обязана свои доходы жертвовать на постройку школ. А еще на минуту допустим недостойную мысль и предположим, что в другой провинции появится другой Гырмаме, который начнет раздавать получаемые им дары. И знать тотчас же

взбунтуется против самого принципа раздачи даров, а в итоге — крушение империи. Великолепная перспектива — сначала мелкие суммы, а в результате — крушение монархии. О нет! Все во дворце заявили: о нет! И поразительная штука, мистер Ричард: достопочтенный господин ни слова не сказал! Выслушал, но не проронил ни слова. Он молчал, то есть еще предоставлял тому возможность одуматься. Но Гырмаме уже вышел из повиновения. Вскоре из Сидамо снова прибыли представители знати. Прибыли с доносом, что Гырмаме слишком зарвался: стал раздавать залежные земли неимущим крестьянам — словом, покусился на частную собственность. Повел себя как коммунист. О мой господин, опасное это дело! Сегодня он раздает залежные земли, завтра реквизирует землю у господ, начнет с поместий, а кончит удельными землями самого императора! На этот раз щедрый господин больше не мог отмалчиваться. Гырмаме вызвали в столицу в момент назначений на должность и направили губернатором в Джиджигу, где раздавать земли он уже не мог: там обитают одни кочевники. На торжественной церемонии Гырмаме совершил проступок, который должен был крайне насторожить достопочтенного господина: узнав о своем новом назначении, он не стал целовать монаршью руку. Увы.

Далее мой собеседник утверждает, что именно тогда у Гырмаме созрела идея заговора. Он ненавидит этого человека, но восхищается им: было в Гырмаме что-то привлекавшее других. Фанатичная вера, дар убеждения, смелость, решительность, находчивость. Эти качества выделяли его из заурядной, угодливой и трусливой массы подпевал и льстецов, заполнявших дворец. Первый человек, которого Гырмаме сделал своим единомышленником, был его старший брат, генерал Менгисту Ныуай, командующий императорской гвардией, офицер с неистовым темпераментом, человек поразительной красоты. Затем оба брата склонили на свою сторону начальника императорской полиции, генерала Цыге Диббу, потом шефа охраны дворца, полковника Уоркынэха Гэбэйеху, и других людей из ближайшего окружения императора. В условиях строжайшей конспирации заговорщики создали Революционный совет из двадцати четырех человек. В большинстве своем это были офицеры отборной императорской гвардии и дворцовой разведки. Самым старшим в этой группе был сорокачетырехлетний Менгисту, но руководителем до конца оставался более молодой Гырмаме. Утверждают, будто Мэконнын стал что-то подозревать и донес императору. Тогда Хайле Селассие вызвал полковника Уоркынэха и спросил его, правда ли это, но тот ответил: ничего подобного. Уоркынэх принадлежал к числу личных фаворитов императора, который ввел его в дворцовые покои прямо из социальных низов и безоговорочно доверял ему; не исключено, это был единственный человек, которому он действительно безгранично верил, возможно в силу некоторой психологической выгоды: всех без исключения подозревать тяжко, надо кому-то и доверять, чтобы с кем-то рядом можно было и отдохнуть. Император игнорировал доносы Мэконнына еще и потому, что в заговорщической деятельности подозревал тогда не братьев Ныуай, а сановника Эндалькачоу, которого отличали известный либерализм, недостаточное служебное рвение, состояние уныния и душевная подавленность. Не избавившись от подозрений, император включил Эндалькачоу в состав свиты, чтобы во время визита в Бразилию тот находился на глазах. Рассказчик напоминает: такое изложение последующих событий содержится в показаниях генерала Менгисту, данных им позже перед военным трибуналом. После отъезда императора Менгисту раздал пистолеты офицерам своей гвардии и приказал ждать дальнейших распоряжений. Это произошло во вторник, тринадцатого декабря. Вечером того же дня в императорской резиденции Менен собралась на ужин семья Хайле Селассие и группа высших сановников. Когда они сели за стол, посланец Менгисту прибыл с известием, что император во время путешествия занемог, что он при смерти и всех просят собраться во дворце, чтобы обсудить положение. По прибытии всех сановников на место их взяли под стражу. Одновременно гвардейские офицеры производили аресты других сановников в их собственных резиденциях. Но как бывает в такой нервозной атмосфере, о многих сановных лицах просто забыли. Кое-кто сумел удрать из города или укрыться в знакомых домах. Вдобавок мятежники поздно перекрыли телефонную связь, и люди из императорского окружения стали устанавливать контакты, стали организовываться. Прежде всего в ту же ночь через британское посольство сообщили императору о заговоре. Хайле Селассие прервал визит и двинулся обратно, но не спешил, выжидая, когда мятеж будет подавлен. Назавтра, в полдень, старший сын императора и наследник престола Асфа Уосэн от имени мятежников огласил по радио обращение. Асфа Уосэн был слабым, безвольным человеком, лишенным каких-либо убеждений. Отец и сын относились друг к другу с взаимной неприязнью, ходили слухи, будто император сомневался, действительно ли это его сын. Позже сорокашестилетний сын оправдывался перед суровым отцом, говоря, что бунтовщики приказали ему читать обращение, приставив пистолет к виску.

Асфа Уосэн объявил, что создано народное правительство, которое он возглавил. Однако радиопередачи мало кто в ту пору мог слушать, и слова обращения не вызвали никакого отзвука... В городе сохранялось спокойствие. Шла бойкая торговля, на улицах продолжалось нормальное движение и толчея. Большая часть населения ни о чем не слышала, остальные не знали, что и думать о происшедшем. Для них это была чисто дворцовая проблема, а дворец всегда оставался неприступным, недосягаемым, непостижимым, непонятным, находившимся как бы на другой планете. Еще в тот же самый день Хайле Селассие прибыл в Монровию и по радио связался со своим зятем, генералом Аббийем Аббэбэ, губернатором Эритреи. Зять тем временем уже вел переговоры с группой генералов, готовивших в окружающих столицу опорных пунктах наступление против мятежников. Эту группу возглавляли генералы Мэрыд Мэнгэша, Асэффа Айенэ и Кэббэдэ Гэбрэ — все они были родственниками императора. Мой собеседник поясняет, что переворот совершила гвардия и что у гвардии с армией существовали резкие противоречия. Гвардия была просвещенной, хорошо оплачивалась, армия — темной и нищей. Теперь генералы сыграли на этих противоречиях, натравив армию на гвардию. Генералы говорят солдатам: гвардейцы рвутся к власти, чтобы помыкать вами. Их слова циничны, но убеждают армию. Солдаты заявляют: мы готовы умереть за императора! Энтузиазм в частях, которые вскоре отправляются на гибель. Наступает четверг — третий день мятежа. Полки под командованием лояльных генералов занимают предместья столицы. В лагере мятежников растерянность. Менгисту не организует оборону, стремясь избежать кровопролития. В столице еще спокойно, нормальное уличное движение. Над городом кружит самолет, сбрасывая листовки. Это текст анафемы, какой предал мятежников патриарх Базилиос, глава церкви, друг императора. Император из Монровии (Либерия) уже успел совершить перелет в Форт Лама (Республика Чад). Зять извещает его, что он может прибыть в Асмэру.

В полдень Менгисту приезжает в университет на встречу со студентами. Он показывает им кусок черствого хлеба. «Этим хлебом, — говорит он, — мы сегодня накормим сановников, чтобы они знали, что ест народ. Нам нужна ваша помощь», — добавляет он. В городе завязывается перестрелка. Начинается борьба за Аддис-Абебу. На улицах гибнут сотни людей. Пятница, шестнадцатое декабря — последний день мятежа. С самого раннего утра идут бои между армейскими частями и гвардией. После полудня начинается штурм дворца, в котором обороняется Революционный совет. В наступление переходит танковый батальон под командованием зятя императора, капитана Дэрэджи Хайле Мариама. «Сдавайтесь, собаки!» — кричит капитан из танковой башни и падает, прошитый очередью из станкового пулемета. Внутри дворца рвутся артиллерийские снаряды. Коридор и покои наполняются грохотом, дымом и огнем. Дальнейшая оборона невозможна. Заговорщики врываются в Зеленый салон, в котором со вторника содержатся в заключении сановники императорской свиты. Открывают по ним огонь. Гибнут восемнадцать приближенных монарха. Теперь предводители заговора и разрозненные отряды гвардейцев покидают территорию дворца и отступают из города в сторону покрытых эвкалиптовым лесом холмов Энтото. Близится вечер. Самолет с императором на борту приземляется в Асмэре.

А. У.:

О, в тот самый день, мистер Ричард, наш лояльный и смиренный народ явил вдохновляющий пример преданности достопочтенному господину. Ибо когда те, наголову разбитые, изменники покинули дворец, бросившись к ближайшему лесу, воодушевленные нашим патриархом простолюдины шли за ними по пятам. Какие там танки и орудия, дружище: у кого что было под рукой, тот с этим и бросался в погоню! Палки, камни, копья и стилеты — все пошло в ход. Бродяги, которых милостивый господин так щедро одаривал, с ожесточением и яростью принялись крушить дурные головы тем клеветникам и мятежникам, что хотели отнять у них божество, обречь их на жалкое прозябание. Ведь не будь нашего господина, кто подавал бы им милостыню и ободрял словами утешения? Устремившись по кровавым следам беглецов, город увлек за собой деревню, и можно было видеть, как крестьяне окрестных сел, схватив что подвернулось, будь то дубина или нож, проклиная заговорщиков, тоже ринулись в погоню, желая отомстить за оскорбление, нанесенное милостивому монарху. Банды гвардейцев, окруженные преследователями в лесах, оборонялись, пока имели боеприпасы, позже некоторые сдались, остальные погибли от рук солдат и черни. Три, а возможно, и пять тысяч мятежников угодили в тюрьмы, столько же погибло на радость гиенам и шакалам, которые даже издалека сбегались в пригородные леса на тризну. И долго еще по ночам леса эти оглашались воем и хохотом. Но те, что надругались над честью достопочтенного господина, те, дружище, угодили прямо в ад. Генерал Цыге Диббу, например, погиб еще при штурме дворца, а его тело чернь вздернула на перекладине возле ворот Первой диви-

зии. Позже выяснилось, что полковник Уоркынэх, покинув дворец, добрался до предместья, где его окружили, пытаясь взять живым. Но он, господин Ричард, не сдался. Отстреливался до последнего патрона и, уложив еще несколько солдат, наконец, сунул дуло пистолета в рот и застрелился. Его тело повесили на дереве подле кафедрального собора святого Гийоргиса.

Господин наш прилетел из Асмэры в Аддис-Абебу в субботу вечером, когда в городе еще слышалась стрельба, а на площадях казнили изменников. На лице монарха мы увидели следы озабоченности, усталости и печали — он переживал нанесенное ему оскорбление. Он ехал в своей машине в центре колонны танков и бронетранспортеров. Весь город высыпал засвидетельствовать ему свое смирение и верность. Весь город пал на колени, отбивая поклоны о мостовую, я тоже, будучи коленопреклоненным в этой толпе, слышал стоны и грозные выкрики, вздохи и призывы. Никто не осмелился взглянуть в лицо милостивого господина, а у ворот дворца рас Каса, хоть он ни в чем и не провинился, ибо сражался и руки у него были чисты, поцеловал императорскую обувь. В ту же ночь наш всемогущий приказал пристрелить своих любимых львов, которые вместо того, чтобы охранять доступ во дворец, пропустили туда изменников. А теперь ты спрашиваешь о Гырмаме? Этот злой дух вместе со своим братом и неким капитаном Байе из императорской гвардии покинули город и еще с неделю скрывались. Они могли продвигаться только по ночам: за их поимку сразу же назначили награду в пять тысяч долларов, поэтому все их разыскивали — ведь это целое состояние! Мятежники пытались прорваться на юг, вероятно намереваясь уйти в Кению. Но через неделю, когда они отсиживались, укрывшись в кустарнике (уже несколько дней не имея ни крошки во рту, теряя сознание от жажды, ибо боялись появиться в какой-либо деревушке, чтобы приобрести продукты и воду), их окружили крестьяне, участвовавшие в облаве. И тогда, как признался Менгисту, Гырмаме решил разом покончить со всеми. Гырмаме, по свидетельству Менгисту, понял, что он на шаг обогнал историю и пошел быстрее других, а тот, кто с оружием в руках забегает вперед, пытаясь обогнать историю, заведомо обречен. И вероятно, призывал их застрелиться. Итак, Гырмаме, когда крестьяне уже приближались к ним, чтобы их схватить, выстрелил сначала в Байе, потом в брата, а затем в самого себя. Преследователи решили, что не получат вознаграждения: оно было обещано за поимку живых мятежников, а здесь, дружище, перед ними три покойника. Но убитыми оказались лишь Гырмаме и Байе. Менгисту с залитым кровью лицом был еще жив. Их спешно доставили в Аддис-Абебу, и Менгисту попал в больницу. Обо всем происшедшем доложили господину нашему, который, выслушав доклад, заявил, что хочет видеть тело Гырмаме. По императорскому повелению труп доставили во дворец и бросили на лестницу перед главным входом. Тогда милостивый господин вышел из дворца, остановился и долго взирал на распростертый труп. Он смотрел молча, и стоявшие рядом не слышали ни единого слова. Потом император вздрогнул и попятился, приказав привратнику закрыть парадные двери. Оставался еще Менгисту. По выходе из больницы он предстал перед военным трибуналом. На процессе он держался с достоинством и, вопреки придворным обычаям, не проявлял ни смирения, ни желания вымолить у почтенного господина прощение. Он заявил, что не страшится смерти, ибо с момента, когда решил бороться с произволом и произвести переворот, понимал, что может погибнуть. Заявил, что они мечтали осуществить революцию, и добавил, что, хотя он ее еще не дождался, готов пролить свою кровь, на которой взрастет зеленое древо справедливости. Его повесили тридцатого марта[1], на рассвете, посреди рыночной площади. Одновременно с ним повесили еще шестерых гвардейских офицеров.

Рассказывают, что в первые дни после возвращения императора во дворце царило необычайное оживление. Уборщики драили полы, соскребая с паркета пятна въевшейся туда крови, слуги срывали изодранные и обгоревшие портьеры, грузовики вывозили груды разбитой мебели и ящики со стреляными гильзами, стекольщики заново вставляли стекла и зеркала, каменщики штукатурили выщербленные пулями стены. Запах гари и порохового дыма постепенно выветрился. Долго продолжались торжественные похороны тех, что погибли, оставаясь верными монарху, в то же самое время тела мятежников предавали земле по ночам, в безвестных, потаенных местах. Самым значительным оказалось количество случайных жертв: во время уличных боев погибли сотни наблюдавших за событиями детей, идущих на рынок женщин, спешивших на работу или праздно гревшихся на солнце мужчин. Теперь стрельба прекратилась, военные контролировали улицы города, который с опозданием, после всего свершившегося, пребывал в состоянии ужаса и шока.

Г. О-Е.:

Взглянуть в глаза императору всегда считалось верхом дерзости и противоречило правилам хорошего тона, а теперь, после всего случившегося, на такое не отважился бы самый смелый придворный. Все испытывали чувства стыда и смятения перед праведным гневом нашего господина. Все тряслись от страха,

[1] 1961 года.

опасаясь посмотреть друг другу в глаза, никто толком не знал, каково его положение, то есть кого достопочтенный господин ныне признает, а кого отвергнет, в чью преданность поверит, а чью не примет, кого выслушает, кого вообще не удостоит аудиенции, поэтому каждый, не доверяя никому, предпочитал вообще никого не видеть, и во всем дворце наступило время, когда никто ни на кого не смотрел и никого не узнавал, каждый глядел в пол, блуждал взглядом по потолку, созерцал кончики башмаков, глядел в окно. Надо всем дворцом разносился, как гром из грозовой тучи, вопрос, на который ответа не было: кто виновник, кто был участником заговора? Как я и говорил, под подозрением находились мы все, хотя всемилостивейший господин прямо, без обиняков не произнес ни слова, но укор читался в его взоре, в том, как он поглядывал на подданных — каждый поеживался, прижимался к земле, с ужасом думая: меня обвиняют! Атмосфера сделалась тяжкой, плотной, давление низким, сковывающим, парализующим, словно крылья опали и внутри что-то лопнуло. Наш прозорливый господин понимал: после такого потрясения часть людей начнет деградировать, озлобляться, впадать в уныние, умолкнет, перестанет усердствовать, начнет колебаться и недоумевать, высказывать сомнение и брюзжать, терять силы, маразмировать, и поэтому он устроил во дворце чистку. Это не была поспешная и повальная чистка (достопочтенный господин — решительный противник всякой ненужной и шумной спешки), а скорее дозированная, продуманная замена, которая держала в постоянном страхе засидевшихся придворных, вместе с тем открывая во дворец путь новым людям. То были люди, жаждавшие хорошо жить, сделать карьеру. Они прибывали во дворец со всех концов страны при посредстве доверенных наместников императора. Незнакомые столичной аристократии и презираемые ею за низкое происхождение, неотесанность, примитивность мышления, они испытывали страх и неприязнь к здешним салонам. Они быстро сколотили собственную группировку, близкую к особе достопочтенного господина. Милостивое доверие достойного монарха давало им ощущение полновластья, пьянящее и вместе с тем опасное для каждого, кто намеревался нарушить сумеречную атмосферу аристократического салона или слишком долго и настырно раздражать собравшееся там общество. Существенной и ценной чертой новых людей была и их полная непричастность ко всему случившемуся, они никогда не участвовали в заговорах, за ними не тянулся вылинявший хвост, им не приходилось стыдливо скрывать всю подноготную, они ведь даже не знали о заговорах, да и откуда им было знать, если достойный господин запретил писать историю Эфиопии? Совсем молодые, воспитанные в далекой провинции, они не могли знать, что сам господин наш пришел к власти путем заговора, когда в тысяча девятьсот шестнадцатом году при поддержке посольств западных государств произвел государственный переворот, устранив законного наследника престола лиджа Иясу[1], что перед лицом итальянского вторжения он публично поклялся пролить кровь за Эфиопию, после чего, когда это стало фактом, отбыл на пароходе в Англию, переждав войну в тихом местечке Бат. И такой позже у него выработался комплекс по отношению к партизанским вожакам, которые, оставшись на родине, продолжали борьбу с итальянскими захватчиками, что, вернувшись на трон, он начал постепенно устранять или отодвигать их, вместе с тем покровительствуя коллаборационистам. В частности, именно поэтому он казнил видного партизанского руководителя битуоддэда Нэгаша[2], который в пятидесятые годы выступил против императора, намереваясь провозгласить республику. Множество различных событий вспоминается мне, однако во дворце запрещалось говорить о них, и, как я сказал, новые люди не могли о них знать, да и не очень этим интересовались. А раз у них не было старых связей, единственное, что гарантировало их существование,— это верность престолу. Единственной их опорой служил сам император. Тем самым достопочтенный господин вызвал к жизни силу, которая в последние годы его царствования поддерживала подрубленный Гырмаме императорский трон.

З. С-К.:

...И так как чистка изо дня в день продолжалась, то когда приближался час назначений, а значит и час снятия с должности, мы, старые служащие дворца, начинали дрожать за свои места. Каждый опасался за свою судьбу, готовый сделать все, только бы не лишиться занимаемого места. В то время, когда шел процесс Менгисту, среди служащих царил страх: вдруг генерал начнет доказывать, что все состояли в заговоре, а участие — даже отдаленное, даже скрытое или всего лишь молчаливое одобрение — грозило виселицей. Поэтому, когда Менгисту, никого не назвав, умолк до дня страшного суда, из уст служащих вырвался глубочайший вздох облегчения. Но вместо призрака виселицы замаячил другой — страх перед чисткой, перед крахом личных перспектив. На сей раз милостивый господин уже не швырял в подвал, но самым заурядным образом отправлял из дворца домой, а подобная отставка по сути обрекала на небытие. Поэтому во дворце царила такая паника — ужас перед бездной, и каждый

---

[1] Лидж (букв.: «дитя», «инфант») — титул членов императорского рода. После смерти в 1913 году Менелика II на престол взошел его внук лидж Иясу, через три года свергнутый влиятельной фракцией феодалов, выдвинувших Зауди и Тэфэри Мэконнына (см. сноску на с. 197). Лидж Иясу умер в 1935 году.

[2] Битуоддэд — один из высоких феодальных титулов, по значению уступает только титулу раса.

старался уцепиться за нашего господина, еще не зная, что и сам дворец (правда, сохраняя достоинство и постепенно) сползает на край пропасти.

П. М.:

...С того самого дня, когда умер Гырмаме, а его брата вздернули на центральной площади столицы, у людей установилась некая ущербная система отношений. Они как бы потеряли власть над вещами, которые продолжали существовать, не существуя, жить своей собственной, обособленной, не подвластной человеку жизнью. И это чувство бессилия, сознание необратимой утраты шансов, погружало их в состояние еще большей подавленности, пришибленности, уныния, настороженности. Даже беседы увяли, потеряли свою живость и легкость. Они начинались, но как бы не оканчивались...

Потом он говорит, что, хотя император и делал вид, будто декабрьского мятежа не было, и никогда не возвращался к этой теме, неудавшийся переворот братьев Ныуай привел к самым губительным последствиям для дворца. Постепенно менялась атмосфера и в самой столице. В тайных полицейских доносах стали появляться первые упоминания о волнениях. К счастью, как он говорит, это не были еще серьезные волнения деструктивного порядка, а поначалу скорее толчки, едва ощутимые колебания, двусмысленные шепотки, слухи, смешки, некая преувеличенная в людях вялость, инертность, расслабленность, расхлябанность, какая-то сквозившая во всем этом уклончивость и неприятие. Он признает, что эти доносы не позволяли прибегать к конкретным мерам по наведению порядка: сигналы были слишком неопределенными и даже утешительно-невинного свойства, отмечали только, что нечто такое носится в воздухе, но ясно не говорилось, что и где именно — а без такого уточнения куда направлять танки, по какой цели вести огонь? Чаще всего в доносах указывалось, что такой ропот и шепотки исходили из стен университета, нового и единственного в этой стране высшего учебного заведения[1], в котором, впрочем, неизвестно почему, появлялись скептически и неблагосклонно настроенные субъекты, готовые распространять возмутительную и вздорную клевету, лишь бы только вызвать у императора тревогу. Он говорит далее, что монарх, который, несмотря на свой преклонный возраст, сохранял изумлявшую окружающих прозорливость, лучше своих приближенных понимал: наступают новые времена, когда надобно напрячь силы, поспешать за событиями. И не только идти в ногу со временем, но и опережать его. Да, настаивает он, даже опережать! Он признает (об этом уже можно говорить), что часть придворных не одобряла подобных стремлений, недовольно ворчала в частных беседах, что вместо увлечения всякого рода сомнительными новациями и реформами лучше решительно пресечь тягу молодежи к иностранщине и покончить с безрассудными рассуждениями о том, что облик страны должен быть другим и что перемены необходимы. Император, однако, не слушал ни ворчания аристократов, ни ропота за университетскими стенами, считая, что любые крайности вредны, противны натуре, и расширил поле своей деятельности, проявив интерес к новым областям, что отразилось хотя бы во введении послеполуденных часов правления, от четырех до семи: час отводился проблемам развития, второй — международным вопросам, а третий — делам армии и полиции. С той же целью император создал соответствующие министерства и ведомства, представительства, филиалы, агентства и комиссии, куда назначил массу новых людей, благовоспитанных, преданных и лояльных. Дворец заполнился очередным поколением энергично делающих карьеру фаворитов. Это произошло, вспоминает П. М., в начале шестидесятых годов.

[1] Это высшее учебное заведение основано в 1950 году, получило статус университета в 1961 году.

(Окончание следует)

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету *

1. Решение каких общечеловеческих проблем представляется Вам самым неотложным?
2. Какова связь между этими проблемами и Вашим творчеством?
3. Над чем Вы сейчас работаете, каковы Ваши творческие планы?

С такими вопросами журналы «Иностранная литература» и «Советская литература» (на иностранных языках) обратились к деятелям культуры зарубежных стран.

В этом номере:

ПАБЛО УНЭУС — чилийский писатель и журналист, директор издательства «Нуэва хенерасьон» («Новое поколение»).

БХИШАМ САХНИ — индийский романист и драматург, лауреат международной литературной премии «Лотос» и премии Литературной академии Индии, Генеральный секретарь Ассоциации писателей стран Азии и Африки.

ГЕРМАН КАНТ — Председатель Союза писателей ГДР, прозаик и публицист, действительный член Академии искусств ГДР, лауреат Национальной премии, премий имени Г. Гейне, Г. Манна и других.

ЙОЗЕФ РЕДИНГ — западногерманский новеллист, лауреат премии за книги для юношества.

ЛУИШ ФРАНСИШКУ РЕБЕЛУ — драматург, общественный деятель, президент Общества португальских авторов.

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС — французский романист, член Гонкуровской академии.

Наш долг — спасти Девятую

1. Что, если никогда больше не прозвучит Девятая симфония? Сочиняя ее, старый Людвиг уже лишился слуха и был очень болен. Когда она впервые исполнялась, он не слышал аплодисментов, не заметил даже, что музыка смолкла. Его тронули за плечо — лишь тогда он понял, что исполнение завершилось. И все-таки он написал Девятую — написал для грядущих поколений, для юношей и девушек из стольких стран и стольких эпох! И их сердца бьются в лад Гимну радости.

Если же мы, ныне живущие, допустим гибель рода человеческого, никогда больше — нигде во Вселенной! — не прозвучит Девятая, великий творческий подвиг Бетховена во имя нашей культуры окажется на-

* Продолжение. Начало см. в № 5.

прасным. Наш долг — спасти Девятую... Ведь крысам да паукам, которые, возможно, уцелеют после ядерной катастрофы, симфонии ни к чему...

2. Об угрозе ядерной катастрофы я написал документальную книгу «Немыслимое». На сбор материалов для нее у меня ушло больше года: я изучал доклады экспертов, специалистов, брал интервью у физиков... Хочется верить, что книга (только что вышло ее четвертое издание) многим помогла осознать, что в опасности оказалась сама жизнь на Земле. Признаюсь, однако: мне не удалось полностью высказать в ней все, что я хотел. Логический вывод, к которому подводит книга, таков: бороться против милитаризма до последнего, даже если тебя ожидает распятие (лично я не надеюсь воскреснуть на третий день).

3. Работаю над повестью о первой любви, она называется «Любовь в открытом море». Это история двух студентов, юноши и девушки, затерявшихся в океане на парусном суденышке. Я пишу в ней о нежности, о величии и красоте человека, ибо вслед за Достоевским верю, что «красота спасет мир».

ПАБЛО УНЗУС (Чили)

Февраль 1987 г.

Люди земли — одна семья!

Я от всего сердца приветствую инициативу моего друга, Чингиза Айтматова, который собрал вместе выдающихся мыслителей, писателей, художников, чьи идеи и творчество воздействуют на миллионы людей во всем мире, пригласил их для свободного обмена мыслями.

Замкнутость и разобщенность между государствами, правительствами, народами становятся огромным препятствием на пути решения глобальных проблем и должны быть устранены. В еще большей степени это относится к творческой интеллигенции: лучшая ее часть принадлежит всему миру, у нее нет своекорыстных интересов, ибо истинно творческой личностью должно руководить стремление к благоденствию человечества, глубокий гуманизм. И потому столь велико воздействие деятелей литературы и искусства на умы целых поколений. Искренний разговор, свободный обмен мнениями, между ними не только способствует взаимопониманию — он подготавливает почву для выработки общего мировоззрения, общности взглядов на универсальные проблемы, стоящие перед человечеством, что, в свою очередь, благотворно скажется и на осуществлении общих целей. Их дар глубокого проникновения в суть вещей позволяет лучше понять современную реальность, пробуждает чувство общей озабоченности и ответственности перед обществом. Важно, чтобы они не просто встретились, необходимо, чтобы их мысли, идеи, достигнутое взаимопонимание получили как можно более широкое распространение.

Что же касается ваших вопросов, безусловно, острейшей проблемой современности стало накопление ядерных вооружений, нависших грозной тенью над человечеством и порождающих мрачную атмосферу неуверенности в будущем. Такая обстановка поощряет циничное равнодушие, быстро разъедающее нравственные ценности, создававшиеся и оберегаемые человечеством на протяжении веков. Индийская пословица гласит: голубь, прячась от страха, закрывает глаза. Казалось бы, ядерная угроза не затрагивает повседневную жизнь простого человека. На фоне житейских проблем она кажется ему чем-то абстрактным и далеким. Временами он содрогается от трагедий, подобных Хиросиме, Бхопалу или Чернобылю, но потом снова возвращается к рутине, и проблема отступает на задний план. А ведь от этого она не перестает существовать — она становится все более зловещей. Писатели, мыслители, художники, вся творческая интеллигенция, чья первейшая забота — судьба человека, должны стремиться к тому, чтобы донести свою тревогу до людей, пробудить их сознание и совместными усилиями заставить власть имущих отказаться от безумной затеи ввергнуть мир в ядерную катастрофу. Речь идет о выживании человечества, и, значит, эта проблема касается всех.

Но помимо этой проблемы есть и другие, которые, хотя и не представляют опасности для всего человечества, не менее важны для судеб мира и так или иначе связаны с центральной проблемой — накоплением ядерных вооружений. Одна из них — голод и нищета. Миллиарды, растрачиваемые впустую, могли бы обеспечить нормальное существование миллионам людей.

Другая проблема, достигшая всемирного масштаба,— нарушение экологического равновесия, чреватое многими опасностями загрязнения земной атмосферы.

Складывается образ мыслей, при котором прежние ценности теряют значение. Заурядные конфликты моментально приводят к циничной жестокости. У меня на родине газеты пестрят сообщениями о хладнокровных убийствах невинных людей,

ставших жертвами террористов, о кровавых общинных столкновениях в Шри-Ланке, о страшной ирано-иракской войне. На фоне происходящего любые рассуждения об общечеловеческих ценностях кажутся анахронизмом. Создается впечатление, что мир достиг такого этапа, когда нравственность перестает быть сдерживающим фактором в поведении групп людей и целых общин. Мы ежедневно становимся свидетелями того, как нарушаются привычные нормы поведения, будь то в отношениях между отдельными группами или на международном уровне. Как иначе можно объяснить жестокость бомбардировки Ливана, события в Гренаде или наглое вмешательство США во внутренние дела Никарагуа? Мы живем в мире, отбросившем общечеловеческие ценности. Практически во всех областях деятельности возникает своеобразный гангстеризм. Жизнь в моей стране изобилует трудностями: многие проблемы остались в наследие от колониального прошлого, однако не меньше проблем породила заполонившая страну и пошатнувшая нашу традиционную систему духовных ценностей потребительская культура.

Но я верю, что писатель, художник — «неисправимый» оптимист. Он не может потерять веру ни в человечество, ни в общечеловеческие идеалы. Эта вера — его неотъемлемая часть. Он может низвергнуть устаревшие и создать новые или увидеть проблески грядущих идеалов, но жить без них он не может.

Сегодня нам нужны ценности, которые бы развеяли мрак. Мрак, сгущаемый не только существованием ядерных арсеналов и ужасающей возможностью технического сбоя или обычной оплошности, но и тем, что порой кажется, будто никакое сопротивление не в состоянии остановить волну ядерного безумия. На смену одному чудовищному оружию приходит другое, несмотря на мощную волну протеста ученых, религиозных деятелей, интеллигенции против все возрастающей ядерной угрозы, прокатившуюся по Европе и другим континентам. Чем сильнее угроза, тем циничней пренебрежение реакционных сил.

Но, как учит «Бхагавадгита», памятник древнеиндийской философской мысли, «только на действие имеешь ты право, но не на плоды его. Да не будут плоды действия побудительными мотивами его. И да не будет никакого оправдания бездействию». Именно действия сторонников мира не дают силам реакции развязать новую мировую войну. Теперь с общественным мнением вынуждены считаться; кроме того, активизировалась деятельность на межправительственных уровнях. Благодаря международным и региональным форумам, развитию двусторонних отношений между государствами — пусть пока их практические результаты малоощутимы и декларации, повторяемые как некое заклинание, порой выражают лишь благие намерения — ядерную проблему уже нельзя игнорировать. Растет число людей во всем мире, убежденных в безотлагательности ее решения и необходимости активных действий для ослабления международной напряженности. Проблема выходит за рамки и так называемых национальных интересов и становится проблемой выживания человечества.

Отвечая на второй вопрос, должен сказать, что писать рассказы или романы непосредственно на эту тему нелегко. Писатель черпает материал из собственного опыта и окружающей действительности, одного только понимания и сочувствия, личной убежденности недостаточно, чтобы браться за глобальные проблемы и решать их с подлинной убедительностью. Есть виды словесного искусства, как, например, поэзия и публицистика, которые лучше отвечают этой задаче, и автор через них непременно должен отстаивать свою позицию. Возможно, поэтому на тему войны и мира написано больше стихов, чем рассказов или романов. Творческий вклад прозаика в решение этой проблемы может быть ограниченным, но он должен активно и успешно выступать в печати в защиту мира.

Понимание сути проблемы уже положительно влияет на мировоззрение писателя. Оно расширяет его горизонты, заставляет почувствовать, что люди всего мира составляют единую семью, помогает подняться над мелкими расчетами, узконациональными интересами, над древними предрассудками, связанными с принадлежностью к касте, с цветом кожи или вероисповеданием, укрепляет любовь к жизни и человеку. И хотя мир сегодня насыщен конфликтами, вызванными региональной разобщенностью, религиозным фанатизмом и т. п., творческая интеллигенция, как правило, не позволяет вовлечь себя в них. Убежденные в бесплодности таких конфликтов, писатели продолжают играть роль объединяющей силы. О проблеме апартеида пишут не только писатели ЮАР. Она глубоко тревожит литераторов с отзывчивым сердцем во всех странах. Когда-то в далеком прошлом индийский мудрец воскликнул: «Люди всей земли — одна семья!» Только сегодня мы начинаем осознавать правоту его слов.

В этой связи необходимо отдать должное неустанным усилиям советского народа и правительства в борьбе за мир и ядерное разоружение, которая ведется ими со времени окончания второй мировой войны. Это благородный и вдохновляющий пример. Этим курсом следуют и многие другие страны и народы. Я счастлив тем, что и моя страна проводит последовательную политику мира и дружбы. Что же касается пробуждения сознания человечества, советский народ и правительство вместе с писателями, творческой интеллигенцией всегда были в первых рядах всеобщей борьбы за мир, и все миролюбивое человечество благодарно им.

И наконец, о творческих планах. Вот уже два года как я работаю над романом. Говорят, что работу можно считать законченной только тогда, когда она выйдет в свет. А до тех пор — одни поиски, разочарования, переделанные куски, взлеты и падения. В романе речь идет о жизни маленького городка с его проблемами, переменами, которые он переживает: мои герои проходят путь от моральной прострации до возрождения внутренних резервов нравственной силы. Кроме того, я приступил к работе над пьесой, затрагивающей одну из проблем жизни современного индийского общества. Но об этом пока рано говорить, пьеса находится в стадии замысла.

Благодарю за приглашение участвовать в обмене мнениями.

БХИШАМ САХНИ (Индия)

Февраль 1987 г.

«Я рассчитываю на наш эгоизм...»

Дорогие друзья!

Хоть и хотелось бы мне поразмыслить сначала относительно самого слова «общечеловеческий», я с удовольствием — правда, вкратце — отвечу на предложенные вопросы. И все же начну с некоторых сомнений относительно вышеупомянутого слова.

Чем старше я становлюсь, тем более проблематичным кажется мне понятие «общечеловеческое». Я, разумеется, знаю, что имеется в виду, когда говорят об этом. только не знаю, правильно ли так говорить и думать.

Конечно же, всем людям свойственно если не бояться, то по крайней мере «недолюбливать» утраты, голод, боль, тем более смерть. Но из-за потерянного рубина плачут иначе, чем из-за потерянной рукавицы. Бывает голод — и голод, и разница между ними большая, чем разница между накрытым столом и отсутствием какого бы то ни было стола. Деньги не спасают от боли? О, много денег спасают от многих болей. Смерть уравнивает всех лишь тогда, когда она уже наступила, а до этого она умеет делать весьма тонкие различия.

Может быть, уважаемые товарищи редакторы, мы когда-нибудь спокойно побеседуем на эту тему, а теперь спешу перейти к вашим вопросам.

Первое. Полагаю, что мир был бы иным, если бы его обитатели имели о нем более верное представление и знали, что они во многом сами несут за него ответственность.

Мир, в котором к собственной тяжести каждого человека добавляется такой же вес взрывчатых веществ (в пересчете на обычные их виды), вряд ли может считаться нормальным. И он не останется прежним, если все узнают и поймут, что его можно изменить.

По моему глубокому убеждению, дело можно поправить, если о нем достаточно хорошо известно и если достаточно хорошо известно, кто за это отвечает Нет, я не рассчитываю (в этом отношении) на наше благородство, я рассчитываю на наш эгоизм. Я рассчитываю на то, что человек хочет жить. И я стараюсь, чтобы он узнал, что тут кое-что можно, предпринять.

Тем самым я подошел к вашему второму вопросу. Правда, мне кажется, что я на него уже ответил, но, если нужно яснее, я хотел бы своей работой содействовать тому, чтобы наше самосознание стало чуть человечнее, чуть активнее. Я пытаюсь бороться с той косностью, которая может привести к всеобщей насильственной смерти.

К третьему вопросу. Работаю над вещью, которая, надеюсь, будет веселой. Еще несколько таких вещей планирую и на будущее.

С сердечным приветом,

ГЕРМАН КАНТ

(Германская Демократическая Республика)

Январь, 1987 г.

Крепить мир

1. Мы должны крепить мир во всем мире и создать для народов «третьего мира» условия жизни, достойные человека.

2. Через все мое литературное творчество красной нитью проходит тема мира. По-

следнюю книгу я назвал «Сторонники мира — посланцы мира», в ней пятьдесят восемь портретов тех, кто посвятил свою жизнь делу мира. Среди них — Лев Толстой, Карл фон Осецкий, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Генрих Бёль, Десмон Туту...

3. В настоящее время работаю над книгой, исследующей проблему престарелых людей в обществе.

ЙОЗЕФ РЕДИНГ (ФРГ)
Февраль 1987 г.

Творчество само по себе — акт мира

1. Самая насущная проблема, стоящая перед человеком в наши дни, это, безусловно, проблема мира, ибо от ее решения зависит и возможность дать ответ на все остальные вопросы.

В преддверии XXI века над человечеством как дамоклов меч нависла угроза ядерной войны, и вопрос «быть или не быть?», поставленный Шекспиром почти четыре столетия назад, звучит ныне как «быть или б о л е е не быть?». Из вопроса метафизического он превратился в вопрос о физическом выживании человечества.

В этой связи проведение в Москве форума, на который съехались из всех стран мира писатели, деятели искусств, ученые, теологи, политологи, люди различных воззрений, религиозных верований, объединенные стремлением сообща наметить пути к мирному будущему и братству, а также речь Михаила Горбачева на заключительном заседании форума, которую следует рассматривать в контексте процесса перестройки, происходящей в советском обществе, явились событиями огромного исторического значения. Этот форум и эта речь широко распахивают перед всем человечеством двери в XXI век.

2. Связь между ними столь тесна, что, как мне кажется, их невозможно отделить друг от друга. Творческий акт сам по себе — уже акт мира, и творчество может развиваться лишь при условии, что призрак ядерной войны навсегда канет в небытие. Поскольку ядерное оружие является оружием массового уничтожения, мы должны противопоставить кошмару такого мира, где оно грозит вытеснить человека, мечту о мире, свободном от оружия. Мечта эта может стать явью, ибо мы знаем теперь, что осуществление мечты зависит от воли людей. А человечество х о ч е т жить.

3. Я задумал написать драматическое произведение, в котором только что высказанная мысль воплотилась бы в судьбах и переживаниях моих соотечественников во времена, когда нетерпимость грозила уничтожить малейшие ростки развивающейся жизни.

ЛУИШ ФРАНСИШКУ РЕБЕЛУ (Португалия)
Февраль 1987 г.

Зову приход великой зари

По-моему, среди проблем общечеловеческого значения наиболее животрепещущими, ввиду их универсальности, на сегодняшний день остаются опасность ядерной войны и социальная несправедливость. Конечно, существуют и другие проблемы — например, наркотики и те губительные последствия, к которым приводит их употребление, или же нарастающее загрязнение среды ядовитыми веществами, что ставит под удар экологическое равновесие планеты.

И все же увеличение арсеналов ядерного оружия и чудовищная разрушительная мощь, которую оно таит в себе, вызывают тревогу, тем более оправданную, что все усилия (например, инициатива СССР в Рейкъявике), направленные на то, чтобы ограничить или сократить запасы этого оружия, а в перспективе и вообще поставить его под запрет, наталкиваются на весьма опасное и вызывающее тревогу сопротивление.

Если же говорить о социальной несправедливости, то в условиях небывалого научно-технического подъема, присущего нашей индустриальной эпохе, она превратилась в подлинный бич для многих стран, особенно стран «третьего мира», экономикой, сельскохозяйственными и сырьевыми ресурсами которых распоряжаются могущественные транснациональные корпорации. Это исключает всякую возможность проведения политики филантропического характера.

Не могу обойти молчанием и тот урон, который наносит загрязнение окружающей среды ядовитыми веществами: жертвой такого загрязнения стало, например, северное побережье Средиземноморья. Вспомним также о реках, о Рейне или Сене, где не осталось никаких признаков жизни, о загубленных лесах, об отравленных грунтовых водах: например, в 1980 году в голландском городе Леккерке в питьевой воде были обнаружены канцерогенные веще-

ства, потому что многие баррели нефтепродуктов складировались под землей. То же случилось на Лав-канале, неподалеку от Ниагары. Здесь к аналогичным последствиям привело небрежное захоронение отходов производства Гуверовской электрохимической корпорации! А разразившийся в Японии скандал, когда сброс ртутных отходов в море привел сперва к отравлению рыбы, а затем и к гибели многих рыбаков!

Отвечая на ваш второй вопрос, напомню, что осуждению ядерной войны посвящена моя книга «Человек апреля», а также очерк, написанный мной в Хиросиме через двенадцать лет после бедствия, которое постигло этот город в августе 1945 года. Я имел возможность побывать в больницах, где от лейкемии умирали жертвы атомной войны и где другие ее жертвы испытывали чудовищные мучения от непонятных болезней! А дети, родившиеся после того злосчастного утра! Дети, с самого рождения прикованные к больничной койке.

Однако особенно резко против войны направлен мой роман «Это зовется рассветом». События, изображенные в нем, разворачиваются во времена войны в Корее, и главные его персонажи являются ветеранами второй мировой войны.

Но в равной мере этот роман, по которому Луис Бюнюэль снял фильм, посвящен конфликту между сельскохозяйственными рабочими и крупным земельным собственником. Я хорошо представляю себе суть проблемы, когда речь заходит о социальной несправедливости, ведь родом я из рабочей семьи (мой отец — каменщик, мать — прачка). Это само по себе объясняет то постоянство, с которым я возвращаюсь к описаниям социальной несправедливости, причинившей столько страданий моим близким. Кроме того, я родился в колонии, в Алжире, и хорошо знаю, какое унижение колониальный режим несет порабощенным людям. Борьба этих людей за свое освобождение стала темой таких моих книг, как «Монсеррат» и «Якили», а также романа «Высоты города», герой которого — алжирец.

Охотно отвечу и на ваш последний вопрос: сейчас я работаю над романом, на написание которого меня вдохновили события в Южной Америке — этом хорошо знакомом мне континенте. Правда, действие романа разворачивается в Париже, однако в центре его — мир политических изгнанников, ставших жертвами военных диктатур, которые тесно связаны с такими могущественными и вездесущими трестами, как «Анаконда Коппер» или «Юнайтед фрут». Надеюсь, из сказанного ясно, с какой силой я всем своим естеством зову приход великой зари, которая в конце концов, верю, взойдет над Обновленным миром.

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС (Франция)
Февраль 1987 г.

◆

Критика

По страницам книг французских писателей

Ю. УВАРОВ

КАК ОСТАНОВИТЬ АДСКИЙ ПОЕЗД

На XIV Московском международном кинофестивале в в 1985 году специальный приз жюри за яркое художественное воплощение темы борьбы с расизмом был вручен французскому кинорежиссеру и актеру Роже Анену — создателю фильма «Адский поезд», который с успехом прошел и на советских экранах. Невозможно забыть жуткую сцену из этого фильма, когда трое молодчиков, затеяв ссору с алжирцем, мирно сидящим в купе пассажирского поезда, зверски избивают его и выбрасывают в окно на глазах у его попутчицы. Это убийство в фильме Анена — не случайная, немотивированная вспышка ярости, но проявление «обыкновенного расизма», который становится во Франции все более характерной приметой времени.

Кажется, что «адский поезд» сошел с экрана на рельсы парижского пригорода, когда читаешь, например в «Юманите», о том, как в вагоне электрички трое хулиганов избили и ограбили семнадцатилетнюю темнокожую девушку, уроженку Антильских островов, и стеклом изрезали ей лицо как бы желая «соскрести с него черный цвет» Подобных сообщений о жестоких расистских выходках, увы, множество. Конечно, Франция не США, тем более не ЮАР Нет там ни ку-клукс-клана, ни апартеида. Но случаев проявления расизма становится все больше, заметно усиливается межнациональная вражда, что вызывает тревогу широких демократических кругов.

Причины резкой вспышки расистских и ксенофобских настроений в последние годы следует искать, видимо, в том, что крайне обострилась проблема присутствия в стране огромного количества трудящихся-иммигрантов, в то время как глубокий и затяжной кризис, поразивший экономику, вызвал безработицу и резко ухудшил материальное положение большой части коренного населения страны.

Приток иностранной дополнительной рабочей силы поощрялся в 60-е годы и еще в начале 70-х, то есть в период экономического подъема. Приезжие приняли активное участие в создании высокоразвитой индустрии Франции и, казалось бы, вправе чувствовать себя, наряду с французами, творцами ее экономических достижений, тем более что трудящиеся-иммигранты составляют сейчас значительный слой населения страны. Уже в 1983 году их численность достигала 4 458 068 человек (по данным «Информационного бюллетеня МВД Франции» от 28.VII.83), то есть около 8% населения (не считая тех, кто давно принял гражданство и юридически не является иностранцем). Большинство — выходцы из Северной Африки (Марокко, Алжир, Тунис) — более 1,5 миллиона. Второе место занимают португальцы (свыше 800 тысяч). Немало иностранных рабочих — уроженцы Черной Африки, Азии... И все эти лица с разным оттенком кожи и характерным строением бросаются в глаза на улицах, в метро, в ав-

УВАРОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1928 г.)

Советский литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук Автор книг «Французская литература сегодня» (1960), «Современный испанский роман» (1968), «Современный французский роман (60—80-е годы)» (1985) и многих статей по французской литературе.

тобусах... Они преобладают в среде обитателей бетонных домов-коробок, так называемых «ашелемов» (жилье за умеренную плату), которые унылыми, пыльными кварталами, без клочка зелени окружают крупные города Франции.

Столь заметное присутствие иностранных рабочих и их семей, когда в стране насчитывается более 2,5 миллиона безработных, дает удобный повод «списать на их счет» многие беды сегодняшнего французского общества: нехватку рабочих мест, беспорядки на улицах, угрозу безопасности граждан терроризм, перегруженность школ и транспорта... Широко распространяется мнение о том, что виноваты во всех трудностях не предприниматели, не банкиры, не спекулянты и не пороки самой системы, а «понаехавшие отовсюду чужаки-инородцы». Убрать их из Франции — и все будет в порядке.

Во время бурных избирательных кампаний 1984 — 1986 годов правые политические деятели, стремясь отобрать голоса у левых партий, стоявших у власти, требовали самых решительных мер по отношению к иностранным рабочим, что в значительной степени добавило «угля» в топку «адского поезда». В обстановке намеренно провоцируемой ненависти к иностранцам вышла на политическую авансцену крайне правая партия — Национальный фронт, получившая более 10% голосов, что обеспечило ей 34 места в парламенте. Ее лидер Жан-Мари Ле Пен выдвинул лозунг: «Прежде всего французы!» Пришедшие к власти либерально-консервативные правые партии, хотя и пытаются сдерживать компрометирующие их экстремистские порывы Ле Пена, все же не прочь использовать его националистическую пропаганду, чтобы направить в удобное и безопасное для них русло нарастающее недовольство масс.

Однако нельзя забывать, что Франция — родина Декларации прав человека и гражданина: в ней сильны демократические, гуманистические традиции. Их не так-то просто вытравить. С резким разоблачением расистской идеологии выступают Французская коммунистическая партия, прогрессивные профсоюзы (в первую очередь Всеобщая конфедерация труда), которые отстаивают человеческое достоинство трудящихся-иммигрантов, их право на интеграцию и социальное равенство с коренным населением. В последние годы защита трудящихся-иностранцев от посягательств со стороны реакционных сил перерастает социально-экономические и даже узкополитические рамки, выливается в массовое широкое движение, направленное против угрозы демократическим свободам и правам человека. Вылазки расистов воспринимаются как сигнал об опасности возрождения фашистской идеологии. В рядах этого движения немало писателей.

Настоящая литература по самой своей «человековедческой» и «человекозащитной» природе несовместима с расизмом. Трудно найти во Франции писателя, который открыто объявил бы себя его сторонником. Даже те, кто проповедует ненависть к другим народам, особенно к жителям Африки и Азии, стараются подчеркнуть, что делают это во имя спасения европейской цивилизации, которой якобы угрожают полчища темнокожих и желтокожих. Чаще всего в таком духе пишут авторы шпионских романов самого дешевого пошиба. Наиболее яростный из них — Жерар де Вилье — создатель серии «САС» о приключениях международного шпиона Малько — борца против «низших рас» на разных континентах. Но в последнее время появляются произведения, где «злодеи» из «третьего мира» действуют уже непосредственно во Франции. Так, в 1985 году восторженно был встречен правой печатью телефильм, поставленный по роману молодой журналистки Катрин Бребя «Полиция» (1985): честный и искренний полицейский комиссар Бельвиля Луи Манжэн — красавец с безупречной арийской внешностью — становится жертвой могущественной, беспощадной и хитроумной мафии, состоящей из отвратительных тунисцев — уголовников, держащих в своей власти весь квартал.

И все же книг, направленных на сознательное разжигание межнациональной вражды, фактически единицы. Подавляющее большинство писателей высказывают резко отрицательное отношение к расизму в его любых проявлениях. Конечно, нельзя утверждать, что эта тема впервые проникла в литературу Франции только в середине 80-х годов. К ней неоднократно обращались и прежде. Скажем, в книгах Раймона Жана «Маршрут 12» (1972) [1], алжирского писателя, живущего во Франции, Рашида Буджедры «Идеальное место для убийства» (1975)[2] показаны трагические судьбы иммигрантов из Северной Африки. О расовой дискриминации в быту и на производстве писали Андре Стиль, Робер Мерль, Ги Крусси, Ортанс Дюфур и другие. Большинство книг, затрагивающих эту тему, переводилось на русский язык.

В 1984—1986 годах в раскрытии темы наметились некоторые новые тенденции. Прежде всего бросается в глаза значительное увеличение количества художественных произведений, так или иначе обличающих расизм. Антирасистские мотивы можно теперь обнаружить на всех «этажах» литературы: от «массовых» книг до серьезных, сложных произведений. Но главная особенность антирасистской литературы середины 80-х годов состоит в том, что тема рассматривается в контексте социальных, политических, идеологических проблем современности, а не изолированно.

Такое расширительное изображение «повседневного расизма» особенно заметно в самом гибком с точки зрения удовлетворения читательских потребностей жанре — детективном романе. Жертвой, а иногда и расследователем преступления теперь нередко оказывается положительно обрисованный иммигрант, чаще всего из Северной Африки, как, например, в книге известного автора полицейских романов Жана-Франсуа Коатмера «Красная ночь» (1985). В поисках убийц своего брата-студента марокканский политический эмигрант Карим обнаруживает, что тот был убит разъяренными расистами города Бреста в Бретани за любовную связь с чистокровной француженкой.

[1] Русск. перев. «Знамя», 1976, № 1.
[2] Русск. перев. «Иностранная литература», 1984, № 10.

кой, к тому же дочерью известного генерала и аристократа. С помощью местного торговца Огюста Давила — француза, когда-то жившего в Алжире, человека злобного, ненавидящего арабов и бывшего женихом девушки,— папаша-генерал жестоко расправляется с молодым марокканцем. Это, казалось бы, чисто бытовое преступление должно стать уроком «зарвавшимся цветным». Убийцы действуют в духе требований местных националистических организаций, призывающих изгнать «этих дикарей и метеков». Генералу видится в мечтах, что он «возглавляет операцию по очищению доброго старого города Бреста. Уж он-то знал, как взяться за дело: он участвовал в алжирской битве. И если родина прикажет, он снова выкрикнет: «Здесь! К бою готов!» Подобные настроения господствуют в городе. Кариму в его стремлении найти и покарать преступников почти не на кого опереться. Против него даже органы охраны порядка, всегда готовые прийти на помощь «почтенным гражданам Бреста» в их борьбе с «черномазыми». Герой романа одерживает победу, однако это происходит скорее в силу законов жанра, а не по логике реальных событий.

Но не всегда зло наказано даже и в детективных произведениях. У Мориса Перисе, поэта, романиста, критика, киноведа, в его девятом детективном романе «Хладнокровные убийцы» (1985) молодой преподаватель и радиожурналист Матье Серрай, ставший свидетелем избиения араба в поезде (не случайно в книге упоминается фильм «Адский поезд»), пытается разоблачить преступников, но постепенно понимает: то, что он видел,— не простое хулиганство. Это звено в цепи акций, направленных на запугивание арабов, живущих на Лазурном берегу, где происходит действие, на то, чтобы заставить их покинуть этот прелестный уголок потому что крупная строительная фирма хочет открыть там роскошный курорт для богачей. Антиарабские выступления имеют в данном случае не только националистическую, так сказать, чисто идеологическую подоплеку, но и продиктованы жаждой прибыли,— а это расизм особо крепкой закваски. он создает такой социальный климат, в котором, как сказано в романе, «араб всегда виноват, даже если позволил себя убить». И эту стену герой романа не может пробить, несмотря на все усилия. С риском для жизни ему удается лишь убедиться в ее незыблемости. Кончается роман тем, что владелец фирмы приглашает строптивого, но, по-видимому, покорившегося журналиста к себе в замок на прием в честь начала того самого строительства, ради которого изгоняют арабов.

Известный прогрессивный журналист и романист, политический обозреватель «Юманите» Рене Балле в небольшой повести «Городок, лишенный памяти» (1984) объединяет жанры политического памфлета и детективного повествования. Писатель переносит действие вроде бы в вымышленную страну, но, судя по некоторым приметам, городок, куда приехал из Европы герой повести некий Марио, расположен где-то в северной части США. Он разыскивает своего друга Рокко, который прибыл сюда раньше в поисках работы, устроился на лесопильный завод, а потом исчез неизвестно каким образом. Марио не может найти никаких следов: все будто забыли даже о самом факте существования Рокко, не только о причине его гибели. Марио с трудом находит девушку по имени Жалла — ее любил Рокко. Она-то и объясняет расследователю, почему погиб его друг: Рокко убили за то, что он дружил с неграми, поддерживал их, был человеком принципиальным, честным, непохожим на других. Перед Марио постепенно раскрывается страшная картина жизни городка. Злобные, ограниченные обыватели ненавидят и презирают негров. Они обвиняют их в смерти Арта Весселя, одного из особо гнусных погромщиков, сутенера и уголовника, убитого на самом деле в пьяной драке. Весселя представляют как своего рода национального героя — защитника белой расы, борца с «черной нечистью», ему даже ставят памятник. (Нетрудно заметить здесь аналогию с Хорстом Весселем.) Хуже всего то, что в атмосфере постоянной злобы и расовых преследований нравственно сломлено немало честных, порядочных людей. Молодой Рокко пытался отстаивать справедливость, за что и поплатился. Марио решает спасти из этой клоаки хотя бы юную Жаллу. Но, подъехав за ней в условленное место, находит лишь труп девушки: город не выпускает своих жертв.

Некоторая неопределенность в обрисовке места действия и подчеркнутая публицистичность книги, персонажи, которые представляют своего рода социальные маски,— все это отражает, вероятно, стремление автора придать повествованию обобщающие, типовые черты. Р. Балле создает как бы модель расизма, обнажая его фашистские корни. То, что происходит в этом городке, может произойти в любом городке, в любом обществе, утратившем память о страшном опыте фашизма, который уж пережило человечество.

Стремление полнее и глубже выявить антигуманную природу современной капиталистической действительности отличает и книгу Жана-Дени Бредэна «Виноватый» (1985). Много месяцев она была в числе бестселлеров. Ее автор — знаменитый адвокат, профессор университета, политический деятель, в прошлом один из лидеров левых радикалов. В 1984 году огромным успехом пользовалась его документальная книга «Дело» (о деле Дрейфуса). В повести «Виноватый» Бредэн рассказывает о трагической судьбе 18-летнего студента Али-Франсуа Кайу — сына алжирки и француза, обвиненного в том, что он якобы ранил полицейского во время демонстрации. Несмотря на протесты юноши и умелую речь адвоката, его осуждают на 18 месяцев заключения. Али-Франсуа Кайу не может вынести позора незаслуженного наказания и кончает в камере жизнь самоубийством.

По всей вероятности, речь идет об одной из юридических ошибок, каких немало повидал на своем веку адвокат Бредэн. Но он сумел придать частному случаю глубокий смысл. В повести раскрывается бездушие буржуазного правосудия, не интересующегося личностью подозреваемого,— полиции нужно как можно скорее получить подходящего кандидата в виновные, а следовате-

ли и судьи спешат закончить дело. Но автор внимательно изучает жизнь и характер этого «без вины виноватого». Он оказывается человеком незаурядным: целеустремленный, умный, трудолюбивый, скромный, порядочный, вместе с тем глубоко несчастный, ибо с детства был лишен родительской любви и позже не мог ни с кем найти настоящего человеческого контакта. В его судьбе отразился распад межличностных связей, характерный для современного французского общества. Однако трагедия героя повести в значительной степени усугубилась тем, что он, полноправный француз по документам, к несчастью, слишком похож внешне на мать-арабку. Полицейские, разъяренные сопротивлением студентов-демонстрантов, поддались расистскому рефлексу и не задумываясь обвинили в преступлении именно его. Оказавшись в камере среди уголовников, Али все время повторяет: «Я не виновен». «Это с твоей-то рожей?!» — бросает ему один из сокамерников. Ж.-Д. Бредэн обнажает страшную истину: лица нефранцузской национальности не могут рассчитывать, говоря юридическим языком, на презумпцию невиновности. Поэтому Али-Франсуа Кайу, каким бы хорошим человеком он ни был, обречен стать жертвой, двойной жертвой — правосудия и «обыкновенного расизма».

То, как расистские предрассудки, входя в быт, разрушают самые интимные человеческие отношения, показывает известная французская романистка Катрин Пейзан в романе «Свиданье в Страсбурге» (1984). Его героиня, уже немолодая бретонка, католичка Сара Лейла, встречает в Страсбурге человека, которого горячо любила в юности. Он родом из Марокко, мусульманин, зовут его Али Бен Тагеб. Они вспоминают, как было разрушено их счастье, как их жестоко травили в Бретани местные жители в недолгие месяцы их любви. Они не смогли победить предрассудки окружающих, в том числе ее родственников, и расстались. Он вернулся на родину. 30 лет они прожили врозь и были несчастны. И теперь он — обремененный многочисленной семьей марокканский торговец, она — вдова владельца книжного магазина, живет с сыном. Встретившись снова, они тщетно пытаются возродить былое: преодолеть разделяющие их вековые расовые барьеры им не под силу.

Художественная литература исследует проблему расовой дискриминации в плоскости человеческих отношений. Она показывает преследуемых расистами «цветных», как бы взывая к читателю: это ведь живые нормальные люди, они испытывают боль, страдают, радуются, любят и ненавидят.

В 80-е годы появились писатели, вышедшие непосредственно из иммигрантской среды. Они родились и выросли во Франции и как никто могут сами поведать правду о своей жизни. Например, в 1983 году Мехди Шариф — 30-летний рабочий-самоучка алжирского происхождения — выпустил книгу «Чай в гареме Архи Ахмеда» (так в восприятии юных арабских школьников трансформировались сходные во французском языке по звучанию, непонятные для них слова: «Теорема Архимеда»), где бесхитростно и вдохновенно рассказал жестокую правду о несчастной судьбе молодежи — детей иммигрантов, живущих в страшной бедности в унылых серых кварталах окраинных «ашелемов».

В 1986 году ученый-экономист из Лионского университета — Азуз Бегат — один из немногих среди детей иностранных рабочих, кому удалось «выбиться в люди»,— опубликовал книгу беллетризованных воспоминаний, озаглавленную «Паренек из Шаабы», где ярко и убедительно показал, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы интегрироваться во французское общество, не утратив духовной связи с родными, чью жизнь в «бидонвиллях» 60-х годов он описывает с любовью и печалью. Книги иммигрантов второго поколения, принявших гражданство Франции, становятся фактом французской литературы и органично вписываются в ее идейно-художественные искания.

Роман «Золотая капля» (1985) одного из самых крупных современных французских романистов Мишеля Турнье стал событием в литературной жизни страны. Тщательное изучение положения иммигрантов помогло автору влить в роман жизненную достоверность и убедительность в описании всего того, что переживают его герои. Алжирский юноша, почти подросток, по имени Идрисс, родившийся и выросший в одном из оазисов Сахары, и другие приехавшие во Францию в поисках работы иностранцы из бедных стран не смогли органично влиться во французское общество, хотя вложили немало труда в создание сегодняшней Франции. «Мы, «черномазые», ее сотворили! — восклицает один из героев романа.— Три тысячи километров автострад, небоскреб-башня на Монпарнасе, Национальный центр промышленности и техники, метро в Марселе, аэропорт в Руасси и многое другое... все это мы, все это мы!» И назад, на родину, многие из них не могут вернуться, ибо их семьи, родственники зависят от денежных переводов из Франции, без которых их ждет нищета и голод. «Если здесь ад, то там смерть!» — горестно восклицает один из персонажей. Со свойственным ему глубинным подходом к тому, о чем пишет, Мишель Турнье не ограничивается простым, «линейным» изображением конкретных эпизодов из жизни иностранных рабочих во Франции, он придает повествованию объемность, по-особому «подсвечивает» его.

Столкновение алжирского юноши с французской действительностью вырастает до размеров противопоставления двух миров: мира естественной человечности миру бездушной функциональности, в котором подлинное отступает перед искусственным, реальность — перед фальшью и обманом.

Писатель использует такой прием: заставляет героя постоянно наталкиваться на холодный стеклянный глаз объектива фото-, теле- или кинокамеры, а также на стекла витрин: в мире, куда попал Идрисс, живое человеческое начало подменяется мертвым изображением, подлинная жизнь — видимостью. Поэтому и открывается роман почти аллегорическим противопоставлением: яркая блондинка в роскошной, сияющей на солнце машине, словно сошедшая с рекламной картинки, встречает в пустыне юного пастуха, фотографирует его и приглашает

приехать за своим изображением в Париж. Мир капиталистической цивилизации в облике этой дамы врывается в жизнь Сахары, которая, впрочем, тоже вовсе не идеализируется автором. Труд обитателей пустыни представлен без прикрас: здесь нужны сила и мужество, не просто чтобы жить — чтобы выжить. И все же каким бы тяжелым ни было существование людей в оазисах — это живая жизнь в отличие от обесчеловеченной цивилизации, в которой оказывается Идрисс.

В первом же городе, еще в Африке, он сталкивается с искусственностью и фальшью в фотоателье и в музее, где муляжи и аляповато расписанные пейзажи выдают туристам за подлинную Сахару. Позже, в Париже, где работает мусорщиком, он попадает в поле зрения кинорежиссера по имени Альфонс Маж, который привлекает его как живую натуру для съемок рекламного телефильма, то есть создает «обман для глаз». Единственным живым существом, близким Идриссу, оказывается на студии старый верблюд. Глубокий символический смысл приобретает сцена, когда Идрисс гонит его по Парижу (нарушая приказ отвести животное на бойню, он ведет его в зоопарк). Бедуин с «кораблем пустыни» — в центре бездушной и механической цивилизации, в еще более страшной пустыне.

Кульминационным в романе становится эпизод, когда Идрисса используют в качестве «болванки» для изготовления манекенов. Процесс омертвения человеческой сущности здесь предельно материализован. Человек, имеющий плоть и душу, становится сырьем для создания стандартизованного типового существа, более необходимого обезличенному обществу, чем живой человек. Это ли не модель дегуманизации в ее обобщенном виде!

Роман изобилует такого рода емкими аллегорическими образами. Давшая название книге «золотая капля» — это золотая круглая брошь, обычный предмет украшения и эстетического наслаждения у жителей Сахары. Во Франции она превращается в зловещий кусок металла, несущий людям погибель. Эту брошь потеряла танцовщица из оазиса. Идрисс подобрал ее и взял с собой как своеобразный талисман. Она была для него вещественной памятью о свободе, чистоте, красоте родины. Но брошь отнимает у него проститутка в марсельском порту в первый же день приезда, и одновременно с потерей «золотой капли» Идрисс перестает быть вольным человеком. Теперь он — обычный рабочий-иммигрант, каких миллионы. «Золотая капля» для Идрисса и людей его социального статуса ныне всего лишь название одного из кварталов Парижа, где ютятся иностранные рабочие и бедняки-французы.

Но на последних страницах романа талисман появляется снова. Идрисс с другими рабочими строит подземный переход на Вандомской площади и вдруг видит на витрине ювелирного магазина свою «золотую каплю». В полуосознанном порыве вернуть свой талисман он делает отбойным молотком отверстие в стене дома — образуется трещина, грозящая повредить здание. Это жест отчаянья, рывок к свободе, к той естественной жизни, которую воплощает «золотая капля». Но уже ревут полицейские машины, и вооруженные охранники выскакивают из них... На этом роман кончается.

Рисуя Идрисса и его соотечественников оскорбленными, униженными, Турнье защищает не только Личность, Человека, но и воплощенную в этих людях национальную историю, культуру, достоинство, систему нравственных ценностей. Писатель как бы говорит: эта культура и порожденные ею представления ничем не хуже, не ниже, а в чем-то, быть может, и значительнее современной «цивилизации напоказ». Характерен такой эпизод: Идрисс учится искусству арабской каллиграфии у старого мудрого мастера, толкующего каллиграфические образы как символические знаки, которые выше предметного изображения: старинная «знаковая» культура арабов более точна, выразительна и правдива, чем фальшивая наглядность, взятая на вооружение сегодняшним «обществом потребления».

Судьба трудящихся-иммигрантов анализируется в книге Турнье с точек зрения социальной, общечеловеческой, культурологической, исторической. Здесь ощутима тенденция к обобщению, к синтезу, характерная для сегодняшнего этапа развития французской реалистической прозы.

Разоблачение расизма, вскрытие его социально-политических и идеологических корней, правдивое изображение людей из иммигрантской среды, выявление человеческих и культурно-нравственных ценностей, которые в ней имеются,— все это делает художественную литературу участницей борьбы против страшной опасности, которую представляют собой любые проявления расизма.

О. ТИМАШЕВА

ХРОНИКИ НЕСОСТОЯВШИХСЯ СУДЕБ

О романах Патрика Модиано

В сложной палитре имен современных французских писателей (Эрве Базен, Клод Симон, Андре Стиль, Натали Саррот, Эммануэль Роблес, Пьер Буль, Жан Кейроль, Буало-Нарсежак, Ален Боске) не последнее место занимает имя Патрика Модиано, пользующегося успехом как у издателей, так и у читателей[1]. Книги сорокадвухлетнего автора по тиражам соперничают с произведениями очень читаемого французского «деревенщика» старшего поколения Бернара Клавеля. За период с 1968 года Модиано опубликовал десять романов и один сценарий. В 1978 году ему была присуждена премия Гонкуров. Модиано также лауреат Большой премии Французской академии, премии Роже Нимье, премии книжных магазинов.

Французские журналисты, не оставляющие без пристального внимания ни одного серьезного автора, спросили однажды Патрика Модиано: «Как вы относитесь к своей славе?» — «Я ее не замечаю».— «И все же?» — «Я боюсь иерархии и всяких градаций. Вспомните, Мопассан по этим соображениям отказался вступить во Французскую академию». О приеме Модиано в члены высокого литературного сообщества речи пока нет, но старшие собратья по перу дают высокую оценку его творчеству: Эрве Базен назвал его «летописцем французской печали», Андре Стиль сказал, что он верно сумел почувствовать «время убийц» (годы оккупации). Пьер Гамарра подчеркнул, что Патрик Модиано, касаясь сложных проблем прошлого, проявляет необычайную для человека его поколения прозорливость. Чтобы удостовериться в правильности этих лестных характеристик, обратимся непосредственно к произведениям писателя.

Патрик Модиано вошел в литературу, опубликовав роман «Площадь Звезды» (1968). Герой книги, Рафаил Шлемилович, путано, сбиваясь с мировой истории на собственную, рассказывает о жизни, заставившей его немало скитаться по свету, часто скрываясь от властей с чужим паспортом в кармане. Ему было плохо в оккупированной немцами Франции, ему было тошно в Австрии, и его совсем раздавили как личность в Израиле. Постоянный страх за свою судьбу заставляет Шлемиловича носить маску мученика и порою от обиды совершенно терять самообладание, заносясь в оскорблениях дальше своих преследователей...

Первая книга писателя свидетельствует о его ранней зрелости. На примере судьбы гонимого родиной, холодными политическими ветрами, фашизмом человека, жертвы брутальности властей и националистического угара, он пытается раскрыть читателю проблемы расовой вражды и насильственного отчуждения людей разных национальностей. Начав роман относительно стройно, логично, автор к концу его все явственней дает понять, что монолог рассказчика — это бред тяжело больного, обессилевшего от мук героя. То он ухмыляющийся, вознесшийся до небес победитель, то ползающий в грязи червь. Чаще других Шлемилович — свидетель убийств, самоубийств, гонений, изнасилований, преследований, от которых иногда спасают большие деньги, но чаще не спасает ничто. В воспаленном воображении Шлемиловича проходят евреи-антисемиты, доносчики в гестапо и кавалеры Золотой звезды Давида; не подающие еврею руки бароны и выдающие себя за евреев французские аристократы; приносящие себя в жертву евреям гранд-дамы и убитые сионистами невинные молодые еврейки. Кульминация бреда — любовный треугольник: Рафаил Шлемилович, Адольф Гитлер и Ева Браун (Ева предпочитает Рафаила Адольфу). Целая галерея персонажей реальных и вымышленных предстает перед изумленно взирающим на эту карусель читателем.

Роману предпослан эпиграф — действительно случившаяся в оккупированном Париже история, рассказываемая как анекдот: «В июне 1942 года на Елисейских полях один немецкий офицер подошел к молодому человеку и спросил: «Простите, будьте любезны, где находится площадь[1] Звезды?» Молодой человек показал на левую сторону груди». Эпиграф хорошо передает тональность всей книги, в которой одновременно присутствуют и страх героя за себя, и желание выжить, и любовь к Франции вне «позы» и широковещательных деклараций.

Патрик Модиано принадлежит к тому поколению молодежи, которое в 1968 году подняло бунт против господствующей идеологии «общества потребления». Он не обвиняет «вещи», как Жорж Перек, и не обличает заокеанские спруты-монополии, как Рене-Виктор Пий и Жан-Мари Гюстав Ле Клезио, он не доискивается причин неудовольствия своих сверстников, как Жан Рикарду. В чем-то вдохновляясь примером «мандарина бесчестия» Луи Фердинана Селина, а где-то отталкиваясь от него, Патрик Модиано анализирует трудное для адекватного постижения разорванное сознание несчастного человека. Для него, как для многих его современников из числа писателей, весьма важен сам способ анализа темы, или

[1] В 1987 году роман Патрика Модиано «Улица Темных Лавок» опубликован в Библиотеке журнала «Иностранная литература». *(Здесь и далее прим. автора.)*

[1] По-французски слова «площадь» и «место» звучат одинаково.

ТИМАШЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги «Стендаль (К 200-летию со дня рождения)» (1983) и ряда работ по французской и современной бельгийской (франкоязычной) литературе.

стиль. Стиль приоритетен, именно он порождает достоверность звучания, одушевляет слова, делает книгу живой.

К началу восьмидесятых годов Патриком Модиано заинтересовалась не только литературная пресса. Университетские учебники и солидные критические издания занесли его в категорию авторов, переболевших формальными увлечениями антироманистов и пришедших к собственной манере письма, которой критика еще не нашла определения. В «Истории литературы» (1981) Жак Бреннер справедливо называет Модиано «новым рассказчиком», отмечая как весьма существенное социальное звучание его книг.

Сегодня нет более непопулярного понятия, чем «война», причем не только среди борцов за мир и пацифистов. Отвращение к войне декларируют даже бывшие коллаборационисты, соглашатели и боевые генералы. В последнее время на страницы книг французских прозаиков все чаще возвращаются мотивы второй мировой войны. Паскаль Ленэ, Жан-Пьер Аметта, Фредерик Тристан, Жан-Мари Руар и даже Франсуаза Саган обращаются — каждый по-своему — к событиям недавней истории, избирая при этом необычный для их воплощения ракурс. Мы мало нового узнаем о реальных сражениях и битвах сороковых годов, о страданиях узников в тюрьмах или концлагерях. Писатели, не сговариваясь, устремляют взоры в сторону реальных виновников страданий миллионов людей, к тем, кто не способствовал победе, задерживал ее приход или стоял в стороне от боли людской.

В романе «Бульварное кольцо» (1972) Модиано рассказывает о махинациях коллаборационистов, об откровенно беспринципных и беззастенчивых людях, без тени мысли о родине, справедливости, человечности и человечестве делавших деньги и прожигавших жизнь. В дни, когда люди теряли близких, оставляли свои жилища, они покупали загородные дома и виллы, устраивали празднества и оргии, не испытывая недостатка ни в чем. Время, которое для многих французов прошло под знаком Сопротивления, активного или пассивного неприятия захватчика, вторгшегося в родную страну, было для них временем не более чем «смутным и неясным». Дела шли хорошо, а остальное их не трогало.

Самоустраняясь из романа, писатель характеризует эту эпоху словами персонажей. Они повторяют раздумчиво: «Мы живем в такое время, когда уже ничему не удивляешься... Эти события могут нарушить наше спокойствие... Мы живем в странную эпоху, чем все это может кончиться?» Не называя своим именем ни одно из «событий», эти люди считают для себя «удобным» время оккупации, в которое им выпало жить.

Сейчас, когда в Европе и во Франции правые предпринимают все новые попытки взять власть в свои руки, уместно вспомнить, что предвоенные годы и годы «странной войны» были отмечены не только созданием Народного фронта, усилением интереса к социализму, левыми настроениями рабочего класса, но и, к несчастью для всей Европы, консолидацией сил фашизма. Как известно, фашистские лиги, появившиеся во Франции в тридцатые годы, сумели собрать немало сторонников, обеспокоенных беспорядками и хаосом в стране, моральными и этическими преступлениями. Обыватели не замечали двуликости нового движения, порочного сплетения требований порядка и вседозволенности, не желали видеть преклонения полиции перед воротилами финансового мира, крупными буржуа, хозяевами влиятельных газет и королями биржи.

Нашумевшие судебные дела Л. Доде и Э. Стависского дают богатую пищу для размышлений многим современным авторам, среди которых на одном из первых мест — Патрик Модиано. Его роман «Ночной дозор» (1969) — блестящее тому подтверждение. Газеты и журналы сороковых годов тщательно обходили скандальные подробности судебных дел, оставляя читателям лишь убогую информацию и множество пустых слов. Модиано пытается вникнуть в скудные строки хроники «мирных» будней войны и вообразить, как все это было, как в «тишине и порядке» проходили дни фашистской оккупации. Заметим, правда, что Модиано-художника интересует не столько фактография — в целом она известна, и «лобовые» книги перестали действовать на читателя,— сколько «живописная» сторона этого в истинном смысле слова смутного времени.

Афера Стависского с бриллиантами испанских грандов, его личность, так же как фигура его друга, парижского префекта Кьяпá, самолично освобождавшего от тягот закона многих недостойных людей, притягивают внимание Модиано. В «Бульварном кольце» читатель знакомится с весьма выразительной группой журналистов, представляющих продавшуюся «стависским» буржуазную прессу. Вот Робер Лестанди, имеющий постоянную колонку в газете «Сэляви». Его любимая фраза: «Репортеры все немножко воры или легко ими становятся». Рядом с Лестанди — другой ловкий конъюнктурщик, Жербер: «Ему все равно, что со страстью защищать, болезнь политиканства одолевала его еще со студенческой скамьи». Их патрон, владелец газеты Жан Мюрай, ничтоже сумняшеся печатает порнографические фотографии рядом с политическими сплетнями, сводки новостей и добытые бесчестным путем «сведения» об ученых, писателях и других известных лицах. Находится здесь место и для романа вроде «Признаний шофера ночного такси». Чувствуется, что Модиано перелистал немало газет и журналов той поры. Да он этого и не скрывает, признаваясь, что его интриговала газетная хроника, снимки, материалы и реклама тридцатых—сороковых годов: «Как только я пытаюсь вглядеться в какую-нибудь фотографию, у меня тотчас начинает работать фантазия».

В «Ночном дозоре» романист создает символический образ «сына Стависского и Лили Марлен»[1], раскрывающего операции петеновских полицейских одной из организаций Сопротивления и, наоборот, предающего сеть подпольщиков парижскому префекту. Этот побывавший в тюрьме мягкий и приятный молодой человек с изнеженными руками и тонкими пальцами легко входит в доверие

[1] «Лили Марлен» — популярная в годы войны песенка, которую часто исполняла Марлен Дитрих.

к тем и к другим. Модиано не делает своего «героя» полным мерзавцем, он приветлив и влюбчив, обожает Моцарта и беспокоится о достоянии матушки и двух падших ангелах, апатично-меланхоличных юных проститутках. Получив от полиции разрешение посещать оставленные буржуа квартиры, он бродит по пустым домам в поисках ценных произведений искусства. Но не затем, чтобы спасти их для Франции, уберечь от вывоза в Германию, нет, он ищет шедевры для личного обогащения полицейской верхушки (может быть, что-нибудь перепадет и ему).

Члены группы Сопротивления изображены в романе глазами предателя. Все подмечая, «двойной агент» не испытывает к ним ни истинного уважения, ни интереса. Подпольщики поверяют ему свои горести и мечты, а он лишь холодно констатирует про себя: этот мягок, а этот честолюбив — дает их характеристики, требуемые и ожидаемые полицией. Ему жаль их (по-своему, конечно). Пятерку отважных, без сомнения, повесят или расстреляют, и, как бы предчувствуя это, он почему-то обращает внимание... на их обувь. Писатель фиксирует взгляд «героя» на ботинках, полуботинках и сапогах подпольщиков — только это останется от пока еще живых людей.

Образ рефлектирующего, становящегося предателем интеллигента привлекал внимание многих сложных писателей современности, таких, в частности, как Сартр и Селин. Мэтр экзистенциалистской философии объяснял истоки предательства интеллектуалов их физической слабостью, преобладанием внутренней жизни, он отказывал интеллигенции в благородстве, душевной красоте и силе воли («Грязные руки»). Даже если они и способны, считал он, вести себя достойно, все равно в мире господствует случай, их жертва может оказаться излишней, никому не нужной («Мертвые без погребения»). В книгах Сартра и Селина, переживших войну, немало примет парижской жизни военного времени, поэтому не случайно Модиано ищет у них вдохновения, точной атмосферы для собственных романов, как он в этом не раз признавался. Молодой автор не стремится прямолинейно «заклеймить» предателя. Да, у его центрального персонажа нет высоких идеалов, но мы понимаем, что в предшествующей жизни ему негде было взять их. Да, он физически вял и слаб и действительно не способен сопротивляться, но мы почему-то продолжаем ему сочувствовать. Предатель у Модиано не примитивное одноклеточное, и если позволительно в данном случае говорить о душе, она у него чище, чем у высокопоставленного, дающего ему задания полицейского.

О некоторых произведениях нашей литературы говорили, что в них показан конфликт хорошего с лучшим. Перефразируя формулу, можно сказать, что у Модиано обнажается конфликт плохого с худшим. Перед тем как поручить агенту выполнить самое страшное — выдать ячейку, куда он внедрен,— префект полиции с нарочитым вниманием смотрит на его длинные, тонкие пальцы, обещая солидную сумму денег, которой хватит, чтобы обеспечить жизнь матери и двух «падших ангелов». Побывав в тюрьме, агент догадывается, что ждет его самого в случае отказа от задания: его не просто расстреляют, а сначала помучают, как если бы он был коммунистом. Страшно! Ведь ему нечего противопоставить палачам — ни твердых убеждений, ни даже просто патриотизма. Собственная жизнь слишком дорога ему. Логика поведения предателя, смена его настроений схвачены тонко и точно, в их нервном изломе и постоянном движении.

Все романы Модиано написаны в грустной ностальгической тональности. Романист вглядывается в прошлое, в дни, когда его не было, и хочет воскресить их во всех подробностях. Может, они смогут прояснить и настоящее. Но исторические события как таковые писателя не занимают, он стремится уловить скорее их отголоски, воздух времени, в котором разворачивается действие.

В одном интервью Модиано заметил: «Мы, я и мое поколение, не пережили столь важных исторических событий, как первая и вторая мировые войны, из чего следует, что произведения, которые мы создаем, не так весомы, я бы даже сказал — легковесны. Хемингуэю, Селину, Арагону было над чем работать. А мы свидетели лишь так называемой революции 1968 года, которая, разумеется, не может дать произведений, какие породила Октябрьская революция или гражданская война в Испании».

Не доверяя современности, сетуя на ее незначительность, писатель вновь и вновь оглядывается назад. Трудно сказать, о ком Модиано размышляет больше в своих романах — о себе и собственном поколении или о поколении своих родителей и поре их молодости. Эпохи переплелись, они нанизаны на одну нить. Смещение, сдвиг во времени позволяют ему выяснять общие корни человеческих бед. В его книгах узнают себя и старые и молодые. Писатель фантазирует, говорит расплывчато, смотрит на реальных персонажей сквозь «sfumato» ретроспекции. Разумеется, обращение Модиано к прошлому — это дань современной моде «ретро», нарочито отстающей от поспешающего вперед века, но одновременно нельзя не почувствовать горячее желание романиста разобраться в тех временах, когда его родители были молоды. Не одна, а несколько книг населены персонажами, чем-то близко или отдаленно напоминающими его отца и мать. В фигуре героя-мужчины он порою видит и самого себя.

Мать Модиано профессионально занималась театром, поэтому, очевидно, героини книг «Печальная вилла» (1975) и «Семейная летопись» (1977) — начинающие актрисы, которым будущее обещает удачу, но... иллюзии будут избыты и утрачены, и не потому, что у юных дам не оказалось необходимых для кино данных или некоторого таланта, просто судьба повернулась к ним худшей стороной. С нескрываемой нежностью изображает писатель своих кинодебютанток, охваченных потаенным желанием прославиться, победить на «конкурсе жизни», стать как Вивьен Ли, как Мэрилин Монро. Со вкусом и свойственным ему изяществом рассказывает он, как учит свою первую кинороль героиня «Семейной летописи», как покупает она дорогой грим фирмы «Елена Рубинштейн» и как прощается со

всеми мечтами в день объявления войны. Героиня «Печальной виллы» принимает участие в конкурсе на лучший выезд в машине с собакой — ради праздного развлечения курортной толпы — и одерживает первую в жизни победу. Подобные, казалось бы, незначительные, не имеющие никакого веса детали занимают довольно много места в романах писателя, тонко передавшего искушение богатством, знакомое по Фицджеральду, зачарованность роскошью, сладкие грезы вступающих в жизнь мечтателей.

Парафраз на тему судьбы отца, сотрудничавшего в годы войны в полиции, также можно найти во многих книгах Модиано. Разумеется, «двойной агент» из «Ночного дозора» или Рафаил Шлемилович из «Площади Звезды» вовсе не портреты Модиано-старшего. Все, что хочет поведать писатель о личном и близком,— лишь мотивы, отзвуки тревожных дней, навсегда отошедших в прошлое. «Полный коллаборационистов Париж, грязные аферисты, черный рынок — поверьте, я совсем не испытываю удовольствия копаться в этом дерьме, простите за грубое слово»,— ответил Модиано пристрастно допрашивавшей его журналистке из «Элль». Но ведь было такое время, такая среда! «Все срослось, все смешалось, слепилось в один клубок: довоенная буржуазия с мародерами военного времени, аферисты с префектами, авантюристы с министрами, аристократы с уголовной шпаной, молодые девушки из богатых семейств с сутенерами, банкиры с шулерами, фашисты с Блюмом и его компанией» [1]. Вполне понятно желание автора различать оттенки этого мрачного спектра, найти хоть что-то светлое в этом грязном потоке.

Сюжетную канву романа «Бульварное кольцо» составляют поиски Сержем Александром своего отца, Шалвы Дейкекера, затерявшегося среди деловых ловкачей, прожигателей жизни. Серж не помнит отца в детстве, не видел он его и в годы учения в коллеже. Первая встреча с отцом происходит, когда сыну исполняется семнадцать лет. Вводя юношу в самостоятельную жизнь, Дейкекер не знает, как поступить. Он может поделиться с юношей лишь тем, что умеет сам, а он — мелкий спекулянт и воришка, пытающийся делать деньги, но не вполне овладевший этим «ремеслом». В один прекрасный день он—совершенно неожиданно—толкает сына под поезд метро. Кто-то в толпе удержал Сержа. Вскрикнув: «Убийца!»—юноша потерял сознание. А может быть, задумывается он позднее, это был не отец? Так до конца книги и герой и рассказчик оставляют читателя в неведении относительно поведения Шалвы. Действительно, поступок его нелогичен. Мог ли этот гордящийся своим сыном-бакалавром человек, подающий ему кофе в постель, вдруг поступить столь жестоко? Сын сомневается — и верит и не верит. Конечно, он защищает отца там, где это необходимо,— в полиции, равнодушной к тонкостям человеческих взаимоотношений, и в особенности в среде фатов и спекулянтов.

Не будет преувеличением сказать, что любовь к отцу, такому, каков он есть,— самое сильное, пронзительное, одухотворяющее книгу начало. Страшно пусто в мире, где тебя никто не ждет. Ужасно быть сиротой, быть ничьим. В непрочном, рушащемся, меняющемся мире нужно хоть за что-то ухватиться. Почему бы не за любовь, не за сыновний долг, не за полуистлевшую ниточку родства, связывающего Сержа с отцом?

Если есть в этой книге момент высокой истины, то это попытка центрального персонажа защитить слабого, заявить вслух о том, что представляется ему ценным. Когда Серж публично заявляет толпе мерзавцев: «Да, я знаю этого человека, это мой ОТЕЦ», читатель чувствует облегчение — наступило духовное прозрение героя.

Тема детского одиночества занимает Модиано и в романе «Такие славные мальчики» (1982). В нем нет главного героя, а роль рассказчика поочередно исполняют то автор, то его приятель. Книга состоит из небольших главок-новелл об однокашниках писателя из коллежа Вальвер, куда отдавали детей и богатые семьи, и семьи разорившиеся, но ищущие престижа. Попадающих в Вальвер мальчиков сближает одиночество, они чувствуют себя совершенно отрезанными от большого мира.

Вот несколько детских судеб. Мишель Карве всегда одет в поношенные дорогие вещи, но у него нет самого необходимого. Редко навещавшие его «родители», напротив, всегда выглядят элегантно. Позже Модиано узнает, что у Мишеля была только мать, которую куда чаще называли не «мадам Карве», а «Андре-потаскуха». Сын ее совсем не занимал. Однажды Мишель попросил своего товарища забрать из дома его вещи: старый свитер, мяч для игры в гольф, картинку со стены. Мишель решил не возвращаться к матери: «...на призывном пункте он прибавил себе три года...»

Другого ученика мать навещает чаще, но всякий раз с новым мужчиной. Она чуть внимательней, чем мадам Карве, но тоже весьма занята собой. Двадцать лет спустя Модиано узнает ее в хозяйке пансиона на юге, где пытался снять комнату... Она не знала, где ее сын, и это мало волновало ее...

Есть в книге и трогательная история дружбы юноши-подростка (Модиано) с маленькой девочкой, которой он заменял бонну. Иногда за обедом с ними сидел какой-то красивый мужчина (отец?), во время еды прислуживал повар-китаец, но девочка боялась этих мужчин. Ее мать, красивая актриса, редко бывала дома, почти совсем забыв о своем чаде. В один прекрасный день она увезла малышку в другой город — сниматься в кино...

Что ни история, то непременно драма детской жизни, надрыв, излом, боль. Совсем нерадостные детство, отрочество, юность. Откуда же взяться здоровой, полной сил молодежи? Писатель не утверждает, что речь идет обо всем поколении, он говорит только о тех, с кем был знаком по коллежу Вальвер, о детях родом из нефранцузских космополитических семейств — Эдмонд Клод, Чарелл, Портье, Десото, Мак-Фаулз, Эль-Окби, Ньюмен...

Имена в романах Модиано играют не последнюю роль, они выразительны, как старинные фотографии, заставляют фантазировать, воображать, домысливать судьбы.

[1] В. Финк. Литературные воспоминания. М., «Художественная литература», 1968, с. 180.

Достойны особого внимания и названия книг, каждое из которых таит загадку. Например, заглавие романа «Бульварное кольцо» можно было бы перевести и как «Кольцевая дорога», и как «Окольный путь»; «Ночной дозор» — как «Ночной хоровод»; «Утраченный квартал» (1984) — «Неискупленная вина». Эта спрятанная в языке нарочитая многозначность подчеркивает неполноту наших знаний о том или ином конфликте, ситуации. Разве можно что-нибудь знать о человеке до конца? — словно бы спрашивает нас автор. Обращаясь к детективной интриге, Модиано стилистически тонко, психологически насыщенно и социально точно ее «прописывает»; очевидно, поэтому роман «Утраченный квартал» способен увлечь читателя с первой строки.

Париж. Середина лета. Жара. Толпы туристов. Писатель Амброз Гирс, звезда английского детектива, приехал во Францию для подписания контракта с японским издателем. Оба говорят по-французски, японец с большим тщанием демонстрирует свои познания в европейском языке. Напрасно! Гирс — француз, но вот уже двадцать лет не был на родине. Такова завязка книги, целиком посвященной объяснению столь странно затянувшегося отсутствия «английского» писателя там, где прошли и, кажется, не самым дурным образом его детство и юность. Долгое время Гирс остается инкогнито не только для французских властей, но и для читателя книги. Писатель в маске, автор массовой популярной серии, известной и в Европе, и в США, и в Японии, исподволь, нехотя рассказывает о событиях своей юности...

«Кто же он, этот Амброз Гирс-Жан Деккер?»—вот вопрос, который непременно возникнет у читателя. Бедный молодой человек, возможно, бывший студент, волей случая познакомился с богатой дамой, сделавшись ее любовником. Кармен Блен, интересовавшая его поначалу только как героиня книги «Как делают состояния», увлекла его не на шутку, он полюбил эту праздную буржуазку, давно перешедшую границу бальзаковского возраста. Тогда ей было 39 лет, столько же, сколько повествователю в момент приезда в Париж. Поначалу Модиано не выдает истинного отношения своего героя к богатой женщине. В описании быта Кармен Блен, кажется, сквозит восхищение безумием расточительства сладостным ничегонеделанием, силой денег... Но вот в этом мире появляется существо, неожиданно с ним диссонирующее,— молодая продавщица из парфюмерного магазина, и герой, как будто вопреки своему желанию, оказывается на ее стороне, и при этом в положении, невыгодном для себя. Его новая подружка непреднамеренно, защищаясь, убила отвратного и мерзкого типа. Жан Деккер — соучастник убийства.

Заметая следы, он бежит за границу, не особенно беспокоясь о том, что будет с его новой знакомой. Да, в излишнем благородстве его не упрекнешь. В оправдание ему можно лишь заметить, что все, чем была заполнена его жизнь с Кармен Блен, носило оттенок временности, непостоянства. Появление бедной девушки, точнее, роковое возникновение ее на пути, должно возвратить героя к самому себе.

Он выбирает трудное ремесло автора полицейских романов, ему удается стать популярным. Можно ли было этому научиться, прочитав книгу «Как делают состояния» и познакомившись наяву с ее героями? Скорее, нет, чем да, но познать определенную среду, людей, характер их взаимоотношений безусловно можно, и в мастерстве создания детективных интриг Деккер-Гирс превосходит себя.

Сочетая приемы детектива и романтической новеллы в духе Эдгара По, где тайное так и остается тайным, Патрик Модиано искусно, до последней строки удерживает читательское внимание. Его Деккер не стал писателем в высоком значении слова, но он стал добротным беллетристом, вроде Ирвина Шоу. Не случайно это имя, как имя друга дома Амброза Гирса, появляется в романе. Думается, роман «Утраченный квартал» до некоторой степени — самоисследование писателя.

Следует ли из этого вывод, что Патрик Модиано не глубокий автор, а лишь производитель читабельных романов для широкой, не желающей думать аудитории? Вовсе нет! Обращение к имени Ирвина Шоу, размышления о качестве романов массовой серии у Модиано — удобный предлог для разговора о границах паралитературы. Французский писатель, как мы могли убедиться, исследует жизнь в незнакомом нам до сего момента срезе. Используя как прием сдвиг во времени, он подчеркивает избирательность памяти, ее причудливость. Исторические события у него даны с точки зрения людей отнюдь не героических, даже, пожалуй, реакционеров — хотя и не по убеждению, а волей судьбы. Модиано не показывает их преображения или возрождения — оно невозможно. Тем не менее, словно говорит писатель, и у них тоже есть свой взгляд на мир.

Крупные планы Модиано двоятся, как в кинематографе, сменяются скороговоркой массовки. Объектив выхватывает из тени то одно, то другое, то третье лицо. Жизнь персонажей дается синхронно и в ретроспективе, но полноты знаний о них мы не обретаем. В романе «Августовские воскресенья» (1986) мы снова видим крупным планом несколько лиц, на которых останавливается внимание рассказчика. Но появляются они не для того, чтобы быть объясненными и понятыми, а чтобы остаться непонятными, выхваченными из тьмы и навеки (в пределах романного времени) потонувшими в ней. Писатель использует детективный сюжет, который развивается логически, но не получает никакой разгадки в конце. Некий фоторепортер, готовящий альбом о речных пляжах Франции, знакомится с молодой женщиной, оставляющей ради него мужа и всесильную свекровь Ее зовут Сильвия, она красива, свежа, привлекательна, с пренебрежением относится к драгоценностям. Уходя из дома, она «захватила» вещь, не принадлежащую ей,— крупный бриллиант, «булыжник», говорит она, обозначенный в ювелирных каталогах как «Южный Крест». Это, пожалуй, все, что мы о ней знаем. Поступок Сильвии, по-видимому, означает наказание за скупость бывшего супруга; возможно, камень — причитающаяся ей при разводе доля состояния и, конечно, это ма-

териальная основа ее будущей жизни с новым мужем.

В Ницце, куда попадает молодая пара, за ней охотятся подозрительные лица, и однажды Сильвия исчезает — в последний раз ее видели в автомашине марки «оппель», судя по номеру, принадлежащей американской консульской миссии.

Эпизоды романа монтируются по законам киносценария, каждая картина, кадр прорисованы писателем дотошно, для возбуждения у читателя чувства достоверности. По прочтении книги в память врезаются золотой портсигар, оброненный Сильвией в песок, и громадный бриллиант, не гармонирующий с ее дешевым черным свитером, что же касается необычно громоздкой и внушительной автомашины редкой марки, то она, кажется, ездит у Модиано из романа в роман. В «Утраченном квартале» была «белая ланчиа», в «Августовских воскресеньях» она обернулась «черным оппелем». В погоне за уликами, пытаясь установить правду, герой уплывает в светлые воспоминания, погружается в ностальгию о единственном любимом и трагически утраченном существе. Акварельные краски классически ясно написанных эпизодов передают печаль зимних дней Лазурного берега и летних вечеров у реки, меланхолию конца лета... В чем-то Модиано повторяет здесь себя, в чем-то делает шаг вперед. Молодая, желающая разбогатеть влюбленная пара — это уже было у него много раз, детективная завязка любовной истории — это тоже было, киномонтаж эпизодов встречался во всех романах. Новизна «Августовских воскресений» — в мастерской легкости лирико-детективного, кинематографически агглютинированного текста. И пусть в этом романе автор не подошел к большой и значимой теме, такая книга способна вызвать у нынешнего, забывшего о стихах читателя поэтическое волнение и тем самым выполняет свою художественную задачу.

Выделяя Патрика Модиано среди прочих современных авторов, хочется обратить внимание нашего читателя на его бесстрашие в обращении с трудными темами, умение зримо показать нависшую над неустроенной повседневностью тень Истории, на его лирический дар воплощения щемящей печали несостоявшихся судеб.

Отказываясь от традиционно законченного повествования, когда кирпич лепится к кирпичу, Модиано искусно обходит грани между вымыслом и реальностью, стремится к созданию поэтического образа действительности. Его повествование — как готовый вот-вот рассеяться мираж, оно естественно и зыбко одновременно. Миражи периода оккупации, окрашенные, как старые фотографии, в коричневые тона, сменяются у Модиано более знакомыми ему картинами шестидесятых годов, которые, по его признанию, он видит в серых тонах. Современный Париж, модные курорты рисуются у него на мгновение в ярких красках цветных кинолент, но только для того, чтобы тотчас растаять и обнажить то, что скрывается за фасадом, за блестящей глянцевой обложкой, на которой, кажется, утрачено все живое. Обычно это скромная влюбленная пара, запутавшаяся в грязном мире дельцов. Вместе с автором мы не только видим, но и по-прустовски ощущаем время, о котором он пишет: последнюю войну, голлизм, бесчинства оасовцев, разгул мафии. Парадокс его романов в том, что писатель зачарован Историей, но обозначает в книгах лишь ее тень, давая почувствовать через судьбы плохо устроенных, неопределившихся людей ее беспощадную мощь, всесилие.

РАССКАЗЫВАЮТ ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЭТЫ МИШЕЛЬ ДЕГИ И ИВ БЕРЖЕРЕ

Из бесед в редакции

Сначала несколько слов о наших гостях из Франции.

Мишель Деги родился в 1930 году. Филолог по образованию, он работал в лицее, с 1968 года преподает французскую литературу в парижском университете «Сорбонна-8»; автор многих поэтических сборников, философских, историко-литературных и лингвистических работ по проблемам поэтики и стилистики. В Советском Союзе впервые.

«Мишель Деги никогда не отделял в своем творчестве поэтическую практику от размышлений о поэзии»,— писал один французский критик. В самом деле, зачастую в книгах Деги бывает трудно уловить грань между собственно стихотворными текстами и теоретическими пассажами, трактующими проблемы, поднятые в данных стихотворениях или вообще в современной поэзии. Нередко теоретический текст выстраивается под пером Деги как стихотворение — столь прихотливы в нем ассоциации, столь густо насыщен он метафорами и пронизан ощутимым ритмом. Не менее часто и стихи Мишеля Деги представляют собой особую форму научного анализа, говорят о средствах и целях поэзии.

Мишель Деги рецензирует рукописи в издательстве «Галлимар». Он является также главным редактором парижского журнала «Поэзия», публикующего во французских переводах стихи крупных зарубежных поэтов и статьи о творчестве поэтов Франции. Недавно Деги основал и возглавил Ассоциацию защиты и прославления современной литературы, объединившую в своих рядах писателей, критиков, журналистов, издателей и книготорговцев. Название Ассоциации восходит к знаменитому трактату Дю Белле «Защита и прославление французского языка» (1549) — этому манифесту Плеяды, блистательной группы поэ-

тов, провозгласивших своей целью утверждение самобытности французской словесности, создание подлинно национального поэтического языка (отметим в этой связи, что Мишель Деги — признанный знаток творчества Дю Белле, один из его поэтических сборников носит название «Гробница Дю Белле»).

Ив Бержере родился в 1948 году. Тоже получил филологическое образование. В 1973—1974 годах преподавал французский язык на филологическом факультете МГУ. Работает учителем в лицее. В феврале 1985 года был в Москве в составе группы французских поэтов и участвовал в организованной Союзом писателей СССР советско-французской встрече поэтов и переводчиков поэзии. Тогда же он впервые посетил редакцию «Иностранной литературы».

«Стихи я пишу давно,— говорит наш гость,— но до 1977 года в этом не признавался и никому своих поэтических опытов не показывал. Печататься как поэт начал в 1978 году». С тех пор вышло несколько поэтических сборников Бержере, а в 1981 году он основал поэтическую серию «Кайе дю конфлюан» («Тетради слияния рек»), где публикует собственные стихи и переводы, стихи других поэтов своего поколения. «Иностранная литература» познакомила читателей со стихами Ива Бержере в № 11 за 1986 год.

Кроме сотрудников редакции во встрече с французскими поэтами приняли участие также литературоведы и переводчики, выступающие по проблемам современной французской поэзии,— Тамара Балашова, Морис Ваксмахер, Наталья Стрижевская.

Французские гости интересовались основными направлениями работы журнала, планами предстоящих публикаций; они расспрашивали о принципах отбора произведений для перевода, о том, как подается на страницах журнала информация, освещающая мировой литературный процесс наших дней, какие произведения современной французской прозы и поэзии напечатаны в последние годы, кому из писателей Франции посвящают свои работы критики.

Состоялся живой и полезный для всех участников обмен мнениями, заинтересованный разговор о роли писателя в современном мире, о специфических средствах воздействия на человека и общество, какими располагает искусство. Мишель Деги и Ив Бержере говорили о литературной жизни Франции, о тех процессах в общественном сознании, которые, на их взгляд, определяют облик современной поэзии, рассказывали о собственном творчестве. Они отвечали на наши вопросы, дополняя друг друга, а порой друг с другом не соглашаясь. Предоставим им слово.

Мишель Деги: Итак, чем живет, как развивается, как себя чувствует сегодня во Франции поэзия? У нас немало реальных проблем и трудностей — с ними поэты сталкиваются каждодневно. Падает и без того малый читательский спрос на поэтическую книгу; в условиях экономических трудностей, переживаемых страной, и радио-телевизионного и кинематографического бума, в условиях засилья книгоиздательских и книготорговых корпораций издатели неохотно идут на публикацию поэзии; печатать стихи становится невыгодно. Прожить на литературный гонорар совершенно невозможно — ни для прозаиков, ни тем более для поэтов. В последние годы многие из поэтов переходят на прозу — становятся романистами, как Жак Рубо, Паскаль Киньяр, Марселен Плейне... Лишь я один пока что держусь.

Невеселая шутка!

Ив Бержере: Да и в самой поэзии у нас в последнее время ощущается интерес к таким атрибутам прозы, романа, как сюжет, событийный ряд, «история героя»; в стихах появляется диалог. Словом, заявляет о себе потребность поэзии в повествовании, в изображении обстоятельств реальной жизни; в этом ключе продолжают работать и поэты старшего поколения — Франсис Понж, Рене Шар, Андре Френо.

Надо сказать, что и самому Иву Бержере в известной степени свойственна «повествовательность», если понимать под этим событийную последовательность в пейзажных описаниях, реальную мотивированность смены лирических планов в стихах, обозначение тех или иных жизненных обстоятельств, вызвавших у лирического героя определенные эмоции, отраженные в стихотворении.

Мишель Деги: Лично я, пожалуй, не ощущаю в современной поэзии Франции заметного поворота к атрибутам реалистической прозы, о котором говорит мой коллега Ив Бержере... Авангардисты?.. Поэзия современных французских «авангардистов» довольно трудна для чтения, для понимания, она крайне фрагментарна, лишена поэтической гармоничности. В противовес этим веяниям развивается творчество других поэтов — Ива Бонфуа (в его стихах на первый план выступает благозвучие, эвфония, пронизывающая весь ход поэтической мысли), Жака Реда́, Жака Рубо.

Размышления о поэзии — естественная, органическая часть собственно поэтической работы, я в этом убежден... Некоторые современные поэты делают главный упор на «материальность значимого» — на выраженность мысли в слове, слоге, букве, звучании, на речевую «технологию»; другие обращаются к «ученой поэзии», занимаются в своих стихах герменевтикой. По моему мнению, во французской поэзии сегодня нет четко видимых направлений или жанров — есть поэтические индивидуальности. Вот несколько имен ярких и, на мой взгляд, достойных вашего внимания поэтов: Пьер Остер, Жан-Пьер Лемер, Андре Дю Буше.

Тамара Балашова и Морис Ваксмахер — почти в унисон — уточняют: «Стихи Дю Буше в русских переводах вошли в антологию «Новые голоса», которую мы совместно составили и выпустили в издательстве «Прогресс» в 1981 году».

Ив Бержере: Я бы назвал здесь еще несколько имен, заслуживающих внимания

современных поэтов; часть из них тоже вошла в советскую антологию французской поэзии «Новые голоса» — это Бернар Вargафтиг, Жан-Клод Ренар, Пьер Дено, Доминик Гранмон; продолжу список: это Лемер и Остер (их только что упомянул Мишель Деги), а также Мишель Орсель, Ги Гоффет, Филипп Жакоте. Было бы хорошо включить их в новую антологию, в новые «Новые голоса» и таким образом познакомить с ними советского читателя.

Морис Ваксмахер: Позволю себе еще одно уточнение: Филипп Жакоте уже известен советским читателям, его стихи включены в большую антологию «Западноевропейская поэзия XX века»; она вышла в 1977 году и представляет собою том «Библиотеки всемирной литературы».

Ив Бержере: Хотя Жакоте родом швейцарец, он давно живет, работает и издается во Франции, это французский поэт.

Творчество всех названных мною поэтов будет лучше понято, если принять во внимание их тяготение к национальной французской традиции, для которой главное в поэзии — это смысл.

Мишель Деги: Есть поэты, которые сами себя объясняют, привлекая на помощь теорию. К таким поэтам принадлежу и я сам. Недаром книга, которую я сейчас готовлю, называется «Критика поэтического разума» — это теоретические раздумья о специфике поэтического видения мира. И есть поэты, не желающие теоретизировать. Создав стихотворение, они словно бы бросают его читателям: «Разбирайтесь сами!». Так, никогда ничего не желает разъяснять Рене Шар. Он просто создает свои сжатые и порой загадочные афоризмы.

Ив Бержере: Это верно подмечено. В самом деле, одни поэты подводят под свою работу теорию, другие не хотят ничего объяснять. Стефан Малларме — и Артюр Рембо...

Тамара Балашова: Я имела счастье присутствовать в Париже на одном из заседаний Ассоциации защиты и прославления современной литературы и попросила бы председателя Ассоциации, Мишеля Деги, рассказать подробнее о задачах и целях, об отношениях АЗПСЛ с другими литературными организациями и объединениями писателей, а также с литературными направлениями и группами.

Мишель Деги: Цель Ассоциации — не чисто литературная, а скорее социальная. Мы пытаемся противостоять усиливающемуся во Франции коммерческому подходу к литературе, к изданию новых книг. Устанавливаются тесные связи, возникает своего рода сговор крупных коммерческих издательских фирм с фирмами книготорговыми, с большими книжными магазинами, со средствами массовой информации, обеспечивающими рекламу. Все это — большая опасность для писателей, для авторов, рискующих осуществлять дерзкие эксперименты в своем письме и создающих произведения, трудные для массового читателя. И это — большая опасность для поэзии. Наша Ассоциация стремится помочь писателям, которые осваивают новые темы, открывают новые горизонты в искусстве. Мы пытаемся объединить мелкие и средние издательства, мелкие и средние книжные магазины. Тогда будет легче защищаться. Но пока нам это не слишком удается. Пытались мы и посылать наших членов, писателей, в другие города для проведения встреч и выступлений. Но это начинание оказалось слишком сложным и дорогим — как известно, почти вся литературная жизнь сосредоточена у нас в Париже; здесь мы в течение трех дней провели в университете «Сорбонна-7» дискуссию под девизом «Крайне современно!» — о современной драматургии во Франции. Дело в том, что у нас почти перестали публиковать пьесы. Мы будем малым тиражом (четыреста экземпляров) издавать журнал «Экстрем контампорен» («Крайне современный журнал»).

С другими литературными организациями Франции у нас нет никаких отношений. То, что сейчас у нас именуется Союзом писателей, фактически никого и ничего не объединяет; он лишь узурпировал прежнее название Союза. В «Академию Малларме» входят... всего двенадцать поэтов.

Что же касается отношений Ассоциации с другими группами и литературными направлениями, могу сказать следующее. В отличие от прежних десятилетий (и особенно периода между двумя мировыми войнами) литературная жизнь в Париже сейчас по существу заглохла. Нет дискуссий, не ведутся принципиальные, открытые споры, никто во всеуслышание никого не критикует. Что и говорить, обстановка не слишком здоровая! Открытые споры всегда полезны для развития литературы.

Георгий Злобин: Есть ли во Франции что-либо сходное с «университетской поэзией», существующей в США?

Мишель Деги: Почти все мы, французские поэты, преподаем в университетах; это своего рода государственное меценатство (существует и меценатство со стороны крупных издательств, где мы также работаем). Но на нашей поэтической продукции это впрямую не сказывается. Имеется, правда, иная, более сложная связь: какой бы работой я, поэт, ни занимался, если она для меня интересна, это обязательно скажется на моих стихах. Но «университетской поэзии» как определенного направления, аналогичного тому, что бытует в США, у нас во Франции нет.

Ив Бержере: Мне также приходится заниматься преподавательской работой — в лицее. Считаю, что профессиональная деятельность в школе может и засушить стихи. Однако у этой работы есть и полезная сторона — полезная с точки зрения социальной и нравственной. Наши школьники очень далеки от литературных проблем, от поэзии — и мы своим общением с ними восполняем этот пробел.

Мишель Деги: Позволю себе заметить, вся система образования во Франции — это большая академия поэзии. Иначе бы людям вообще неоткуда было узнать что-либо о стихах, соприкоснуться с поэзией. В сегодняшней Франции услышать стихи можно только в школе.

Морис Ваксмахер: Мы знаем, что давняя страсть Ива Бержере — путешествия, горы, пустыни, альпинизм. Вы исходили Альпы и Пиренеи, Атлас и Гиндукуш. Как эти странствия отражаются в творчестве?

Ив Бержере: Перемещение в пространстве, горы, большие просторы пустынь дают мне сильный творческий импульс, обостряют все ощущения Недаром первым из известных нам альпинистов был Петрарка...

Разговор вновь заходит о тиражах поэтических книжек во Франции. Развивая свою мысль, М. Деги говорит, что мало кто из издателей рискует сейчас печатать стихи. Обычный тираж поэтических книг — две-три тысячи экземпляров. Лишь в некоторых сериях, завоевавших признание, например в карманных выпусках поэзии (издательство «Галлимар»), тираж достигает пятнадцати тысяч.

Мишель Деги: Я постоянно в делах и в работе — преподаю в университете, езжу на мотоцикле, читаю рукописи, выпускаю журнал. В ближайшее время в издательстве «Ашетт» выйдет моя новая книга — «Вещи в поэзии и культурные дела»; в нее войдут работы о поэтах от Бодлера до Франсиса Понжа, размышления о понятии «культура» в современном обществе с философской точки зрения. В серии карманных изданий у «Галлимара» выйдет мой этюд о драматургии Мариво. Пишу «Поэтический дневник». И стихи для будущего сборника.

Что касается современной французской прозы,— продолжает Деги,— я считаю выдающимся явлением книгу Жана Жёне «Влюбленный пленник» — документальную повесть, которая так же прекрасна, как проза Шатобриана. Писатель десять лет прожил среди палестинцев, познал их быт, их муки, беды, надежды. Советую вашему журналу обратить внимание на эту книгу.

Ив Бержере: У меня нет автомашины, нет телевизора. Я много хожу пешком, живу не в центре Парижа, а «на отлете», в лесу Фонтенбло, дорожу тишиной и независимостью. Много путешествую. Нынешним летом был в Исландии, в горах, среди льдов и лавовых полей древних вулканов Перед поездкой в Москву участвовал в международной встрече поэтов в Югославии, в Струге. Но самое для меня главное в жизни — писать стихи. Издаваться особенно не тороплюсь, стихи должны отлежаться, должны образовать некое единство, без которого не может быть хорошего сборника, даже цикла. При этом для меня важны и интересны встречи с писателями — и во Франции и за границей. Много работаю в содружестве с художниками.

Должен признаться, что в вопросах прозы я невежествен. Читать современную французскую прозу мне порой просто скучно; но, может быть, это говорит не о качествах прозы, а о моей натуре. Из любимых писателей других стран назову Кавабата, Музиля, Томаса Манна, Бабеля — его «Конармия» звучит для меня как стихи в прозе. Люблю прозу об Армении Мандельштама, Пастернака — о Грузии. Но это даже не проза, это нечто очень близкое к поэзии. Кстати, о Пастернаке и Грузии — я восхищаюсь его переводами грузинских поэтов и, прочитав Тициана Табидзе в его переводе (я немного знаю русский), захотел ближе познакомиться с творчеством этого прекрасного поэта, чтобы перевести его стихи на французский.

Серия «Кайе дю конфлюан», основанная при моем участии, вначале объединяла группу поэтов из северных департаментов Франции; теперь география этих поэтических книжек расширилась. Внутри серии я начал публиковать переводы иностранной поэзии — греческой, итальянской, испанской. Намечается издание поэтов Югославии, Китая. Интересует меня и творчество моих русских ровесников — советских поэтов.

Разговор снова возвращается к особенностям французской поэзии на нынешнем этапе ее развития. Советские участники встречи говорили о том, что, по их мнению, у большинства современных французских поэтов нет в стихах лирического начала, прямого отклика человеческого сердца на все происходящее в жизни, без которого русский читатель не представляет себе истинной поэзии и которым определялось развитие русской поэтической классики, определяется лицо русской поэзии сегодня.

Мишель Деги: Но что есть лиризм? Для меня лирика — это синоним поэзии. В жизни всё, абсолютно всё — материал для поэта. Непоэтична лишь какофония. Я вижу признак поэзии не в лирическом начале, а в стилистических фигурах (тропах), в ритме, в аллитерации и вообще звукописи. Вот, на мой взгляд, три необходимых элемента поэзии. Авангардисты все время пытаются переиначить эти элементы — и терпят поражение. Самая нечитаемая поэзия — это поэзия, выбившаяся из ритма.

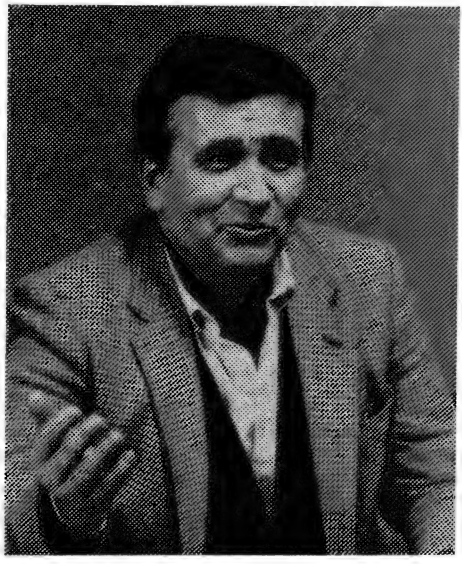
М. В.

Наши гости

В дни работы Международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» редакция «Иностранной литературы» напоминала «штаб» литературной части форума. Не так уж часто в Москву съезжаются одновременно столько видных зарубежных писателей, критиков, деятелей культуры, и сотрудникам единственного на русском языке журнала, публикующего только иностранную литературу, было, как никому, интересно и важно встретиться с ними, поближе познакомиться, узнать о творческих планах, о значительных новых явлениях в литературах их стран — и, конечно же, обо всем этом рассказать читателям...

Любомир Левчев

НРБ



В тот день в редакции было особенно многолюдно. В конференц-зале шла встреча с известными писателями из Чехословакии Владимиром Миначем и Мирославом Флорианом, в одной из комнат, едва вмещавшей всех желающих, проходила беседа с крупнейшим представителем швейцарской литературы Фридрихом Дюрренматтом, а в своем кабинете, где на стене висит тот самый рисунок Пабло Пикассо, который стал эмблемой нынешней анкеты журналов «Иностранная литература» и «Советская литература» (на иностранных языках), главный редактор «ИЛ» Николай Федоренко принимал видного болгарского поэта, академика, общественного деятеля Любомира Левчева. Н. Федоренко не раз писал о болгарской литературе, его перу принадлежат литературные портреты выдающихся болгарских писателей, поэтому встреча была особенно теплой, «неформальной».

— Мы очень рады принимать у себя поэта, хорошо известного и в нашей стране, не в последнюю очередь благодаря публикациям в нашем журнале,— приветствовал Л. Левчева главный редактор.— Наш дом — это и ваш дом. Мы ничего не создаем сами, только переводим созданное иностранными авторами, но и наша задача не из легких: все интересное, новое в искусстве слова за рубежом вовремя обнаружить и сделать достоянием советских читателей. При этом особое внимание мы уделяем творчеству писателей социалистических стран, что обусловлено нашей мировоззренческой и духовной близостью. Болгарскую же литературу мы освещаем, пожалуй, наиболее регулярно. Не только потому, что между русским и болгарским народами исторически существуют отношения братской дружбы, но и потому, что мы считаем: литература вашей страны в последнее время развивается стремительно и интересно, давая и в прозе, и в поэзии, и в драматургии образцы высокохудожественных произведений. Повести Павла Вежинова, например, рассказы Йордана Радичкова, другие наши болгарские публикации имели большой читательский успех.

— Я искренне благодарен за приглашение посетить «Иностранную литературу»,— сказал в ответ Любомир Левчев.— Это высокая честь для меня, особенно сейчас, когда у вас столько именитых гостей и дорога каждая минута.

Слова о том, что ваш дом — это и мой дом, воспринимаю не как формулу вежливости, а всерьез. Я много раз бывал на страницах вашего журнала (к слову, публикация в СССР считается у нас своего рода наградой, знаком признания, а публи-

кация в «Иностранной литературе» — наградой чрезвычайной, но в этом доме я впервые и должен сказать, что он мне несказанно понравился. Я хотел бы родиться в таком доме. Не люблю современных зданий в стиле «модерн», ваш же дом — это старая, душевная Москва.

Н. Федоренко: Да, особняку этому более ста лет, и с ним связывают имя Грибоедова, многократно, как говорят, здесь бывавшего.

Л. Левчев: Каждый должен знать историю своего дома. К сожалению, дома, в котором я родился, давно нет, я его и не помню, так что вы, можно сказать, дарите мне родной очаг.

Вы сказали, что «ничего сами не создаете» здесь, в этих стенах. Скромность — тоже род несправедливости. Вы закладываете «кирпичи» взаимопонимания, и кто же посмеет отрицать, что работа эта в высшей степени созидательная!

Ваше похвальное слово о болгарской литературе воспринял с радостью — дай бог, чтобы это было отчасти действительно так. Во всяком случае, могу утверждать, что болгарская литература сегодня идейно чиста. Без ядовитых грибов. Должен сказать, что для нас очень важна близость вашей литературе, которую в Болгарии хорошо знают: у нас ведь почти все читают по-русски.

Н. Ф.: И по-видимому, прекрасно говорят, если судить по вас.

Л. Л.: Нет, по мне судить нельзя — многие говорят гораздо лучше. Но дело вовсе не в грамматике и синтаксисе (хотя иногда считают,— совершенно безосновательно! — что русский и болгарский языки тождественны), дело в духовной близости, вот почему не случаен тот факт, что именно в последние десятилетия мы стали так активно переводить друг друга. Христо Ботев, великий наш поэт, сам знавший множество иностранных языков, никогда при жизни не видел ни одной своей строчки, переведенной с болгарского. Почти то же было и с поэзией Ивана Вазова. А сейчас мы достаточно хорошо знаем литературы друг друга. Справедливости ради скажу, что впервые, например, стихи Маяковского были переведены именно на болгарский. И Христо Смирненский переводил многих советских поэтов 20-х годов. Пусть выбор был не всегда удачным и имена их не остались в истории литературы, но сам факт знаменателен.

Однако то были лишь эпизоды, сейчас же мы имеем возможность довольно полно представлять панораму советской словесности.

Н. Ф.: Мы тоже стремимся к этому, и, следовательно, ваши рекомендации, как одного из ведущих поэтов и как председателя Союза болгарских писателей, были бы для нас ценны.

Л. Л.: С удовольствием поделюсь с вами своими читательскими впечатлениями, хотя, конечно, не претендую на то, что мой выбор безошибочен.

В последнее время на страницах нашей печати прошла большая дискуссия о романе Ивайло Петрова «Облава на волков». Он, может быть, немного напоминает по теме роман Алексеева «Драчуны». Мнения были высказаны разные, но «баланс» споров, несомненно, положителен: книга честная, мужественная, острая и — что немаловажно, но о чем мы порой забываем сказать — высокохудожественная.

Буквально на днях вышла очень, по-моему, сильная, правдивая книга Валентина Караманчева «Черешневые поминки», рассказывающая об исторической трагедии македонских террористов, оказавшихся в лагере контрреволюции в начале 20-х годов.

Назову еще новый роман Слава Христо Караславова «Свергнутое величие» — о конце буржуазной эпохи в Болгарии.

Хочу обратить ваше внимание на молодую и «среднюю» прозу, особо выделив Ивана Голева, молодого талантливого писателя. Есть и поэтические удачи — у Калина Донкова, Петра Анастасова...

Н. Ф.: Благодарим за советы. Теперь еще один вопрос. Наша страна после XXVII съезда КПСС вступила в новый период своей истории, во всех сферах жизни происходят у нас коренные перемены, направленные на демократизацию общества и ускорение его экономического и социального развития. Какой, по вашему мнению, отклик находят эти события в Болгарии?

Л. Л.: Совсем недавно, с неделю назад, состоялась встреча представителей творческих союзов Болгарии с Тодором Живковым, где обсуждался и этот вопрос. Ответ на него был единодушным и недвусмысленным: наша партия приветствует и всесторонне поддерживает происходящую у вас перестройку. От себя добавлю — не только партия. Как исполнение собственных мечтаний, как и свою победу воспринимают ее рабочие, интеллигенция, крестьяне — в подавляющем большинстве все, кроме обвязанных, если можно так сказать по-русски...

Н. Ф.: Знаете, вы употребили это слово, быть может, и не по правилам русской семантики, но образ получился неожиданно метким.

Л. Л.: Конечно, для нас существует опасность механического перенесения ваших методов на нашу почву, без учета национальной и исторической специфики, но это уж наша забота, как избежать ошибок такого рода. А в принципе мы с вами сегодня всеми помыслами и сердцами. Сейчас вошло в моду стоять до поры в стороне от событий и ждать, что получится. Так вот наш народ в этом смысле вне моды: мы разделяем ваши идеи искренне и деятельно.

Беседу записала И. ДОРОНИНА

Кэндзабуро Оэ

Япония

Он приехал к нам в редакцию с одного «круглого стола» и после полуторачасовой беседы сразу же отправился на другой. Встретиться с ним хотели многие, а свободного времени было в обрез: лишь накануне закончился Международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества», в работе которого он принимал участие, а назавтра пора было возвращаться в Токио.

Кэндзабуро Оэ (родился в 1935 году) нет нужды представлять советскому читателю— имя этого писателя уже не одно десятилетие известно во всем мире, но, пожалуй, ни на один язык не переведено столько его произведений, сколько на русский. Оэ— постоянный автор нашего журнала, на страницах которого были напечатаны романы «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды до души моей...» и «Записки пинчраннера». Переведены на русский язык роман «Опоздавшая молодежь», публицистика, рассказы. Кэндзабуро Оэ неоднократно бывал в нашей стране, да и редакция принимала его у себя не впервые.

В разговоре кроме сотрудников журнала участвовали известный литературовед Татьяна Петровна Григорьева и Владимир Сергеевич Гривнин, переводчик всех трех романов Оэ, опубликованных журналом. Татьяна Петровна сразу же вовлекла нашего гостя в оживленную дискуссию по проблеме насилия и поисков самотождественности в романах «Футбол 1860 года» и «Объяли меня воды до души моей...».

— Самотождественность человеку следует искать в самом себе,— сказал Оэ.— Большое влияние в свое время на меня оказал формальный метод Шкловского, в особенности его теория «остранения», с помощью которого и достигается настоящее «вйдение» (эти два слова Оэ произнес по-русски). Мои романы всегда были очень личными. Мне всегда хотелось выразить себя, вынуть из себя то, что там есть. Мы, японцы, очень углублены в собственное «я», заперты в нем, а надо уметь выходить за пределы внутреннего мира, личностное должно быть связано с общественным... В своих произведениях я изучаю проблему насилия, причем, поскольку мои герои замкнуты в самих себе, насилие это носит односторонний, самоуничтожающий характер. Для обозначения такого насилия я использую специальное слово «имплозия» — то есть взрыв, направленный внутрь себя, внутрь человеческой личности. Такова природа описываемого мной насилия. Насилие же в смысле общественном — это проблема, требующая немедленного разрешения. Сейчас человечество переживает тяжелый кризис. Если удастся преодолеть его, уничтожить угрозу ядерной войны, значит, мы одержим великую, невиданную доселе победу. Еще не поздно открыть человечеству этот путь...

— Над чем вы сейчас работаете? — задали мы писателю традиционный вопрос.

— Я пишу роман, который будет называться «Письмо в милые годы». Это роман в значительной степени автобиографический — о моем военном детстве, обо мне и о матери; действие происходит в деревне и в Токио. Через отношения главных героев я хочу воссоздать картину послевоенного японского общества... Я родился в маленькой деревне на острове Сикоку, мои предки поселились в тех местах чуть ли не пятьсот лет назад, там и сейчас живет моя мать, она ни разу никуда не выезжала. И знаете, чем дольше живу я на свете, тем больше мне кажется, что в нашей маленькой деревне заключена модель всей необъятной Вселенной. Мать часто говорит мне: «Кэндзабуро, вот ты мотаешься по разным странам и городам, и в Токио ты был, и во Франции, и в России, а когда я читаю твои книжки, в них только то, что я знала и без тебя. Зачем носит тебя по свету, зачем ты дышишь грязным, городским воздухом? Человек должен оставаться в своей деревне, тогда он доживет до ста лет».

Во время войны,— рассказывал Оэ,— над нашей деревней сбили американский самолет, двое летчиков выбросились на парашютах. (Я потом использовал этот эпизод в рассказе «Содержание скотины»). Одного, белого, жители деревни убили на месте, второй же оказался пуэрториканцем, и крестьяне его спрятали — они решили, что он похож на японца. Хосе — так звали летчика — укрывался у нас до конца войны, а потом благополучно вернулся в Америку. Много лет спустя, когда я прислал матери роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», она, поглядев на фотографию автора, воскликнула: «Да это же наш Хосе! Я так и знала, что он выйдет в люди». Сколько я ни доказывал ей, что она ошиблась, мать стояла на своем. Впоследствии, встретившись с Гарсиа Маркесом, я рассказал ему эту историю, и он сделал для моей матери дарственную надпись на книге: «Госпоже Маленький Камешек (так буквально переводится японское имя Коиси) от ее Хосе». После этого переубедить мать было уже невозможно.

— Кого из японских писателей вы любите больше всего? — спросили мы.

— Кобо Абэ. Мы пишем в очень разной

манере. Я в своих книгах не выхожу за рамки реальности, Абэ же почти всегда вне этих пределов, но внутренний мир его героев неизменно созвучен миру внешнему. По-моему, «Женщина в песках» — это шедевр, писатель может после такой повести ничего уже не создать, и его имя все равно останется в литературе. Я всегда считал, что Кобо Абэ заслуживает Нобелевской премии.. Впрочем, нет, не всегда,— смеется Оэ.— Помню, однажды мы сидели в каком-то баре втроем — Абэ, Юкио Мисима и я, и между моими друзьями разгорелся спор о том, кто из них больше достоин Нобелевской премии: Абэ утверждал, что Мисима, Юкио — что Абэ. Я слушал-слушал и предложил соломоново решение: «Поскольку маловероятно, чтобы одну и ту же премию дали сразу двум японцам, думаю, будет так: Мисима получит Нобелевскую премию, а Абэ — Ленинскую». Это удовлетворило обоих. (Правда, Нобелевская премия досталась потом Ясунари Кавабата.) Спохватившись, Мисима спросил: «А как же ты, Оэ? Какую премию получишь ты?» «Я получу две,— ответил я.— Премию имени Абэ и премию имени Мисима».

Вообще-то с Абэ-сан у меня особые счеты,— тут же переходит Кэндзабуро Оэ к следующей истории.— Вы, наверное, знаете, что в последние годы он пишет романы на персональном компьютере. Очень удобная штука — держит в памяти массу эпитетов и метафор. Марка компьютера — «Великий писатель». Недавно фирма выпустила миниатюрную модель, получившую название «Великий писатель-мини», и попросила Кобо Абэ за большие деньги сняться в телерекламном ролике, восседая за новым компьютером. Абэ-сан обиделся не на шутку и сказал: «Минивеликого писателя пускай вам Кэндзабуро Оэ рекламирует».

Оэ — человек веселый, не раз во время беседы звучал его заразительный смех, но на наш вопрос о впечатлениях от закончившегося накануне форума он ответил вполне серьезно:

— Наибольшее впечатление на меня произвела речь господина Горбачева. После нее я никак не мог успокоиться. Вечером мои друзья отправились кто в театр, кто в ресторан, я же остался у себя в номере. Был очень красивый закат, я любовался им из окна и чувствовал, что не могу вспомнить какую-то очень важную вещь. Понимаете, выступление господина Горбачева напомнило мне нечто очень знакомое. И вдруг я понял! Та часть речи, где Генеральный секретарь сказал, что мы должны научиться сообща беречь большую семью человечества, напомнила мне знаменитую речь Достоевского, посвященную памяти Пушкина. Помните, великий русский писатель говорил в ней о необходимости всемирного общечеловеческого союза. Причина моего волнения стала мне понятна. Думаю, что не я один заметил это сходство. Соседи по гостинице стали упрекать меня за то, что я сижу у себя в номере и никуда не выхожу. «Зачем вы приехали сюда, на форум?» — спрашивали они.— Чтобы действовать, общаться с людьми или чтобы торчать взаперти?»

«Я приехал, чтобы посмотреть на закат,— ответил я,— посмотреть на закат и немножко подумать».

Беседу записал Г. ЧХАРТИШВИЛИ

◆

Советская литература за рубежом

ПОЛЬША

Роман ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ягодные места». Издательство «Выдавнитство литерацке».

Повесть ВЕРЫ ПАНОВОЙ «Сережа». Издательство «Чительник».

Повесть РАДИЯ ПОГОДИНА «Перейти речку вброд». Издательство «Наша ксенгарня».

Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Противостояние». Издательство «МОН».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Жук в муравейнике». Издательство «Искры».

ФРАНЦИЯ

Роман ИОНА ДРУЦЭ «Белая церковь». Издательство «Мессидор».

Поэмы ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО (1922—1923 годы). То же издательство.

«Китайская повесть» БОРИСА ПИЛЬНЯКА. Издательство «Обсидиан».

ФРГ

Стихи и песни ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Издательство «Нойе критик».

Повесть АНАТОЛИЯ КИМА «Лотос». Издательство «Зуркамп».

Повесть ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА «Evgenia Ivanovna». То же издательство.

Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «На первом дыхании». Издательство «Ровольт».

Стихи ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО. Издательство «Реклам».

Рассказы АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА. Издательство «Ульштайн».

Рассказ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Век живи, век люби». Издательство «Зуркамп».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Знак беды». Издательство «Лидове накладателстви».

Роман САВВЫ ДАНГУЛОВА «Заутреня в Рапалло». Издательство «Правда».

Роман ЛАЗАРЯ КАРЕЛИНА «Змеелов». Издательство «Обзор».

Повесть АЛЕКСАНДРА КРОНА «Капитан дальнего плавания». Издательство «Наше войско».

Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Свидание с Бонапартом». Издательство «Лидове накладателстви».

Повесть СЕРГЕЯ САРТАКОВА «А ты гори, звезда». То же издательство.

Среди книг

Издано в СССР

ДРУГОЙ ФРОСТ

Роберт Фрост. Стихи. Составление и общая редакция переводов Ю. А. Здоровова. На английском языке с параллельным русским текстом. Москва, «Радуга», 1986.

Есть поэты, чьи имена немедленно вызывают в нашей памяти знакомые издавна стихотворные строки. Скажем, для тех, кто интересуется поэзией американского народа, Эдгар По — это раньше всего «Ворон» с его тревожно-печальным рефреном «Каркнул ворон: „Никогда!"». Уолт Уитмен — это горделивый зачин «Я славлю себя и воспеваю себя» из «Песни о себе». Карл Сэндберг — это энергичный дифирамб «свинобою и мяснику всего мира» в «Стихах о Чикаго».

С именем Роберта Фроста ассоциации тоже возникают сразу. Мы вспомним иронический финал «Починки стены»: «Сосед хорош когда забор хороший». Или девять строк «Огня и льда»: «Кто говорит, мир от огня погибнет, кто — от льда ..» Словом, Фрост многим из нас представляется старинным знакомцем. И это не иллюзия. Он пришел к нам полвека назад: первая подборка его лирики в переводах М. Зенкевича появилась в журнале «Интернациональная литература» в 1936 году. После войны стихи Фроста печатались в периодике, включались в различные антологии. В 60-е годы вышли две книжки избранного. Пожалуй, ни один из поэтов Америки XX века (за исключением разве что Сэндберга) не издавался у нас так много. Стоит ли удивляться, что для тысяч советских читателей творчество Фроста стало олицетворением американской поэзии XX столетия? Так, в прошлом веке полномочным представителем поэтов Америки в России был Генри Лонгфелло.

Впрочем, тут есть и некий парадокс: Фрост, несомненно, один из самых известных и читаемых у нас американских поэтов, но насколько хорошо мы знаем его поэзию? И вот выясняется, что только теперь, с выходом этого «двуязычного» тома, мы приблизились к нему вплотную, а по сути — открыли заново.

Поэзия Фроста впервые предстала перед нами как явление, данное в исторической перспективе, в движении, в поступательной эволюции стиля и смене интонаций. Вместе с тем возникает стойкое ощущение, что поэзия Фроста цельна и целостна, что все девять его лирических сборников — это не только вехи интеллектуального и эстетического развития поэта, но и главы одной книги.

Пожалуй, удачным эпиграфом к ней могли бы стать вот эти шестнадцать строк:

Живые часто бродят тут
Среди травы и старых плит:
Но мертвым вход давно закрыт —
Сюда их больше не везут.

«Сегодня,— с камня стих твердит,—
Твой взгляд по мне едва скользит.
Но завтра мертвый мрамор плит
Тебя навеки приютит».

Как мрамор в смерти убежден!
И лишь одним встревожен он:
Нет мертвых, хоть взывает стих.
Что так отпугивает их?

Но если б плитам мы сказали,
Что больше нас не проведешь,
Что умирать мы перестали —
Они поверили бы в ложь.

(Перевод Г. Подольского)

Стихотворение «Кладбище, где больше не хоронят» — словно капля, в которой отражается весь океан фростовской вселенной...

Территория Фроста — сельская провинция «к северу от Бостона», удаленная от индустриальных городов-гигантов. Фрост — пасторальный поэт. Но, продолжая древнюю традицию «сельской» лирики, восходящей еще к Феокриту и Вергилию, он и преодолевает ее. По проницательному замечанию И. Кашкина, пасторали Фроста — это «трагические идиллии». А по сути —

антиидиллии, свидетельствующие о крушении и невозможности безмятежной гармонии между человеком и природой.

Природа у Фроста враждебна или, в лучшем случае, равнодушна к человеку:

Ни ненависти, ни любви
В пустых глазницах ночи...

(«Звезды», перевод Р. Дубровкина)

Сквозной лейтмотив «трагических идиллий» — убывание человека, упрямое отвоевание природой у людей своих исконных владений:

Через бреши прогнивших оград
Лес вернулся в запущенный сад,
Где тропинка к воде заросла...

(«Призрачный дом», перевод Б. Хлебникова)

Разрушение идиллии — распад вековых взаимосвязей природы и человека — сопровождается мучительным разладом между людьми, гибелью простейших и необходимых для социального здоровья человеческих сообществ: семьи, сельской общины (того, что американцы обозначают емким словом «коммьюнити»), забвением чувства товарищества, о чем с горечью размышляет поэт в знаменитой «Починке стены». Драма социальной атомизации общества, вступившего в «индустриальный век»,— сюжет многих лирических пьес книги «К северу от Бостона» — станет потом, в «трагических идиллиях» и в более поздних философских притчах-моралите, центральной темой Фроста.

Фрост, уже будучи именитым мэтром, признался однажды, что он всегда стремился следовать «старому способу быть новым». И объяснил это так: нельзя создавать в искусстве новое на путях отречения от прошлого, полного разрыва с предшественниками. Его «старый способ» означал переосмысление глубоко усвоенных вековых традиций англоязычной лирики. Фрост обладал поразительной литературной памятью. Он бережно сохранял прочные постройки традиционных жанров, в которых стремился воплотить социальный и духовный опыт своих современников. Что такое «Кладбище, где больше не хоронят», как не новейшая вариация на тему «Размышления на сельском кладбище» английского поэта XVIII века Томаса Грея?..

Обостренное чувство истории, столь характерное для жанрового мышления поэта, отличает не только его эстетику. Историзм — существенное свойство мировидения Фроста. Впрочем, бросается в глаза: в его стихах почти нет прямых отсылок к живой повседневности Америки, хотя поэт был свидетелем многих общественно-политических потрясений, пережитых его страной в XX столетии. Объяснить это, видимо, можно тем, что Фроста интересовали не просто конкретные события американской истории, а глубинные закономерности и превратности судьбы нации.

Фрост — эпический поэт. По масштабности проблематики, глубине и значимости поставленных вопросов его лирика сродни лироэпосу Эдгара Ли Мастерса, Уильяма Карлоса Уильямса, Роберта Лоуэлла, обратившихся к исследованию душевного и духовного самочувствия личности в пору эпохальных исторических переломов, которыми были отмечены начало и середина XX века. Пасторали Фроста, размышляющего о социальных противоречиях, о психологических и нравственных последствиях пришествия «индустриального века», поразительно созвучны «деревенским» элегиям позднего Есенина. Как оставшийся ему неизвестным русский единомышленник, Фрост (тоже «последний поэт деревни»!) отчетливо видел оборотную сторону индустриальной революции XX столетия, которая, как мы уже теперь знаем точно, свелась отнюдь не только к рождению научно-технических чудес, поставленных на службу человеку. Его современник Карл Сэндберг тоже замечал — не мог не заметить, — как хищные щупальца «города-спрута» сжимали в своих объятиях поля и деревни. Но Сэндберг, певец индустриальной Америки, был зачарован страшной красотой урбанизма. Фрост же взирал на свою эпоху с иной точки обзора. Он — тоже поэт индустриальной цивилизации — настойчиво предупреждает о грозной опасности гибели человека под пятой «железного гостя».

Фрост — трагический поэт, но он никогда не предавался меланхолической тоске по безвозвратно ушедшему прошлому, и ему всегда было чуждо настроение угрюмой безнадежности. Сколь бы ни были скорбными иные из его «трагических идиллий», в них непременно звучала ироническая интонация. Ирония Фроста нередко ставила читателей в тупик: в ней видели признак едва ли не цинизма. А ведь мудрость фростовской иронии, сквозь «магический кристалл» которой он взирал на свою эпоху, постигая ее коллизии и смысл, оказалась для него спасительным средством против отчаяния и мизантропии, в чей коварный плен попали иные его современники — например, Робинсон Джефферс, обратившийся к поискам причин социального и духовного неблагополучия Америки и увидевший в нем знак вселенской катастрофы. А Фрост возражал:

...Тот судья не прав,
Кто сам свою эпоху обвиняет,
Кто судит, выше времени не став.
. . . . . .
Мы изнутри судить свой век не можем.

(«Урок», перевод Г. Кружкова)

Один из частых образов у Фроста — хрупкая крупица жизни в грозном хаосе стихии. То это пучок васильков, которые пощадила стальная коса. То гнездо с птенцами посреди скошенного луга. То молоденькая березка, одиноко стоящая у каменной стены. То мотылек, чудом уцелевший среди лютой стужи. В них аккумулирована непокорная энергия сопротивления силам распада. Эта фолкнеровская вера Фроста в способность человека выстоять и уцелеть наперекор жестокому своеволию внешних обстоятельств была надежным оплотом фростовского гуманизма.

Новая встреча с американским поэтом стала в каком-то смысле неожиданностью. Не только потому, что поэт, который раньше представлялся нам простым и понятным, оказался сложнее, мудрее. Ведь Фрост заговорил с нами на ином языке. Да, мы привыкли к тому Фросту, с которым нас познакомили И. Кашкин, М. Зенкевич и

А. Сергеев. А здесь подавляющее большинство переводов (Р. Дубровкин, Б. Хлебников, А. Кушнер, О. Чухонцев, Г. Кружков, А. Казарновский и др.) — новые. Можно, наверное, только радоваться такому взрыву интереса наших современных поэтов к творчеству американского классика. Это действительно очень хорошо, что нам, читателям, дают возможность открыть новые грани, всю многосмысленность лирики Фроста. Но возникает чувство досады, когда обнаруживаешь, что, например, И. Кашкин представлен здесь только двумя переводами, а переводы А. Сергеева вовсе отсутствуют. Чем объяснить также, что за пределами этого солидного тома остались хрестоматийные вещи поэта — «Последний индеец», «Двое бродяг в распутицу», даже «Огонь и лед»?

Есть книги, которые уважительно называются итоговыми. Такими стали «Листья травы» Уитмена и «Избранное» Сэндберга, выпущенные не столь давно издательством «Художественная литература». Эта книга едва ли подводит какие-то итоги, скорее, приглашает к дальнейшему освоению творчества американского поэта.

О. АЛЯКРИНСКИЙ

В ЧРЕДЕ ВЕКОВ, ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, ЭР...

Рольф Эдберг. Письма Колумбу. Дух долины. Перевод со шведского Л. Жданова. Редакция, предисловие и примечания В. И. Гуляева и Г. Н. Матюшина. Москва, «Прогресс», 1986.

В поисках точки, откуда отсчитывать время, с которого европейцы начали наступление на природу Планеты, подчинили своим интересам ее развитие и будущее, автор остановился на открытии Америки в XVI веке: плавание Колумба оказалось судьбоносным. Именно тогда началось покорение новых континентов, позволившее сначала испанцам и португальцам, а за ними другим народам Старого Света закабалить население вновь открытых стран и присвоить их богатства. И Рольф Эдберг как бы открывает глаза знаменитому генуэзцу на последствия его подвига. Сдержанная и даже почтительная формула обращения «сеньор Альмиранте» вступает в противоречие с содержанием писем, выстраивающихся в обвинительный акт, в беспощадное обличение «Адмирала Океана», указавшего пути и способы, как организовать эксплуатацию колоний во славу и к обогащению подданных Христианнейшего короля. Именно он, Христофор Колумб, привез в дар королеве первых рабов из Нового Света, научил огнем и мечом подчинять себе беззащитных аборигенов.

Разумеется, спустя пять веков, с позиций современного опыта, можно предъявить европейским первооткрывателям чудовищный счет: исчезновение древних культур, хищническая эксплуатация природных богатств, невосполнимый урон, нанесенный фауне и флоре ряда стран. Все это прочно укоренилось в нашем сознании как преступления колониализма и империализма, так что под рукой у обличителей — мощный арсенал фактов для обвинения. Особенно тяжким выглядят преступления продолжателей дела Колумба — Эрнана Кортеса, Франсиско Писарро и прочих разорителей государств Южной Америки.

Отметим тут, кстати, что автор умалчивает о причинах, до некоторой степени обусловивших жестокий характер конкисты. О, нет! Отнюдь не цветами благоухали стогны Теночтитлана — многолюдной столицы ацтеков, как пишет Эдберг. Над его домами и садами стоял смрад, распространявшийся с башни центрального храма, на верхней площадке которой совершались человеческие жертвоприношения. По рассказу Берналя Диаса, участника похода, солдаты Кортеса с полуобнаженными мечами требовали от своего капитана разрешения броситься на толпы «нехристей», обступавших окровавленный алтарь! Ритуальное людоедство было распространено во всей Экваториальной и Южной Америке, и нам, оглядывающимся на эту жестокую правду спустя пятьсот лет, нужно уметь разбираться в ней непредвзято, принимая во внимание нравы и понятия эпохи, к которой она принадлежит.

Колонизаторы сводили леса, истребляли зверей, но ведь и углежоги Древней Греции навсегда оголили горы и холмы Аттики: рискнем ли мы, однако, проклинать их вторжение в природу? Могли ли наши далекие предки, взращенные пятнадцатью веками европейской культуры, равнодушно взирать на узаконенное каннибальство?

Автор писем развертывает перед своим корреспондентом свиток веков, из Нового Света уводит его в Африку, рисует близкие к нашему времени картины, рассказывая уже не о последствиях конкисты-похода, а о конкисте-цивилизации, о пировых победах индустриализации, успевших к концу XX века подвести человечество к порогу экологической катастрофы.

Рольф Эдберг не пугает — он приводит факты, всесторонне проверенные и беспристрастно установленные.

«Планетные ресурсы на исходе, дело к вечеру...— пишет он.— И все-таки еще не поздно, постанови мы *жить на условиях, определенных нам Землей*».

Все как будто очень просто: не бери лишнего... И потому так невероятно трудно!

Особенно впечатляет рассказ об океане, его бездонных, неисчерпаемых ресурсах продовольствия, минералов, воды. Достижения современной науки и техники позволяют вполне реально на них рассчитывать. Могут быть созданы подводные поселения, налажено производство; казалось бы, чего опасаться? Однако оптимизму, порожденному этими надеждами, противоречит другая грозная правда: мировой океан неотвратимо загрязняется и эту угрозу размеры океана не в силах отвести. Очевидно, как свидетельствует Рольф Эдберг, и над жизнью Мирового океана сгустились тучи. Нам не так уж трудно представить себе, в чем заключается опасность.

Это отнюдь не только крушения нефтеналивных судов, пусть они и способны умертвить все живое на значительных пространствах: недаром автор рассказывает Колумбу о бороздящих моря танкерах в полкилометра длиной! Мы и так знаем о превращении Балтийского моря в сточный водоем. То же пишут о Средиземном море, о крупнейших реках, изливающих отравленные воды в океан. Вместо безграничных пространств шельфов и глубин, покрытых щедрой растительностью, кишащих рыбой и морскими животными, океан, этот надежный и щедрый источник жизни человечества на бесчисленные годы, грозит превратиться в мертвые воды... Останутся минералы и металлы, но не им дано продлить жизнь человечеству!

Колумб и его сподвижники мечтали о золотых россыпях, серебре, драгоценных камнях. Ныне человечество не представляет себе жизни без подземных кладовых горючего — источника энергии. Обладание нефтью и газом сделалось синонимом богатства и обеспеченности. И Р. Эдберг пишет с большой тревогой об иссякании подземных запасов горючего. Упор делается на нефть и в меньшей степени на уголь. Однако автор ни разу не упоминает о возможности — вполне реальной — использовать ветер, солнечные батареи, морской прилив... Было бы интересно знать, почему Эдберг их скидывает со счетов? Не верит в способность этих видов энергии быть адекватными заменителями горючей материи или он умышленно вывел их из обсуждения, чтобы мы полностью осознали серьезность положения: приблизились вплотную сроки, когда будут сожжены последний литр бензина и последний кубометр газа? Мне отсутствие оценки перспектив использования ветра и солнечной энергии представляется существенным пробелом.

В первые годы нынешнего века, чтобы подсчитать количество автомобилей в Петербурге, хватило бы пальцев на руках, а в Москве их вообще не знали. Спустя восемь десятилетий они мешают жить пешеходам, и в газетах уже мелькают сообщения об электромобилях, работающих на солнечных батареях. Не аргумент ли это в пользу того, что двигательную энергию и тепло человек на худой конец найдет из чего извлечь и без традиционного горючего, а вот живой зелени, трав и лесов, хлеба, растительной и животной пищи, кислорода для дыхания ему без плодородной земли и чистой пресной воды взять будет неоткуда, если он подсечет под корень жизнь природы. И тут предостережения Р. Эдберга звучат в полную силу: это набат, к которому нельзя не прислушаться. Опасность оскудения земли, наступления засух — угроза реальная. Едва ли не единственные действенные средства для предотвращения катастрофы — это, бесспорно, регулирование прироста населения в пределах, диктуемых законами жизни планеты, и, во-вторых, перелом в отношении общества к материальным благам: нельзя считать удовлетворение прихотей законным правом культурного человека — потребление следует поставить в разумные рамки, иначе никаких источников сырья, продовольствия, товаров не хватит. Сверхсытость и сверхкомфорт способны убить жизнь. И об этом Р. Эдберг пишет трезво и обоснованно.

«Письма Колумбу» показались актуальной и нужной в современных условиях частью книги Эдберга. Вторая группа очерков, объединенных заглавием «Дух долины», представляет экскурс в глубочайшую древность, рассказывает о Гондване, прародине человека, районе Африки, где были найдены останки предчеловека. Стержнем очерков послужило совершенное автором путешествие по местам раскопок у подножия Килиманджаро, где в конце 50-х годов английский палеонтолог Луис Лики и его жена Мэри нашли в теперь знаменитом Олдувайском ущелье череп с покатым лбом, тяжелыми надбровными дугами и мощной челюстью, возраст которого составлял около двух миллионов лет.

Надо отдать автору должное — его рассказ об африканских палеонтологических открытиях, бросивших надежный свет на проблемы переходной эры от homo habilis до homo erectus, написан исключительно увлекательно и убедительно. Хотя его заключения основываются на сложных последовательностях и неподготовленному читателю не всегда легко уследить за превращениями «митохондрий», обитающих в клетках, или проникнуть в суть свойств «хлоропласты»; он верит ученому, утверждающему, что «именно на уровне микроорганизмов звучат глубокие виолончельные тона жизненного ансамбля, хотя до нас мелодии доходят лишь обрывками». Вдобавок он благодарен ему за рассказ о легендарном ущелье, где зародилась жизнь человека.

В двух последних частях трилогии «Дух долины» Р. Эдберг рассказывает и о современных экологических проблемах Африки, достигших трагической остроты. Они возродили понятие ценности пресной воды, утраченное в эру хозяйничанья европейцев на черном континенте, хозяйничанья, приведшего к засухам и неуклонному расширению ареала Сахеля: ныне население оттуда эвакуируется. Однако автор полагает, что еще более горьким, чем ухудшение экологических условий, последствием господства белых является ущербность самосознания коренных жителей. В этом — приговор пришельцам, заставлявшим черное население признавать превосходство завоевателей и свою неполноценность.

Нет сомнения, что, опубликовав талантливые работы Рольфа Эдберга, издательство «Прогресс» оказало ценную услугу распространению экологических знаний, вооружило отечественных защитников природы первоклассным, ценным материалом для пропаганды бережного и грамотного к ней отношения. От надвинувшегося на человечество оскудения природы не ограждают никакие государственные границы, его не отведут и самые совершенные политические устройства. Многое и у нас обстоит из рук вон плохо, отчасти из-за того, что, покончив с частной собственностью на земельные угодья, мы решили, будто это само по себе ограждает нас от хищнической эксплуатации природных ресурсов. Государственные организации не стали пока рачительным, бережливым хозяином

народного достояния. Сошлюсь хотя бы на эксплуатацию лесов: можно утверждать с полным правом, что ни в одной другой развитой стране она не сопровождается такими огромными потерями. И так обстоит дело не в одном лесном хозяйстве! Поэтому нашим экологам особенно важно ознакомиться с данными и прогнозами, приводимыми шведским ученым.

Хочется пожелать переиздания книги Эдберга бо́льшим тиражом. Отметим, что нынешнему изданию очень не хватает карты описываемых мест.

О. ВОЛКОВ

Издано за рубежом

О ПАРИЖЕ СТИХАМИ И С ЛЮБОВЬЮ...

Paris & Banlieue. Promenade en poesie. Paris, Messidor, 1985.

Париж и пригороды. Поэтические прогулки. 1985.

Существует столько путеводителей по Парижу — Париж вчерашний, Париж позавчерашний, Париж таинственный, Париж революционный, Париж сегодняшний, развлекательный, Париж днем, ночью, в разные времена года, Париж во времена «Belle Époque» или «zazous»... Что поделаешь! Город обжигает сердце...

Когда-то была у меня редчайшая книга, представленная Николаем Бенуа и оформленная Е. Кругликовой, с произведениями известных русских писателей и поэтов о Париже — «Париж накануне войны» (Пг., 1916). Париж начала века!.. Был еще и Париж К. Паустовского. Он собирал стихи о Париже — еще один русский литературный путеводитель по Парижу,— выписывал их в тетрадь. К сожалению, тетрадь потеряна.

Теперь передо мной французская книга стихов о Париже и его пригородах... Открывала я ее «в предчувствии удивительных встреч... когда сердце громко стучит» и все во мне, «как некий волшебный инструмент... отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни». Иногда казалось, что разорвется сердце мое, замирая от восторга, от колдовства стиха, звуков, пейзажей, воспоминаний-ассоциаций... Очень трудно писать об этой прогулке, которую нас приглашают совершить известные французские поэты Шарль Добжински и Рубен Мелик, составители сборника, на прогулку удивительную, поэтическую, по Парижу и его пригородам, называемым его «драгоценной короной». Как передать то необыкновенное состояние, которое охватывает вас при чтении этих стихов о Париже (разве можно рассказать о музыке?) — столько замечательных имен сопровождает нас в этой «прогулке»...

Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим...

Многих поэтов вдохновлял Париж. Сену, каналы, пригороды веками воспевали его поэты, начиная от Эсташа Дешана, Рютбёфа, Вийона, кончая современными. Уже почти тысячелетие вдохновляет он поэтов, художников, писателей, французских и иноземных, волею судьбы посетивших его или живших там. Какие они разные, эти образы Парижа! Нотр-Дам, воспетый Пеги, Гюго, Эйфелева башня Блеза Сандрара, Р. Делоне, Ф. Коппе и знаменитые мосты через Сену («Мост Мирабо» Г. Аполлинера). Город полон воспоминаний о революциях, боях за свободу и за Освобождение, «людских столпотворениях», радостях и горестях стольких тружеников, их трудной жизни, классовых боях, коренных его жителях и эмигрантах, добравшихся до Парижа в поисках работы...

А иностранцы в Париже?

В конце XIX — начале XX века Париж становится в общем сознании местом зарождения новых художественных течений: молодежь собирается в стенах его мастерских со всех стран, превращая его в разноязыкий Вавилон; выставки пестрят именами иностранцев... Многие из них навсегда остаются в мировой метрополии искусств, становясь французскими художниками: Пикассо, Грис, Сислей, Писарро, Ван Гог, Модильяни и Ван Донген, Соня Терк-Делоне и другие. Огромный Париж становится постепенно скоплением ряда городков с различной культурой, нравами, бытом. Как писал русский искусствовед: «...и постепенно в вас зарождается ощущение высоты, утонченной традиционности французской художественной культуры; в ее ясности, изяществе, чувстве меры, проявляемой ею в самых смелых и крайних исканиях, в том ее качестве, которое французы определяют словом «вкус» — «le goût» — высшим мериле оценки и выбора». Такое ощущение охватывает при чтении и этой книги стихов о Париже. Распадаясь беспрестанно он, как узор калейдоскопа, рождает образы иных «Парижей», тоже созданных миром рифм и грез. Каждый, кто гулял по городу, знает, что знакомое и обычное здесь полно тайн. И что задолго до сюрреалистических открытий Бодлер поведал нам об этом очаровании и колдовстве, шлейфом потянув за собой «акробатический кортеж таинственных образов, легенд, кошмаров». Как писал Ж. Кокто: «Надо было зафиксировать образ Парижа, что правдивее, чем правда, которая в шедевре возносится над реальностью и резюмирует ее так, что от нее начинает исходить таинственный свет ореолов».

Вот мы уже раскрыли этот альбом ликов Парижа. Между Парижем Гюго, Лотреамона и Р. Кено — сколько здесь собрано иных «Парижей»! Вот Сена, «линия удачи» на его ладони, «общий знаменатель» всех его пейзажей. Здесь, лицом к лицу, встречается столько разных поэтических

школ и опытов: Ф. Коппе — Ж. Риста, Ф. Супо — П. Пикассо и т. д. и т. п.

Можно было бы, как Аполлинер, забыть название какой-нибудь улицы, это не страшно, зато менее простительно было бы не попытаться понять, что придает этой улице и всему, что ее окружает, грацию и очарование и почему.

Авторы сборника и не пытались все объяснить, все сказать о Париже, но их труд, возможно, позволит глубже понять «психологический климат» некоторых кварталов и уголков Парижа, его окрестностей и отраженных в этом зеркале поэзии парижан: такой «путеводитель», когда прогулка становится открытием.

Разнообразие настроений, климатов, атмосферы, переходы из одной среды в другую — переходишь улицу, и вот уже движение в ином мире, абсолютно противоположном тому, в котором только что пытался «акклиматизироваться». Грановитая столица, столица-кристалл, город неожиданностей.

Авторы сборника предупреждают нас, что они попытались прежде всего представить нам образ современного Парижа, его пригородов с помощью своих наисовременнейших поэтов, являющихся, без сомнения, наилучшими «дешифровщиками» улиц и разных уровней жизни, лучшими картографами скрытой географии этого города, такого же непостоянного и изменчивого, как небо над ним.

Но путешествие открывает «Осажденный Париж» В. Гюго, Париж 1870 года, затем Париж Коммуны, Париж, оккупированный гитлеровцами. (Сколько муки и боли в этих строфах! И веры в Освобождение!)

То пешком — по улицам и кварталам, то по Сене и каналам — сквозь столицу, путь наш будет усеян охапками удивительных слов: то знакомых и обыденных, то чу́дных и чудных, но всегда правдивых,— виденний и взглядов на город, иногда противоречивых, переплетающихся в венки строф, стихов, сливающихся в единую песню: балладу, гимн, городской романс — песнь о Париже.

Почему я говорю о песне? Мы все знаем, что в Париже, как нигде в мире, городской фольклор связан с именами великих поэтов, певцов и композиторов, которые под влиянием самого стиля «chanson réaliste» (А. Брюан, Монтегюс) создают бессмертные стилизованные произведения, обогатившие затем сам парижский фольклор. Многие поэты, отобранные и представленные в книге, оказали большое влияние на становление французской песни (Ж. Превер, Л. Арагон, П. Сегерс, Р. Кено, П. Мак Орлан, Фр. Карко) и джаза, которым так увлекались после войны в погребках Сен-Жермен-де-Пре.

Когда читаешь некоторые из стихов (Мака Орлана, Рэя, Комба), кажется, что попадаешь на танцульку на улице де Лапп, а то где-то в стороне площади Бастилии, и аккордеон разрывает тебе сердце... А то где-то выше и в сторону — эмигрантско-афро-магрибский Бельвиль и Монмартр — «фобур», где слились запахи Измира, Салоник, Анкары, Туниса, Орана, Черной Африки... И далее, где-то в пригородах,— Обервилье, Баньоле и другие города-спутники-«спальни», бетонные однообразные гетто для бедняков и иностранных рабочих, полные лишений, монотонности... и, что чаще теперь, безработной молодежи.

Вот стихотворение Л. П. Фарга «Вокзал»... Когда-то К. Моне писал паровозы, въезжающие под стеклянный оранжерейный купол Сен-Лазара в голубой дымке весеннего утра. Он смотрел на все это взглядом влюбленного в формы и круговые движения воздуха. Мог ли он предположить, что сегодня почти 10 000 жителей пригородов Парижа будут приезжать каждое утро с окраин, заполняя «соты города-улья», часто с тягостным чувством, уже усталые, подавляемые ритмом городской жизни... Глаза смотрят на часы, душа повисла на стрелке. Эти ждущие поезда лица, патрулирующие на дороге к заработку, в поисках работы, в одиночестве отчаяния...

Ш. Добжински и Р. Мелик пишут в предисловии к книге, что говорить о Париже, воспевать его блеск и нищету, его своеобразие, революции и мятежи, простых людей, которые «создавали, строили его, подарили ему богатейшее прошлое и настоящее, и тех, кто оттачивал грани этого алмаза неотразимого сияния», говорить о Париже — одно из вечных желаний поэтов, как французских, так и чужестранцев.

Поэтому в книге встретятся строки Э. Хемингуэя, поэта-изгнанника венгра Эндре Ади, турка Н. Хикмета, нашего В. Маяковского, подруги М. Пруста румынки А. де Ноай, строки испанца Р. Альберти, обжигающие своей ностальгией и одиночеством, как «lamento» и «solea», в песнях фламенко. А французская поэзия представлена лучшими ее поэтами — от В. Гюго до молодых поэтов, наших современников — в хронологическом порядке. (Авторы сборника отмечают, что единственная трудность, с которой они столкнулись «во время долгого путешествия по этим поющим улицам и поэтическим бульварам, заключалась в выборе».)

А теперь хотелось бы сказать несколько слов об иллюстрациях. Внешне книга рафинированно скромна и, я бы сказала, изящна. Строгая обложка из жемчужно-серой ткани украшена виртуозным рисунком Матисса. (Почему рисунок именно Матисса? Может быть, потому, что крупнейший художник книги, великий живописец, говорил всегда, что «книга не нуждается в дополнении иллюстрацией, буквально следующей за текстом», и стремился «интерпретировать средствами пластического искусства поэтическую атмосферу книги, а не ее фабулу»?). Поэтому богатый пластический ряд книги представлен разнообразными художниками разных направлений, школ, национальностей, работами, выполненными знаменитейшими художниками и даже поэтами (В. Гюго и коллаж Ж. Превера) — Пикассо, К. Моне, А. Руссо-«Таможенником», М. Шагалом, Ф. Леже, Р. Делоне, П. Боннаром, К. Ван Донгеном, Массоном. Тут и афиши П. Колена и Р. Чеслевича, Ж. Вийон, фотография Фонтана Тэнгели и Ники де Сен-Фаль, скульптура А. Кальдера, графика Абидина Дино, турецкого художника, друга

Н. Хикмета, швейцарца А. Джакометти, португалки Вьера да Силва и многих других. Вот и Х. Грис... Его «Дома на улице Равиньян». Знаменитая улица Равиньян! Времена богемы... В каком изобилии «рождались, взаимно пожирая друг друга, всевозможные «измы»!

Долго, еще очень долго можно говорить об этой чудесной книге, о ее стихах, о ее иллюстрациях. Столько аналогий-ассоциаций вызывает она.

М. ЛОРИС

В ПОИСКАХ БРАТСТВА

Peter Handke. Die Wiederholung. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986.

Петер Хандке. Повторение. 1986.

Вот уже полтора десятилетия имя Петера Хандке олицетворяет на Западе преодоление экстремизма в культуре и утверждение традиционных устоев. Его тетралогия с выразительным названием «Медленное возвращение домой» четко зафиксировала новый этап в творчестве писателя. Первая часть, названная так же, как и вся тетралогия, повествовала об обретении героем (автором) понятия родины; вторая — искусствоведческое эссе «Уроки гряды Сент-Виктуар» — утверждала принципы традиционной живописи; третья — «Детская история» — содержала осознание национальной принадлежности, в четвертой части — «Путями деревни» — писатель, всегда признававший неизбежность урбанизации, отмечал, однако, что «путь к спасению» нации и человечества лежит через традиционную сельскую культуру.

Куда дальше держит путь австрийский писатель? Нашлись критики, намекавшие на то, что дальше ждет его «кровь и почва», шовинизм и неприятие культуры других народов. Прогноз оказался близоруким. Уже следующая вещь Хандке, «Этот не знающий боли китаец», подчеркнула неизменную антифашистскую позицию писателя. А в последней своей повести, «Повторение» (в 1986 году — два издания), Хандке, затронув один из самых животрепещущих вопросов современности — национальный,— недвусмысленно высказался в пользу дружбы и взаимного сближения наций.

Сюжет в повести едва намечен: некто Филипп Кобаль, считающий себя австрийцем, отправляется на поиски старшего брата Грегора, в конце войны самовольно покинувшего ряды вермахта. Их отец, выходец из Словении, следуя давней традиции, назвал своего первенца в честь почитаемого в семье предка — Грегора Кобаля, вождя крупного восстания крестьян в XVIII веке, о котором и сегодня жива память в Югославии. Отец был онемечен. Безвольный человек, он покорился судьбе и старшего сына считал просто дезертиром. Мать Грегора, немка, по характеру своему — полная противоположность мужу, решительная и строптивая, убеждена, что ее сын, который никогда не переставал считать себя словенцем, ушел к югославским партизанам. И вот много лет спустя младший сын Филипп пересекает границу Словении, чтобы отыскать следы брата.

Брата он не находит, да и практически не ищет, но он сталкивается с культурой славянского народа, которая привлекает его и в конце концов покоряет. Поиски брата перерастают в поиски братства между народами. Не найдя брата, он обретает почти что мать. С родителями у Филиппа никогда не было душевной близости, а здесь случайно встретившаяся пожилая словенка сразу видит в нем родного человека: «Сын покойного кузнеца, наконец-то он дома». Она оставляет его у себя, ухаживает за ним, относится к нему как мать. «Во всех ста деревнях со мной обращались как со старым знакомым», может быть, его принимают за кого-то другого, но скорее всего здесь так принято. Повествование все время переходит в символический план, и самому автору неизвестно, когда происходит действие — год или четверть века назад. Неоднозначного, символического смысла полон, например, эпизод: старуха-словенка приводит Филиппа на заброшенную пашню и говорит: «To je vaša njiva». Русскому уху слова понятны, да и австриец схватывает суть дела.

Филипп находит здесь и любовь. Однажды в оживленной группе выходящих из церкви прихожан «увидел я юную женщину, которая все время молчала, только слушала, внимательно всматриваясь в говорящего и не опуская глаз. Наконец она повернулась и увидела меня. Лицо ее оставалось серьезным, когда она вдруг заговорила, обращаясь именно ко мне. Не улыбнувшись, не открыв рта, только глазами, устремленными на меня, она произнесла: «Так это ты!» Почти в ужасе я хотел было отвести взгляд, но удержался, овладел собой и сразу стал серьезным. Потрясение было так велико, будто два десятилетия я вел недостойную, бездуховную жизнь и, только встретив эти женские глаза, заново родился. Это было событие мирового значения, это было лицо моей жены».

Филипп живет в благословенном краю. Природа, люди и их творения предстают перед его глазами как единое, гармоничное целое. «Ни в одном здании я не замечал того, что называют произведением искусства, но почему вздрагивало мое сердце, как на художественной выставке, когда я — даже мимоходом — бросал взгляд на любой двор?.. Заметно было, что многое, сделанное руками здешних людей, воспроизводило основные формы окружающего ландшафта».

Эта бездна гармонии рождает надежду на... стихийное спасение мира. «Так дружелюбно выглядело пространство, на которое я взирал, такая сила поднималась из глубины, что я не мог себе представить, как самая гигантская атомная вспышка повредит что-либо в этой долине; взрывная волна пронесется мимо и облучение тоже. И я уже предвидел, как у моих ног в этой плодородной котловине остатки человечества начнут снова хозяйствовать после катастрофы». Без мысли об атомном апокалипсисе нет современной картины

мира, но мы не можем разделить оптимизма Хандке, будто где-то, как-то, что-то пощадит ядерная война. Красота спасет мир только в том случае, если объединит людей для активного противостояния силам разрушения.

Обрел ли наш герой в Словении вторую родину, забыл ли о первой? Ни в коем случае. Он был и остался австрийцем. Возвращаясь домой, он не скрывает своей радости: «Встреча с Австрией обрадовала меня. Я понял, что в Карсте мне не хватало среднеевропейской зелени, к которой я с детства привык. Как приятно было увидеть снова Петцен, «нашу гору». И после стольких недель, наполненных утомительной, ломающей язык, чужой речью, успокаивала мысль, что кругом все говорят на привычном немецком. Я чувствовал себя в родном гнезде».

От родины нельзя отказаться. Ностальгия настигнет тебя «в любом кокосовом раю». Но увидеть в другом народе не просто подобных себе, но близких людей, связанных одной судьбой, одной заботой о сохранении мира,— обязательная черта современной культуры.

Последние произведения Хандке вызывают читательский интерес и живую реакцию критики. Парижский еженедельник «Нувель обсерватёр» писал по этому поводу: «Вполне возможно, что Петер Хандке крупнейший писатель современности». Недавно западногерманская «Зюддойче цайтунг» повторила эту характеристику. Мы скажем так: превосходная проза не нуждается в превосходной степени сравнений, ее надо просто-напросто читать и знать. И жаль, что советский читатель не знаком с последними вещами Хандке. Изданное у нас знакомит с тем, что создал писатель перед своим «возвращением домой».

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

◆

Редакцию посетили...

Илпо Тийхонен и Пекка Песонен

Финляндия

Илпо Тийхонен — поэт, известный у себя на родине автор нескольких сборников стихов, пьес, книг для детей. Не так давно в его переводе вышла на финском языке поэма Евгения Евтушенко «Фуку!». Илпо Тийхонен — лауреат Государственной литературной премии Финляндии.

Пекка Песонен — профессор-славист, член редколлегии финского издательства «Тамми», где с 1975 года выходит антология «Советская поэзия», над составлением которой работают наши гости.

Антология открывается стихами Блока, Брюсова, Есенина. К настоящему времени уже издано четыре тома, готовится к печати пятый, где будет представлена современная советская лирика. Тираж антологии — три тысячи экземпляров. «Среди советских поэтов,— сказал Пекка Песонен,— наиболее известны в Финляндии Маяковский и Есенин. Современная советская поэзия, к сожалению, мало знакома нашему читателю. Исключение составляет Евгений Евтушенко, стихотворения и поэмы которого знают в Финляндии. Мы попытались восполнить этот пробел, опубликовав в нашей антологии стихи крупнейших советских поэтов последнего времени, в частности Александра Твардовского.

Гости рассказали о работе над пятым томом антологии: «Мы и приехали в Москву как раз для того, чтобы собрать материалы для нового тома». Финских друзей особенно интересует творчество молодых советских поэтов. На вопрос, кто из молодых русских авторов наиболее близок ему, Илпо Тийхонен ответил: «Александр Еременко. Это поэт моего поколения, и хотя я не все принимаю у него, его стихи близки мне по настроению». Говоря о состоянии современной финской литературы, Илпо Тийхонен и Пекка Песонен назвали имена наиболее интересных писателей. По их мнению, это представители старшего поколения — Антти Хюрю и Мартти Йоенполви, авторы многих сборников рассказов, лауреаты Государственной литературной премии, известные и советскому читателю; ведущий поэт 60-х годов Пентти Саарикоски, известная поэтесса Сиркка Туркка; Кристер Чильман (его роман «Милейший принц» был опубликован в № 9, 10 «ИЛ» за 1979 год), молодые писатели Йони Скифтесвик, удостоенный премии Ю. Х. Эркко, Леена Крун и Арто Меллери.

Сотрудники редакции обсудили с гостями проблемы современной финской поэзии. Было отмечено, что интерес к поэзии в Финляндии в последние годы падает, многие финские поэты вынуждены писать стихи для песен, «под рок-музыку», таким образом пробивая себе дорогу к читателю.

Большой интерес вызвала у финских литераторов работа журнала «Иностранная литература». Они выразили желание укреплять связи с редакцией и в дальнейшем.

О. БАСИНСКАЯ

Из месяца в месяц

Австрия

К столетию со дня рождения известного австрийского художника Оскара Кокошки (1886—1980) в галерее Тейт (Лондон) была открыта широкая экспозиция его рисунков и полотен, подготовленная искусствоведом Ричардом Кальвокоресси (она побывает также в Цюрихе и Нью-Йорке), сообщает еженедельник «Таймс литерари сапплмент».

К вернисажу был приурочен и выпуск солидного каталога произведений О. Кокошки — художника и драматурга, автора гротескной драмы «Убийцы — надежды женщин» (1907), одного из самых ярких представителей экспрессионизма. В каталог включена подробная биография «австрийского мастера», написанная Катариной Шульц, а также статьи Г. Эйслера, И. Модлин и П. Верго, анализирующие стиль и технику Кокошки, прослеживающие эволюцию его творчества.

На снимке: Оскар Кокошка. Автопортрет (1936).

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

«ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ»

Так можно перевести заглавие нового романа известного австрийского писателя Томаса Бернхарда (издательство «Зуркамп»).

Герой романа, живущий в Риме учитель Мурау, получает телеграмму с сообщением о том, что в автомобильной катастрофе погибли его родители и брат. Мурау спешит на похороны в Австрию, в семейное поместье Вольфсегг, где он не был много лет. Память «о родном гнезде» связана для Мурау с мучительными раздумьями о нацистском прошлом его родителей.

«Перед нами своего рода притча о блудном сыне, только переосмысленная»,— пишет рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Ф.-Й. Гёрц. Сын, покинувший когда-то семью, отвергнутый ею и проклятый, возвращается в родительский дом вовсе не для того, чтобы вступить в права наследования. Наоборот, он уезжает в Вену, завещает там имение местной еврейской общине, а затем возвращается в Рим, где начинает писать книгу о стремлении многих людей предать забвению собственное прошлое.

Почему его родители связали свою судьбу с нацистами и оказались соучастниками их преступлений? Мурау вспоминает мать, «типичную провинциалку, человека изначально антикультурного»: «Идеология ее мало интересовала, она всегда стремилась лишь к выгоде, хотела быть на стороне сильных. Ревностная католичка, она принимала в своем замке епископов и эсэсовских палачей, но постепенно и сама становилась «истеричной национал-социалисткой». Вступает в фашистскую партию и ее муж — честолюбие заставляет его принять предложенный нацистами почетный титул.

«Конечно, мои родители не отправляли людей в газовые камеры Освенцима и Майданека, — размышляет Мурау. — Но кто из них, кто из нас попытался помешать этому, оказать хоть какое-то сопротивление?» «Молчаливые свидетели, немые соучастники, подручные подручных» — такими видятся ему обитатели Вольфсегга.

Мурау не прокурор и не судья, он хочет лишь честно осмыслить прошлое, в том числе и свое собственное. Его интересует «только правда, сколь бы отвратительной она ни была».

«Томас Бернхард намеренно избегает патетики, — пишет Ф.-Й. Гёрц.— Даже в самом страшном он открывает комические черты, хотя порой комизм оборачивается гротеском, от которого мороз пробегает по коже».

Великобритания

ДНЕВНИКИ БАРБАРЫ ПИМ

Британская пресса отмечает, что интерес к творчеству и личности Барбары Пим не угасает. В Оксфорде, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» П. Акройд, с успехом прошла конференция, посвященная творчеству Барбары Пим, в которой приняли участие ведущие английские литературоведы. Подготовлена к печати солидная библиография, насчитывающая более 800 названий. Фотографы, корреспонденты осаждают тихий домик Барбары Пим в Оксфордшире, требуя от сестры писательницы интервью и новых, сенсационных сведений.

За последние годы, отмечает К. Хеберлайн в журнале «Модерн литерачер», возросла популярность Пим и в Соединенных Штатах. За ней прочно закрепилось определение «стопроцентной английской писательницы», «выразительницы национального духа». О Барбаре Пим пишут диссертации, посвящают ей критические исследования. Кстати, именно американский литературовед Роберт Эммет Лонг стал автором первой весомой монографии о Б. Пим.

Барбара Пим.

(Журнал «Лиснер»)

Шума вокруг Пим немало. Отчасти поэтому Хилари, сестра писательницы, после долгих размышлений и колебаний решилась опубликовать ее письма, дневники, записные книжки. По публикации Х. Пим, вышедшей в издательстве «Макмиллан», можно, пишет рецензент «Нью-Йорк таймс ревью оф букс» Р. Диннадж, составить довольно полное представление об эстетических взглядах писательницы. Это особенно ценно, потому что специальных сочинений по эстетике Барбара Пим не оставила. Очевидно, замечает Р. Диннадж, что любимым жанром Пим был роман и особенно почитала она Джейн Остин, у которой постоянно училась искусству изображения характера и мастерству диалога. Интересны страницы переписки Б. Пим с поэтом и критиком Филипом Ларкином, ее верным другом и многолетним корреспондентом.

Письма и дневники помогают также разрушить легенду о Барбаре Пим как о чопорной старой деве, затворнице из Оксфордшира. «Не надо думать, — пишет в предисловии к книге Хилари, — что моя сестра была тихоней, скромницей, — словом, походила на благовоспитанную дочь приходского священника, которая проводит дни, отдавшись увлекательному занятию вышивкой». Сборник писем и отрывков из дневников, пишет рецензент литературного приложения к «Таймс», поможет читателю глубже понять жизнь и творчество автора «Осеннего квартета» и «Нескольких зеленых листьев».

Венгрия

«СЕРДЦЕПАД»

Под таким заглавием, взятым из стихотворения Ласло Надя «Меняем печаль на любовь», издательство «Мора» выпустило в свет сборник стихов венгерских поэтов о любви (составители и редакторы антологии — Лайош Мартон Варга и Жужанна Рожлаи). Стихи собраны в одиннадцать циклов по темам, отражающим самые разные грани любовных чувств и переживаний. Озаглавлены эти циклы соответствующими стихотворными строками: «Мечтаю о любви я лишь порою», «Люблю тебя», «Мгновения», «Любовь — бесконечный поток», «Меняем печаль на любовь», «Единым ложем, единым хлебом», «Очень больно», «Прощальный знак прекрасный», «Вечная Анна». Каждый из циклов представляет и многообразие поэтических стилей, складывавшихся в Венгрии на протяжении пяти веков — от Балинта Балашши (1554—1594) до Тибора Залана (род. в 1954 г.). В сборник вошли лучшие стихи о любви таких поэтов, как Ференц Юхас и Михай Чоконаи Витез, Янош Вайда и Михай Ваци, Шандор Вёреш и Эндре Ади, Ева Тот и Жужа Раб, а также многих других. Венгерская пресса с удовлетворением отмечает и присутствие в книге стихотворений венгерских поэтов, живущих за рубежом и пишущих на родном языке, подчеркивает «открытие» составителями проникновенной любовной лирики в творчестве поэтов, которые до сих пор «поэтами любви» не считались (как, например, Лайош Кашшак).

Автор рецензии на сборник «Сердцепад» в журнале «Уй тюкёр» Эва Петреци выражает надежду, что не заставит себя ждать и «сестра» этой антологии — книга любовной лирики поэтов мира. «К теме любви необходимо возвращаться вновь и вновь, ибо путь любви, прекрасный и мучительный, обогащает нашу жизнь и нашу культуру поэзией, которая воспитывает наши чувства»,— говорится в аннотации, предпосланной этой книге.

Отмечая 65-летний юбилей выдающегося английского актера Пола Скофилда, журнал «Плейз энд плейерз» публикует статью театроведа Мартина Хойла о его творчестве. По мнению автора статьи, среди ролей, сыгранных Полом Скофилдом в кино и получивших признание критиков и зрителей, особенно интересна роль священника в фильме «Сила и слава», снятом в 1982 году видным режиссером Питером Бруком по одноименному роману Грэма Грина.

(Журнал «Плейз энд плейерз»)

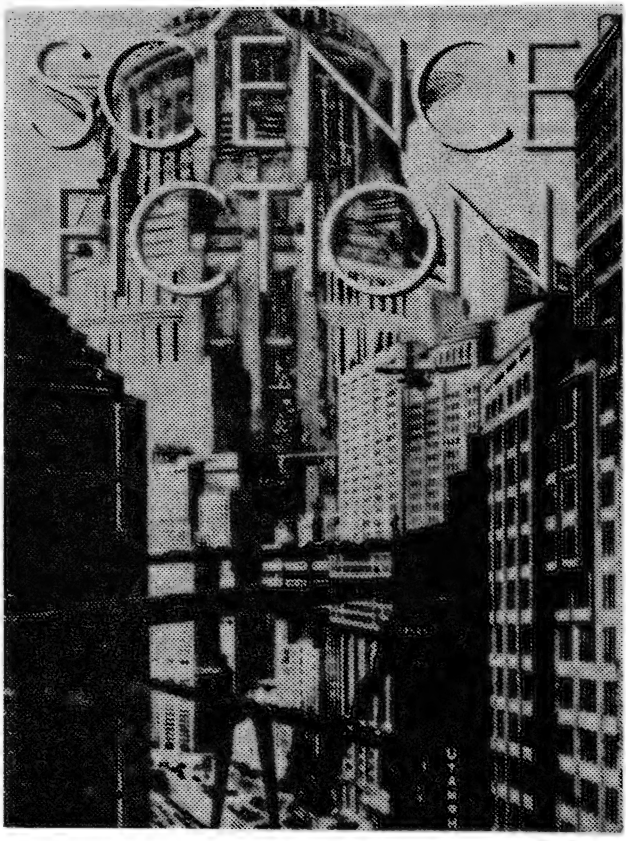
ГДР

ОТ КЛАССИЧЕСКИХ УТОПИЙ ДО «КОСМИЧЕСКИХ ОДИССЕЙ»

Новая книга издательства «Эдицьон Лейпциг» «Иллюстрированная история научной фантастики» представляет несомненный интерес для многочисленных любителей этого популярного жанра литературы. Ее автор Дитер Вуккель прослеживает путь становления жанра, история которого насчитывает около 350 лет, исследует современные формы его существования — вплоть до комиксов.

Читателя ждет встреча не только с классиками научной фантастики — Жюлем Верном, Гербертом Уэллсом, Карелом Чапеком, но и с современными писателями — Станиславом Лемом. Робертом Шекли, А. и Б. Стругацкими, Кобо Абэ и многими другими.

Отдельную главу Дитер Вуккель посвящает советской научной фантастике 20—50-х годов. Здесь традиционные для жанра имена

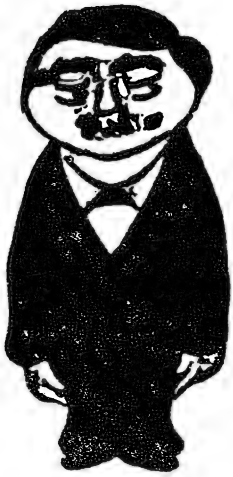


Обложка книги «Иллюстрированная история научной фантастики».

А. Толстого и А. Беляева непривычно соседствуют с именами М. Булгакова, И. Эренбурга, В. Катаева.

Новое издание привлекает внимание и богатым иллюстративным материалом. Фотографии, кадры из фильмов, сцены из спектаклей, карикатуры, книжные иллюстрации значительно дополняют текст книги, автор которой стремился наиболее полно и точно ответить на вопрос, что же такое научная фантастика.

Карикатура М. Бирбома на Герберта Уэллса.



Египет

ЖУРНАЛ «АУРАК АРАБИЙЯ»

В последнее время в Египте стал выходить ряд новых журналов по вопросам культуры и идеологии. Среди них такие периодические издания, как «Кадая фикрийя» («Идеологические проблемы»), «Аль-Гад» («Завтра»), «Фикр» («Мысль»).

Как сообщает «Аль-Хиляль», недавно вышел первый номер нового журнала «Аурак арабийя» («Арабские записки»), посвященного вопросам арабской политики и культуры. Главный редактор «Аурак арабийя» — египетский публицист Махмуд аль-Мараги.

Основное место в первом номере «Аурак арабийя» занимают материалы прошедшего недавно в Египте симпозиума «Революция 23 июля 1952 года», в заседаниях которого приняли участие видные арабские писатели и публицисты.

Индия

БЕСЕДА С САТЪЯДЖИТОМ РАЕМ

Американский журнал «Ньюсуик» опубликовал интервью с крупнейшим индийским режиссером Сатъяджитом Раем, имя которого приобрело известность после выхода на экраны в 1955 году его первого фильма «Песня дороги». Сатъяджит Рай, обладатель призов почти всех международных кинофестивалей, известен в Индии и как детский писатель. В конце прошлого года в США и в Великобритании вышли антологии его рассказов.

— Сейчас вы работаете над телефильмом. Каково ваше отношение к телевидению? — спрашивает С. Рая корреспондент журнала «Ньюсуик» Шудип Марумдар.

— Я не против постановки телефильмов, но предпочитаю большой экран, предоставляющий возможность обратной связи. Кто смотрит телефильм и какова реакция на него, никогда не узнаешь.

Отвечая на обвинение в том, что в своих фильмах он не обращается к социально-экономическим проблемам Индии, Сатъяджит Рай напоминает: эти вопросы затронуты в трети его картин. Он говорит о своем намерении снять несколько фильмов, которые расскажут о жизни беднейших слоев индийского крестьянства.

— Какова, по-вашему, роль кино в осуществлении социальных перемен?

— Я вовсе не думаю, что кино способно в корне изменить общество. Но безусловно, создатели фильмов могут и должны участвовать в тех переменах, которые уже происходят в обществе: так, на заре советского кино Эйзенштейн и Пудовкин способствовали упрочению завоеваний свершившейся революции.

Ирландия

ГЛАВНОЕ СЛОВО ДЖОЙСА

Июнь по праву считается джойсовским месяцем. 16 июня 1904 года — самый длинный день в мировой литературе: ведь он в мельчайших подробностях, с утра и до поздней ночи, описан в романе Джеймса Джойса «Улисс».

16 июня нынешнего года — особый день в джойсоведении: исполнилось 65 лет со дня выхода «Улисса» в свет. Как полагает обозреватель «Айриш таймс», самым важным событием последних лет стала публикация исправленного текста романа. В 1984 году трехтомный «Улисс» в твердом переплете вышел в американском издательстве «Гарланд пресс». Книга стоила дорого — 200 долларов — и была доступна лишь избранному кругу читателей. Теперь же, спустя три года, она издана массовым тиражом, и каждый может провести любопытное сравнение «канонического» текста с новым, в котором благодаря усилиям видных немецких текстологов Ханса Вальтера Габлера, Вольфхарда Степпа и Клауса Мелькиора было исправлено более 5000 ошибок: по словам профессора Габлера, «читатель получил совершенно нового «Улисса».

Как известно, пишет обозреватель «Таймс литерари сапплмент», все предшествующие издания опирались на первую публикацию «Улисса», осуществленную в 1922 году владелицей парижского букинистического магазина «Шекспир и К°» американкой Сильвией Бич. В те годы не было серьезной полиграфической базы, необходимой для издания столь сложного текста. Книгу набирали по скверно напечатанной рукописи. Восклицательный знак в тексте отсутствует по одной простой причине — его не было в машинке. Работали в типографии более двадцати наборщиков-французов, которые ни слова не знали по-английски и набирали вручную, по буквам, совершенно не понимая смысла. Автор не мог уделить должного внимания гранкам романа, ибо только что перенес очередную глазную операцию, врачи запретили ему читать и писать; к тому же нужно было в весьма сжатые сроки завершить работу над последними двумя эпизодами «Улисса».

Внести исправления в последующие издания книги оказалось делом непростым, пишет известный литературовед Хью Кеннер в журнале «Джойсиз куотерли». Именно поэтому джойсоведы высоко оценивают работу, проделанную Габлером, Степпом и Мелькиором (она заняла 7 лет — столько, сколько Джойс писал «Улисса»). Ими исправлены не только многочисленные корректорские ошибки, часто сбивавшие с толку и читателей и специалистов. Исправлена пунктуация (трудно переоценить ее роль в романе, передающем сложный, причудливый «поток сознания» героев). Исправлены смысловые ошибки, по мнению специалистов, кардинальным образом меняющие толкование всего романа. В девятом эпизоде Стивен Дедалус, один из главных героев книги, задает себе вопрос: «Какой мужчина любит дочь, если он не любил мать?» В новом издании за этой фразой следуют слова: «Он видит в ней возрожденный воспоминаниями собственный образ юности. О чем я? Любовь... Слово, знакомое всем людям». Благодаря этому добавлению, подчеркивает Хью Кеннер, наконец стали понятны слова Стивена, обращенные в пятнадцатом эпизоде «Улисса» к умершей матери: «Мама, скажи мне слово, если ты теперь его знаешь. Слово, знакомое всем людям».

Италия

«ДЕЛО МОРО»

На экраны страны вышел фильм режиссера Джузеппе Феррары «Дело Моро», сообщает журнал «Панорама». Появление этой ленты весьма симптоматично, подчеркивает обозреватель журнала Туллио Кезич, ибо отголоски бури, всколыхнувшей в 1978 году Италию в связи с похищением премьер-министра Альдо Моро и его гибелью от рук террористов, слышны до сих пор, и по мере выявления новых фактов страсти разгораются все сильнее.

Главную роль в «фильме-хронике» сыграл Джан Мария Волонте — ведущий актер прогрессивного политического кинематографа. Он уже воплощал на экране образ премьер-министра в картине Элио Петри «Тодо модо» (1976), но в шаржированном варианте. В фильме Дж. Феррары Волонте создает «трагический образ человека, ни на йоту не отступающего от своих убеждений».

Создатели картины недвусмысленно заявляют, отмечает обозреватель, что убийцами Альдо Моро были члены «Красных бригад» — «марионетки, покорные чужой воле, воле некоего зарубежного кукловода, разумеется, оставшегося в тени».

Фильм Джузеппе Феррары, в котором снялись также известные актеры Маттиа Сбраджа, Маргарита Лодзано, Бруно Дзанин и многие другие, активно продолжает боевую традицию лучших лент итальянского политического кино и прежде всего — одного из крупнейших его мастеров Франческо Рози, заключает Т. Кезич.

Норвегия

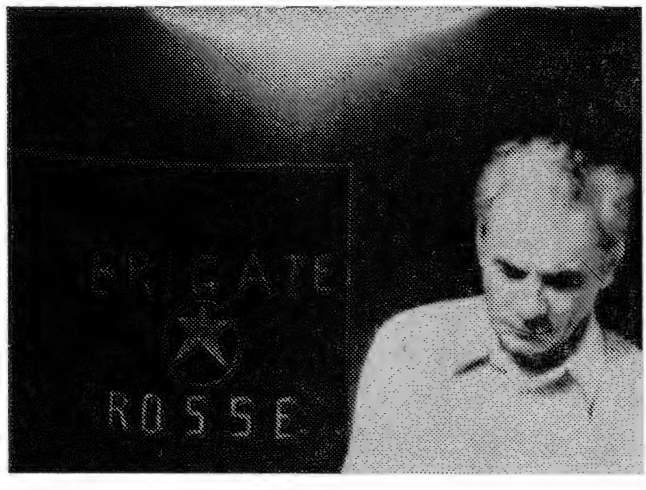
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ РУССКИХ КЛАССИКОВ

Издательство «Солум», пишет в газете «Фрихетен» известный норвежский критик и публицист Мартин Наг, внесло весомый вклад в развитие норвежско-русских литературных связей, опубликовав новые издания русской классики.

Комедии А. Н. Островского — писателя, по мнению М. Нага, «до обидного мало известного в Норвегии»,— перевел видный славист Гейр Хетсо. Недавно он выпустил также монографию о творчестве Ф. М. Достоевского. В своей книге Г. Хетсо рассматривает неразрешенный до сих пор вопрос — является ли Достоевский автором двенадцати статей, опубликованных без подписи в журналах «Время» и «Эпоха». И хотя статьи написаны в период активной публицистической деятельности Достоевского, исследователь уверен, что статьи не принадлежат его перу. К этому выводу он пришел, используя новейшие достижения текстологии.

В переводе Гейра Хетсо опубликованы также «Бездна» и другие рассказы Леонида Андреева, продолжаю-

(Журнал «Панорама»)



Кадр из фильма «Дело Моро».

щего, по мнению рецензента, традиции реалистической прозы Достоевского. Этот перевод Мартин Наг считает большой творческой удачей. «Отрадно,— пишет он,— что часть обширного наследия одного из замечательнейших русских прозаиков стала доступна норвежскому читателю».

В переводе Эрлинга Санде увидела свет книга «Две новеллы» А. П. Чехова. «Чехов дорог и близок всем нам своим юмором и бесконечным гуманизмом»,— пишет рецензент.

Ивар Магнус Равнум перевел сборник прозы Бориса Пастернака, который и в прозе, по мнению Мартина Нага, оставался «величайшим поэтом».

Румыния

АНТОЛОГИЯ ОЛТЯНСКОГО ЮМОРА

Заслуженной славой острословов пользуются в Румынии жители провинции Олтения. Из поколения в поколение передаются меткие, вобравшие в себя народную мудрость словечки олтян, подобно тому как это происходит с остротами габровцев в Болгарии. Своеобразной шутке олтян, нашедшей отражение в литературных произведениях, и посвящена вышедшая в административном центре провинции, городе Крайове, антология «Страницы сатиры и юмора в книгах олтянских писателей», которую составил Ион Диану.

В книгу вошли отрывки из произведений таких известных румынских прозаиков и поэтов прошлого, как А. Панн, А. Мачедонски, И. Минулеску, Т. Аргези, Дж. Михэеску, современных писателей — Д. Р. Попеску, М. Сорескy, Д. Сэрару, А. Пэунеску и других. В нее включены афоризмы выдающегося румынского скульптора К. Брынкуша, а также монологи на олтянском диалекте известного актера театра и кино А. Пелля.

«Любой человек, прочитавший эту книгу, — пишет еженедельник «Ромыния литерарэ», — как бы побывает в мире, где чудесным средством общения между людьми служит чувство юмора, исполненное мудрости и человеческого тепла».

США

ОДИССЕЯ НЕПРИКАЯННОЙ ДУШИ

В нью-йоркском издательстве «Атеней» вышел роман известного писателя Рейнолдса Прайса «Кейт Вейден». Читатели, которые помнят две предыдущие книги Прайса — «Земная оболочка» (русский перевод опубликован в 1980 г.) и «Источник света» (см. «ИЛ» 1981, № 10) — по мнению рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», сразу узнают знакомый почерк романиста, который приглашает нас исследовать потаенные уголки души его мятущейся героини. Буквально на первых же страницах романа Кейт Вейден рассказывает о роковом проклятье, тяготеющем над ней. Она осталась сиротой в раннем детстве: в приступе ревности отец застрелил из ружья мать и покончил с собой. Это случилось полвека тому назад, но в свои пятьдесят семь Кейт вспоминает об этой трагедии так, словно она произошла только вчера.

Кейт Вейден прожила жизнь с горьким ощущением, что родители предали ее, оставив один на один с враждебным миром. Ведя рассказ-исповедь о себе, Кейт вспоминает, что сиротская жизнь была подобна бесконечной веренице встреч и разлук с людьми, которые, может быть, и готовы были уделить ей частицу своего душевного тепла... да девочка не могла им довериться. Ни тем, кто хотел заменить ей родителей, ни тем, кто мог стать ее друзьями. «Успей покинуть людей, пока они не покинули тебя сами», — таким правилом Кейт руководствовалась всегда, во всех случаях жизни.

Эта печальная, щемящелирическая история странствий одинокой женщины, отмечает рецензент, читается с неослабевающим интересом. «Всем, кто любит грустные «саги» Прайса, его новая книга доставит истинное удовольствие».

ПРАВДА О ВОЙНЕ ВО ВЬЕТНАМЕ

Оливер Стоун (род. в 1946 г.) — далеко не новичок в кинематографе: он окончил кинофакультет Нью-Йоркского университета, где его наставником был видный американский режиссер Мартин Скорсезе, и уже в 1978 году получил «Оскара» за картину «Полуночный экспресс», напоминает читателям журнала «Ньюсуик» кинокритик Дэвид Ансен. С тех пор прошло почти десять лет. Стоун писал сценарии для таких постановщиков, как Брайан Де Палма, Дж. Милиус, Майкл Чимино, но сам почти не снимал: слишком трудно было найти продюсера, который согласился бы финансировать давно сложившийся замысел режиссера — «первый по-настоящему правдивый фильм о войне во Вьетнаме».

Найдя финансовую поддержку в Англии, Оливер Стоун немедленно приступил к работе, и в 1987 году американские зрители увидели «Взвод», по определению журнала «Ньюсуик» — «жестокий портрет жестокой войны».

Картина во многом автобиографична: главный герой, двадцатилетний Крис Тэйлор (этот образ убедительно воплотил на экране молодой актер Чарли Шин), уходит во Вьетнам добровольцем. «Ему, как и самому Стоуну когда-то,— продолжает Д. Ансен,— суждено познать крушение идеалов, пройти путь горького осознания реальности». Сюжетный накал фильма обусловлен конфликтом между двумя сержантами, бесчеловечным убийцей Бернсом (Том Беренджер) и Элиасом (Виллем Дэфо), сумевшим сохранить моральный облик, не потерявшим доверия своих солдат, подчеркивает критик. В финальных кадрах Крис, не выдержав чудовищности происходящего, стреляет в «хладнокровного палача» Бернса...

«Взвод» — бесспорная режиссерская удача, и свою рецензию Д. Ансен завершает так: «Оливер Стоун ждал девять лет, но зато он осуществил одну из весьма редких в современном Голливуде значительных постановок».

Кадр из фильма «Взвод».

(Журнал «Ньюсуик»)

Фильм О. Стоуна уже завоевал высшую награду Американской гильдии режиссеров, а на международном кинофестивале, состоявшемся в марте этого года в ФРГ, был удостоен «Серебряного медведя».

Франция

«ПЬЕСА ДЛЯ ТЕАТРА МАРИОНЕТОК»

Прошло 90 лет с того вечера, когда в парижском «Театр де л'Эвр» впервые появился на сцене король Юбю — главный герой одноименной «пьесы для театра марионеток» драматурга, прозаика и поэта Альфреда Жарри (1873—1907), «решительно отвергшего эстетику символизма и открывшего путь непримиримому сценическому искусству XX века»,— пишет журнал «Кензен литтерер».

Школьным преподавателем Жарри был «зануда и педант Ф. Эбер, которого дразнили, разыгрывали, высмеивали в прозе и в стихах»,— он и стал прототипом Юбю, напоминает читателям журнала видный театральный критик Моник Ле Ру. «Происхождение» героя подсказало Жану-Луи Урдену трактовку «Короля Юбю», воплощенную труппой молодежного театра «Пуату-Шарант». На сцену выбегают семь школьников, одетых по детской моде 90-х годов прошлого века в блузы с плоеными воротничками, обутых в высокие шнурованные ботинки, пишет М. Ле Ру. По замыслу режиссера, «послушные дети нарушают идиллию» и устраивают безудержно веселое действо, сильно смахивающее на кукольное представление: традиции ярмарочно-балаганного зрелища, подчеркивает критик, явственно ощущаются и в спектаклях театра по «Леонсу и Лене» Г. Бюхнера, «Сну в летнюю ночь» и «Буре» У. Шекспира.

В этом ключе даны основные сюжетные моменты пьесы, отмечает М. Ле Ру,— захват папашей Юбю (его блестяще сыграл Жак Пьейе) королевского престола в вымышленной стране, изгнание царствующей фамилии и, наконец, месть королю Юбю чудом спасшегося младшего отпрыска короля Венцеслава и королевы Розамунды: «Мгновенно перевоплощаясь по ходу действия, актеры Поль Алльо, Кристин Бротон, Стефан Дельбас, Даниэль Мелье исполняют эти и многие другие роли в пьесе Жарри».

«Режиссеры привыкли «изображать» хаос на сцене осторожно, с точностью выверяя угол отклонения от нормы,— сетует М. Ле Ру,— но Жану-Луи Урдену удалось создать редко достижимое на театре ощущение дисгармоничности мира, которого добивался и сам Жарри».

Сцена из спектакля «Король Юбю».

(Журнал «Кензен литтерер»)

КНИГА ОБ ОТЦЕ

Имя французского писателя Жоржа Бернаноса известно советскому читателю по сборнику произведений, выпущенному издательством «Художественная литература» в 1978 году,— в него вошли повести «Под солнцем Сатаны», «Дневник сельского священника», «Новая история Мушетт».

Недавно парижское издательство «Плон» выпустило в свет книгу Жана-Лу Бернаноса «Жорж Бернанос во власти прохожих». Название своей книги сын писателя взял из фразы, сказанной однажды отцом: «Да будут прохожие благосклонны ко мне и к моим книгам!».

Рецензент газеты «Юманите» Пьер Дюран, откликаясь на выход этой книги, останавливается, в частности, на том, как менялось отношение Жоржа Бернаноса и его окружения к фашизму и франкизму.

Материальные трудности заставили семью Бернаноса перебраться в конце 1934 года в Испанию — жизнь здесь была не так дорога, как во Франции. Писатель много и плодотворно работает, выступает в печати. В одной из газетных статей он пишет: «Дело не только в принципах, но в том, как им следуют. Меня тошнит от поступков, совершаемых правыми». В 1935 году, после нападения Муссолини на Эфиопию, Бернанос решительно выступает против дуче и поддерживающих его религиозных кругов. Разоблачает он и продажность французской прессы. Писатель начинает понимать, что война в Испании — это всего лишь прелюдия «великой бойни». Жорж Бернанос видел, свидетельствует его сын, что «над Испанией, и не только над Испанией, восходит новое солнце — солнце Сатаны».

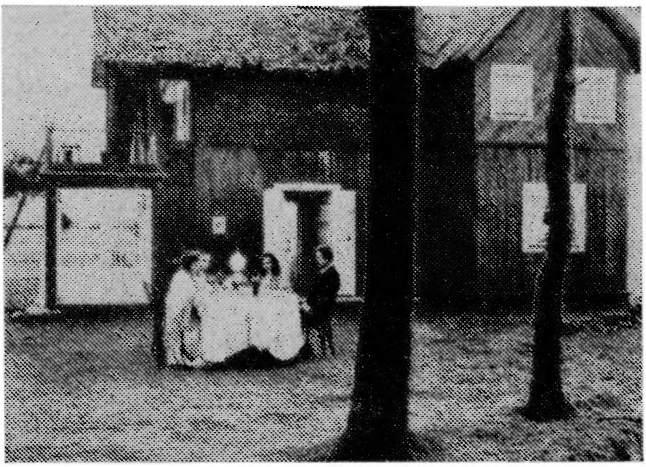
Дважды писателю удается спастись от покушения. «Кажется, что этот каналья Франко дорого оценил мою голову и подсылает ко мне самых отъявленных убийц,— писал Бернанос своей племяннице в январе 1937 года.— Если ты узнаешь, что я умер в результате несчастного случая, не верь этому и защити мою память». В 1937 году Бернанос с семьей вернулся во Францию, а в 1938 году вышла в свет его книга «Большие кладбища под луной» (отрывки из книги в том же году опубликовал на русском языке журнал «Интернациональная литература»), по мнению самого автора, «одна из наиболее волнующих книг». «Я хотел бросить ее в лицо этим безумцам, чтобы помешать им погубить весь мир»,— говорил писатель. Жан-Лу Бернанос так оценивает это произведение отца: «Страстным обвинением против трагического «крестового похода» явились «Большие кладбища...». В этой книге автор не только разоблачает двуличность испанского духовенства и диктаторов, но также задумывается о будущем Европы и пророчески предсказывает поражение Гитлера, победу свободы и совести».

Швеция

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»

Последний фильм режиссера А. Тарковского (1932—1986) «Жертвоприношение» (производство Шведской академии кино), пишет, английский журнал «Лиснер»,— это «размышление о смерти, плач по утраченной вере, рассказ о столкновении человека с грубой реальностью...»

Картина начинается долгими, неторопливыми кадрами: главный герой Александр, в прошлом актер, ныне учитель (его роль исполняет Эрланд Иозефсон, снимавшийся и в преды-



Кадр из фильма «Жертвоприношение».

(Журнал «Лиснер»)

дущем фильме Тарковского «Ностальгия»), вместе с маленьким сынишкой сажает деревце на пустынном и каменистом морском берегу, беседуя с самим собой,— мальчик не может отвечать: у него повреждены голосовые связки.

Повествование о жизни семьи на лоне природы неожиданно приобретает у Тарковского ироническую, даже фарсовую окраску, отмечает кинообозреватель журнала «Лиснер» Маргарет Уолтерс: «Временами атмосфера фильма напоминает чеховскую, но здесь о конце мира, конце света, возвещает не стук топора, а тягучий, щемящий гул». Герои узнают из телепередачи о надвигающейся гибели Вселенной, и тут ирония оборачивается кошмаром — Александр заключает «вызывающую и абсурдную сделку с богом»: если наутро жизнь вернется в привычное русло, он пожертвует всем, что любит...

Трагическое условие приходится выполнить, продолжает М. Уолтерс, ночи как не бывало, вокруг все по-прежнему. И Александр поджигает свой дом, а потом спасается от санитаров, которые ловят его, чтобы упрятать в психиатрическую лечебницу. Под деревом, во дворе, дремлет его сынишка, не просыпавшийся со вчерашнего вечера. «Что здесь реальность и что — сон? — говорит в интервью журналу «Сведен нау» оператор картины, соавтор Тарковского Свен Нюквист.— Может быть, все события в фильме — это сон ребенка, в заключительных кадрах обретающего дар речи?»

«Сила Тарковского неразрывно связана с его «слабостью» — склонностью к затягиванию томительных пауз, чрезмерной полярностью символов, — считает М. Уолтерс.— Но с его смертью мы несомненно потеряли опытного постановщика с напряженным, неординарным видением мира, с голосом, отчетливо выделявшимся в мировой режиссуре».

ЮАР

«БРАЧНЫЙ ПЕРИОД»

Вышел в свет роман известного южноафриканского критика, драматурга и новеллиста Льюиса Нкози «Брачный период». Нкози — пропагандист «литературы для африканцев», неоднократно выступавший на страницах журналов «Уэст Аффрика», «Драм», «Африкэн комьюнист». Как и многие другие южноафриканские писатели, он долгое время вынужден был жить в эмиграции. Широко известны его пьесы «Ритм насилия», «Министр по пересадке сердца», «Не каждый может быть Мартином Лютером Кингом».

Митико Какутани, автор рецензии на роман «Брачный период», опубликованной в «Интернэшнл геральд трибюн», обнаруживает в нем немалое сходство с «Посторонним» Альбера Камю — как в композиции произведения, так и в мировосприятии героя. Нди Сибийя, главный герой романа Льюиса Нкози, — южноафриканец, приговоренный к смерти по обвинению в изнасиловании белой женщины. Для этого душевно и физически сильного человека весь мир теперь сосредоточен в маленьком кусочке неба за окном его тюремной камеры. Сибийю, как и героя Камю, совершенно не страшит грядущая казнь, но живет Нди Сибийя отнюдь не во Франции. Он, как пишет рецензент, — жизнь игрушка, жертва сложных межрасовых отношений в ЮАР, жертва апартеида. Во время процесса Сибийя становится чуть ли не самым известным человеком в стране: белые видят в нем садиста-психопата, совершившего тяжкое преступление против закона, а черные — чуть ли не героя, нарушившего строгие расовые табу.

В тюрьме Нди Сибийя задумывается над событиями, которые привели его на скамью подсудимых, и начинает писать историю собственной жизни. Читатель узнает, что Сибийя родился в семье одного из зулусских вождей, детство мальчика было счастливым, однако честолюбивая мать отдала его в школу для белых, хотя отец и предупреждал ее об опасных последствиях такого решения.

Семью Сибийи насильственно переселяют на другое место, лишая ее законных земель. После смерти отца семья ютится в трущобах на окраине Дурбана, мать сначала стирает белье по людям, потом начинает тайно торговать спиртным.

В университете Сибийя увлекается политикой, выступает на митингах, протестует против несправедливости. Однако смертный приговор ему выносят не по политическим соображениям. Сибийя не в состоянии понять, чем же руководствовалась белая женщина, которая соблазнила его, а потом вызвала полицию.

Позиция главного героя — позиция «стороннего наблюдателя». Это, по мнению М. Какутани, лишний раз подтверждает близость «Брачного периода» к книге Камю, и тем не менее, считает рецензент, роман Нкози — произведение весьма злободневное.

В следующем номере:

Рассказы
индийского писателя Кеки Н. Даруваллы

Повесть
Станислава Лема (Польша)
«Футурологический конгресс»

Научно-фантастические рассказы
американских писателей

Эссе
Анджея Василевского
«Восток, Запад и Польша»

«Любовь и XX век» —
беседа в редакции о новом романе
Габриэля Гарсиа Маркеса

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ** [illegible]**ГИНА**,
Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. [illegible]
Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П [illegible]
А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. [illegible]
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (отв. секрет[illegible]
К. А. ЧУГУНОВ (зам. гл[illegible]

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, П[illegible]

Издательство «Известия Советов
Москва, Пушки[illegible]

Журнал выходит о[illegible]

Сдано в набор 25.03.87. Подписано в печ[illegible]
Печать высокая 16 п. л. (22,4[illegible]

Тираж 465 000 (1-й завод: 1—415 000 экз.)

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394